Н.В.Новиков

ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА

Записки
1938
1947

Н. В. Новиков

ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА

Записки
1938
1947

Москва
Издательство
политической
литературы
1989

ББК 63.3(2)72
Н73

Новиков Н. В.

Н73 Воспоминания дипломата: (Записки о 1938—1947 годах).— М.: Политиздат, 1989.— 399 с.: ил.
ISBN 5—250—00489—X

Автор книги в 1938—1943 годах — ответственный работник Народного комиссариата иностранных дел, а в 1943—1947 годах — последовательно Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР при правительствах Египта, Югославии, Греции и в Соединенных Штатах Америки. Он был свидетелем крупнейших международных событий и непосредственным участником внешнеполитической деятельности Советского государства в десятилетие, включавшее предвоенные годы, вторую мировую войну, в том числе Великую Отечественную войну, и первые послевоенные годы.

Книга предназначается для широкого круга читателей.

Н $\frac{0503020600—029}{079(02)—89}$ 169—89 **ББК 63.3(2)72**

ISBN 5—250—00489—X

Часть первая

В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ



Трудный старт
Вторая встреча с Турцией
Начало второй мировой войны
Война и Ближний Восток
Горячее лето 40-го года
Конференция в Бухаресте
Накануне Великой Отечественной войны
Первые месяцы войны
Месяцы странствий
Наркоминдел на Волге (1942 год)
Наркоминдел на Волге (1943 год)
Уравнение со многими неизвестными

Посвящаю жене и лучшему другу
Любови Захаровне
Афанасьевой-Новиковой

1. Трудный старт

Из многих и очень разнообразных источников черпались в первые десятилетия Советской власти кадры работников, которым предстояло выполнять ответственную работу в главном внешнеполитическом ведомстве страны — Народном комиссариате иностранных дел, в 1946 году преобразованном в Министерство иностранных дел. Даже и в послевоенный период, когда ряды советских дипломатов регулярно пополняются выпускниками специальных учебных заведений, отнюдь не редкость случаи прихода в МИД работников партийных, хозяйственных, научных и административных учреждений. А в те отдаленные времена подобная практика была еще более широкой.

Перед тем как приступить к основной тематике книги, я расскажу о том, каким путем в 1938 году вступил на дипломатическое поприще я сам. Путь этот, как будет видно из дальнейшего, оказался ни коротким, ни гладким.

В моих личных жизненных планах дипломатическая служба никогда не фигурировала. Получив в 1930 году в Ленинградском восточном институте специальность востоковеда-экономиста, я более пяти лет проработал по этой специальности в нескольких учреждениях системы Наркомвнешторга в Москве и Таджикистане, а также преподавателем курса экономики Турции в Московском институте востоковедения имени Нариманова. Осенью 1935 года с целью углубить теоретические основы своих знаний я поступил (по командировке ЦК КП(б) Таджикистана) в Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики, где в течение четырех лет должен был пройти курс научной подготовки на уровне аспирантуры гуманитарных вузов. Завершение этого курса открывало слушателям института дорогу в научно-исследовательские институты международного профиля и на соответствующие кафедры вузов. Имея перед собою такую перспективу, я уже с начала третьего курса осенью 1937 года наметил для себя тему диссертации и приступил исподволь к собиранию и изучению необходимой для нее литературы.

Но моим замыслам не суждено было осуществиться. В январе 1938 года по решению ЦК ВКП(б) все институты красной профессуры (их насчитывалось девять) были расформированы. Обосновывалось это решение тем, что с середины 30-х годов университеты и институты гуманитарного профиля были уже

в состоянии готовить в своих стенах марксистски образованных преподавателей высших школ, а также научных работников в области общественных наук, поэтому надобность в особых институтах красной профессуры отпадала.

Нужно ли пояснять, с каким огорчением мы, аспиранты, узнали о закрытии нашей альма-матер? Ведь совсем незадолго до окончания аспирантуры мы были внезапно выбиты из многообещающей институтской колеи и перед каждым из нас встал важный вопрос: что же дальше?

Размышляя над ним, я строил планы поступления в один из научных институтов, где мог бы с пользой применить свое знакомство с международными проблемами и знание нескольких иностранных языков. Однако от меня самого мало что зависело. Дело в том, что все слушатели нашего института были зачислены в резерв назначения ЦК ВКП(б), которому и предстояло определить нашу судьбу. Для меня этот процесс определения затянулся на четыре месяца — слишком уж велико было расхождение во взглядах на характер моей будущей деятельности между работниками Отдела кадров ЦК и мною.

С их точки зрения, по своей образовательной подготовке и опыту практической деятельности я подходил для использования в каком-либо из советских учреждений за рубежом. Я же держался на этот счет иного мнения, выдвигая два мотива: во-первых, упомянутое выше стремление к научной работе, а во-вторых, сложные семейные обстоятельства. Не вдаваясь в их сущность, скажу лишь, что в тот момент они служили серьезным препятствием к моей поездке за границу. Но эти соображения Отдел кадров во внимание не принимал и направлял меня то в одно, то в другое центральное учреждение, связанное с заграничной деятельностью. Всюду я выдвигал свои соображения, в результате чего меня неизменно возвращали обратно в распоряжение Центрального Комитета.

Таким вот образом в конце февраля 1938 года я и переступил впервые порог Наркоминдела.

Признаюсь откровенно, что, идя туда, я терзался противоречиями. С одной стороны, радовало оказанное Центральным Комитетом доверие: ведь направляли меня для работы в наркомат, обладавший огромным престижем не только у нас в стране, но и во всем мире. Его глава, старый большевик-ленинец Максим Максимович Литвинов, принадлежал к числу видных государственных деятелей. На дипломатической арене он зарекомендовал себя как ревностный поборник ленинской политики мирного сосуществования, как энергичный защитник интересов социалистической родины, как блестящий оратор, трибун. Работать под его руководством было бы делом весьма ответственным и почетным.

Но верх в конце концов взяли ранее сложившиеся у меня намерения, и, подходя к громадному зданию на Кузнецком мосту, я твердо настроился не отступать от своей прежней позиции.

В бюро пропусков наркомата мне сразу же вручили выписанный заранее пропуск. Явиться надо было не в Отдел кадров, как я предполагал, а в секретариат наркома. Поднявшись туда через «наркомовский» подъезд, я удостоверился, что никакой ошибки нет.

Минут через десять меня провели в рабочий кабинет наркома. Я с большим любопытством вглядывался в Максима Максимовича, стоявшего у большого окна. Он пробегал глазами какую-то бумагу — мою анкету, как это вскоре выяснилось. На вид ему можно было дать значительно больше его лет (тогда ему шел шестьдесят второй год). Его фигура казалась отяжелевшей, а округлое лицо — усталым. Словом, внешность Максима Максимовича мало вязалась с тем обликом — моложавым, стройным и подтянутым,— какой сложился в моем представлении по газетным портретам.

Он молчаливым кивком ответил на мое приветствие, скупым жестом указал мне на стул возле окна и сам сел напротив меня в такой позе и с таким выражением, словно присел только на минутку для выполнения краткой формальности, а не для серьезной ознакомительной беседы.

Слегка шевельнув листком анкеты, Максим Максимович заговорил:

— Я хочу, товарищ Новиков, чтобы вы четко уяснили себе, что к людям, которым предстоит нести дипломатическую службу, Наркоминдел предъявляет очень высокие требования. Дипломату недостаточно обладать профессиональными знаниями и техническими навыками. Он должен быть политически образованным, глубоко культурным и в первую очередь безукоризненно грамотным. Безукоризненно — никак не меньше! Я убежден, что фундамент такой грамотности и вообще культурности закладывается только систематическим средним образованием. Вот вы здесь пишете — он снова пошевелил моей анкетой и испытующе воззрился на меня,— что учились в двух вузах. А как у вас обстоит дело со средним образованием?

Я пропустил мимо ушей оговорку наркома о двух вузах (Институт красной профессуры не был вузом) и подробно ответил на его вопрос, предвидя, что вряд ли сумею удовлетворить его. Ответил, что в Петрограде до революции окончил трехклассную городскую школу и четырехклассное городское училище, а после демобилизации из Красной Армии в 1921 году еще два года учился в вечерней общеобразовательной школе для взрослых: было несомненно, что мое трехступенчатое среднее

образование не подпадало, с его точки зрения, под понятие систематического. Что греха таить — ироническая усмешка наркома несколько уязвила мое самолюбие. Но неблагоприятный вывод, который, судя по всему, складывался у Максима Максимовича, нимало не печалил меня, хотя сам я и не считал его справедливым. Скорее, наоборот: он только укрепляет мою собственную позицию.

Еще более укрепилась она, когда нарком, как бы продолжая отклонять мои мнимые «домогательства», почему-то строгим тоном произнес:

— Учтите, что Наркоминдел никаким жилфондом не располагает. У вас есть своя жилплощадь?

Я ответил отрицательно. В тот момент я вместе с женой и крохотным (меньше года) сыном жил в институтском общежитии на Большой Пироговке. В связи с ликвидацией института дальнейшее проживание бывших аспирантов в общежитии оставалось под вопросом.

— А как вы сами относитесь к тому, что вас направляют работать в Наркоминделе? — задал свой третий вопрос нарком.

Я не стал кривить душой.

— Максим Максимович,— сказал я,— у меня есть веские причины не стремиться в наркомат, сотрудники которого рано или поздно отправляются за границу. При нынешних семейных обстоятельствах подобная поездка совершенно нежелательна, а вернее, невозможна.— Я в двух словах посвятил наркома в суть моих трудностей и напоследок добавил: — И чтобы быть искренним до конца, я должен заявить, что предпочел бы работе в наркомате научную деятельность.

Наверно, моя откровенность шокировала наркома. Глянув на меня с недоумением и, пожалуй, даже с раздражением, он после краткой паузы сухо промолвил:

— Ценю вашу искренность. Что касается ваших намерений, то чинить вам в этом помехи не стану.

На этом мы расстались.

В тот день и в последующие дни я, перебирая в памяти все детали моего визита в Наркоминдел, пытался постигнуть причины холодного, настороженного приема, оказанного мне М. М. Литвиновым. В голову приходили различные предположения, но больше всего я склонялся к мысли о предвзятости. Откуда, однако, она взялась?

Ответ на этот вопрос я нашел лишь спустя некоторое время, когда уже работал в наркомате. А упомянуть об этом считаю уместным сейчас.

Широко известны трагические события 1937—1938 годов, оставившие глубокий след в истории нашей страны. О них сви-

детельствовали и появившиеся вакантные посты во многих учреждениях. Тяжко отразились эти события и на Наркоминделе. В 1937 году в числе многих других были репрессированы полпред СССР в Турции Л. М. Карахан, полпред СССР в Греции М. В. Кобецкий, полпред СССР в Китае Д. В. Богомолов, полпред СССР в Германии К. К. Юренев. В марте 1938 года, то есть непосредственно перед моим приходом в НКИД, был осужден бывший первый заместитель наркома иностранных дел Н. Н. Крестинский. Пострадали и многие рядовые сотрудники НКИД.

В результате всех этих репрессий в Наркоминделе, как в центре, так и на зарубежной периферии, ощущался весьма серьезный недостаток квалифицированных кадров. Ища выход из положения, руководство наркомата вынуждено было подбирать новых работников среди людей, чья профессия и образовательная подготовка зачастую имели мало или не имели ничего общего с подготовкой, необходимой для работы в дипломатическом ведомстве. Какая-то часть из них отсеивалась из-за своей очевидной непригодности еще на пороге наркомата, а другая все же включалась в число его сотрудников. И среди тех, кто закрепился в штате, нередко попадались люди со столь серьезными пробелами в общем и политическом образовании, что им было трудно овладеть сложными и тонкими инструментами новой профессии.

Только познакомившись лично с представителями этой категории новичков — а встречались они на различных ступенях ведомственной иерархии,— сумел я по-настоящему понять, что произошло в феврале в кабинете М. М. Литвинова. Конечно же его в сильнейшей степени тревожила неподготовленность многих из направляемых в наркомат людей, и относился он к ним не без придирчивости. В свете подобной ситуации и надо было рассматривать шероховатость нашей первой встречи. Я не говорю уже о том, как повлияло на ее исход мое нескрываемое нежелание работать в наркомате.

Так или иначе, а тогда этот исход в какой-то мере обнадежил меня. Уж теперь-то, рассуждал я, кадровики ЦК позволят мне, выражаясь по-современному, трудоустроиться по своему усмотрению. На какое-то время для такой надежды появилась и видимость основания — меня больше месяца не вызывали в Центральный Комитет. Но иллюзии, как известно, недолговечны. И в первой половине апреля я уже снова заполнял анкету и писал автобиографию еще для одного учреждения, завершив и этот раунд негативным результатом. Однако конец моих бесплодных усилий был уже не за горами.

13 мая я был вызван в Отдел кадров ЦК, где в одном из каби-

нетов меня представили Владимиру Петровичу Потемкину, первому заместителю М. М. Литвинова. Узнав, с кем я имею дело, я предположил, что произошла какая-то ошибка, и поспешил сообщить Потемкину о своей февральской встрече с Максимом Максимовичем и о его отрицательном решении относительно меня. В ответ я услышал от Потемкина, что он знает об этом и тем не менее хочет побеседовать со мной. Побеседовать в качестве председателя специальной комиссии Центрального Комитета по отбору кадров для НКИД. По его словам, изучая личные дела лиц, состоящих в резерве назначения, он натолкнулся на мою анкету, счел мою кандидатуру подходящей для Наркоминдела и теперь хочет удостовериться в этом сам.

Затем между нами началась долгая и нелегкая беседа. Скорее даже не беседа, а спор, в котором обе стороны проявили неуступчивость. В отличие от наркома Потемкин настойчиво убеждал меня пойти в наркомат. Отрицательное мнение Максима Максимовича он дипломатично расценил как досадное недоразумение, которое необходимо устранить. Мои ссылки на семейные обстоятельства, так же как и на стремление посвятить себя науке, он мягко, но решительно отклонял. «У меня нет сомнений, что ваше место в Наркоминделе» — таков был рефрен всех его доводов. Тогда, отказавшись от дальнейших попыток, я твердо заявил:

— Я вижу, Владимир Петрович, что вы просто-напросто игнорируете всю трудность моего положения. Поэтому, если речь идет о моем согласии, то я должен в последний раз повторить, что не считаю себя вправе браться за дело, которое в перспективе, возможно очень близкой, сулит мне выезд за границу.

Потемкин хмуро свел брови, на минуту задумался, потом с укоризной произнес:

— Экий вы упрямец, товарищ Новиков! Но пусть будет по-вашему. За границу мы вас отправлять не станем. Поработаете у нас в центральном аппарате, а впоследствии, когда ваша семейная проблема уладится, мы с вами, если понадобится, вернемся к этому вопросу. Договорились?

Через два дня меня принял заведующий Отделом руководящих партийных органов Центрального Комитета ВКП(б) Г. М. Маленков. В ходе неторопливой, дружелюбной беседы, разительно отличавшейся от беседы-спора с В. П. Потемкиным, он сообщил мне о состоявшемся решении Секретариата ЦК направить меня в НКИД, затем как бы вскользь спросил: правда ли, что я возражаю против работы за границей? Я ответил утвердительно и вкратце пояснил причину этого, а заодно напомнил об обещании В. П. Потемкина.

— Знаю, знаю, он говорил мне об этом,— улыбнулся Ма-

ленков.— Я гарантирую вам, что без вашего согласия вас никуда не пошлют.

25 мая приказом М. М. Литвинова я был зачислен на должность ответственного консультанта Первого Восточного отдела НКИД. Ответственного консультанта политического отдела!.. Для меня, новичка и профана в дипломатии, это было полнейшей неожиданностью. Любопытно было бы узнать, какими соображениями руководствовался нарком, подписывая подобный приказ? Не забыл же он нашу февральскую встречу, свои колкие поучения и очевидное сомнение в моих возможностях? Ответа на этот вопрос я не находил. На сей раз нарком не приглашал меня к себе, чтобы определить мое служебное положение, а сделал это заочно. Но, в конце концов, основное заключалось в том, что мне было оказано большое доверие, которое я должен был оправдать своей работой.

В круг ведения Первого Восточного отдела входили дипломатические отношения со странами Ближнего и Среднего Востока — Турцией, Ираном и Афганистаном. Кроме того, сектор, ведавший Турцией, вел общее политическое наблюдение за арабскими странами Ближнего Востока, большинство которых находились в колониальной или полуколониальной зависимости от Англии и Франции. С Саудовской Аравией и Йеменом Советский Союз формально имел дипломатические отношения, но практически они не поддерживались.

Мой первоначальный образовательный профиль востоковеда-экономиста со специализацией по Турции, естественно, предназначал меня для работы в турецком секторе отдела. Именно туда я и был направлен.

Начал я, разумеется, не с «ответственных консультаций», а с прилежного ученичества.

Мне, конечно, было чему поучиться у Михаила Семеновича Мицкевича, уже с год работавшего в должности заведующего отделом. Но при всем моем уважении к нему я должен сразу оговориться, что уровень его компетентности в международных отношениях и практических делах Наркоминдела был сравнительно невысок. Говорю я это не в укор ему. Ведь, в сущности, он, вчерашний кандидат биологических наук, был и сам новичком в дипломатической профессии, к тому же обладал сравнительно скромными познаниями о странах Востока, отношениями с которыми ему приходилось ведать. Справлялся он со своей работой главным образом потому, что опирался на своего помощника, ветерана дипломатической службы Анатолия Филипповича Миллера.

В НКИД Анатолий Филиппович работал с 1920 года, участвовал в ряде международных конференций в качестве эксперта, в частности на конференции о черноморских Проливах в Монтрё (1936 г.). По образованию он был востоковедом-ближневосточником, по совместительству преподавал в Московском институте востоковедения и на курсах дипломатических работников при НКИД. Его книгу «Турция» я изучал еще студентом. Стал он моим основным наставником и теперь.

У А. Ф. Миллера я повседневно знакомился с характером деятельности Первого Восточного отдела в целом, со специфическими функциями турецкого сектора, изучал по его указаниям нотную переписку НКИД с турецким посольством в Москве и переписку НКИД с нашим полпредством в Анкаре, штудировал присылаемые из Анкары обзоры турецкой прессы и вообще всю корреспонденцию, не имевшую грифа «секретно». Секретная переписка стала доступна мне немного позднее, когда меня «засекретили». Время от времени мне поручали переводить так называемые вербальные [1] ноты турецкого посольства, касавшиеся по преимуществу текущих вопросов. Переводил я их с французского, на котором по установившейся традиции посольство вело переписку с НКИД. (Ноты НКИД посольству составлялись на русском.) Одновременно со всем этим я уделял должное внимание вопросам дипломатической техники и дипломатического протокола, о чем прежде имел довольно смутное представление.

Пришлось мне освежить в памяти и пополнить знания по проблемам Ближнего Востока, которые я изучал в начале 30-х годов, ведя научную работу в Научно-исследовательском институте монополии внешней торговли и преподавательскую — в Московском институте востоковедения. В наркомате и дома я прочел множество статей в специальных журналах, как советских, так и иностранных, а также перерыл все досье и картотеки собственного домашнего архива. Текущую информацию я черпал из поступавших из Турции газет и журналов на турецком, французском, английском и немецком языках.

Так из усердного новобранца я начал постепенно превращаться в сотрудника, активно участвовавшего в деятельности отдела. И вдруг все мои благие намерения рассыпались прахом, а первые достижения в дипломатической квалификации, казалось, потеряли всякую ценность.

---

[1] Вербальная нота не имела подписи должностного лица и как бы приравнивалась к устному (вербальному) сообщению.

Произошло это так. 13 июля я был приглашен в кабинет заместителя наркома Бориса Спиридоновича Стомонякова, который буднично, словно о чем-то само собой разумеющемся, сообщил мне действительно поразительную новость: меня назначают советником нашего полпредства в Анкаре! Стомоняков предложил мне отправиться в Отдел кадров наркомата и заняться оформлением документов, необходимых для поездки в Турцию.

— Но ведь я же договорился с Владимиром Петровичем о работе только в центральном аппарате! — воскликнул я, изумленный и в то же время возмущенный.— И товарищ Маленков гарантировал, что за границу меня не отправят. Возможно, вы, Борис Спиридонович, просто не в курсе дела? Справьтесь, пожалуйста, у Владимира Петровича, он подтвердит вам мои слова.

Какой наивностью отдавала эта моя тирада! Стомоняков тотчас же доказал мне это, заявив, что действует по прямому указанию Потемкина. Донельзя расстроенный, я ответил, что в Отдел кадров не пойду, а отправлюсь сейчас к Потемкину, чтобы выяснить, чем вызвано его неожиданное указание.

— Ну что ж, выясняйте, выясняйте,— скептически произнес Стомоняков.— Только вряд ли это что-нибудь изменит.

Я направился в секретариат Потемкина.

Здесь я считаю необходимым прервать свое повествование, чтобы с глубоким сожалением отметить, что этой встречей мое знакомство с Борисом Спиридоновичем и ограничилось. Спустя менее месяца он — активный участник революционного движения в России и Болгарии — пал новой жертвой того зловещего процесса в стране, который достиг кульминационного пункта в 1937 году и все еще давал себя знать.

В секретариате Потемкина я попросил его помощника доложить Владимиру Петровичу о моем желании срочно переговорить с ним по важному личному делу. Помощник ответил, что сегодня это неосуществимо, так как в данный момент Потемкин у наркома, затем принимает французского посла, после чего сразу же поедет в Центральный Комитет партии, по-видимому надолго. О времени приема у Потемкина он обещал позвонить мне в отдел.

Звонка от него ни в тот день, ни на следующий я так и не дождался. Позвонил в секретариат сам. Мне сообщили, что о моей просьбе Потемкину доложено, но что он еще не дал никакого ответа. Не дал он ответа и в последующие два дня.

Тогда я решил действовать через Мицкевича. Заявил ему, что требование Потемкина считаю неоправданным, нарушаю-

щим нашу договоренность в Центральном Комитете, а посему выполнять его не стану, о чем прошу официально уведомить наркома. Одновременно вручил ему заявление об отчислении из наркомата — по тем же мотивам — для передачи Литвинову. Мицкевич пытался отговорить меня от такого шага, как опрометчивого. В числе его доводов основными были такие: то, что я «безбожно недооцениваю блестящие перспективы», которые открывает передо мною пост советника — заместителя полпреда, а также то, что мое неподчинение приказу Потемкина чревато для меня крупными неприятностями. Однако разубедить ему меня не удалось.

Начался длительный — почти в полтора месяца — период моего «противоборства» с Потемкиным. Мне было понятно, что надо мною нависла реальная угроза дисциплинарных мер административного и партийного порядка, но продолжал отстаивать свою позицию. Я был твердо убежден в неправоте тех, кто не сдержал своих обещаний. Такой метод казался мне непартийным. Не честнее ли было бы еще в ЦК напрямик отвергнуть все мои возражения и поставить передо мною, как членом партии, вопрос о подчинении в порядке партийной дисциплины? Однако, поскольку там предпочли определенную договоренность, я считал себя вправе добиваться ее выполнения.

Добрую половину июля и почти весь август я провел в мучительном напряжении. День за днем я ждал реакции на свое заявление об увольнении, но от Мицкевича узнавал лишь, что никакой резолюции на нем пока нет. 18 августа он озабоченно сказал, будто в секретариате наркома лежит подготовленный по указанию Потемкина проект приказа об объявлении мне строгого выговора. Но время шло, а приказ этот все почему-то не был подписан. Вместо этого меня дважды приглашали в партком, где прозрачно намекали на то, что надо мною нависает персональное дело. И, вероятно, дело не обошлось бы без строгого партийного взыскания, не получи я помощь с неожиданной стороны — со стороны М. М. Литвинова.

В один прекрасный день в конце августа меня пригласил к себе в кабинет Мицкевич и, сияя улыбкой, торжественно провозгласил:

— От души поздравляю вас, Николай Васильевич! — Не давая мне времени задать недоуменный вопрос, он столь же торжественным тоном продолжал: — Ваша необычайная стойкость в борьбе против несправедливости завершилась полным успехом!

Видя мое нетерпение узнать, о чем конкретно идет речь, Мицкевич торопливо продолжил:

— Я только что из кабинета наркома, где присутствовал при довольно-таки горячей дискуссии между Максимом Максимовичем и Владимиром Петровичем. Спор шел о проекте приказа, подготовленного Потемкиным, о вынесении вам строгого выговора за недисциплинированность.

Он кратко обрисовал ход и характер «дискуссии». Потемкин ратовал за то, чтобы не откладывать дальше подписание приказа, а по мнению Литвинова, в приказе этом вообще нет необходимости. Он сослался на обещание Потемкина при беседе со мною в ЦК и в упор спросил: «За что же теперь, Владимир Петрович, вы ополчились на товарища Новикова? За то, что он опирается на ваше обещание, поддержанное к тому же товарищем Маленковым?» Потемкин сослался на то, будто полагал, что сейчас мои семейные обстоятельства изменились. На это Литвинов возразил: «А вот сам товарищ Новиков в своем заявлении утверждает прямо противоположное». Верх в споре одержал нарком, сказав напоследок: «Оставьте, пожалуйста, товарища Новикова в покое, и пусть он работает в Первом Восточном, где, как мне известно от товарища Мицкевича, он вполне на месте».

— Так что,— закончил свой рассказ Мицкевич,— считайте себя отныне в штате отдела, а на всю эту нервотрепку смотрите как на досадный ухаб на дороге.

— Легко сказать,— отозвался я на столь снисходительную квалификацию этой невеселой истории и, приятно взволнованный, поблагодарил Мицкевича за добрую весть.

Итак, злосчастный период «противоборства» завершился благополучно. Потемкин действительно «оставил меня в покое», и я снова работал в отделе, не тяготясь больше мрачными предчувствиями. Надуманный вопрос о персональном деле начисто отпал.

Но время моего ученичества уже истекало. Нарком окончательно решил оставить меня в центральном аппарате. 20 ноября я был назначен помощником заведующего Первым Восточным отделом по турецкому сектору вместо А. Ф. Миллера, целиком отдавшегося научно-преподавательской деятельности.

Я по-хорошему позавидовал ему. Он добился того, к чему стремился я сам. Но мне поручили ответственное дело, и моя главная задача состояла сейчас в том, чтобы выполнять его наиболее плодотворным образом.

2. Вторая встреча с Турцией

Мою работу в Первом Восточном отделе, а затем и в Ближневосточном можно образно назвать второй встречей с Турцией.

Первая произошла в 1928 году, когда я был направлен в Турцию на шестимесячную студенческую практику. Она позволила мне закрепить освоенный теоретически турецкий язык, изучить повседневный быт и обычаи страны, познакомиться с ее древней и современной культурой. Что касается политического фона Турции 1928 года, то узкие рамки студенческого бытия не позволили получить о нем полного представления.

Иное дело — новая встреча 10 лет спустя — в рамках Наркоминдела. Здесь общественная жизнь в Турции, ее внутренняя и прежде всего внешняя политика были первостепенными объектами моего внимания как работника внешнеполитического ведомства. Здесь мне приходилось соприкасаться с официальными представителями правительства Турции — сотрудниками турецкого посольства разных рангов.

Конкретное содержание советско-турецких дипломатических отношений, так или иначе связанных с деятельностью нашего отдела, я последовательно освещу дальше, но предварительно целесообразно хотя бы кратко обрисовать политическую ситуацию в мире в описываемое время, остановившись несколько подробнее на положении в Турции.

События второй половины 30-х годов нынешнего века со зловещей наглядностью демонстрировали, что мир движется навстречу военной грозе. На планете бушевали злые ветры фашизма, милитаризма, агрессии. В июле 1936 года реакционные испанские генералы подняли с благословения Гитлера и Муссолини контрреволюционный мятеж против республиканского правительства Испании. В помощь мятежникам из Германии и Италии посылались вооружение, немецкие авиационные и танковые части, итальянские пехотные дивизии. Испания превратилась в обширный кровавый полигон, где генералы фюрера и дуче испытывали на испанском населении убойную мощь новых видов оружия, отрабатывали тактику и стратегию предстоящих завоевательных походов в Европе и Африке. На Дальнем Востоке летом 1937 года японские милитаристы развязали многолетнюю захватническую войну против Китая.

В Европе быстрыми темпами осуществлялась агрессивная программа Гитлера. Пользуясь негласным покровительством правящих кругов Англии, Франции и США, он оккупировал в марте 1938 года Австрию и присоединил ее к «третьему рейху». После Австрии ближайшей его мишенью стала Чехословакия. Коварная «мюнхенская» стратегия Англии и Франции, рассчитанная на то, чтобы направить германскую агрессию на восток, против Советского Союза, сделала все, чтобы выдать

Чехословакию на растерзание нацистам. 29 сентября 1938 года в Мюнхене английский и французский премьер-министры Чемберлен и Даладье подписали с Гитлером и Муссолини договор об отторжении от Чехословакии и передаче Германии Судетской области. На очередь встала полная ликвидация Чехословакии как независимого государства. Для внимательных наблюдателей международной жизни не было секретом, что это вопрос близкого будущего, как не было секретом и то, что, охваченный манией господства над всем миром, Гитлер на этом не остановится.

Страны Ближнего Востока служили предметом давних вождений германского и итальянского империализма. После покорения Эфиопии в 1936 году Муссолини вынашивал планы захвата Судана, Египта, Сирии и южных вилайетов Турции.

Среди стран Ближнего Востока Турция занимала особое место. В отличие от них она обладала государственным суверенитетом, однако ее экономика носила полуколониальный характер и мало чем отличалась от экономики Османской империи, слывшей «больным человеком» Европы. Руководители Турции — президент Кемаль Ататюрк и премьер-министр Исмет Инёню проводили курс на достижение ею экономической самостоятельности и на осуществление независимой внешней политики, одним из устоев которой была дружба с Советским Союзом. В этом они встречали полное понимание и содействие со стороны Советского правительства, оказывавшего Турции экономическую и дипломатическую поддержку. Вместе с тем в турецких правящих кругах насчитывалось немало деятелей из среды компрадорской буржуазии, связанной экономическими узами с западными монополиями и склонной поступиться национальными интересами. Эти деятели ориентировались на Запад и чуждались дружбы с Советским Союзом. Их влияние сказывалось в том, что турецкая внешняя политика была подвержена колебаниям и временами отражала непоследовательность в отношениях с советским соседом.

Роль компрадорских кругов особенно усилилась после того, как в октябре 1937 года пост премьер-министра занял Джелаль Баяр, один из крупнейших турецких капиталистов, убежденный сторонник западной ориентации. Возглавляемое им правительство недвусмысленно вступило на путь политического сближения с Англией и Францией, одновременно поддерживая тесные экономические связи с гитлеровской Германией. Но, не закрывая каналов для экономической экспансии последней, турецкие правящие круги в области политической отдавали предпочте-

ние Англии и Франции. Вызывалось это главным образом боязнью агрессии со стороны Германии и Италии. Наибольшую угрозу для Турции в тот момент представляла Италия, не таившая своих целей на Ближнем Востоке и громко бряцавшая оружием на Додеканезских островах и на острове Родосе, всего в 18 километрах от турецкого побережья.

Играя на англо-итальянских противоречиях в бассейне Средиземного моря, турецкое правительство рассчитывало на военную поддержку Англии в случае, если Муссолини от угроз перейдет к действиям. Со своей стороны, исходя из собственных имперских интересов, Англия также добивалась дружественной позиции Турции в назревших средиземноморском и общеевропейском конфликтах. Ее примеру, с некоторым отставанием, последовала и Франция. В 1937 году она пошла навстречу давним притязаниям Турции на так называемый Александреттский санджак (северо-западная часть сирийской территории), заключив с нею соглашение о передаче его под турецкое управление.

10 ноября 1938 года умер Кемаль Ататюрк. Президентом стал Исмет Инёню — один из ближайших соратников Ататюрка со времен национально-освободительной борьбы.

Откликаясь на эти события, газета «Известия» поместила 12 ноября написанную мною по просьбе ее редакции статью «Создатель новой Турции»[1]. В статье воздавалось должное этому выдающемуся политическому деятелю. Отмечена была руководящая роль Кемаля Ататюрка в национально-освободительном движении, его борьба за независимую внешнюю политику, против клерикального мракобесия, за буржуазно-демократические преобразования, за реформы в области культуры. Особо подчеркивалась линия на поддержание и развитие дружественных отношений Турции с Советским Союзом.

Но статья служила не только своеобразным некрологом Ататюрку. Она преследовала и определенную политическую цель. Поэтому, отметив в заключение, что преемником Ататюрка стал его единомышленник и прославленный полководец в годы освободительной войны, я писал: «Это является залогом того, что плодотворная деятельность Кемаля Ататюрка по отстаиванию независимой Турции в сотрудничестве с истинными друзьями мира, в то же время являющимися и искренними друзьями Турции, будет достойным образом продолжена».

Откровенно говоря, эти строки выражали не столько мое убеждение, сколько надежду (не одну лишь мою) на то, что

[1] Статья подписана псевдонимом: «Н. Васильев», под которым я выступал и с другими публикациями в газетах и журналах.

Турция пойдет именно этим курсом. Как видно из сказанного выше, осенью 1938 года прочного основания для уверенности в этом не было. Зато появилась новая причина для сомнений — в лице нового министра иностранных дел Шюкрю Сараджоглу, ярого сторонника прозападной ориентации, хотя в начале своего пребывания на этом посту он щедро сыпал заверениями, что дружественная внешняя политика Турции в отношении СССР не изменится.

Курс большой политики в советско-турецких отношениях определялся в ЦК ВКП(б) и Совнаркоме СССР, но подготовительная работа для крупных дипломатических акций зачастую проводилась у нас в отделе. Повседневно же отдел, включая его турецкий сектор, занимался тем, что можно назвать текущими вопросами дипломатических отношений.

Решали мы их по преимуществу с помощью нотной переписки с посольством Турции и переписки с компетентными советскими органами. Я не собираюсь вдаваться в подробности всей нашей «дипломатической кухни», в которой немалую роль играла чисто канцелярская работа. Мне хотелось бы остановиться только на двух из большого числа текущих вопросов, которые проходили через турецкий сектор: на пограничных инцидентах и «арестных делах». Вопросы эти, к сожалению, основательно омрачали советско-турецкие отношения.

Пограничные инциденты, увы, были довольно частым явлением. Наркомвнудел, в чьем ведении находилась охрана государственных границ, сплошь да рядом извещал НКИД то о том, что турецкие пограничники обстреляли наш наблюдательный пост, то о том, что они углубились на некоторое расстояние на нашу территорию, то о попытке прикрыть огнем нелегальную переправу диверсанта или контрабандиста. Во всех этих случаях необходимые практические меры принимались на месте нашими пограничными властями — иногда путем заявления протеста турецким пограничным властям, а иногда и с помощью оружия. Но, получив от НКВД соответствующее уведомление, НКИД в свою очередь посылал посольству подробную ноту о происшествии и в зависимости от серьезности инцидента протестовал — с различной степенью строгости — против актов, подрывающих добрососедские отношения.

Значительный удельный вес в сношениях с посольством принадлежал «арестным делам». Возникали они в связи с задержанием органами госбезопасности турецких граждан по обвинению их в разведывательной деятельности или в ином нарушении советских законов. Всякий раз, когда турецкому посоль-

ству становилось известно об очередном случае ареста, оно просило НКИД сообщить о его причине и об участи арестованного. Тогда отдел сносился с компетентными органами и, получив от них надлежащие сведения, сообщал их в ответной ноте посольству. Как правило, в качестве причины арестов фигурировал шпионаж, а в качестве последствий его — осуждение виновного на тюремное заключение или высылку. Шпионская деятельность турецкой разведки не менее, чем пограничные инциденты, отравляла взаимоотношения двух соседних стран.

Наряду с ведением нотной переписки по этим и иным, весьма разнообразным вопросам мне, как помощнику заведующего отделом, приходилось принимать у себя представителей посольства. Первым турецким дипломатом, с которым я свел знакомство, был первый секретарь Фахри Сервет. Но вскоре вместо него ко мне зачастил советник посольства Зеки Карабуда, хотя дипломат такого ранга мог бы встречаться с заведующим отделом.

По словам советника, он предпочитал иметь дело со мной по той простой причине, что ему было куда удобнее и приятнее объясняться без переводчика — ведь беседовали мы с ним по-турецки. Наши беседы обычно затягивались, но не только из-за важности обсуждаемых дел. Карабуда был очень словоохотлив и всегда готов поговорить на любую тему, даже если она не имела отношения к его дипломатическим обязанностям, в частности о бытовавших в дипкорпусе не очень-то почтенных нравах.

Полтора месяца спустя после моего назначения помощником заведующего круг моих служебных связей с дипкорпусом неожиданно расширился. В начале января 1939 года М. С. Мицкевич ушел в месячный отпуск, и обязанности заведующего отделом были временно возложены на меня. Теперь в числе моих собеседников помимо Зеки Карабуды оказались советники иранского и афганского посольств. Беседы с иранским советником я вел самостоятельно — то по-французски, то на фарси (в таджикском варианте, который усвоил в бытность в Таджикистане в 1933—1935 годах), а с афганским — через нашего сотрудника-афганиста, хорошо владевшего английским разговорным языком, в котором сам я был недостаточно силен. Но и в первом случае на моих беседах присутствовал референт-иранист, к помощи которого я прибегал, когда — по понятным причинам — оказывался не в курсе какого-либо вопроса.

Мои временные обязанности повлекли за собою расширение служебных контактов и в самом Наркоминделе. В отсутствие

Мицкевича я должен был дважды, а то и трижды в неделю являться на доклад к М. М. Литвинову, которому непосредственно подчинялся наш отдел. Я информировал его о ходе дел и ставил перед ним вопросы, требовавшие его санкции или визы на каком-нибудь документе. Сознаюсь чистосердечно, на первых порах эти доклады были для меня изрядным испытанием, потому что, несмотря на мою, казалось бы, тщательную подготовку к каждому докладу, нарком непременно нащупывал в нем какой-нибудь изъян и ворчливо на него указывал. Чаще всего это относилось к иранским и афганским делам. Он не считался с кратковременностью моего знакомства с этими делами, требовал точных ответов и обрывал меня, когда они казались ему расплывчатыми.

Но резкость критических замечаний наркома вовсе не означала, как вскоре выяснилось, что у него сложилось отрицательное мнение обо мне как работнике дипломатического ведомства. Судя по всему, трудный искус в роли врио заведующего Первым Восточным отделом я, в его глазах, выдержал не столь уж плохо. Иначе чем объяснить, что через два месяца с небольшим он подписал приказ о моем повышении в должности?

С 13 апреля я работал уже в качестве заместителя заведующего отделом, что, впрочем, не слишком сильно отразилось на моих обязанностях — они по-прежнему сводились прежде всего к руководству турецким сектором.

Осенью 1938 года, после того как я был наконец переведен из резерва назначения в штат Первого Восточного отдела, на меня были распространены правила дипломатического протокола, которые до того я изучил только теоретически. Это как бы приоткрыло дверь в сферы, советские и иностранные, известные мне лишь по газетным сообщениям. Сначала эпизодически, а затем и систематически я стал получать приглашения на сессии Верховного Совета СССР и РСФСР, на которых обычно присутствуют члены дипкорпуса, на приемы в НКИД по различным торжественным случаям и на приемы в посольствах. Это увеличило число моих знакомств среди иностранных дипломатов.

Мой дебют в этой «светской» сфере дипломатического бытия состоялся 7 ноября 1938 года. В этот день я был в числе счастливых обладателей пропуска на Красную площадь, который давал право прохода на левую четвертую трибуну возле Мавзолея В. И. Ленина. Здесь среди ответственных сотрудников НКИД и членов дипкорпуса наблюдал за ходом военного парада и праздничной демонстрации трудящихся. Впервые за годы жизни в Москве я был не участником демонстрации, а только ее зрителем.

М. С. Мицкевич и А. Ф. Миллер познакомили меня с турецким послом Апайдыном и советником Карабудой, моим будущим собеседником в наркомате, а также с некоторыми иранскими и афганскими дипломатами. А поздно вечером в тот же день я опять встретился с ними — на сей раз на официальном приеме для дипкорпуса, устроенном наркомом.

Не скрою, меня очень порадовал пригласительный билет, в котором говорилось, что «М. М. Литвинов просит Н. В. Новикова с женой пожаловать на прием, имеющий быть 7 ноября с. г. в 22 часа» в Доме приемов НКИД, что на Спиридоновке, 17. Порадовал и, конечно, возбудил большое любопытство. Ведь для меня это был первый дипломатический прием — и притом какой! Самый торжественный после праздничных приемов в Моссовете для советской общественности, что устраиваются накануне октябрьских праздников.

Но была в этом приглашении одна строчка, повергшая меня в уныние: она предписывала мне явиться на прием... во фраке! Шутка сказать — во фраке! Да я его никогда и не видал, разве что на опереточной сцене или в кино. Что же делать? Пополнить свой гардероб этой ветхозаветной хламидой? Не успею. К счастью, мою проблему легко решил заведующий Протокольным отделом Владимир Николаевич Барков [1]. Он разрешил мне и еще нескольким сотрудникам НКИД, очутившимся в таком же «бедственном» положении, прийти в черных костюмах, хотя это считалось отступлением от протокола.

Прием действительно дал много пищи для моей любознательности. Но и только. Для использования его в дипломатических целях я тогда еще был мало подготовлен. Встречая среди многочисленных гостей дипломатов, с которыми утром познакомился на трибуне Красной площади, я чувствовал себя стесненным и в беседах с ними лишь с осторожностью затрагивал щекотливые политические темы. Мне ли, новобранцу дипломатической службы, было сразу бросаться в глубокие воды международных дел?

Другой большой прием, на котором также присутствовал практически весь дипкорпус, состоялся 24 апреля 1939 года — на этот раз в иранском посольстве. Поводом для него явилось, как было сказано в приглашении иранского посла Саеда, «празднование счастливого бракосочетания его шахского высочества наследного принца Ирана». За минувшие полгода я уже приобрел кое-какой опыт и потому в общении с дипломатами чувствовал себя гораздо увереннее, в беседах с ними охотно

[1] В 1941 году В. Н. Барков был необоснованно репрессирован, после XX съезда партии реабилитирован.

касался острых политических проблем — а их в то время было не счесть! — и получал, таким образом, более или менее отчетливую картину настроений в дипкорпусе.

Если коротко охарактеризовать эти настроения, то лучше всего для них подойдут такие понятия, как тревога и смятение. Причин для этого было предостаточно — в первую очередь агрессивные акты держав «оси», следовавшие один за другим. В середине марта 1939 года под грубым нажимом Берлина окончательно капитулировала ослабленная «мюнхенским» предательством Чехословакия: ее самостоятельное государственное существование прекратилось. 23 марта фашистская Германия вынудила Румынию подписать соглашение, по которому румынская экономика фактически ставилась на службу германской военной машине. 7 апреля итальянские войска вторглись в Албанию. Налицо были все признаки и дальнейшей экспансии Германии и Италии на Балканах. А это означало, что назревает серьезная угроза для Турции.

Обеспокоенные этими новыми зловещими событиями, руководящие деятели Турции, в том числе недавно назначенный премьер-министром Рефик Сайдам, решили пересмотреть некоторые аспекты своей внешней политики. Проводившаяся ими до сих пор политика нейтралитета по отношению к захватническим действиям Германии и Италии уступила место поискам более реалистической политики. В апреле 1939 года турецкое правительство вступило в переговоры с Англией с целью заключить с нею пакт о взаимной помощи, одновременно зондируя почву по поводу такого же пакта с Францией. Эти шаги Турции создавали предпосылки для участия ее в системе коллективной безопасности, переговоры о которой — начиная с марта — велись Советским правительством, с одной стороны, и Англией и Францией — с другой. Желая уточнить позицию Турции, Советское правительство направило в конце апреля в Анкару первого заместителя наркома В. П. Потемкина. Его неоднократные встречи с президентом Инёню и министром иностранных дел Шюкрю Сараджоглу позволили установить, как это было сообщено в официальном коммюнике о результатах поездки, «наличие общности взглядов и стремления к укреплению дружбы между обоими государствами в интересах всеобщего мира».

Первый этап англо-турецких переговоров завершился подписанием совместной декларации, оглашенной 12 мая в парламенте премьер-министром Рефиком Сайдамом. В ней, в частности, говорилось, что «в ожидании заключения окончательного согла-

шения английское и турецкое правительства заявляют, что в случае акта агрессии, могущего привести к войне в районе Средиземного моря, они будут готовы к тому, чтобы эффективно сотрудничать и предоставить взаимно друг другу всестороннюю помощь».

Документ был, несомненно, важный, а сам акт турецкого и английского правительств имел непосредственное касательство к переговорам, которые велись в Москве между СССР, Англией и Францией. В связи с этим 15 мая газета «Известия» выразила советскую точку зрения в передовице под заголовком «Англо-турецкое соглашение о взаимной помощи». Написана она была по поручению руководства НКИД мною. В передовице, в частности, говорилось:

«Эту декларацию... следует рассматривать как один из шагов на пути к созданию эффективного фронта мира перед лицом угрозы дальнейшего расширения агрессии. Под влиянием чрезвычайно обострившейся международной обстановки заинтересованные в мире державы пытаются найти пути и средства, которые дали бы возможность организовать отпор развертывающейся агрессии. Соглашение, которое готовятся заключить Англия и Турция, несомненно, представляет одно из звеньев той цепи, что является единственно действенным средством не допустить распространения агрессии на новые районы Европы...

Советский Союз всегда приветствовал всякие усилия по организации действенной защиты дела мира, откуда бы они ни исходили. Тем с большим удовлетворением Советский Союз рассматривает шаги в этом направлении, предпринятые Турцией, находящейся в дружественных отношениях с СССР».

В подобном поощрительном и дружелюбном тоне выдержана вся передовица.

Этой же актуальной темы — о наметившемся повороте Турции на путь коллективной безопасности — мне приходилось касаться и в других печатных материалах. Для одного из них основой послужил доклад, который я сделал в апреле 1939 года для сотрудников отдела. Доклад этот в переработанном для печати виде был опубликован в июньском номере журнала «Мировое хозяйство и мировая политика» в обстоятельной статье под заголовком «Новое во внешней политике Турции».

Выводы моего апрельского доклада и июньской статьи в журнале совпадали с теми, что содержались в передовице «Известий». В них явственно звучали оптимистические нотки, которые вполне оправдывались новой тенденцией в турецкой внешней политике. Но, вопреки нашим ожиданиям, Турция все же не стала звеном коллективной безопасности.

Выйдя после первомайского праздника на работу, сотрудники Наркоминдела узнали сенсационную новость: Максим Максимович Литвинов освобожден от должности наркома, а на его место назначен Вячеслав Михайлович Молотов, сохранивший за собой пост Председателя Совнаркома СССР.

Замена старейшего советского дипломата, бессменного руководителя Наркоминдела в течение многих лет, и назначение на этот важный пост В. М. Молотова вызвали громкий резонанс не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Нет смысла перечислять высказывавшиеся тогда гипотезы о причинах и возможных последствиях этого события, нередко откровенно злопыхательские, рассчитанные на то, чтобы еще больше отравить международную атмосферу. Реалистически мыслящие люди без особого труда постигли значение перемены в руководстве дипломатическим ведомством.

В НКИД объясняли освобождение Литвинова той тревожной ситуацией, которая сложилась в мире к весне 1939 года. Все более наглые захватнические действия Германии, Италии и Японии не оставляли места для сомнений в том, что дело быстро идет ко второй мировой войне. Дипломатия лондонских и парижских «мюнхенцев» делала лихорадочные усилия, чтобы толкнуть агрессоров на восток, против Советского Союза. В то же время в Москве шли переговоры по актуальнейшему вопросу о создании системы коллективной безопасности — преграды против агрессии. Мы говорили иностранным дипломатам, что в этих условиях вопросы внешней политики приобретали важнейшее значение и требовали к себе самого пристального внимания Советского правительства и что непосредственное руководство Наркоминделом лично Председателем Совнаркома было именно актом такого внимания.

Но в НКИД упорно ходили слухи о том, что высшее руководство не устраивали позиции, которые занимал Литвинов по некоторым внешнеполитическим вопросам, в особенности в оценке политики Англии и Франции.

С новым наркомом мы, сотрудники Первого Восточного отдела, познакомились в тот же день — 3 мая. Часа в три всех нас пригласили в кабинет М. С. Мицкевича, куда через непродолжительное время вошел В. М. Молотов, поочередно обходивший политические отделы. Его сопровождали В. П. Потемкин и еще какие-то, в тот момент неизвестные нам лица. Потемкин представил Молотову Мицкевича, а тот в свою очередь представил новому наркому одного за другим сотрудников отдела.

Молотов здоровался со всеми за руку, расспрашивал о выполняемой работе, добродушно шутил. Разумеется, в этом подчеркнутом демократизме наркома было что-то показное. Однако

его неожиданный визит в отдел и доброжелательный, отнюдь не начальнический тон бесед произвели на нас выгодное впечатление.

Приход в наркомат В. М. Молотова повлек за собою много новшеств. Из прежних заместителей наркома в НКИД остался один только Потемкин, да и то ненадолго.

Одним из новшеств, касающихся уже Первого Восточного отдела, явилось подчинение его одному из новых заместителей наркома, тогда как раньше отделом руководил сам нарком. Отмечу, наконец, реорганизацию некоторых политических отделов, которая отразилась на моем служебном положении. 20 июня 1939 года Первый Восточный отдел был упразднен, а на его основе созданы два других отдела: Средневосточный и Ближневосточный. Первый ведал Ираном и Афганистаном, второй — Турцией, арабскими странами Ближнего Востока и отношениями с Болгарией и Грецией, переданными ему из Восточноевропейского отдела. Заведование Средневосточным отделом было возложено на Мицкевича, а Ближневосточным — на меня. За отсутствием в штате референта-арабиста общее наблюдение за политическими событиями в арабских странах лежало на мне лично.

3. Начало второй мировой войны

21 июня 1939 года, на другой день после моего вступления в должность заведующего Ближневосточным отделом, я по приглашению турецкого посла З. Апайдына и его супруги был на приеме в турецком посольстве. Прием этот именовался «пятичасовым чаем», хотя, сказать по правде, чаем на подобных приемах интересуются меньше всего. В парадных помещениях посольства толпилось множество членов дипкорпуса, явившихся для того, чтобы попрощаться с послом — в скором времени он покидал Москву.

Беседовал я по большей части с теми из приглашенных, с кем уже встречался ранее по долгу службы, и с моими новыми «подопечными» коллегами по дипкорпусу — болгарским и греческим посланниками и их советниками. Познакомил меня с ними В. Н. Барков, одетый, как и подобает шефу протокола, в безупречно скроенный смокинг и щеголявший холеной рыжеватой бородкой.

Посол Апайдын, осведомленный Барковым о моем новом назначении, по-восточному витиевато поздравил меня. В последующей беседе мы с ним коснулись некоторых событий того

периода, в частности франко-турецких переговоров о взаимной помощи. Апайдын сообщил, что они близятся к концу и со дня на день можно ожидать подписания декларации, аналогичной англо-турецкой декларации от 12 мая. (Подписана она была действительно через день — 23 июня.) Тогда я спросил Апайдына, как обстоит дело с переходом от предварительных деклараций к предполагаемому основному договору о взаимной помощи с Англией и Францией? В ответ он многозначительно сказал:

— Ну, господин директор, вы не хуже моего знаете, что этот договор во многом зависит от хода переговоров между Москвой, Лондоном и Парижем. Ведь у Турции и Советского Союза общая цель в вопросе о коллективной безопасности, а судьба ее сейчас определяется тремя великими державами. Будем надеяться, что судьба эта сложится благоприятно для всех нас.

Уклонялся он от более ясного ответа, имея на то достаточный резон. Начавшиеся в мае переговоры между правительствами СССР, Англии и Франции о создании системы коллективной безопасности в Европе протекали с крайней медлительностью, притом в обстановке, которая заставляла сомневаться в искренности желания западных держав достичь этой цели. Апайдын был прав, придавая этим переговорам ключевое политическое значение. Мне оставалось только разделить его надежду.

Новым для меня протокольным делом явилась церемония вручения верительных грамот вновь прибывшим в Москву послом Турции Али Хайдаром Актаем. В назначенный день я заблаговременно приехал через Боровицкие ворота в Большой Кремлевский дворец. Некоторое время спустя туда же приехал заместитель наркома Деканозов, курировавший Ближневосточный отдел [1]. Вместе с ним я поднялся на второй этаж в кабинет Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина. Замнаркома познакомил меня с ним и с находившимся в кабинете секретарем Президиума Верховного Совета А. Ф. Горкиным. А через несколько минут появился В. Н. Барков и сообщил, что турецкий посол и сотрудники посольства прибыли в Кремль. Это был сигнал к началу церемонии.

Михаил Иванович в сопровождении Горкина, замнаркома и меня вышел в Екатерининский зал, куда из других дверей

[1] 23 декабря 1953 года Специальным Судебным Присутствием Верховного суда СССР В. Г. Деканозов в числе других соучастников антисоветской изменнической группы Л. П. Берии приговорен за измену Родине и иные преступления к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

одновременно в сопровождении Баркова вошел Али Хайдар Актай со свитой из дипломатических сотрудников посольства. Примерно в центре зала, на небольшом расстоянии друг от друга, обе группы остановились, и Актай произнес краткую приветственную речь, после чего вручил М. И. Калинину свои верительные грамоты. Так же кратко ответил послу и М. И. Калинин, затем представил ему поименно своих трех спутников, а посол — также поименно — своих сотрудников. Теперь в зал впустили фотографов, и они сделали несколько групповых снимков всех участников церемонии. Завершилась она в кабинете М. И. Калинина, куда он пригласил А. Х. Актая. Вместе с послом в кабинет прошли только Горкин, замнаркома и я. Моя роль там была очень скромной — я лишь переводил дружескую беседу между Калининым и Актаем. Замнаркома и Горкин в ней почти не принимали участия.

Помимо упомянутой выше франко-турецкой декларации от 23 июня в подведомственных отделу странах в летние месяцы никаких крупных событий не произошло. Но в остальной Европе политическая напряженность непрерывно возрастала, достигнув к середине августа критического уровня. Одним из важнейших факторов этой напряженности была двойная игра Англии и Франции, явившаяся причиной безрезультатности московских переговоров. Соглашаясь на словах на заключение с СССР пакта о взаимопомощи против гитлеровской агрессии, Англия и Франция фактически саботировали переговоры, проводя, в сущности, прежнюю «мюнхенскую» линию, рассчитанную на то, чтобы столкнуть Германию и Советский Союз, а самим остаться в позиции «третьего радующегося».

Советское правительство разгадало их планы и сделало для себя необходимые выводы. Когда полная бесперспективность переговоров стала очевидной, оно — в поисках путей обеспечения безопасности Советской страны — приняло предложение германского правительства заключить договор о ненападении. 23 августа договор был подписан в Москве народным комиссаром иностранных дел В. М. Молотовым и министром иностранных дел Германии Риббентропом.

Нельзя не упомянуть о том взрыве ярости, с которой договор был встречен правящими кругами Англии и Франции, а также в ориентировавшихся на них странах. Нашим недругам удалось сбить с толку и часть друзей Советской страны за рубежом. Не было поначалу ясного понимания радикально изменившейся обстановки и среди части советских людей. Многим, очень многим из нас крайне претил договор с нацистской Германией,

чьи агрессивные деяния и не менее агрессивные дальнейшие замыслы ни для кого не являлись секретом. Кое-кто вообще даже ставил под сомнение целесообразность такого шага советской дипломатии.

Само собой разумеется, что соответствующие разъяснения свыше давались и в тот момент. Но этим разъяснениям была свойственна известная недоговоренность.

В конце августа польско-германский конфликт из-за Данцига (Гданьска) достиг своего апогея. Со дня на день можно было опасаться начала войны.

И она началась. 1 сентября германские войска вторглись в Польшу. 3 сентября английское и французское правительства, до того не сделавшие ничего, чтобы склонить Польшу к принятию советской помощи, перед лицом немецкой агрессии объявили Германии войну, не оказывая Польше реальной военной помощи.

Польская армия отчаянно сопротивлялась неизмеримо более сильному противнику, но сдержать его натиск не смогла. Польша тщетно взывала о помощи с Запада, а помощь Советского Союза ее правительство категорически отвергло еще летом в ходе московских переговоров. Пожар войны вплотную приближался к границам Советского Союза.

Перед лицом потенциальной опасности Советское правительство не оставалось пассивным. 17 сентября части Красной Армии начали освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. В течение нескольких дней обширные территории Западной Белоруссии и Западной Украины оказались под защитой Красной Армии. Таким образом, была воздвигнута дополнительная преграда для рвущихся на восток гитлеровских полчищ.

Одновременно Советское правительство предложило Латвии, Литве и Эстонии подписать пакты о взаимопомощи. В конце сентября — начале октября все три пакта были подписаны, и в силу их в некоторые стратегически важные пункты прибалтийских стран были введены части Красной Армии, создав новый заслон против возможной немецко-фашистской агрессии в этом направлении.

4. Война и Ближний Восток

Насыщенный бурными военными событиями сентябрь 1939 года явился также началом необычайного по своей продолжительности визита в Москву турецкого министра иностранных дел Шюкрю Сараджоглу. Формально это был ответный визит —

в ответ на поездку в Анкару в апреле — мае этого года первого заместителя наркома В. П. Потемкина. Фактически же в ходе визита Сараджоглу намечалось продолжить начатый в Анкаре обмен мнениями о мерах совместной обороны против возможной агрессии.

Как я уже упоминал выше, после опубликования 12 мая предварительной англо-турецкой декларации о взаимной помощи и 23 июня — аналогичной франко-турецкой декларации Турция продолжала вести с Англией и Францией переговоры о заключении официального трехстороннего пакта о взаимной помощи. Не прекратились эти переговоры и после того, как началась вторая мировая война, хотя ситуация теперь коренным образом изменилась: Англия и Франция, партнеры Турции по обсуждаемому пакту, уже находились в состоянии войны с Германией.

Приглашая Сараджоглу в Москву, Советское правительство стремилось не только удержать Турцию вне войны, но и укрепить советско-турецкую дружбу, изрядно поколебленную в предыдущие годы. Публичные и конфиденциальные заверения турецких руководителей весной и летом 1939 года позволяли надеяться, что турецкое правительство трезво оценит ситуацию в Европе, сложившуюся в связи с войной, и воздержится от внешнеполитических шагов, которые сделали бы ее орудием в руках враждебных Советскому Союзу сил. Однако турецкая дипломатия, возглавляемая рьяным «западником» Шюкрю Сараджоглу, ставила перед собой иную, далеко идущую цель, вскрывшуюся в ходе советско-турецких переговоров в Москве.

Рассчитывая на обсуждение и подписание важного документа, Сараджоглу взял с собой группу высокопоставленных чиновников МИД.

20 сентября он со своей свитой в обществе советского полпреда в Анкаре А. В. Терентьева прибыл пароходом в Одессу. Встретить его там в качестве представителя Наркоминдела и сопровождать до Москвы в поездке было поручено мне. От турецкого посольства его встречал советник Зеки Карабуда. Когда на расцвеченном советскими и турецкими государственными флагами портовом причале к нам присоединились представители местных советских властей, то составилась весьма внушительная делегация встречающих. Мы поднялись на палубу парохода, подошли к группе высоких гостей, и здесь я приветствовал их от имени наркома, после чего представил ему всех встречающих от советской стороны. С не меньшей помпой прошли проводы Сараджоглу на вокзале, вплоть до посадки его в салон-вагон, в котором мы с Карабудой приехали из Москвы.

Дорога до Москвы, требовавшая в те времена почти двух суток, проходила на первых порах довольно однообразно. Сараджоглу уединился в своем купе с Карабудой, видимо, для получения информации о политической обстановке в Советском Союзе в условиях начавшейся войны в Европе. Уединились и мы с А. В. Терентьевым, моим компаньоном по купе.

От Алексея Васильевича я узнал много интересного. В частности, то, что англо-франко-турецкие переговоры практически завершены и что соответствующий пакт готов к подписанию, дата которого в значительной степени будет зависеть от результатов миссии Сараджоглу.

За совместными завтраками, обедами и ужинами в салон-вагоне было оживленно и весело. Министр умеренно пил, благодушно шутил, провозглашал тосты. Не отставали от него и сотрапезники, как турки, так и мы с Терентьевым. В первый же день пути выяснилось, что Сараджоглу заядлый шахматист, и я вызвался составить ему компанию за шахматной доской. Противник он был не из очень серьезных. Учтя это, я играл без напористости, охотно разрешал ему брать неудачные ходы обратно и благодаря такой тактике сумел проиграть половину партий. Он шумно радовался каждой победе, подсмеиваясь надо мной, и чувствительно огорчался при поражениях.

В Москве Сараджоглу встречали с подобающей его рангу пышностью. На перроне Киевского вокзала прибытия поезда ожидали: два заместителя наркома иностранных дел — В. П. Потемкин и В. Н. Деканозов, заместитель председателя Моссовета Д. Д. Королев, генеральный секретарь НКИД А. Е. Богомолов, заведующий Протокольным отделом НКИД В. Н. Барков, комендант города Москвы полковник Ф. И. Суворов, ответственные сотрудники НКИД, весь дипломатический персонал турецкого посольства во главе с послом Али Хайдаром Актаем и многие члены дипломатического корпуса.

26 сентября после первых контактов Сараджоглу с В. М. Молотовым последний дал в Кремле завтрак в честь турецкого министра. В числе приглашенных были все его сотрудники, посол Актай и советник Карабуда, а с советской стороны — Потемкин, Деканозов, Терентьев и я. Завтрак проходил в очень непринужденной, я бы даже сказал, теплой дружественной атмосфере. Произносились велеречивые — и опять же очень дружественные — тосты, главным образом Молотовым и Сараджоглу. Когда тост произносил нарком, переводил его турецким гостям по-французски Потемкин. Сараджоглу провозглашал свои тосты по-турецки. Поднимаясь с бокалом в руке, он с дружелюбной улыбкой кивал мне. Это означало, что он приглашает меня сделать перевод, что я, конечно, и делал.

Но дружеская атмосфера, царившая за банкетным столом, увы, мало способствовала прогрессу в переговорах. После первой деловой встречи между Молотовым и Сараджоглу начавшийся было обмен мнениями надолго приостановился. Член советской делегации на переговорах А. В. Терентьев однообразно — в течение двух недель — сообщал мне, что дата нового свидания пока не назначена, что турецкий министр в сильном недоумении, что он начинает нервничать.

Официально пауза в переговорах мотивировалась чрезмерной занятостью главы нашей делегации В. М. Молотова. Но этот факт не объяснял всего. Со слов Терентьева я знал, что основная причина заключалась в неприемлемости предложений турецкой делегации, менять которые турецкое правительство не проявляло склонности. Тем временем положение обострилось еще больше: из Анкары было получено сообщение, что 28 сентября представители турецкого правительства парафировали (то есть предварительно подписали инициалами) англо-франко-турецкий договор о взаимной помощи.

Не пожелало турецкое правительство изменить свою позицию и тогда, когда деловые контакты между делегациями возобновились. В конечном итоге неуступчивость турецкой стороны предопределила безрезультатность московских переговоров.

Турецкое правительство, готовившееся со дня на день вступить в военный союз с Англией и Францией, одновременно намеревалось заключить пакт о взаимопомощи с Советским Союзом и стать, таким образом, связующим звеном между ним, с одной стороны, и Англией и Францией — с другой. Но согласие Советского Союза на подобную внешнеполитическую комбинацию противоречило бы статье IV недавно подписанного советско-германского договора о ненападении, в которой говорилось: «Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать ни в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны».

Тем не менее в опубликованном по завершении визита Сараджоглу коммюнике обо всем этом и слова не говорилось. Оно было кратким и умеренно дружелюбным. Его текст гласил:

«Пребывание в Москве Министра Иностранных Дел Турции г-на Сараджоглу, приехавшего в СССР с ответным визитом, послужило поводом для всестороннего обмена мнениями между представителем Турецкого Правительства и Правительством Советского Союза по вопросам взаимоотношений СССР и Турецкой Республики.

Этот обмен, происходивший в атмосфере сердечности, вновь подтвердил неизменность дружеских отношений между Совет-

ским Союзом и Турцией и общность стремлений обоих правительств к сохранению мира.

Оба правительства пришли к заключению о желании поддерживать и впредь контакт для совместного обсуждения вопросов, интересующих Советский Союз и Турецкую Республику».

В день опубликования коммюнике я спросил у Терентьева, зашедшего ко мне в кабинет, не слишком ли оно обтекаемо и далековато от существа дела? Терентьев с досадой махнул рукой и промолвил:

— Ты прав, Николай Васильевич! Но так было решено. Чтобы переговоры выглядели по возможности лучше, понимаешь? При данной ситуации...

— По поговорке — хорошая мина при плохой игре? — скептически заметил я.

— Выходит, что так,— хмуро согласился полпред.

18 октября Шюкрю Сараджоглу вместе со своими спутниками двинулся в обратный путь. Проводы на Курском вокзале происходили с такой же торжественностью, как и при встрече. Участие в них принимали все те же лица — от Наркоминдела, от столичных властей, турецкого посольства и дипкорпуса. На меня снова была возложена обязанность сопровождать турецкого министра — на этот раз до Севастополя, откуда в Стамбул его должен был доставить советский эсминец.

По дороге в Севастополь в салон-вагоне царило уныние. Коснулось оно не только турецкой части пассажиров, но и меня с А. В. Терентьевым, возвращавшимся на свой пост в Анкару. Он, как и я, предвидел неизбежный период трудностей в советско-турецких отношениях. Оставаясь наедине, мы немало говорили с ним на эту тему и пытались предугадать дальнейшие шаги турецкой дипломатии. Надо сказать, что действительность последующих лет превзошла наши наихудшие предположения.

Вечером в первый день путешествия Сараджоглу, уже облаченный в теплый домашний халат, предложил мне опять помериться с ним силами на шахматной доске. Мы сели играть, и тут я, невольно поддавшись чувству неудовлетворенности, в которое поверг меня исход переговоров, начисто забыл о дипломатическом такте. Не делая министру никаких скидок на его высокое положение, я выиграл у него подряд три партии. Крайне раздосадованный, Сараджоглу смешал на доске фигуры четвертой, безнадежной для него партии, буркнул себе под нос: «Кя-афи!» («Хватит!») — и удалился в свое купе.

— Ах, что вы наделали, господин директор! — с притворным ужасом схватился за голову присутствовавший при этом Карабуда.— Вы лишили его сна на всю ночь.

Я посмеялся с ним заодно, но подумал, что если министра и впрямь будет сегодня ночью мучить бессонница, то причин для этого у него достаточно и без поражения в шахматной баталии. Как бы там ни было, а игра на следующий день не возобновлялась. В душе я слегка корил себя за вчерашнюю «недипломатичную» игру, но значения этого эпизода не переоценивал.

Возвратившись 22 октября из Севастополя в Москву, я узнал, что 19 октября, то есть в тот день, когда Сараджоглу еще только приближался к Севастополю, в Анкаре был подписан англо-франко-турецкий договор о взаимной помощи.

Это было значительное, хотя и не неожиданное событие. По Анкарскому договору Турция обязывалась оказывать Англии и Франции помощь в случае, если эти державы будут вовлечены в военные действия в зоне Средиземного моря и на Балканах. Соответственно Англия и Франция обязывались оказывать Турции помощь, если она будет вовлечена в войну в том же географическом районе. Таким образом, по сути этого договора Турция не могла уже считаться нейтральной по отношению к начавшейся войне в Европе. Для ее внешнеполитического статуса больше подходило понятие страны — военного союзника, в данный момент, однако, не воюющего.

31 октября в своем докладе на внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР В. М. Молотов внес полную ясность в вопрос о советско-турецких переговорах.

«О существе этих переговоров,— так сказал он,— пишут за границей всякую небылицу... На самом деле речь шла о заключении двустороннего пакта взаимопомощи, ограниченного районами Черного моря и проливов. СССР считал, что заключение такого пакта не может побудить его к действиям, которые могли бы втянуть его в вооруженный конфликт с Германией, это во-первых, и что СССР должен иметь гарантию, что ввиду угрозы войны Турция не пропустит военных кораблей нечерноморских держав через Босфор в Черное море, это во-вторых. Турция отклонила обе эти оговорки СССР и тем сделала невозможным заключение пакта...

Как известно, правительство Турции предпочло связать свою судьбу с определенной группировкой европейских держав, участвующих в войне. Оно заключило пакт взаимопомощи с Англией и Францией, уже два месяца ведущими войну против Германии. Тем самым Турция окончательно отбросила осторожную политику нейтралитета и вступила в орбиту развертывающейся европейской войны».

На сессии я сидел в одной из лож для дипкорпуса по соседству с турецким послом Актаем и видел, как он насупился, когда переводчик перевел ему это место доклада Молотова.

С чрезвычайной заинтересованностью следили за обсуждавшимися на этой сессии вопросами иностранные дипломаты, часами просиживавшие в зале в течение всей трехдневной сессии и безумолчно комментировавшие их в кулуарах во время перерыва. Немало часов проводили в их обществе и ответственные работники Наркоминдела, чьей задачей было выявлять настроения в дипкорпусе, как бы держа руку на его пульсе.

Отголоски толков и пересудов, раздававшихся в кулуарах сессии и продолжавшихся в посольских особняках, докатились и до Спиридоновки, 17, где 7 ноября состоялся традиционный праздничный прием для дипкорпуса.

Многое отличало этот прием от прошлогоднего. Отмечу лишь три отличительные черты. Во-первых, то, что устраивался он не только от имени народного комиссара иностранных дел, но прежде всего от имени Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Поэтому в числе приглашенных можно было видеть немало членов Советского правительства, чего раньше не наблюдалось. Вторая отличительная черта являлась прямым следствием войны. В залах особняка на каждом шагу сталкивались, «не замечая» друг друга, французские и английские дипломаты, с одной стороны, германские — с другой. Такую же, правда уже застарелую, «слепоту» при нечаянных встречах обнаруживали дипломаты китайские и японские. И наконец, на приеме отсутствовали дипломаты Чехословакии и Польши, ставшие жертвами гитлеровской агрессии. В состав дипкорпуса в Москве они влились вновь только летом 1941 года.

Выбыли вскоре из его состава — уже по иной причине — и финские дипломаты. Переговоры в октябре — ноябре 1939 года между правительствами СССР и Финляндии о некотором изменении советско-финляндской государственной границы, к сожалению, не увенчались успехом. Обострившиеся в результате этого отношения осложнялись с каждым днем. Между двумя соседними странами начались военные действия, завершившиеся подписанием мирного договора 12 марта 1940 года.

Осень 1939 года, столь богатая событиями огромного масштаба как внутри нашей страны, так и на международной арене, оказалась для меня знаменательной и в личном плане. Наркомат выделил мне квартиру в одном из новых домов на застраивавшейся тогда Большой Калужской улице (ныне часть Ленинского проспекта). Трудно передать, с каким волнением я держал в руках ордер, дававший мне право занять три комнаты в благоустроенной квартире! И легко понять, с какой радостью мы покинули нашу комнатенку в аспирантском общежи-

тии, что на Большой Пироговской, комнатенку в 14 квадратных метров, в которой мы ютились втроем, не переставая мечтать о маячившем где-то на туманном горизонте новом жилище. И вот мечта сбылась!

Возвращаясь от этого радостного семейного события к основному руслу повествования, я должен остановиться на начавшемся осенью и все возраставшем в зимние месяцы ухудшении внешнеполитического климата для нашей страны. Назову лишь некоторые факты, свидетельствовавшие об этом: 1) яростная антисоветская кампания западноевропейской прессы и радиовещания, как результат открыто враждебной политики правящих кругов Англии и Франции; 2) исключение Советского Союза — под их давлением — из Лиги Наций; 3) раздувание наших трудностей на финском фронте чуть ли не до фантастических масштабов.

Враждебная политика Англии и Франции не ограничивалась только их происками в Лиге Наций и поощрением антисоветской кампании средств массовой информации. Английский и французский генеральные штабы лихорадочно составляли планы нападения на Советский Союз с севера и с юга. Так, Англия готовила к отправке в Финляндию стотысячную армию, а Франция — пятидесятитысячный экспедиционный корпус. Одновременно в подмандатных Франции Сирии и Ливане сколачивалась так называемая «ближневосточная армия» под командованием генерала Вейгана, в задачу которой входила агрессия против советского Закавказья. Численность этой армии, по данным западной прессы, достигала 200—300 тысяч человек. По соседству с нею, на территории Палестины и Египта, располагались английские вооруженные силы численностью до 100 тысяч человек, готовые поддержать французскую «ближневосточную армию» в ее военной авантюре. Первоочередным ее объектом были бакинские нефтяные промыслы — в те годы наша главная база жидкого топлива.

В связи с этими воинственными приготовлениями Англии и Франции, естественно, возникал вопрос о позиции Турции, через воздушное пространство которой намечалось осуществить бомбардировку нефтяных районов Закавказья. Официально эта позиция была обусловлена советско-турецким договором 1925 года о дружбе и нейтралитете. Однако имелось немало признаков того, что фактически турецкое правительство игнорирует этот договор.

Косвенно это можно было заключить и по поведению турецкой прессы. Внезапно она, как по мановению дирижерской

палочки, в унисон с англо-французской прессой развязала ожесточенную антисоветскую пропаганду. Изо дня в день с утомительным однообразием турецкие газеты печатали вымыслы агентств Гавас и Рейтер о «поражении» Красной Армии в Финляндии, о мнимых захватнических планах Советского Союза против Турции и других южных соседей. Печаталось и множество других «оригинальных» измышлений. Совершенно бредовые статьи публиковал на страницах газеты «Сон поста» отставной генерал Эркилет.

Пресмыкательство турецких правящих кругов перед новоиспеченными англо-французскими союзниками не исчерпывалось молчаливым поощрением враждебной Советскому Союзу кампании в печати. Появились симптомы и более серьезного характера. В начале 1940 года советские пограничники зафиксировали несколько полетов вдоль советско-турецкой границы самолетов без опознавательных знаков, полетов с несомненной разведывательной целью. В одном случае самолет даже углубился в воздушное пространство над советской территорией, что вызвало протест как со стороны наших пограничных властей, так и со стороны Наркоминдела. Заявил его турецкому послу Актаю замнаркома Деканозов.

Выслушав протест с недоуменным видом, Актай сказал, что незамедлительно доведет о нем до сведения турецкого правительства и при первой же возможности сообщит ответ Анкары. Появился он вновь в кабинете замнаркома уже на другой день. После кратких протокольных фраз он сказал:

— Я уполномочен моим правительством заявить, что ни один турецкий самолет в указанный день вблизи советской границы не летал и, следовательно, советского воздушного пространства не нарушал.

— Но факт нарушения твердо установлен,— возразил замнаркома и после паузы спросил: — Возможно ли в таком случае, что это был не турецкий самолет?

Посол пожал плечами:

— На этот счет я никакими данными не располагаю. Но если такое предположение подтвердится, то правительство Турции, как я полагаю, примет меры к тому, чтобы факты этого рода не имели места.

Дальнейшие расспросы были бесплодны.

Вечером в тот же день мы обсуждали в отделе этот воздушный инцидент и смысл реакции турецкого правительства. Отмечали, что Актай не отрицал самого факта нарушения, а лишь не хотел, чтобы оно было приписано турецкому самолету.

Фактически же это означало косвенное признание, что над турецкой территорией летают чьи-то чужие самолеты. Турецкое правительство закрывало глаза на то, что авиация Вейгана летает над территорией Турции.

Конечно, тогда мы высказывали только предположения, хотя и подкрепленные логикой фактов. Лишь после войны, когда были опубликованы многие архивные документы и мемуары, стало абсолютно ясно, что турецкое правительство было в курсе агрессивных приготовлений армии Вейгана. Именно в этот период Шюкрю Сараджоглу вел секретные переговоры с французским послом в Анкаре Массигли и Вейганом о возможности использования воздушного пространства Турции для нападения на Советский Союз. Сообщая французскому правительству об итогах своих переговоров с Сараджоглу, Массигли утверждал, что со стороны турецкого правительства препятствий для полетов французских бомбардировщиков не предвидится.

Советское правительство трезво учитывало складывавшуюся на Ближнем Востоке тревожную обстановку и наметившиеся в турецкой внешней политике опасные тенденции и выступило с серьезными предупреждениями по этому вопросу на шестой сессии Верховного Совета СССР 29 марта 1940 года.

Подобные авторитетные заявления играли весьма важную роль в разъяснении советским людям сложной международной обстановки и в разоблачении империалистических интриг. Но делались эти заявления — по понятным причинам — сравнительно редко, тогда как события на международной арене развивались стремительными темпами, создавая подчас калейдоскопически пеструю картину, разобраться в которой непосвященному было не под силу. Поэтому Центральный Комитет партии придавал большое значение повседневной пропагандистской работе по текущим вопросам международного положения — в прессе, по радио, в сети партийного просвещения. В свою очередь руководство Наркоминдела требовало, чтобы в этой работе непосредственное участие принимали ответственные сотрудники наркомата, люди, всесторонне информированные и способные правильно ориентировать своих читателей и слушателей. Призывая нас к широкой пропагандистской деятельности, Молотов поставил нам лишь одно ограничение: выступать в прессе и по радио под псевдонимами — предосторожность отнюдь не лишняя. Она позволяла предотвращать нежелательные спекуляции иностранных дипломатов и журналистов, если бы им вздумалось изображать наши выступления как официальные, каковыми они в действительности не были.

Ряд работников НКИД активно откликнулся на призыв руководства наркомата. В их числе был и я. Большинство своих

статей я публиковал на страницах «Правды», «Известий» и «Красной звезды», но нередко помещал их и в других печатных органах. Тематика моих статей определялась в основном проблемами тех стран, которые входили в круг ведения Ближневосточного отдела. Время от времени я выступал с докладами по текущему моменту в различных аудиториях — гражданских и военных — в Москве, Ленинграде, Смоленске и Орле.

Вышеописанная ситуация на Ближнем Востоке, сложившаяся зимой 1939—1940 годов, коренным образом изменилась весною 1940 года. Решающим фактором этих перемен явилось внезапное превращение «странной войны» на Западе в беспощадную схватку двух империалистических группировок, в схватку не на жизнь, а на смерть.

Оккупировав территории Дании и Норвегии, германские бронированные и моторизованные войска начали затем наступление в Люксембурге, Бельгии и Нидерландах. Только пять дней им понадобилось, чтобы принудить к капитуляции Нидерланды и 15 дней, чтобы поставить на колени Бельгию. Сражавшиеся на территории Бельгии и Северной Франции англо-французские войска потерпели поражение, были прижаты к проливу Па-де-Кале в районе Дюнкерка и в начале июня с большими потерями эвакуированы в Англию. Франция противостояла теперь Германии в одиночестве. Уже 14 июня немцы без боя, точно на параде, вступили в Париж, а 22 июня спешно сформированное правительство маршала Петэна подписало в Компьене акт о капитуляции. Такова трагическая хронология весенне-летних военных событий — закономерных последствий авантюристической «мюнхенской» политики Англии и Франции. Для полноты картины добавлю, что 10 июня Италия, объявив войну терпевшим поражение Франции и Англии, присоединилась к своему победоносному германскому союзнику.

Разгром Франции и вступление Италии в войну повлекли за собою крайне важные последствия для стран Ближнего Востока и Средиземноморского бассейна. Среди них следует прежде всего упомянуть Турцию — в связи с судьбой англо-франко-турецкого договора 1939 года, само существование которого было поставлено под вопрос. Франция, капитулировавшая перед Германией и Италией, перестала быть партнером Турции по этому договору. Для Турции возникла потенциальная опасность использования против нее территорий подмандатных Франции стран — Сирии и Ливана, а может быть, и дислоцированных там дивизий французской «ближневосточной армии».

Учтя изменившуюся расстановку сил в этом районе, турец-

кое правительство совершило поворот в своей внешней политике и пересмотрело свое отношение к Анкарскому договору. Не денонсируя его официально, оно вместе с тем практически отказалось от всех своих обязательств. О совместных военных действиях с оставшимся партнером — Англией — больше не было и речи. Турецкое правительство не оказывало своему партнеру даже политической поддержки.

С особой наглядностью выявился этот новый курс Турции осенью 1940 года, когда Италия, продолжая свою экспансию на Балканах, открыла военные действия против Греции и приблизила тем самым войну к турецким границам — во Фракии и на островах Эгейского моря. Нарастала военная опасность и с территории Румынии, куда той же осенью были введены германские войска. Поставленная перед лицом этих фактов, Турция заявила о своем нейтралитете и одновременно начала зондировать почву для сближения с державами «оси». Несколько позднее, в июне 1941 года, этот зондаж завершился германо-турецким договором о дружбе и ненападении.

5. Горячее лето 40-го года

Весной 1940 года приказом наркома был расформирован, как «некомплектный», Восточноевропейский отдел (откуда в наш отдел еще летом 1939 года перешли Греция и Болгария), а остававшаяся в его ведении одна-единственная страна — Румыния — теперь тоже передавалась в Ближневосточный.

Не скажу, чтобы подобное «прибавление семейства» обрадовало меня. Прежде всего потому, что от этого значительно возрастало число проблем, стоявших перед отделом, причем прибавлялись проблемы, о которых я имел довольно смутное представление. Правда, положение мое отчасти облегчалось тем, что вместе с Румынией в наш отдел переходил и «весь штат» бывшего Восточноевропейского отдела, состоявший из врио заведующего Е. А. Монастырского, назначенного теперь моим помощником, и старшего референта Н. Ф. Паисова, людей сведущих и политически грамотных.

Здесь же попутно упомяну еще об одном «прибавлении семейства» в нашем отделе. 24 июня 1940 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Югославией, дольше всех остальных Балканских стран отказывавшейся иметь дело с Советским Союзом. Ведение текущих сношений с вновь открытой югославской миссией, когда они встали на практическую ногу, было и в этом случае возложено на Ближне-

восточный отдел. Первоначально протекали они довольно пассивно и лишь весной 1941 года приобрели большое значение, о чем я расскажу дальше.

Сейчас же на первом плане у нас были дела румынские. Они властно стали в центр внимания Ближневосточного отдела, на некоторое время отодвинув на второй план отношения с другими странами.

Вызвано это было прежде всего подготовкой к решению вопроса о Бессарабии. Велась она и в высоких инстанциях, и внутри НКИД, и в других компетентных ведомствах, с которыми отдел поддерживал тесный оперативный контакт. Писались справки о Бессарабии (исторические, политические и экономические), о текущей политической ситуации в Румынии, о Буковине (этнографического порядка) и т. д. К участию в этой работе привлекались не только наши «румыны» — Е. А. Монастырский и Н. Ф. Паисов, но и другие референты Балканского сектора.

Бессарабия была оккупирована Румынией в январе 1918 года, а в дальнейшем аннексирована с санкции Англии, Франции, Италии и Японии (Парижский протокол от 28 октября 1920 года). Все попытки народных масс Бессарабии возвратиться в лоно Советской Родины подавлялись.

Советское правительство никогда не соглашалось с аннексией Бессарабии. Об этом оно неоднократно заявляло, пользуясь каждым подходящим поводом. В последний раз об этом говорил В. М. Молотов в своем докладе 29 марта 1940 года на шестой сессии Верховного Совета СССР. «...У нас нет пакта о ненападении с Румынией,— сказал он.— Это объясняется наличием нерешенного вопроса, вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопроса о возвращении Бессарабии военным путем». Его слова были серьезным предупреждением о том, что столь важная проблема не может бесконечно оставаться неурегулированной. Но румынское правительство, лишенное чувства реальности, продолжало игнорировать требования Советского Союза.

19 апреля 1940 года коронный совет Румынии [1] высказался против добровольного возврата Бессарабии, предпочтя в крайнем случае пойти даже на вооруженный конфликт с Советским Союзом.

В изменившейся летом 1940 года международной обстановке подобное положение не могло быть дольше терпимо. Дело шло к неизбежной развязке.

[1] В коронный совет входили все бывшие премьер-министры, все члены тогдашнего правительства, высший генералитет.

Вечером 26 июня Председатель Совнаркома и народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов пригласил к себе румынского посланника Давидеску и сделал ему представление по вопросу о Бессарабии. Процитирую его основную часть:

«Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого, а создавшаяся международная обстановка требует быстрейшего разрешения полученных в наследство от прошлого нерешенных вопросов для того, чтобы заложить, наконец, основы прочного мира между странами, Советский Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу.

Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, население которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава...

Правительство СССР выражает надежду, что Королевское Правительство Румынии примет настоящее предложение СССР и тем даст возможность мирным путем разрешить затянувшийся конфликт между СССР и Румынией.

Правительство СССР ожидает ответа Королевского Правительства Румынии в течение 27 июня с. г.».

Видимо, не вполне еще осознавая, что советские предложения означают бесповоротное крушение замыслов румынских правящих кругов, Давидеску пытался было вступить в дискуссию с Молотовым. Основным его возражением было то, что вопрос о Бессарабии не может быть решен в намеченный короткий срок и требует предварительных обстоятельных переговоров. Ответ на подобное возражение гласил: румынское правительство располагало достаточно большим временем для размышлений и переговоров, однако ничего не сделало для решения проблемы, в силу чего пора от слов переходить к делу.

27 июня король Кароль II созвал на экстренное заседание коронный совет в расширенном составе. В повестке дня стоял только один вопрос — принимать или не принимать советские предложения? Против них решительно выступил бывший премьер-министр профессор Йорга, а также марионеточные «представители» Бессарабии и Буковины. Но противникам соглашения теперь — в отличие от апреля — уже не приходилось рассчитывать на поддержку западноевропейских держав. Разгромленная Франция только что капитулировала, а британский лев еще не успел зализать глубокие раны после поражения

под Дюнкерком. Не оправдался и расчет на помощь фашистской Германии, на которую надеялась румынская дипломатия, ведшая под флагом «нейтралитета» двойную игру. Германия, занятая в тот момент военными действиями на Западе, оставила без внимания призывы тех румынских деятелей, что желали отклонить советские предложения и пойти на риск войны. Поэтому большинство коронного совета постановило действовать в духе рекомендаций посланника Давидеску: в принципе согласиться, а на деле оттянуть решение вопроса по возможности на долгий срок.

Это нашло отражение в ответе румынского правительства, который Давидеску вручил 27 июня Молотову:

«Вдохновляемое тем же, что и Советское Правительство, желанием видеть решенными мирными средствами все вопросы, которые могли бы вызвать разногласия между СССР и Румынией, Королевское Правительство заявляет, что оно готово приступить немедленно, в самом широком смысле, к дружественному обсуждению с общего согласия всех предложений, исходящих от Советского Правительства.

Соответственно Королевское Правительство просит Советское Правительство соблаговолить указать место и дату, которые оно желает фиксировать для этой цели».

Молотов, однако, обратил внимание Давидеску на неопределенность ответа и напрямик спросил, принимает ли румынское правительство два пункта советского предложения о Бессарабии и Северной Буковине. Только тогда Давидеску заявил, что румынское правительство принимает оба эти предложения. Исходя из этого разъяснения, Молотов вручил Давидеску ответ Советского правительства, в котором намечались конкретные мероприятия по эвакуации румынских войск и учреждений из Бессарабии и Северной Буковины в четырехдневный срок. В 11 часов утра 28 июня Давидеску уведомил Молотова о том, что румынское правительство принимает эти условия эвакуации.

Таким образом, дипломатическая стадия решения проблемы была завершена. В тот же день ровно в 14 часов по московскому времени части Красной Армии и пограничных войск перешли советско-румынскую демаркационную линию на всем протяжении Бессарабии и северной части Буковины. Танковые подразделения и мотопехота вступили в Кишинев, Бендеры, Черновицы, Хотин и другие города.

Спустя месяц с небольшим это историческое событие было официально закреплено в решении высшего законодательного органа Советского Союза. 2 августа Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской Советской Социали-

стической Республики, неотъемлемой частью которой стала значительная часть территории Бессарабии. Северная часть Буковины, а также Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии были включены в состав Украинской ССР.

Мирное разрешение советско-румынского конфликта было, бесспорно, одной из крупнейших побед советской внешней политики.

А как это событие сказалось на деятельности Ближневосточного отдела? Скажу прямо: дел у нас намного прибавилось.

В соответствии с соглашением от 28 июня в Одессе приступила к работе смешанная советско-румынская комиссия по урегулированию спорных вопросов, вызванных спешной эвакуацией румынских войск и учреждений из Бессарабии и Северной Буковины. Вопросам этим, казалось, не будет конца. Большинство их решалось в смешанной советско-румынской комиссии, но часть этих вопросов, обычно по инициативе румынской миссии, рассматривалась в дипломатическом порядке. К числу крупных решенных вопросов относилась, в частности, передача румынским властям большого количества вооружения и военного имущества, оставленного румынской армией на эвакуированной территории.

Советская сторона в большинстве случаев шла навстречу просьбам и предложениям румынской стороны, однако последняя, наоборот, сплошь да рядом проявляла упорное нежелание сотрудничать. Так обстояло дело, например, с возвращением на родину уроженцев Бессарабии и Северной Буковины, находившихся в тот момент в Румынии. Румынские власти чинили им в этом всяческие препятствия, в связи с чем Наркоминдел вынужден был заявить румынскому правительству протест и потребовать, чтобы оно обеспечило уроженцам Бессарабии и Северной Буковины свободный выезд к месту их постоянного жительства.

Но если спорные вопросы эвакуации по мере их урегулирования все же уменьшались в числе, то спорные пограничные вопросы, наоборот, множились. И что еще хуже — день ото дня они становились все более и более острыми, зачастую превращаясь в конфликтные.

Почвой для споров и конфликтов этого рода являлись разногласия сторон по поводу определения пограничной линии, в особенности на участке Северной Буковины. При подобном противоречивом подходе на границе повседневно возникали серьезные ее нарушения румынскими пограничниками. Порою они выливались в перестрелки между пограничниками обеих сторон. В таких случаях Наркоминдел посылал румынской

миссии ноты протеста, требуя в то же время, чтобы румынское правительство дало своим пограничным властям указания о необходимости мирного урегулирования разногласий.

Рождались недоразумения и в дельте Дуная, где также не существовало общей точки зрения относительно линии границы. Споры шли вокруг того, по какому из нескольких протоков Килийского гирла (главного рукава Дуная) проходит граница, отчего зависело определение государственной принадлежности нескольких речных островов.

Помочь устранению всех этих споров и недоразумений могла лишь четкая демаркация новой границы, чего и добивался Наркоминдел, поставив соответствующий вопрос перед правительством Румынии. Но последнее не давало на это своего согласия, выдвинув в качестве предварительного условия выполнение советской стороной следующих требований: признание границы в Северной Буковине по румынскому варианту; возвращение Румынии городка Герца и прилегающей к нему местности, как якобы ошибочно включенных в пределы Северной Буковины; определение границы по Килийскому гирлу Дуная — также на основе румынского варианта. Все эти требования отклонялись Советским правительством, как необоснованные, но румынская миссия продолжала на них настаивать, создавая, таким образом, тупик в вопросе о демаркации.

Временами у нас складывалось впечатление, что тупик этот создается преднамеренно, что румынское правительство добивается не урегулирования пограничных споров, а осложнения советско-румынских отношений. Недаром ведь вся румынская пропаганда развернула вокруг этих споров невероятную шумиху, иногда изображая их как угрозу национальному существованию Румынии.

В Москве мы почти до конца июля имели дело с посланником Давидеску. На смену ему 10 августа в Москву прибыл новый посланник — Григоре Гафенку, многоопытный дипломат, до 30 мая 1940 года занимавший пост министра иностранных дел. Будучи министром, он, как и его предшественники, ориентировался по преимуществу на Англию и Францию, с давних пор видевших в Румынии опору их империалистической политики на Балканах и в обширном Дунайском бассейне. В то же время Румыния заигрывала и с другой империалистической группировкой — германо-итальянской, проводя, таким образом, двойственную внешнюю политику, получившую наименование «игры на двух столах».

С началом войны в Европе Румыния провозгласила нейтра-

литет, чтобы выждать удобный момент для присоединения к лагерю победителей и пожать вместе с ними плоды победы. 29 мая 1940 года под влиянием гитлеровских военных успехов на Западе коронный совет под председательством короля Кароля II принял решение «не упорствовать в сохранении нейтралитета» и «приспособиться к реальности», а выражаясь прямолинейно, взять курс на тесное сближение с Германией. На этом совете Гафенку выступал за сохранение нейтралитета при продолжении «игры на двух столах». Но его доводы были отвергнуты королем и большинством совета, вследствие чего он подал в отставку, которая была принята.

Однако месяц спустя тот же Кароль, под чьим нажимом совет дезавуировал политику Гафенку, неожиданно предложил ему поехать посланником в Москву. Гафенку согласился, видимо надеясь на то, что время для двойной игры еще вернется. Но какова бы ни была его позиция в отношении двух враждебных империалистических группировок, для нас важнее всего было знать, что это дипломат с прочно установившейся репутацией реакционного антисоветского деятеля, от которого трудно было ждать нового, более реалистического и дальновидного подхода к проблемам советско-румынских отношений.

Новый посланник действительно во всем пошел по стопам Давидеску. С первых же встреч с руководителями наркомата он неизменно поднимал вопрос о возвращении Румынии Герцы и ее окрестностей, утверждая, будто это исконная румынская территория, никогда не входившая в Северную Буковину и включенная в нее 26 июня по ошибке. При этом он добавлял, что до разрешения вопроса о Герце и о пограничной линии в румынском варианте ни о какой демаркации границы не может быть и речи.

Но для советских дипломатов гораздо важнее бесплодных дискуссий о Герце были бесконечные инциденты на границе, начавшие принимать опасные масштабы. Поэтому в конце августа во время одного из визитов Гафенку в Наркоминдел ему было недвусмысленно заявлено, что продолжение вооруженных провокаций на границе может повлечь за собою серьезные последствия. Посланник обещал довести это предупреждение до сведения своего правительства. К сожалению, ситуация в пограничной полосе Северной Буковины и после этого не изменилась к лучшему.

Перед тем как перейти к еще одной важной проблеме, возникшей в связи с возвращением Бессарабии, а именно к проблеме судоходства на Дунае, здесь уместно рассказать об относя-

щемся к данному периоду частичному изменению в руководстве НКИД.

В середине 1940 года В. П. Потемкин был освобожден от обязанностей первого заместителя наркома в связи с назначением на пост наркома просвещения РСФСР, который он занимал до своей смерти в 1946 году. А вскоре обязанности Потемкина в НКИД были возложены на А. Я. Вышинского. Ряд политических судебных процессов в 30-х годах, в которых он принимал участие то в качестве председателя Специального Присутствия Верховного Суда СССР, то в качестве государственного обвинителя, принесли ему громкую известность. Вся чудовищность его деятельности в те годы стала понятна в полном объеме лишь теперь. В июне 1939 года он стал заместителем Председателя Совнаркома СССР. Будучи назначен первым заместителем Молотова в Наркоминделе, он остался и его заместителем в Совнаркоме.

Нет ничего удивительного, что приход в НКИД этого деятеля вызвал в коллективе наркомата различные толки и предположения. Кое-кто делал вывод, что вскоре, возможно, руководство НКИД будет сменено и что вместо Молотова будет назначен человек еще более покладистый, сиречь менее самостоятельный. Подходящей кандидатурой с этой точки зрения считался А. Я. Вышинский, а его амплуа первого заместителя наркома рассматривалось как своего рода стажировка перед вступлением на новый пост. Я относился к числу тех, кто не видел в этом предположении ничего невероятного, хотя и сомневался в целесообразности его осуществления — особенно при ближайшем знакомстве с новым замнаркома. То, что в начале 40-х годов Вышинский так и не стал наркомом, весьма логично объяснялось разразившейся в 1941 году войной, которая заставила на время отложить решение многих вопросов, в частности и вопроса о смене руководства НКИД. (Министром иностранных дел Вышинский был назначен только в 1949 году.)

Едва весть о назначении Вышинского распространилась среди сотрудников, как тотчас же поползли слухи о его тяжелом характере, о том, что и в Прокуратуре СССР и в Совнаркоме он зарекомендовал себя необычайной педантичностью и мелочной придирчивостью, а также склонностью к третированию своих подчиненных. Слухи эти заранее настроили меня против Вышинского. Мне всегда претили руководители, неуважительно относившиеся к своим сотрудникам. Когда объектом несправедливых и грубых нападок становился я сам, то не оставлял их без отпора, не задумываясь о последствиях. В таких случаях меня иногда зачисляли в разряд строптивых, нуждающихся в «укрощении». Но случалось и так, что, имея дело со мной,

начальникам моим приходилось сдерживать свой не в меру пылкий нрав. Вначале моя антипатия к Вышинскому носила отвлеченный характер, ибо неприятности с его стороны как будто мне не угрожали. Подчиненность Ближневосточного отдела другому замнаркома избавляла меня от частых соприкосновений с ним.

От частых — да, по меньшей мере в 1940 году. Но и редких контактов с ним было достаточно, чтобы убедиться в достоверности неприятных слухов. Первый такой случай представился буквально сразу после того, как Вышинский занял бывший кабинет Потемкина. Связано это было с протокольными визитами, которые главы посольств и миссий наносили новому замнаркома.

Первым из визитеров оказался турецкий посол Али Хайдар Актай. Перед его приходом Вышинский пригласил меня к себе в кабинет, чтобы расспросить о после, о текущих сношениях между НКИД и посольством, а заодно и познакомиться со мною. Знакомство это он провел с подчеркнутой, я бы даже сказал, с приторной любезностью и с другими знаками внимания, резко контрастировавшими с тем, что я о нем слышал. Узнав от меня все, что хотел, Вышинский предложил мне присутствовать при визите посла и переводить беседу. Сам он понимал немного французскую речь, но самостоятельно разговора вести не мог.

Визит Актая, как и ожидалось, носил в основном протокольный характер. Ни Вышинский, ни посол деловых вопросов не затрагивали и ограничились обменом мнениями о некоторых международных событиях. Обменом очень поверхностным, потому что Вышинский — по вполне понятным причинам — малознакомых ему тем избегал.

Беседа протекала довольно гладко. Когда истекло положенное для визита время, Актай распрощался с замнаркома и со мною и двинулся к выходу. И тут произошло нечто, настолько выходящее за рамки протокола, строгое соблюдение которого сделалось тогда для меня уже нормой, что я был крайне смущен. С резвостью, неожиданной для его 57 лет, Вышинский отбежал от стола, возле которого посол его покинул, быстрыми шажками опередил турецкого дипломата, обойдя для этого сбоку, подскочил к двери и, изогнувшись в глубоком поклоне, распахнул ее перед ним. Крайне изумленный, Актай еще раз поклонился замнаркома и вышел из кабинета. Закрыв за ним дверь, Вышинский с довольной улыбкой пошел обратно к столу.

По своей полной неосведомленности, о которой я и не подозревал, Вышинский основательно нарушил протокол, не только не требовавший, но даже осуждавший подобные излишества в любезности, граничившие с раболепием. Стремясь предотвра-

тить повторение им подобного ляпсуса в будущем, я корректно заметил Вышинскому, что дипломату столь высокого ранга не следовало ни открывать дверь перед послом, ни закрывать ее за ним. Стоило мне это сказать, как с Вышинским произошла разительная перемена: куда только девалась его приторная любезность! С перекошенным от злости лицом он проговорил, а вернее, прошипел:

— А где были вы, многоуважаемый Николай Васильевич? Почему вы сами не сделали этого? Ведь из-за вас я и попал в такое неловкое положение!

Стараясь сохранить спокойствие, я пояснил, что мне также не полагалось выполнять роль привратника для иностранных дипломатов. Если уж на то пошло, то можно было звонком вызвать секретаря, который проводил бы посла. Но мои разъяснения были гласом вопиющего в пустыне. Разозленный своим промахом, Вышинский разразился гневной тирадой насчет моей протокольной «косности» и, как он выразился, «негибкости», затем заявил, что я «распустился», из чего вытекало, что меня следует «подтянуть», и продолжал бушевать в этом же духе. Свои громы и молнии он метал без единой громкой нотки в голосе, зато каждое его слово язвило, а взор был таким колючим, что мне стало не по себе. Поначалу я слушал молча, пораженный этим каскадом обвинений, но наконец не выдержал и сказал:

— В том, что сейчас произошло, моей вины нет. А насчет негибкости, вы, наверно, правы. Это оттого, что спина у меня вообще плохо гнется.

Вышинский мгновенно уловил смысл моего намека, готовый, казалось, обрушить новую бурю упреков и угроз, но вместо этого вдруг грузно опустился на стул и, уткнувшись носом в бумаги, сделал вид, что больше не замечает меня. Я, однако, напомнил о своем присутствии.

Удерживая себя в руках, я вежливо спросил:

— Беседу записать, Андрей Януарьевич?

— Я сам продиктую ее стенографистке,— сердито отозвался он, не поднимая головы.

Я попрощался и, не дождавшись ответного приветствия, вышел.

Так состоялось мое знакомство с Вышинским. В этот момент я еще тешил себя надеждой, что мне придется мало иметь дело с человеком, сумевшим с первой же встречи внушить к себе мою прочную антипатию. Но напрасно. Ни с кем другим из руководителей наркомата я на протяжении ближайших семи лет не имел так часто и так много дел, как с Вышинским. И хотя с течением времени нам с ним удалось выработать некий модус вивенди для

отношений между собою, общение с ним, кажется, ни разу не принесло мне подлинного делового удовлетворения, не говоря уже о каком-либо теплом человеческом чувстве.

После того как юго-западная граница СССР прошла по низовью Дуная и вопросы судоходства на этой великой реке стали для СССР весьма актуальными, руководство наркомата поручило Правовому и Ближневосточному отделам тщательно изучить правовые и политические аспекты этой проблемы и наметить дипломатические шаги, необходимые для защиты государственных интересов Советского Союза.

До 1940 года задачи регулирования судоходства на Дунае осуществляли две международные комиссии. Одна из них, именуемая Европейской Дунайской комиссией, была учреждена в 1856 году в румынском портовом городе Галаце после неудачной для России Крымской войны. Политически эта комиссия служила закреплению позиций западноевропейских держав на Балканах. А технически в ее функции входило регулирование судоходства в нижней (так называемой Морской) части Дуная — от румынского города Браилы до Черного моря — и поддержание гирл дунайской дельты в судоходном состоянии.

В состав Европейской Дунайской комиссии с 1856 года входили представители России, Австро-Венгрии, Франции, Англии, Пруссии, Сардинии и Турции. После первой мировой войны в нее входили только представители стран Антанты — Англии, Франции, Италии и Румынии. По Синайскому соглашению 1938 года Румыния получила право учредить Управление Морским Дунаем, которое осуществляло практически весь контроль над судоходством в нижнем течении реки. С марта 1939 года к Синайскому соглашению присоединились Германия и Италия.

Судоходство в верхнем и среднем течении Дуная (вместе с его главными притоками Тисой и Савой) регулировалось Международной Дунайской комиссией, созданной в 1921 году. В ее состав входили представители всех придунайских государств, а также Франции, Англии и Италии. Местонахождение комиссии неоднократно менялось. Первоначально она заседала в Братиславе, затем в Вене и наконец перебралась в Белград.

Таковы были статуты и местонахождение обеих дунайских комиссий к моменту, о котором идет речь.

Во второй половине 1940 года гитлеровская Германия, завершившая наступательные операции на Западе, повернула острие своей агрессивной политики на юго-восток Европы.

Не пуская пока в ход оружие, она прибегла к дипломатии запугивания, принуждая Балканские страны «добровольно» стать ее сателлитами. Конкретно речь шла об их присоединении к Тройственному пакту, заключенному 27 сентября 1940 года Германией, Италией и Японией с целью установления «нового порядка» в Европе (Германией и Италией) и в Восточной Азии (Японией). Незачем доказывать, что в свете германо-итальянской экспансии на Балканском полуострове проблемы Дуная, и до того весьма актуальные для Советского Союза, приобрели теперь первостепенное значение.

Одним из очевидных симптомов повышенного интереса Германии к Балканам и Дунайскому бассейну явилась конференция придунайских государств (за исключением Советского Союза), происходившая в начале сентября в Вене. Инициатором ее была Германия, пригласившая помимо придунайских государств и Италию, но «позабывшая» о том, что к числу придунайских государств принадлежит и Советский Союз. Этот маневр гитлеровской дипломатии встретил должный отпор со стороны Наркоминдела. 10 сентября А. Я. Вышинский заявил германскому послу Шуленбургу, что Советское правительство удивлено тем, что оно не было уведомлено о столь важном шаге, как созыв Венской конференции, и не было приглашено принять участие в ее работе. Шуленбург сослался было на то, что конференция занималась только проблемами судоходства в верхнем и среднем течении Дуная, но Вышинский не принял этой отговорки и настаивал на том, что Советский Союз, как придунайская держава, интересуется всеми дунайскими проблемами, где бы они ни возникали.

Ответ на это представление был дан через два дня в Берлине советскому полпреду А. А. Шкварцеву германским министром иностранных дел Риббентропом. Последний разъяснил, что цель Венской конференции — ликвидировать Международную Дунайскую комиссию, деятельность которой распространялась на отдаленную от Советского Союза часть Дуная. Вместе с тем он заявил, что Германия признает право СССР участвовать в работе Европейской Дунайской комиссии в Галаце. Такая позиция лишь в малой степени отвечала интересам СССР, в связи с чем 14 сентября В. М. Молотов пригласил в Кремль Шуленбурга и вручил ему ноту, положения которой сводились к следующему: 1) Советское правительство считает необходимым ликвидацию не только Международной Дунайской комиссии, но и Европейской; 2) взамен их предлагается создать единую Дунайскую комиссию, компетенция которой охватывала бы весь основной судоходный участок Дуная — от Братиславы до Черного моря; 3) членами этой единой комиссии должны быть

лишь придунайские государства — СССР, Германия, Словакия, Венгрия, Югославия, Болгария и Румыния.

На этот раз Германия надолго задержалась с ответом. Но если гитлеровская дипломатия медлила, то командование вермахта не теряло времени. В начале октября стало известно, что в Румынии обосновалась германская военная комиссия во главе с генералом Ганзеном, а также были дислоцированы две дивизии вермахта, официально именуемые «инструкторскими». Миссия и военные соединения прибыли по просьбе румынского правительства якобы «с целью обучения и реорганизации румынской армии». Геббельсовская пропаганда распространяла даже слухи о том, будто ввод германских вооруженных сил в Румынию произведен с одобрения Советского правительства. 16 октября ТАСС опроверг лживое сообщение о том, что «Кремль был информирован о целях и размерах войск, которые были посланы в Румынию».

Не дожидаясь ответа германского МИД на советскую ноту от 14 сентября, Ближневосточный отдел разрабатывал проект дипломатических мероприятий, основой которого являлась позиция Советского правительства по вопросам Дуная, изложенная в указанной ноте. Учитывали мы, разумеется, и соответствующие практические пожелания советских компетентных ведомств. Центральным звеном этих мероприятий было, по нашему проекту, создание Советско-Румынской Администрации для регулирования судоходства на Морском Дунае, с которым граничили только СССР и Румыния.

Параллельно с нашим отделом готовил свой проект по этим же вопросам и Правовой отдел НКИД. И хотя оба отдела работали, не консультируясь друг с другом, подготовленные ими проекты в своих принципиальных положениях не отличались друг от друга, только формулировки их были, можно сказать, разностильными.

На специальном совещании по Дунаю, которое в середине октября состоялось у наркома и на котором Правовой и Ближневосточный отделы доложили свои проекты, было решено, что оба отдела должны свести свои проекты в один, устранив разнобой в формулировках, что и было ими в ближайшие дни сделано. Отредактированный проект получил санкцию руководства и был готов для представления нашим дипломатическим партнерам, состав которых был пока не ясен.

Ясность в вопросе о составе внесла ответная нота германского МИД, сообщившего, что Германия согласна с советским предложением упразднить Европейскую Дунайскую комиссию

и создать Единую комиссию для Дуная на всем протяжении от Братиславы до Черного моря. В свою очередь, правительство Германии предлагало на период до создания такой комиссии установить временный режим судоходства на Морском Дунае, для чего созвать в Бухаресте конференцию, в которой приняли бы участие Германия, Советский Союз и Румыния. Вместе с тем германское правительство просило Советское правительство о согласии на участие в Бухарестской конференции и в будущей Дунайской комиссии также и Италии, хотя она и не являлась придунайской страной.

Оба предложения Германии Советским правительством были приняты, и созыв конференции был намечен на конец октября.

Для участия в работе Бухарестской конференции Совнарком СССР назначил делегацию во главе с генеральным секретарем НКИД А. А. Соболевым. В ее состав от Ближневосточного отдела вошел я, от Правового отдела — заместитель заведующего по экономическим вопросам Г. П. Аркадьев. Наркомат обороны был представлен в ней генерал-майором В. Д. Ивановым. В качестве переводчика с немецкого (одного из официальных языков конференции) делегации был придан старший референт Центральноевропейского отдела В. И. Семенов.

К 20 октября между правительствами стран — участников конференции была достигнута договоренность о том, что конференция откроется 28 октября. 21 октября работники НКИД, входящие в состав делегации, были приняты В. М. Молотовым, высказавшим ряд деловых соображений о тактике, которой следовало держаться на конференции. Нарком напоминал о необходимости чрезвычайной осмотрительности при обсуждении принципиальных вопросов проекта Администрации Морского Дуная.

Вылет делегации был первоначально намечен на канун открытия конференции, то есть на 27-е. В действительности же вылетели мы 25-го, и не в Бухарест, а в Софию. Такой маршрут был вызван тем, что глава делегации Соболев получил от руководства НКИД дополнительное задание, выполнить которое требовалось в Софии.

Первую посадку наш самолет сделал в Херсоне, вторую — в болгарском порту Бургасе. В Бургасе мы простояли с полчаса и несколько дольше в следующем промежуточном пункте — Пловдиве.

Еще один короткий перелет — уже в предзакатное время — и мы на софийском аэродроме. Нас встретили полпред А. А. Лаврищев и двое его сотрудников, а также двое представителей болгарского МИД. Из аэропорта нас отвезли в полпредство, где угостили добротным ужином, после чего, уже поздно вечером, разместили в находящемся неподалеку отеле.

26 октября члены делегации провели время неодинаково. Я с самого утра засел в полпредстве с А. А. Лаврищевым и двумя его сотрудниками — нам было о чем поговорить. Их интересовали московские и наркоматские новости, а меня — дела полпредства и ситуация в Болгарии. Я получил от них свежую и обширную информацию, во многом дополняющую ту, что поступала в НКИД по обычным дипломатическим каналам и через ТАСС. В это время Аркадьев, Иванов и Семенов совершали экскурсию по болгарской столице — пешком и в машине полпредства.

В середине дня Соболев в сопровождении Лаврищева выполнял специальное поручение наркома — нанес визит царю Борису III. В беседе с ним он изложил соображения Советского правительства по поводу предложения Гитлера Болгарии присоединиться к агрессивному Тройственному пакту. Сводились они к тому, что Болгарии не следует принимать это предложение, которое неизбежно втянет ее в орбиту войны. Ответ Бориса III (который в декабре 1939 года отклонил предложения Советского правительства заключить пакт о взаимной помощи) был весьма неопределенным. Из него как будто вытекало, что болгарские правящие круги занимают в этом вопросе колеблющуюся позицию. Однако дальнейший ход событий показал, что эта позиция была не более как лицемерным политическим маневром. Уже в середине ноября царь Борис при встрече с Гитлером договорился о присоединении Болгарии к Тройственному пакту, сохранив этот факт до поры до времени в тайне.

В ночь на 27-е наша делегация выехала поездом в Русе, болгарский портовый город на Дунае, на другом берегу которого находилась конечная цель нашей поездки — Румыния.

6. Конференция в Бухаресте

К моменту прибытия делегации в Бухарест я имел достаточно отчетливое представление о румынской внутриполитической обстановке, в которой предстояло работать конференции по Дунаю.

Ориентация на державы «оси», принятая коронным советом Румынии 29 мая 1940 года, была результатом не одних лишь военных событий в Европе, а назревала исподволь в процессе фашизации страны, начавшемся еще в 20-х годах нынешнего века.

В феврале 1938 года Кароль II установил в стране режим королевской диктатуры, распустил парламент и ввел реакционную конституцию, практически упраздняющую буржуазно-демократическую парламентарную систему. Но, расправившись с противниками из «традиционных» буржуазных партий, он вскоре разделался и со своими «союзниками» — легионерами из фашистской «Железной гвардии». В мае 1938 года главари легионеров были брошены в тюрьму, а в конце ноября того же года уничтожены там «при попытке к бегству». В их число входил и лидер легионеров Корнелиу Кодряну. Его заместителю и преемнику Хории Симе пришлось спасаться бегством в Берлин, где он не раз уже находил приют и покровительство.

Его изгнание продолжалось до весны 1940 года, когда реакционные правящие круги сделали окончательный выбор в пользу прогерманской ориентации. Активные усилия германского посланника в Бухаресте привели к очередному «примирению» между Каролем и ставленником Берлина. Хория Сима был даже введен в состав правительства. Однако обе стороны по-прежнему руководствовались собственными планами и расчетами. Поэтому неудивительно, что всего несколько месяцев спустя, в начале июля 1940 года, Хория Сима оказался за бортом кабинета министров и в оппозиции к Каролю.

Не уступая в холопских усилиях главарю «Железной гвардии», король добивался содействия Гитлера своим захватническим планам против Советского Союза. В Берлине его усердие поощряли, но в обмен за содействие потребовали, чтобы он предварительно удовлетворил венгерские территориальные претензии к Румынии.

Это не смутило Кароля. И 30 августа в Вене румынские представители безоговорочно приняли так называемый «арбитраж» Германии и Италии, а фактически — их диктат, по которому к Венгрии отходила северная часть Трансильвании.

Венский диктат вызвал небывалое возмущение в Румынии. В стране возник острый политический кризис. В Берлине и в реакционных кругах Румынии этот момент был сочтен подходящим для того, чтобы, сделав ненавистного народу Кароля II козлом отпущения, установить в стране еще более свирепую фашистскую диктатуру. Роль диктатора предназначалась генералу Иону Антонеску.

Ставка на него делалась с учетом его тесных связей с фа-

шистскими организациями и его репутации твердого сторонника сближения с гитлеровской Германией. 5 сентября Антонеску вынудил Кароля отречься от престола в пользу его сына Михая, провозгласив себя «кондукэтором» («руководителем государства»), и публично заявил, что отныне Румыния в своей политике будет полностью ориентироваться на Германию.

Одним из первых внешнеполитических шагов «кондукэтора» было обращение к Гитлеру с просьбой о присылке военной миссии для «реорганизации» румынской армии, как об этом уже упоминалось выше. Его просьба была быстро удовлетворена. Он превратил румынскую территорию в плацдарм для вермахта и вел дело к тому, чтобы Румыния стала покорным сателлитом Гитлера.

Утром 27 октября наша делегация переправилась на пароме из Русе в румынский порт Джурджу, откуда присланная за нами машина полпредства за час доставила нас в Бухарест. Здесь мы, все пятеро, поселились в забронированном для нас трехкомнатном номере люкс в «Атене-Палас», одном из лучших столичных отелей. В нашем распоряжении были две двухместные спальни и гостиная с широчайшим диваном, доставшимся переводчику Семенову.

После завтрака все мы отправились в полпредство, чтобы заручиться согласием недавно назначенного полпредом Анатолия Иосифовича Лаврентьева на техническую и иную помощь, какая может понадобиться делегации.

Беседа с ним о положении полпредства произвела на нас гнетущее впечатление, хотя информация, поступавшая из Бухареста в НКИД, в какой-то мере и подготовила нас к этому. Анатолий Иосифович поведал нам, что условия их работы — и прежде далекие от нормальных — теперь, после переворота Антонеску, стали совершенно невыносимыми. За каждым из сотрудников полпредства по пятам неизменно шагает шпик, нагло, нисколько не таясь; за каждой советской автомашиной неотступно следует полицейская машина. Ведется эта слежка под видом «охраны личной безопасности» советских дипломатов. Все протесты полпредства против такой «охраны» никакого эффекта не принесли. Но «охрана» — это еще полбеды, подчеркнул Лаврентьев. Сотрудники полпредства сплошь да рядом подвергаются враждебным выпадам со стороны распоясавшихся легионеров — при полном безразличии полицейских «ангелов-хранителей».

Полпред рекомендовал нам всемерно соблюдать осторожность: не ходить поодиночке, избегать мест, где появляются

зеленорубашечники-легионеры или происходят фашистские манифестации, часто сопровождающиеся уличными беспорядками и насилиями над прохожими. Его предостережения мы приняли со всей серьезностью.

28 октября состоялось открытие конференции. Открыл ее от имени МИД Румынии генеральный секретарь Александр Крецяну. Выступив с приветственным словом к делегатам, он отметил ее большое международное значение и выразил пожелания успеха в ее работе. С аналогичными речами выступили представитель Германии доктор Марциус и представитель Италии посланник Силенци. Свою лепту в этот обмен протокольными приветствиями внес и А. А. Соболев. Промолчал только румынский делегат, посланник Пелла, дорогу которому перебежал А. Крецяну. Все выступавшие, кроме Соболева, говорили по-французски. Их приветствия, как и дальнейшие деловые выступления, переводились на русский секретарем нашего полпредства в Бухаресте Михайловым. Речи Соболева, произносимые на родном языке, переводились для остальных делегатов одним из сотрудников румынского МИД. Выработав рабочий регламент, делегации разошлись до следующего утра.

Поздно вечером румынское радио передало сенсационную новость: фашистская Италия, перебросившая в последнее время крупные вооруженные силы в Албанию, вторглась оттуда в пределы Греции. Еще один акт агрессии! Еще одно кровавое доказательство того, что державы «оси» бешено рвутся на Балканский полуостров, торопясь превратить его в обширный плацдарм для нового продвижения на юг — в страны Ближнего Востока и... и, по логике агрессоров, на восток — против Советского Союза. Но куда сначала? И когда? Пожалуй, только в этом и заключалась неясность.

29 октября, перед тем как занять места за овальным столом конференции, члены четырех делегаций вели между собою неофициальные беседы, но ни в одной из групп, насколько мог уловить мой слух, самой животрепещущей темы дня — нападения Италии на Грецию — никто, точно по молчаливому уговору, не касался. Дипломаты, естественно, соблюдали правило — в разговорах не касаться присутствующих, чтобы, по словам бессмертной басни, гусей не раздразнить. «Гусем» в данном случае был посланник Силенци, с физиономии которого не сходило едва прикрытое торжествующее выражение.

Заседание началось с выступления А. А. Соболева.

Сделав краткий обзор положения, которое сложилось в бассейне Дуная в результате политических и территориальных из-

менений в 1939—1940 годах, он подробно остановился на проблемах Морского Дуная и внес на обсуждение конференции проект Советского правительства, предусматривающий решение этих проблем. (Я не излагаю здесь основные положения этого проекта, ибо намерен осветить их ниже — одновременно с дальнейшими перипетиями конференции.)

Вслед за Соболевым слово взял румынский представитель Пелла. Он заявил, что своим проектом советская делегация затронула очень много важных вопросов политического и технического порядка, притом под таким углом зрения, который, как ему на первый взгляд кажется, резко противоречит имеющимся соглашениям по Морскому Дунаю. В связи с этим румынская делегация, прежде чем высказать свои соображения, должна досконально изучить все пункты советского проекта, для чего ей понадобится не менее двух дней. Его просьба об отсрочке обсуждения была, разумеется, принята.

Вечером следующего дня мы присутствовали на обеде, данном министром иностранных дел Румынии Михаем Антонеску в честь участников конференции. Во время обеда наблюдалась определенная скованность и среди гостей, и среди хозяев приема. Оживленнее прошла его вторая часть, когда все перешли в гостиную и, разбившись на группы, беседовали между собой с рюмками и бокалами в руках.

Посланник Пелла познакомил меня с членами румынской делегации — чиновниками МИД и Администрации Морского Дуная. В их компании я и провел остальную часть вечера. Беседа шла по-французски, в сдержанно дружелюбном тоне, заданном моими собеседниками и приятно контрастировавшем с царившей в Румынии антисоветской истерией. В числе других тем коснулись мы и вопроса о вторжении Италии в Грецию. Мои собеседники с явным сочувствием говорили о Греции как несчастной жертве агрессии, но сразу же переменили тему, едва лишь к нашей группке подошел один из итальянских делегатов.

Двухдневный перерыв в работе конференции оставил нам свободное время, которое мы не потеряли даром. Первый день был посвящен знакомству с Бухарестом. Соблюдая рекомендованные нам А. И. Лаврентьевым предосторожности, мы колесили по городским улицам и бульварам в автомашине полпредства, вдвоем и втроем неплохо освоили топографию центральной части румынской столицы.

Ее главной артерией считалась Каля Викторией (Проспект Победы), названная так в память освобождения Румынии от турецкого ига после того, как в 1877—1878 годах Турция была

разгромлена Россией. Но красивее и импозантнее ее, на мой взгляд, были бульвары (точнее, проспекты) Братиану и Королевы Елизаветы. На бульваре Братиану особенно обращал на себя внимание 14-этажный «Карлтон» — фешенебельный жилой дом, нижний этаж которого был занят крупными торговыми предприятиями. Здесь находился деловой центр столицы. Вокруг него на широких, хорошо озелененных проспектах размещались роскошные буржуазные особняки.

На другой день ранним утром я и генерал Иванов отправились в довольно продолжительное путешествие по стране. В данном случае, а также и в последующих своих поездках по Румынии я руководствовался одновременно и деловыми интересами, как работник Ближневосточного отдела, ведавшего Румынией, и личной любознательностью, памятуя о мудрой поговорке: «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать». Не сомневаюсь, что весьма основательный интерес к этой поездке был и у генерала Иванова, представлявшего Наркомат обороны.

Путь наш лежал на северо-восток Румынии. Его этапами были города Плоешти, Бузэу и Фокшани, а конечным пунктом — городок Панчу, жестоко пострадавший от недавнего землетрясения. Длина маршрута в оба конца составила более 500 километров.

Уже на первых километрах за городской чертой мы точно установили, что у нашей машины есть «двойник» — полицейская машина, шедшая за нами на небольшом расстоянии. Решили не придавать этому значения. В конце концов, ехали мы с ведома румынских властей, никаких предосудительных умыслов не имели, вторгаться в запретные зоны не собирались и поэтому возможные придирки шпиков могли резонно отвести.

Не стану описывать наше путешествие детально, хотя вынесли из него много наблюдений и впечатлений. Отмечу лишь те из них, которые наиболее заслуживали внимания и крепче всего врезались в память. Это, во-первых, ужасающее зрелище разрушений после землетрясения в Панчу, где каждый второй дом лежал в развалинах, где большинство улиц было загромождено крупными обломками и сделалось непроезжим, где почти не замечалось признаков жизни, ибо оставшиеся в живых и насмерть перепуганные горожане разбрелись по окрестным селениям. Во-вторых, это удручающая нищета деревень и изможденный вид крестьян в жалких рубищах. И в-третьих, это зловещая картина воинских подразделений вермахта, то и дело сновавших по шоссе в бронетранспортерах или армейских грузовиках, а также германских военнослужащих, мчавшихся на мотоциклах в одиночку и колоннами.

— Так что же, Владимир Дмитриевич,— с напускным простодушием спросил я на обратном пути генерала Иванова, когда нам повстречалась длинная колонна грузовиков с номерными знаками вермахта,— инструкторские это войска?

— Черта с два,— возмущенно ответил он.— Регулярные воинские части. Превосходно оснащенные транспортными средствами. Похоже, что наши германские «друзья» прочно закрепляются на подступах к Плоешти, к румынской нефтяной столице. Ну, в общем, вы не хуже меня понимаете, что все это значит.

Дискутировать нам с ним на эту тему не понадобилось. Наши мысли текли в одном и том же направлении.

Шел ноябрь, пасмурный, но по-южному теплый. Месяц новых невзгод для многострадального румынского народа, месяц жесточайших политических раздоров внутри страны и очередной капитуляции румынского правительства на международной арене, наконец, месяц новых стихийных бедствий. О последних я расскажу сейчас, чтобы впоследствии к ним не возвращаться.

Сказались они в первую неделю ноября — вечером. В тот вечер наша делегация в товарищеском порядке встретилась в гостиной полпредства с А. И. Лаврентьевым и несколькими его сотрудниками. Внезапно пол под нами заходил ходуном и все здание пошатнулось. С потолка посыпались куски штукатурки, слетели с постаментов бюсты и вазы с цветами, срывались со стен картины и портреты, дребезжали и дробились в окнах стекла. Двое из сотрудников полпредства, напуганные горьким опытом предыдущего землетрясения, мгновенно бросились к раскрытым окнам и с акробатическим проворством повыскакивали во двор, благо гостиная находилась на первом этаже.

Мы, «москвичи», ошеломленные не менее других, все же их примеру не последовали: у нас еще не выработался этот рефлекс на стихийную опасность и тем более еще не выработалась соответствующая «техника безопасности». Кстати, пока мы пребывали в нерешительности, толчки прекратились. Перед нашим возвращением в отель один из сотрудников, по заданию полпреда осмотревший здание полпредства внутри и снаружи, доложил, что толчки повредили чердачные перекрытия и потолки на втором этаже.

«Атене-Палас» стоял целый и невредимый, но среди его обитателей царило смятение. Беря у портье ключ от своего номера, мы получили первую информацию о размерах бедствия. В Бухаресте многие дома были полностью разрушены или серьезно повреждены, население, перед мысленным взором которого все время стоял кошмарный призрак Панчу, толпами покидало до-

ма и устраивалось на ночлег в скверах и парках. Но каким бы трагическим ни выглядело это бедствие, оно явилось только прелюдией к дальнейшему, еще более катастрофическому.

Разразилось оно всего два дня спустя, когда мы кое-как внушили себе робкую мысль, что худшее позади и что разбушевавшиеся стихии утихомирились.

В этот вечер ко сну мы отошли почти безмятежно. Все обитатели люкса уже спали, когда раздался толчок чудовищной силы, моментально разбудивший весь отель. Все здание колебалось, оконные рамы сами собой с шумом распахивались, кровати под нами отплясывали какой-то дикий танец. Но самое страшное было в том, что мощные толчки, следовавшие один за другим, сопровождались неописуемым, хочется сказать — адским гулом, который воспринимался всем существом. Он парализовал сознание, волю, движения. Донельзя растерянные, а вернее, охваченные паникой, мы выбежали наконец из номера в пижамах, схватив на ходу подвернувшуюся под руку верхнюю одежду и держа ее в руках. Сознаюсь чистосердечно, по лестнице спускались отнюдь не степенно, а бегом, не заботясь о соблюдении внешнего достоинства. А рядом с нами по ступенькам мчались, толкая друг друга, спотыкаясь и падая, десятки других постояльцев этого фешенебельного отеля — едва одетые и почти совсем раздетые, с выражением смертельного ужаса на лицах, что-то невнятно кричащие, бормочущие, рыдающие.

Спустившись в холл, все опрометью выскакивали на тротуар и отбегали на площадь, страхуя себя на случай, если здание рухнет.

В толпе других «беженцев» мы стояли на площади на почтительном расстоянии от «Атене-Паласа» и с тревогой ожидали новой серии толчков. Но минуты шли, прошло и с полчаса, а подземные силы больше не проявляли себя. И тогда у нас зародилась слабая надежда, что опасность миновала. Вместе с надеждой у «беженцев» появилось и ощущение неловкости от беспорядка в одежде и от допущенного малодушия. Те, кто запасся хоть какими-нибудь покровами, поплотнее запахивались в них или напяливали их на себя. Вызывалось это отчасти и ночной прохладой, чувствительно дававшей себя знать.

Один за другим наиболее смелые из толпы потянулись в отель. Наша группа вошла в первую десятку «беженцев», возвратившихся в свои номера. В номере спешно оделись «с полной выкладкой» и расположились в креслах гостиной, готовые к новой «эвакуации», если таковая не дай бог понадобится. Кое-кто задремал в кресле, с пальто в одной руке и портфелем — в другой. Но остальная часть ночи прошла довольно спокойно.

Утром, усталые и невыспавшиеся, кое-как позавтракав, пешком отправились на конференцию, не вполне уверенные, что нынешнее заседание состоится.

То, что мы увидели по дороге, было лишь незначительным фрагментом общей картины ущерба, причиненного городу. Об остальном узнали из отрывочных сведений в тот день и из более полных — в последующие. Подземные толчки разрушили множество домов, привели к многочисленным человеческим жертвам. Наихудшие, поистине катастрофические последствия повлекло за собою разрушение 14-этажного дома «Карлтон» на бульваре Братиану. Спаслись только немногие его обитатели, чудом успевшие покинуть дом сразу после первого толчка, а большинство погибло под развалинами. Не лучше была участь оставшихся в доме и уцелевших жителей нижних этажей. Обрушившаяся громада дома наглухо завалила нижние этажи, отрезав людей от внешнего мира. Вышел из строя водопровод, прекратился доступ в квартиры свежего воздуха. Продолжала действовать только телефонная сеть, по воле случая уцелевшая.

Спасением несчастных занимались только пожарные команды, но что они могли сделать почти голыми руками? Катастрофа такого масштаба, безусловно, требовала экстренных мероприятий со стороны правительства и городских властей хотя бы в виде мобилизации горожан, привлечения воинских частей гарнизона. Однако правительству было не до того: в стране назревала очередная схватка между «Железной гвардией» и «кондукэтором» Антонеску. И погибавшие в «Карлтоне» люди были фактически брошены на произвол судьбы.

Не стану отрицать, что чрезвычайные волнения, испытанные во время землетрясения и от горестного зрелища на улицах Бухареста, основательно выбили из колеи членов всех четырех делегаций. Однако самочувствию делегатов не позволено было повлиять на работу конференции, к которой я теперь вновь обращаюсь.

В чем заключались советские предложения по Морскому Дунаю, внесенные нами 29 октября? Попытаюсь кратко охарактеризовать их сущность, избегая узкотехнических и юридических подробностей.

Советский Союз стремился установить на Морском Дунае такой технический и правовой режим, который обеспечивал бы свободу международного коммерческого судоходства и в то же время гарантировал бы интересы государственной безопасности обоих прибрежных государств — СССР и Румынии.

Главным в нашем проекте был пункт о создании Советско-Румынской Администрации, в функции которой входили бы регламентация судоходства, обеспечение лоцманской службы, проведение необходимых гидротехнических работ и т. д. Основным судоходным руслом по нашему проекту намечалось Сулинское гирло, наиболее пригодное для навигации. Оно должно было быть открыто для коммерческих судов всех стран. Что касается военных судов, то право прохода через Сулинское гирло предоставлялось только советским и румынским военным судам. Для разрешения споров по вопросам судоходства предлагалось создать арбитражную палату с равным числом советских и румынских арбитров, в помощь которым могли привлекаться арбитры, назначенные другими дунайскими странами.

Выше я уже упоминал, что в момент внесения нашего проекта румынский представитель Пелла выразил отрицательное отношение к нему, правда в слегка завуалированной форме. После двухдневного перерыва для изучения проекта он высказался уже с полной определенностью. Не отвергая в принципе идею Советско-Румынской Администрации, он в то же время выдвинул ряд возражений, касающихся объема ее прав. Возражал, в частности, против того, чтобы юрисдикция смешанного советско-румынского органа распространялась на Сулинское гирло. По мнению Пеллы, ведению такого органа подлежала лишь та часть течения Дуная, где проходила государственная граница между Румынией и Советским Союзом. Далее он предложил, чтобы смешанный советско-румынский орган действовал под руководством будущей Временной контрольной комиссии, которая заменила бы собою нынешнюю Европейскую Дунайскую комиссию. Не осталось, пожалуй, ни одного пункта нашего проекта, не подвергшегося его критике. Добродушный с виду толстяк выпустил острые когти.

Выявили свое отношение к проекту также представители Германии и Италии. Доктор Марциус, уже немолодой, сухощавый чиновник германского МИД, выступил с педантичным разбором советских предложений, во всем основном поддерживая позицию Пеллы. С особенной категоричностью он настаивал на подчинении советско-румынского органа Временной контрольной комиссии, что не могло не ущемлять суверенных интересов Советского Союза. Активно, хотя и не так обстоятельно, выступил на стороне румынского представителя посланник Силенци.

Таким образом, уже с первых дней работы конференции четыре делегации разбились на две неравные части — на советскую делегацию и на коалицию трех других делегаций, выступающих солидарно. Коалиция эта сохранялась до самого конца конференции.

Положение, казалось бы, создалось обескураживающее: позиции сторон выглядели резко противоречиво. Но опыт, если не наш собственный, то опыт других конференций, свидетельствовал, что еще рано терять надежду на успех. В истории дипломатии случалось, что позиции сторон поначалу представлялись абсолютно непримиримыми, и тем не менее в конечном итоге находились компромиссные решения.

Памятуя об этом, советская делегация терпеливо и аргументированно выступала в защиту своего проекта, критически анализировала контрпредложения трех партнеров по отдельным пунктам, принимала те из них, которые считала целесообразными, и отклоняла непригодные. По ходу дискуссии нам приходилось вносить и новые предложения взамен первоначальных, разумеется с санкции НКИД.

Полагаю, что нет надобности прослеживать все перипетии дискуссии, проходившей на пленарных заседаниях и в более узком составе — между руководителями делегаций. Отмечу лишь, что, несмотря на все наши усилия, существенного прогресса в результате трехдневной работы конференции достигнуть не удалось. Остававшиеся разногласия касались таких кардинальных вопросов: 1) объем прав Советско-Румынской Администрации, 2) объем прав Временного контрольного органа для Морского Дуная, 3) характер взаимоотношений между этими двумя органами. Соглашаясь в принципе на создание Временного контрольного органа (из представителей СССР, Румынии, Германии и Италии), советская делегация выдвинула в качестве непременного условия принятие советского предложения о Советско-Румынской Администрации для всей дельты Дуная. Что касается полномочий контрольного органа, то они не должны были выходить за рамки наблюдательных и совещательных.

Когда с очевидностью выяснилось, что дальнейшая дискуссия на основе имеющихся у делегаций инструкций бесплодна, было принято решение работу конференции временно прервать — до получения новых инструкций. Доктор Марциус с этой целью выехал в Берлин, а Соболев — в Москву. Руководство советской делегацией на время его отсутствия было возложено на меня.

Освободившись от заседательской рутины, оставшаяся в Бухаресте часть советской делегации повела более подвижный образ жизни. В течение недели мы предприняли две дальние поездки, связанные с делами конференции,— в Галац на Морском Дунае и в Оршову, что на среднем течении Дуная, у Железных Ворот.

Поездка в Галац, занявшая почти целый день, позволила нам на месте вникнуть в деятельность Румынской Администрации Морского Дуная, которую мы в своем проекте предлагали заменить Советско-Румынской Администрацией с более широкими полномочиями. Руководящие работники Администрации встретили нас с официальной, несколько суховатой любезностью, но наш интерес к их делам сочли вполне обоснованным и предоставили нам всю запрошенную нами информацию.

Еще более продолжительным было наше путешествие к Железным Воротам, потребовавшее около 20 часов.

В путь мы тронулись задолго до рассвета, рассчитывая своим ранним выездом убить сразу двух зайцев: располагать более длительным временем для поездки и... хотя бы однажды избавиться в дороге от назойливых полицейских шпиков. Они до отвращения надоели нам при поездке в Галац. Мало того, что их машина следовала за нашей чуть ли не впритирку, так еще и в Галаце они на каждом шагу мозолили нам глаза. Мы — в морской порт, и они за нами; мы прогуливаемся по набережной Дуная — они наступают нам на пятки; мы заходим в ресторан пообедать, и они нагло устраиваются за соседним столиком, пяля на нас глаза и временами вполголоса отпуская какие-то замечания по нашему адресу.

План наш блестяще удался. За двадцатичасовой «рабочий» день мы не только выполнили всю намеченную программу, но и провели ее без осточертевших нам шпиков.

Выйдя затемно из «Атене-Паласа», мы с удовлетворением убедились, что полицейской машины, обычно дежурившей у входа в отель, на месте нет. Видимо, в этот ранний час шпики еще мирно похрапывали в постелях. Не было у входа и прибывшей за нами машины полпредства: водитель — по предварительному уговору — поставил ее в соседнем переулке. Так всю дорогу до Железных Ворот и обратно мы проехали без «машины-двойника». Возможно, что потом, обнаружив свое упущение, шпики и пытались нагнать нас. Но на запад Румынии вело несколько дорог — на какой из них они искали нас? Ведь ставя румынский МИД в известность о поездке в Оршову, мы не сообщали детально о своем маршруте.

А проходил он по равнинным районам Румынии — через Александрию, Крайову и Турну-Северин. Это добрых 300 километров пути по шоссе, местами отличному, а местами с разбитым асфальтовым покрытием. В Оршову прибыли солнечным утром, изрядно проголодавшись. Позавтракав на скорую руку в скромном ресторанчике, тотчас же отправились в Управление по регулированию судоходства у Железных Ворот, персонал которого состоял из румын и югославов.



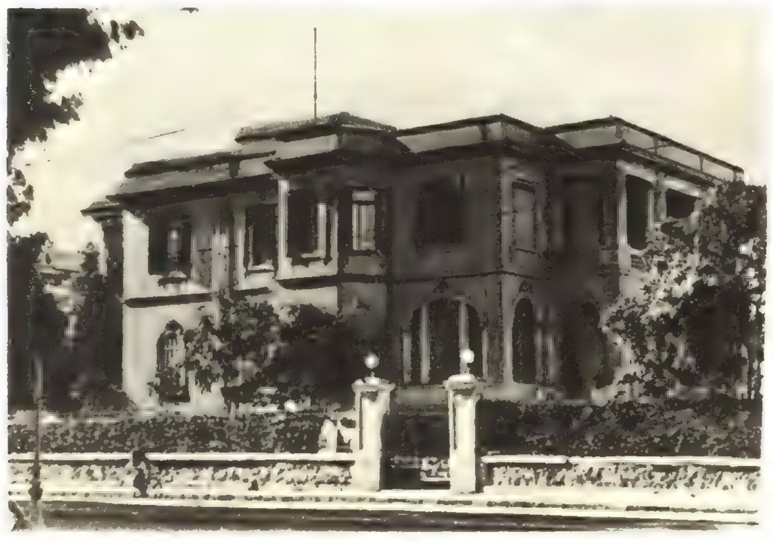
Максим Максимович
Литвинов





После подписания Договора
о дружбе и ненападении
между Советским Союзом
и Югославией
5 апреля 1941 года

После вручения
верительных грамот
польским послом С. Котом
Председателю Президиума
Верховного Совета СССР
М. И. Калинину. 1941 год



На приеме
для дипломатического состава
советской миссии
в Министерстве
иностранных дел Египта
(в центре — Мустафа Нахас-паша)

Здание
советского
посольства
в Каире



Приватная беседа
Посла СССР Н. В. Новикова
с королем Югославии Петром II
после вручения ему
верительных грамот

Парадная церемония
в Бейруте после установления
дипломатических отношений
между Советским Союзом
и Ливаном





Пресс-конференция в Министерстве иностранных дел Ливана. Министр иностранных дел Селим Такла знакомит представителей прессы с официальными документами об установлении дипломатических отношений между СССР и Ливаном

Прибытие советской делегации на гарден-парти в саду Школы искусств и ремесел



Здание
Посольства СССР
в Вашингтоне

Холл
советского посольства
в Вашингтоне



Н. В. Новиков
в рабочем кабинете

Парадная столовая
посольства



На массовом митинге
в «Мэдисон-сквер-гарден».
Слева направо:
Временный Поверенный
в делах СССР
в США Н. В. Новиков,
заместитель государственного
секретаря США Дин Ачесон,
настоятель
Кентерберийского собора
Хьюлетт Джонсон,
бывший американский посол
в СССР Джозеф Дэвис
и профсоюзный деятель
Альберт Фитцджералд.
14 ноября 1945 года

В Управлении мы получили все интересующие нас данные. Кроме того, нам показали хозяйство, находившееся в его ведении,— судоходные каналы, дамбы, буксирную флотилию и «буксирную» узкоколейку с паровозиками, тащившими суда вверх, против бурного течения в прибрежных каналах, сооруженных в обход порогов. Хозяйство это находилось на югославском берегу Дуная, куда мы переправились на буксире «Вашкару». Сопровождавший нас инженер Управления, серб по национальности, договорился с югославскими пограничными властями, чтобы при осмотре сооружений нам не чинилось никаких препятствий. (В Бухаресте мы не предполагали переходить на югославский берег и югославскими визами не запаслись.)

Югославский инженер вообще был чрезвычайно предупредителен и, более того, не упускал ни одного повода, чтобы выразить дружеские чувства к нам и к Советскому Союзу — к России, как он выражался. Не упускал и поводов ругнуть фашистскую Германию и генерала Антонеску, который, по его словам, продал Румынию Гитлеру.

Во второй половине дня мы пригласили инженера отобедать с нами в оршовском ресторане. Он с большой охотой принял приглашение, и за столом мы с ним обменялись не одним дружественным тостом. Распрощались также по-дружески.

На обратном пути, желая полюбоваться живописными горными ландшафтами, мы избрали другой маршрут. Не доезжая до Крайовы, повернули прямо на север, в Тыргу-Жиу, почти в самом сердце Южных Карпат, а оттуда взяли курс на восток, в общем направлении на Бухарест.

В Бухарест возвратились к ночи. Подъехав к «Атене-Паласу», не без злорадства взглянули на «машину-двойник», бесцельно торчавшую на своем посту. Очевидно, она тоже возвратилась из дальней поездки — безрезультатной — в поисках машины полпредства. И можно было с уверенностью сказать, что впредь полицейские шпики такой оплошности не допустят, если даже для этого им придется нести перед отелем круглосуточное дежурство.

Перед рассказом о втором этапе конференции бегло отмечу новые события внутри Румынии и на международной арене, часть которых прямо или косвенно отразилась на дальнейшем ее ходе.

В Румынии было неспокойно. Обескровленные фашистским террором демократические силы все же время от времени давали знать о том, что они существуют и борьбы не прекращают. Показательно, что, несмотря на фашистский гнет и суровые сти-

хийные бедствия, эти силы сумели 3 ноября поднять в Бухаресте пролетариат на демонстрацию под революционными лозунгами: «Долой террор!», «Долой фашизм!», «Вон оккупационную армию!» и «Да здравствует Советский Союз!» Нечего и говорить, что демонстрация была встречена дубинками полиции Антонеску и легионерских банд.

Но неспокойно было и в самом лагере фашистской реакции. «Союз» между генералом Антонеску и легионерами, как и следовало ожидать, продержался очень недолго. Уже в ноябре главари «Железной гвардии» из кожи вон лезли, чтобы укрепить свое влияние в правительстве, а банды «зеленых рубашек» повели себя так, словно они были единственной властью в стране. Они развязали небывалый до того террор и распространили его не только на представителей прогрессивного лагеря, но и на своих вчерашних противников из правящих кругов. Мстя за былые обиды и преследования, легионеры 26 ноября уничтожили в одной из тюрем сразу 64 приверженца свергнутого короля.

Этот неслыханный по масштабу террористический акт вызвал в Бухаресте столь сильное возбуждение, что правительство ввело осадное положение. Вместе с тем «кондукэтор» распустил самочинно созданную легионерскую полицию, запретил ношение легионерской униформы и предал смертной казни непосредственных виновников убийства 64 заключенных. Многие из террористов и палачей были брошены в тюрьмы, и не всем из них было суждено выйти оттуда живыми. А их главарь, Хория Сима, снова, в который уже раз, спасся бегством. Как и всегда — в Берлин.

Подоплеку этих кровавых событий мы узнавали частично из газет и по радио, частично от румынских коллег по конференции. Узнавали и о событиях иного рода. На международной арене гитлеровская дипломатия и военщина продолжали вести крупную игру. Ставкой в ней была независимость малых стран Центральной Европы и Балканского полуострова. Под непрерывным давлением со стороны Берлина к Тройственному пакту 20 ноября присоединилась Венгрия, 23 ноября ее примеру последовала Румыния, а 24-го — Словакия. Не прекращалось политическое давление и на Болгарию, подкреплявшееся теперь присутствием германских дивизий в Румынии.

Численность вооруженных сил вермахта на румынской территории неуклонно возрастала. Об «инструкторских» войсках больше не говорилось, сейчас это были ни больше, ни меньше как «гаранты» независимости Румынии. И чтобы еще лучше «гарантировать» ее независимость, 4 декабря правительство Антонеску заключило с Германией кабальное соглашение о десятилетнем плане «экономического сотрудничества», поста-

вившее Румынию безраздельно на службу военным нуждам Германии. Что еще мог сделать «кондукэтор», чтобы поставить страну на грань катастрофы? Только одно: ввергнуть ее в пучину второй мировой войны, к чему неизбежно вела логика всей его политики.

В последних числах ноября в Бухарест возвратился из Москвы А. А. Соболев. Вместе с новыми указаниями для делегации он привез другие немаловажные новости. Во-первых, он поведал кое-что о визите В. М. Молотова в Берлин в середине ноября. Встречаясь с Гитлером, нарком протестовал против ввода в Румынию германских дивизий и против данных ей германо-итальянских гарантий, протестовал, как мы видели собственными глазами, без успеха. Далее Соболев сообщил нам о своем вторичном визите (25 ноября) к царю Борису. Он передал ему возобновленное предложение Советского правительства — заключить с Болгарией пакт о взаимной помощи и предоставить ей соответствующие гарантии, включая вооруженную помощь в случае угрозы нападения на Болгарию любой третьей страны или комбинации стран. Однако, как стало известно несколько дней спустя, царь Борис и на этот раз отклонил советское предложение о пакте.

На первом, после перерыва, пленарном заседании конференции румынская делегация объявила о том, что через несколько дней она внесет на обсуждение свой собственный проект регулирования судоходства на Дунае.

Внесла его румынская делегация в начале второй декады декабря. Скажу сразу: он от начала до конца был проникнут духом несогласия с советской позицией. Резюмируя его, можно сказать, что Советскому Союзу предлагалось принять положения, которые явно нарушали его суверенные права на Дунае и ставили его интересы в зависимость от Контрольной комиссии, где большинство всегда было бы на стороне тех, кто стремится ущемить эти права и интересы. Незачем доказывать, что подобный проект был для нас абсолютно неприемлем.

Именно так наша делегация и заявила, выразив сожаление, что румынское правительство заняло позицию, препятствующую решению проблем Морского Дуная. А что же доктор Марциус и его итальянский коллега? Оба они тотчас поддержали румынские предложения, сделав лишь незначительные оговорки по второстепенным пунктам. Затем они внесли свой совместный документ, высокопарно наименовав его «примирительным проектом». Стоило, однако, нам детально изучить его, как выяснилось, что это все тот же проект Пеллы, только слегка перефразированный, от чего он не становился более приемлемым.

Несколько дней продолжалась дискуссия — теперь уже по всем трем проектам. Советская делегация аргументированно критиковала оба новых проекта, стараясь расчистить почву для взаимопонимания, но с каждым днем все более и более убеждалась, что это невозможно. Свои соображения на этот счет мы сообщили руководству Наркоминдела, которое предложило нам высказать суммарную точку зрения советской стороны, не оставляющую места для каких-либо неясностей по обсуждавшимся вопросам.

Сводилась она к следующим основным положениям: германо-итальянский «примирительный проект» лишь повторяет в немного измененных формулировках румынский проект, в силу чего примирительным не является; румынский и итало-германский проекты неприемлемы, ибо игнорируют факт восстановления Советским Союзом своих прерогатив дунайского государства и, по существу, клонятся к нарушению суверенных прав и государственных интересов СССР на Дунае; позиция румынской делегации способна лишь подорвать работу конференции, а проект германской и итальянской делегаций, как это явствует из предыдущего, ни в коей мере этой опасности не устраняет.

Наше заявление, сделанное в ясной и категорической форме, положило предел двусмысленному маневрированию германской и итальянской делегаций и бесплодному обсуждению нереалистического румынского проекта.

Естественно, встал вопрос: как быть дальше? И сам собою напрашивался ответ: основа для продолжения работы конференции в данный момент отсутствует. Запросы, адресованные в эти дни нашими оппонентами своим правительствам, ни к какому сдвигу не привели.

После нескольких дней пребывания в нерешительности четыре делегации договорились о временном перерыве в работе конференции. Дату ее нового созыва предполагалось согласовать по обычным дипломатическим каналам. В соответствии с этим решением 21 декабря состоялось заключительное заседание, на котором конференция, с соблюдением надлежащего дипломатического декорума, была закрыта.

7. Накануне Великой Отечественной войны

В тот же день вечером наша делегация выехала поездом из Бухареста на родину — через Будапешт, Братиславу, Прагу, Берлин и Варшаву.

В пути мы благодаря продолжительным остановкам в крупных городах сумели кое-что увидеть. В Будапеште мы на скорую

руку заехали в полпредство, где полпред Н. И. Шаронов угостил нас отличным ужином. Беспросветное уныние и подавленность царили в Праге, столице растерзанной нацистами Чехословакии. У нас нашлось часа два времени, чтобы походить по привокзальным кварталам этого злосчастного города.

В Берлин мы прибыли вечером 23 декабря. На вокзале нас встретил сотрудник полпредства и отвез в отель «Адлон» на Унтер-ден-Линден, возле Бранденбургских ворот. На берлинских улицах нас поразила кромешная тьма, в которой едва светились закрашенные синей краской автомобильные фары. Окна домов были плотно зашторены. Эти и другие предосторожности вызывались тем, что английские бомбардировщики часто вторгались в ночное небо над Берлином, нанося немалый ущерб столице «третьего рейха» и его обитателям.

От «Адлона» рукой подать до советского полпредства, также расположенного на Унтер-ден-Линден. Поэтому за те двое суток, что мы провели в Берлине, мы не раз наносили туда визит. Формально никаких дел у нас там не было, но обмен свежими политическими новостями для дипломатов тоже дело.

В машине полпредства и в сопровождении одного из его сотрудников мы совершили несколько поездок по Берлину, повидали некоторые из его достопримечательностей, старых и новых, в том числе главную штаб-квартиру гитлеровской агрессии — мрачную имперскую канцелярию на Вильгельмштрассе. Не меньший интерес проявляли мы и к уличной толпе берлинцев, густо нашпигованной нацистскими и военными униформами всех мастей. Вызывался он жгучим желанием получить ответ на вопрос, который мы всегда и везде задавали себе: так ли уж прочно приняли немцы нацистскую веру, как об этом вещает геббельсовская пропаганда? Я не открою большого секрета, если скажу, что многие советские люди, если не большинство, питали тогда надежду на то, что нацизм не имеет глубоких корней в широких народных массах, что он не выдержит испытания серьезной войной, скажем против Советского Союза, и быстро придет к краху. Но многоликая берлинская толпа не давала нам ясного ответа на этот вопрос.

Из Берлина мы выехали 25 декабря, в рождественский вечер. Берлинское небо было ярко иллюминировано лучами прожекторов ПВО. С этим последним впечатлением мы и покинули логово фашистского зверя.

Вторично я побывал в Берлине в январе 1946 года проездом из Соединенных Штатов в Москву. Город лежал в неописуемых развалинах, его центр обезлюдел. Великолепная Унтер-ден-Линден была обезображена до неузнаваемости разрушенными зданиями, обломки которых загромождали тротуары и мос-

товую. Но водитель машины все-таки сумел кое-как провезти меня по ней, так же как и по другим центральным артериям. Мысленно я восстанавливал в памяти их прежний импозантный облик, но удавалось мне это с трудом. И в голову мне тогда приходила древняя истина: «Взявший меч от меча и погибнет».

В Москву я вернулся в конце декабря и Новый, 1941 год встретил дома в семейной обстановке.

Подготовив вместе с А. А. Соболевым подробный отчет о Бухарестской конференции и представив его руководству НКИД, я с головой погрузился в дела и заботы Ближневосточного отдела, от которых оторвался за минувшие два месяца. Кстати сказать, в январе к этим заботам прибавились еще и проблемы Венгрии и Словакии, которые были включены в наш отдел из Центральноевропейского отдела. Таким образом, «сфера влияния» отдела распространялась теперь не только на Ближний Восток и Балканский полуостров, но и на часть Центральной Европы.

В центре нашего внимания по-прежнему оставалась Румыния, превращенная в плацдарм для дальнейшей экспансии фашистской Германии на Балканах. Эти захватнические намерения, представлявшие угрозу безопасности СССР, стали поводом для серьезного предупреждения, сделанного В. М. Молотовым германскому послу Шуленбургу. В беседе с ним 17 января 1941 года нарком, указав на то, что в Румынию вводятся немецкие войска с целью вступления в Болгарию и ее оккупации, а также с целью оккупации Греции и черноморских проливов, продолжал: «Советское правительство неоднократно заявляло германскому правительству, что оно считает территорию Болгарии и проливов зоной безопасности СССР и что оно не может индифферентно относиться к событиям, угрожающим интересам безопасности СССР. Ввиду всего вышеизложенного Советское правительство считает своим долгом предупредить, что оно будет рассматривать появление любых иностранных вооруженных сил на территории Болгарии и проливов как нарушение интересов безопасности СССР».

Само собой разумеется, что эти агрессивные приготовления Германии не могли не сказываться на советско-румынских отношениях, которые и в 1941 году отличались большой напряженностью. Тем не менее советская сторона проявляла благоразумную сдержанность в надежде на то, что с течением времени остроту противоречий с Румынией удастся в какой-то мере сгладить — при условии, конечно, что война на востоке Европы не разразится.

Исходя из этих соображений, Советское правительство стремилось развивать взаимовыгодные экономические отношения с Румынией, в результате чего в феврале было заключено с нею торговое соглашение.

С румынской миссией в Москве, с августа 1940 года возглавлявшейся посланником Гафенку, мы поддерживали вполне корректные деловые и протокольные контакты. Спустя месяц после моего возвращения из Бухареста Гафенку пригласил меня на файф-о-клок в узком кругу дипломатических сотрудников миссии. Он с подчеркнутым дружелюбием расспрашивал меня о моих впечатлениях о Румынии и особенно интересовался работой конференции по Морскому Дунаю. Гафенку признался, что по дунайским вопросам Бухарест его не информировал.

В продолжение вечера я услышал от него и другие сетования по поводу того, что МИД держит его в неведении по важным политическим вопросам. Двусмысленное положение дипломата, несогласного с однобокой прогерманской ориентацией своего правительства, ни для кого не было секретом, и казалось довольно вероятным, что МИД не горит желанием посвящать его в некоторые вопросы. Неясно было только одно: почему он откровенничал на этот счет со мной? Может быть, отгораживался таким способом от внешнеполитического курса Антонеску, чтобы не запятнать своей репутации завзятого англофранкофила? Но не мог же он всерьез ждать от нас сочувствия в подобных потугах...

26 февраля народный комиссар внешней торговли А. И. Микоян дал обед в честь Гафенку и румынских представителей, участвовавших в переговорах о торговом соглашении. Во время банкета Микоян вел деловую беседу с Гафенку, рисуя ему обнадеживающие перспективы торговли между СССР и Румынией. Сидя рядом с Гафенку и напротив Микояна, я переводил их высказывания, время от времени добавляя к ним и свои собственные. Гафенку соглашался с доводами наркома, но порой с миной сожаления бросал вскользь реплики по поводу «вопроса, омрачающего наши отношения»— он имел в виду, конечно, судьбу Герцы. А. И. Микоян тактично отводил эти неуместные на банкете реплики и возвращал беседу на экономические рельсы.

На следующий день я присутствовал на обеде в румынской миссии, пригласившей к себе несколько членов дипкорпуса с их женами. На этом обеде Гафенку преподнес мне небольшой сюрприз: на столе рядом с другими винами красовались две бутылки «Капши». Указав мне на них, посланник промолвил:

— Прошлый раз вы рассказали мне о банкете у нашего министра иностранных дел господина Михая Антонеску и меж-

ду прочим отметили высокие достоинства «Капши», которой он вас угощал. Так вот, перед вами «Капша» урожая 1920 года, которую я срочно выписал из Бухареста. Надеюсь, что вино это не хуже того, которое понравилось вам тогда.

— Убежден, что не хуже,— заявил я, отведав вина, и не без удивления подумал, что внимание Гафенку ко мне явно выходит за рамки обычной протокольной любезности.

Но недолго мы были свидетелями дружелюбных жестов Гафенку. На фоне провокационных действий румынской военщины его усилия придать своим встречам с ответственными работниками Наркоминдела видимость сердечности лишний раз подчеркивали двойственность его положения на посту посланника в Москве. По мере того как опасность агрессии со стороны Германии и ее сателлитов становилась все более вероятной, наши контакты с румынской миссией приобретали все более прохладный, сугубо официальный характер, сводясь почти исключительно к нотной переписке о пограничных конфликтах.

К этому времени у меня сложилось мнение, что объективно Гафенку играл роль дипломатической ширмы для враждебных замыслов Антонеску и его клики. Впоследствии, на страницах книги «Предпосылки войны на Востоке», изданной в ноябре 1944 года в Женеве, он покаянно бил себя в грудь, доказывая, что был абсолютно непричастен к этим замыслам. Более того, он даже утверждал, что не имел понятия о них и о нападении Германии и Румынии на Советский Союз узнал только 22 июня утром от позвонившего ему германского посла Шуленбурга.

«Я очутился в наихудшем для дипломата положении,— писал он,— почва ускользала у меня из-под ног, и я не мог действовать эффективно... Бухарест ни о чем не информировал меня и не ставил в известность о своих действительных намерениях... Я вынужден был ограничиваться тем, что привлекал серьезное внимание румынского правительства к факту изумительного развития сил Советского Союза...»

В таких словах он подытожил свои взаимоотношения с правительством Антонеску. И если это полностью соответствовало истине, то тем легче ему было осуществлять свою миссию дипломатического прикрытия, тем с большей естественностью мог он позировать в роли дипломата, цель которого — налаживать и поддерживать добрососедские отношения между Румынией и СССР.

Ведя подготовку к полному превращению Балканского полуострова в плацдарм вермахта, германская дипломатия

продолжала оказывать грубый нажим на Болгарию и Югославию с целью принудить их, подобно Венгрии, Словакии и Румынии, присоединиться к Тройственному пакту. В отношении Болгарии это дипломатическое давление, сопровождаемое одновременно угрозами и посулами предоставить ей территориальный выход к Эгейскому морю за счет принадлежащей Греции Западной Фракии, завершилось в конце концов тем, что Болгария очутилась в лагере агрессоров. 1 марта 1941 года болгарский премьер-министр Филов и министр иностранных дел Попов подписали в Вене протокол о присоединении Болгарии к пакту. В тот же день германские дивизии начали переправляться из Румынии на болгарскую территорию.

Вступление немецко-фашистских войск в Болгарию правительство Филова пыталось представить как некую «мирную акцию» на Балканах. Однако это была попытка с негодными средствами, немедленно разоблаченная советской дипломатией. 3 марта заместитель наркома Вышинский пригласил в Наркоминдел болгарского посланника Стаменова и заявил ему, что Советское правительство не может разделить мнения болгарского правительства, будто ввод в Болгарию германских войск преследует мирные цели на Балканах. Напротив, говорилось далее в заявлении, эта мера, по мнению Советского Союза, «ведет не к укреплению мира, а к расширению сферы войны и втягиванию в нее Болгарии...». Сообщение НКИД об этой встрече было опубликовано 4 марта в «Правде».

Как складывалась в рассматриваемый период внешняя политика нашего соседа — Турции, в недавнем прошлом благосклонно относившейся к авантюристским антисоветским планам генерала Вейгана?

Вступление германских войск на территорию Болгарии в непосредственной близости от границы Турции многократно увеличило опасность вовлечения ее в мировую войну. Советское правительство не осталось равнодушным зрителем роста этой опасности и, несмотря на значительное похолодание в советско-турецких отношениях с осени 1939 года, выступило в поддержку Турции с дружественными заверениями. 9 марта 1941 года замнаркома Вышинский заявил турецкому послу Актаю, что, «если Турция действительно подвергнется нападению со стороны какой-либо иностранной державы и будет вынуждена с оружием в руках защищать неприкосновенность своей территории, то Турция, опираясь на существующий между нею и СССР пакт о ненападении, может рассчитывать на полное понимание и нейтралитет Советского Союза».

Турецкое правительство выразило признательность за эти дружественные заверения и со своей стороны заверило, что если бы СССР очутился в аналогичной ситуации, он мог бы рассчитывать на полное понимание и нейтралитет Турции.

Вместе с тем весной 1941 года во внешней политике Турции наметилась тенденция к прогрессирующему сближению с Германией, чему способствовал двукратный обмен посланиями между Исметом Инёню и Гитлером. Вслед за этим в Анкаре начались переговоры о заключении политического пакта, который в форме договора о дружбе и ненападении был подписан 18 июня — за несколько дней до нападения Германии на Советский Союз.

Этот важный договор, стратегически обеспечивавший балканский фланг Германии, был последним звеном в цепи подготовительных мероприятий Гитлера для агрессии против СССР. Что касается Турции, то ее формальный нейтралитет служил делу снабжения агрессора ценными видами сырья и для ряда политических акций во вред интересам Советского Союза.

К началу марта 1941 года уже четыре страны из числа подведомственных Ближневосточному отделу были угрозами и посулами присоединены к агрессивному Тройственному пакту. 25 марта вынуждены были подписать в Вене протокол о присоединении и представители правительства Югославии — премьер-министр Цветкович и министр иностранных дел Цинцар-Маркович. Но этот акт вызвал столь острую политическую реакцию в Югославии, что результаты очередного дипломатического успеха Германии были сведены к нулю.

Известие о позорной капитуляции в Вене подняло на ноги все патриотические силы Югославии. В этих условиях инициативу отпора капитулянтам взяли на себя патриотические круги военных во главе с командующим военно-воздушными силами генералом Душаном Симовичем. В ночь с 26 на 27 марта они совершили государственный переворот. Правительство Цветковича было свергнуто, регенты несовершеннолетнего короля Петра II — его дядя принц Павел, Станкович и Петрович — низложены и арестованы, а сам король Петр II взял власть в свои руки.

Новое правительство, сформированное Симовичем, дезавуировало действия Цветковича и Цинцара-Марковича в Вене и заявило о своем отрицательном отношении к Тройственному пакту. Население Белграда и других городов приветствовало решительный шаг военных, толпы демонстрантов торжественно скандировали: «Лучше война, чем пакт! Лучше смерть, чем

рабство!» Слышались также возгласы «Долой Германию!».

В самом конце марта новый югославский премьер-министр Симович, деятель проанглийской ориентации, после безуспешной попытки добиться военной помощи от Англии обратился к Советскому Союзу с предложением срочно заключить политический или военно-политический договор.

Заключение договора о взаимной помощи с Югославией в сложившейся в тот момент международной обстановке имело бы неизбежным последствием обострение отношений между Советским Союзом и Германией. Однако и в этой обстановке нельзя было не оказать той или иной политической поддержки югославам, мужественно выступившим против гитлеровского диктата. Именно такое решение приняло Советское правительство, уведомив генерала Симовича, что оно согласно вести переговоры с югославской делегацией о заключении договора, не предопределяя его характера.

Переговоры в Москве начались 3 апреля. Югославскую делегацию возглавлял посланник в Москве Милан Гаврилович, одновременно числившийся министром без портфеля в новом правительстве, ее членами были приехавшие из Белграда Божин Симич и Драгутин Савич — оба активные участники мартовского переворота. Полковник авиации Савич лично арестовал принца-регента Павла в его резиденции.

С первых же встреч с советской стороной, представленной Молотовым и Вышинским, югославская делегация настаивала на заключении пакта о взаимной помощи, однако Советское правительство считало его в данной ситуации несвоевременным. Разногласия имели существенное значение, и поначалу казалось, что переговоры окончатся безрезультатно. Но 4 апреля югославская делегация получила новые указания из Белграда. Встретившись в тот день с Вышинским, Гаврилович сообщил, что делегация готова подписать соглашение дружественного характера, которое оказало бы югославскому народу огромную моральную поддержку.

В тот же день Молотов в беседе с германским послом Шуленбургом информировал его об этом предложении югославского правительства и о решении Советского правительства принять его. Выслушав Молотова, Шуленбург заявил, что «сомневается в том, что момент, выбранный для подписания такого договора, являлся бы особенно благоприятным». Однако в ответ на возражение посла Молотов сказал, что «Советское правительство обдумало свой шаг и приняло окончательное решение».

Новый шаг югославской делегации означал определенный сдвиг в переговорах.

Утром 5 апреля меня вызвал Молотов, чтобы получить некоторые материалы в связи с переговорами. Мне бросилось в глаза, что настроен он был, в отличие от предыдущих дней, когда я с ним также встречался, довольно оптимистично и разговаривал в приподнятом тоне. В самом начале беседы он с улыбкой спросил:

— Так что же будем делать с югославами?

Я ответил, что, по-моему, их нельзя отпускать в Белград с пустыми руками. Такой исход переговоров вызвал бы там — да и не только там — весьма нежелательный резонанс. Ведь для всего мира Югославия сейчас — страна, которая оказалась камнем преткновения для триумфального шествия агрессивной гитлеровской дипломатии на Балканах.

— Но генерал Симович мечтает о пакте взаимной помощи, а в данных условиях для нас это неприемлемо. Или вы тоже за такой пакт?

Говорил он так, как будто накануне Гаврилович не сообщил Вышинскому о новых инструкциях своего правительства, о которых я в тот день еще не знал.

— Нет, Вячеслав Михайлович,— ответил я.— С год назад ситуация на Балканах, пожалуй, оправдала бы договор о взаимной помощи. Но тогда Югославия еще даже не установила с нами дипломатических отношений.

— В том-то и дело, что югославы слишком запоздали со своим предложением. Но сегодня,— добавил Молотов,— мы, наверное, поладим с ними. У нас есть такая формулировка второй статьи проекта, которая должна их устроить. В общем, это будет договор о дружбе и ненападении.

Вечером в этот день я узнал от Вышинского, что наш проект договора сформулирован, согласован со Сталиным и с полчаса назад представлен югославам. Статья 2 договора, безусловно самая важная, гласила: «В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать политику дружественных отношений к ней».

Разумеется, статья эта не предусматривала обязательств взаимной помощи военными действиями, но она не только не исключала, но и подразумевала другие формы помощи. В чем же иначе могла заключаться «политика дружественных отношений»?

Дело теперь было за Белградом. По словам Вышинского, Гаврилович сейчас пытается связаться по телефону с генералом

Симовичем или министром иностранных дел Нинчичем. Я спросил у замнаркома, отпустить ли мне с работы сотрудников отдела, или они еще могут сегодня понадобиться? Вышинский распорядился — часть сотрудников не отпускать и мне самому не уходить. Распорядился не напрасно: для нас в этот вечер нашлась работа.

Около полуночи Гаврилович созвонился-таки с генералом Симовичем и получил указание подписать Договор о дружбе и ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Югославии.

Акт подписания, как это общепринято, следовало осуществить в торжественной обстановке, в присутствии всей югославской делегации и представителей советской стороны, так или иначе причастных к переговорам. Но тут мы наткнулись на неожиданное препятствие. Налицо был только сам Гаврилович, не имевший понятия о местопребывании членов делегации и ответственных сотрудников миссии. Ввиду этого, а также чрезвычайно позднего времени он предложил было отложить церемонию на воскресенье, 6 апреля. Но И. В. Сталин, информированный о таком предложении, выразил пожелание провести ее безотлагательно и поручил Наркоминделу помочь Гавриловичу в розыске и доставке в Кремль его коллег.

Разыскать югославских дипломатов в это время суток было не так-то просто. В гостинице, где поселились делегаты, никого из них не оказалось, так же как не оказалось дома и ответственных сотрудников миссии. Но в конце концов они были обнаружены — кто в ресторанах, кто на квартирах у друзей в разных концах города. В Кремле появились все три члена делегации, советник миссии Владислав Маркович и первый секретарь Вукадин Милетич. Теперь можно было приступить к подписанию договора.

Церемония подписания происходила в кремлевском кабинете Молотова. Вместе с югославами в кабинет к нему вошли Вышинский, генеральный секретарь НКИД Соболев и я. Участников церемонии приветствовал Молотов и появившийся ради нее Сталин. Перед подписанием возник вопрос о том, какую дату поставить на документе,— ведь время уже перевалило за полночь. После краткого обмена мнениями между руководителями делегаций стороны согласились датировать договор 5 апреля.

От имени Советского правительства договор подписал В. М. Молотов, от имени югославского короля — Милан Гаврилович, а также два других члена делегации — Божин Симич и Драгутин Савич. Вслед за тем Сталин поздравил югославов с успешным завершением переговоров. Импровизированную

ответную речь произнес Гаврилович. Потом кабинет заполнили фоторепортеры, в течение нескольких минут ослеплявшие нас вспышками магния. А когда фоторепортеры удалились, Сталин радушным жестом пригласил всех присутствующих за длинный, покрытый зеленым сукном стол, сказав при этом:

— Время позднее, господа! Учитывая, что все мы сегодня заработались, не грех нам и подкрепиться немного.

Он уселся в середине стола, спиной к стене, и указал Гавриловичу место напротив себя. По обе стороны от Сталина разместились Молотов и Вышинский, а по обе стороны от Гавриловича — его коллеги по делегации. Остальные уселись вблизи от торцовых концов стола. Дверь из приемной распахнулась, и оттуда потянулись один за другим официанты со всем своим профессиональным вооружением и гастрономическими припасами. Они проворно и бесшумно накрыли стол, не мешая завязавшейся беседе, и ушли.

Застольная беседа, время от времени прерываемая тостами, длилась несколько часов и продолжалась почти до рассвета. Шла она по большей части между Сталиным и Гавриловичем. Из других участников банкета часто вставлял реплики Молотов, а с югославской стороны помимо Гавриловича беседу поддерживал полковник Савич, по-военному подтянутый, сухощавый, с орлиным профилем. Говорил он немногословно, но очень деловито и горячо. Его сербскую речь вызвался было переводить советник миссии Маркович, но Сталин, благодушно оглядев сидевших за столом, спросил: «А нужен ли нам, русским, перевод?»— и сам же ответил: «Я думаю, мы здесь и так отлично понимаем друг друга». Конечно, это было слишком сильно сказано. Я убежден, что кое-что из пылкой скороговорки полковника ускользало от сознания советских слушателей. Что касается югославского посланника, то он говорил по-русски довольно бегло, хотя и с заметным акцентом.

Какие темы затрагивались в этой ночной беседе? В первую очередь, конечно, о войне, о военной угрозе, нависшей над Югославией и Грецией. Об этой угрозе рассказал полковник Савич, приведя данные о дивизиях вермахта, пехотных и танковых, дислоцированных вблизи границ Югославии и Греции.

— Немцы играют на наших нервах,— сделал из сказанного вывод Гаврилович.— Они хотят, чтобы и мы, подобно правительству Цветковича, капитулировали и пошли на поклон в Вену. Но этого никогда не будет.

— А если они нападут на нас,— пылко воскликнул полковник Савич,— мы будем сражаться до последнего человека.

И вам, русским, тоже придется воевать, желаете вы этого или нет. Гитлер сам никогда не остановится. Его надо остановить.

— Да, вы правы,— после короткой паузы ответил ему Сталин.— Гитлер сам не остановится. У него далеко идущие планы. Могу вам сказать, что нас немцы тоже запугивают, только мы их не боимся.

— А известно ли вам, господин Сталин,— спросил Гаврилович,— о слухах, будто Германия собирается напасть в мае на Советский Союз?

— Пусть попробует,— ответил Сталин.— Нервы у нас крепкие. Мы не хотим войны. Поэтому мы и заключили с Гитлером пакт о ненападении. Но как он его выполняет? Знаете ли вы, какие силы немцы придвинули к нашим границам?

За этим риторическим вопросом последовал обстоятельный обзор — иначе это трудно назвать — обзор германских вооруженных сил, сосредоточенных поблизости от западных границ СССР. Закончив свою речь, Сталин в ответ на вопросы Гавриловича и Савича заговорил о штатах и боевой мощи современных пехотных и танковых дивизий, о новых типах танков и самолетов, о прочности танковой брони и дальности полета бомбардировщиков и т. д.

Заходила речь и о поставке советского вооружения для югославской армии. Сталин заверил югославов, что он не предвидит трудностей в этом вопросе, пусть об этом детально договорятся военные эксперты обеих стран.

О многом другом было говорено в эту ночь, но все высказывания той или иной гранью неизменно касались двух главных тем — нарастающей военной опасности и укрепления советско-югославских отношений.

В конце банкета Молотов сообщил, что на следующий день (фактически он уже наступил) Наркоминдел устраивает прием, чтобы должным образом отпраздновать заключение договора. Имелся в виду не рядовой дипломатический банкет, а большой прием в Кремле с участием Сталина и членов Советского правительства, а также глав некоторых посольств и миссий. Всем было ясно, что такой торжественный прием будет иметь характер политической демонстрации в поддержку нового югославского правительства и его внешней политики.

Изрядно усталые от бессонной ночи, но в приподнятом настроении разошлись по домам участники этого необыкновенного банкета.

В воскресенье 6 апреля мне предстояло явиться в кремлевский кабинет Молотова к десяти часам утра. На сон у меня оставалось немногим более двух часов, но, взбудораженный

событиями предыдущего дня и ночи, я практически не воспользовался и этой возможностью для отдыха.

В половине десятого я появился в секретариате Молотова. Его помощник по Наркоминделу С. П. Козырев показал мне воскресный номер «Правды» с текстом советско-югославского договора о дружбе и ненападении, с передовицей на тему о договоре и с большим фото участников акта подписания и присутствующих лиц. На снимке все одобрительно улыбались ораторствовавшему Гавриловичу.

Едва я успел взглянуть на снимок, как Козырев спросил, слушал ли я утром радио. Я небрежно махнул рукой:

— Не до того было, в наркомат торопился.

— Так, значит, ты еще ничего не знаешь?— укоризненно воскликнул Козырев.— Немцы вторглись в Югославию! На рассвете. И в Грецию также.

Ошеломляющая новость! Выходит, что в тот самый момент, как мы, приятно взволнованные участники банкета, покидали кабинет Молотова, германская военная машина уже обрушилась на мирный югославский народ и на отбивающийся от итальянских агрессоров греческий народ! В голове у меня заметался вихрь мыслей. Я задавал себе кучу вопросов. Насколько Югославия готова к отражению вражеского натиска? Что будет с только что подписанным договором? Как должны реагировать на новые акты агрессии мы?

Мои тревожные мысли прервал Козырев, сообщив, что нарком ждет меня. Когда я вошел в кабинет, Молотов стоял у продолговатого стола, послужившего прошлой ночью для банкета, и просматривал свежий бюллетень ТАСС. Вид у него был пасмурный — наверняка от грозных вестей с Балкан. Косвенно нарком подтвердил это мое предположение, с места в карьер задав мне вопрос: «О Югославии и Греции знаете?» Услышав мой ответ, он с минуту помолчал, затем сказал: «Ладно, перейдем к делу».

Из того, что нарком не предложил мне сесть и сам остался стоять, я понял, разговор наш будет короткий. Действительно, он только дал мне задание в связи с намеченным на сегодня торжественным приемом по случаю подписания договора. Вся основная работа по организации приема, естественно, возлагалась на Протокольный отдел, мне же он поручил помочь заведующему отделом Ф. Ф. Молочкову в составлении списка приглашенных и понаблюдать за ходом приготовлений, учитывая важное значение банкета.

Выслушав указания наркома, я собрался уже было уйти, чтобы отправиться в наркомат, как вдруг зазвонил один из телефонов, стоявших на тумбочке возле письменного стола. Мо-

лотов неторопливо подошел, взял трубку и, отвечая на чье-то приветствие, сказал: «Здравствуй». Из первых же его фраз мне стало ясно, что звонил Сталин. Я сделал жест, означавший, что ухожу из кабинета, но нарком — тоже жестом — предложил мне остаться.

Так я нечаянно сделался слушателем довольно острого спора. Поначалу я слышал только слова Молотова, но и их было достаточно, чтобы уловить суть диалога.

— Да, готовимся,— говорил нарком.— Отменить? Почему отменить? Подожди, подожди, ведь мы же официально заявили югославам, что сегодня будем чествовать их. Об этом наверняка знает уже весь дипкорпус. Как, то есть, неважно? Очень даже важно. А престиж Советского Союза? Да, положение, разумеется, изменилось, но настолько ли, чтобы менять нашу позицию? Нет, не вижу никакой необходимости. А я утверждаю, что нет никакой необходимости.

От возбуждения лицо Молотова покрылось румянцем, он повысил голос. Горячность чувствовалась и на другом конце провода — до меня явственно начал доноситься голос Сталина. Обоюдное раздражение собеседников непрерывно нарастало. Мне было и неловко, и неприятно слышать эту горячую перепалку, но меня связывало распоряжение Молотова остаться, и мне пришлось дослушать ее до конца.

Как уже видно из сказанного, первоначально речь зашла о торжественном приеме. Но вопрос о нем стал поводом для постановки гораздо более крупного вопроса.

Сталин считал, что факт нападения Германии на Югославию и Грецию заставляет Советское правительство по-новому взглянуть на балканскую ситуацию вообще и на советско-югославские отношения в частности, требует всемерной осмотрительности, чтобы еще более не осложнить и без того напряженные отношения между Советским Союзом и Германией. С этой точки зрения, полагал Сталин, надо отказаться и от демонстративного приема, который в новых условиях будет носить, по его мнению, заведомо вызывающий характер.

Молотов утверждал, что если уж остерегаться обострения отношений с Германией, то заключение договора с Югославией — это такой факт, который гораздо скорее способен вызвать у Гитлера недовольство, чем банкет. Нам незачем отказываться от взятой линии на морально-политическую поддержку Югославии, а потому незачем отменять и прием. Спор был оборван прямым указанием Сталина: «Надо оставить эту затею, ставшую неуместной».

Молотов опустил трубку, вынул из кармана носовой платок и вытер со лба пот. Затем, повернувшись ко мне, он с хмурым видом промолвил:

— Вы можете идти домой, товарищ Новиков!

Ушел я из его кабинета сильно озадаченный и расстроенный происшедшим. Помимо резкой формы дискуссии между двумя самыми высокопоставленными руководителями Советского Союза, меня будоражило еще и ее содержание. Я должен был решить для себя самого, какая из двух высказанных точек зрения правильнее отражает требование новой ситуации, конечно не только в вопросе о злополучном приеме. Принципиально они расходились, а в практической плоскости их различие сводилось к тому, что Сталин настаивал на сугубой осторожности по отношению к Германии, тогда как Молотов придерживался в первую очередь курса последних дней на демонстративную поддержку Югославии.

Уже в самые первые дни после вторжения вермахта столица Югославии очутилась под угрозой захвата, и правительство Симовича бежало из нее. Командовавший югославской армией реакционный генералитет во главе с генералом Недичем, игнорируя приказы главнокомандующего генерала Симовича, открыл фронт перед немецко-фашистскими войсками на границе с Болгарией. Часть руководителей сербских буржуазных партий, забыв недавние громкие слова о патриотизме и независимости, согласились сотрудничать с захватчиками.

15 апреля король Петр II покинул пределы Югославии на борту английского самолета. На следующий день за ним последовали генерал Симович и другие члены правительства. А 17 апреля в Белграде представители германского и югославского военного командования подписали официальный акт о капитуляции.

Греция разделила трагическую судьбу Югославии.

Подвергшись 28 октября 1940 года нападению Италии, она мужественно оказала ей сопротивление. Уже к декабрю греческая армия нанесла итальянским войскам ряд чувствительных поражений, изгнала их со своей территории и, преследуя агрессора, вступила в Албанию, где также вела успешные наступательные операции. В январе 1941 года для итальянцев сложилась обстановка, чреватая военной катастрофой и заставившая Муссолини обратиться к Гитлеру с настоятельной просьбой о помощи. Гитлер обещал поддержать своего незадачливого союзника путем вторжения вермахта в Грецию через Болгарию и Югославию.

Ход военных действий в Греции после 6 апреля в основных чертах напоминал роковые события в Югославии. Здесь также

имела место измена реакционных генералов, подорвавшая сопротивление греческих вооруженных сил: 20 апреля вполне боеспособная Эпирская армия сложила оружие по приказу своего командующего генерала Чолакоглу. 23 апреля греческое правительство во главе с премьер-министром Цудеросом и король Георг II улетели на Крит. 27 апреля немцы вступили в Афины.

В Афинах немецкие оккупационные власти создали марионеточное правительство, поставив во главе его генерала Чолакоглу — в вознаграждение за предательство национальных интересов Греции.

Приняв все эти обстоятельства во внимание, Советское правительство в мае 1941 года решило закрыть греческую миссию, переставшую представлять греческое государство. Аналогичное решение по таким же мотивам было принято и в отношении югославской миссии.

Празднование 1 Мая — последнего мирного Первомая — проходило в обычной торжественной обстановке. На Красной площади состоялся большой военный парад: мощными колоннами шли танковые и моторизованные части, в небе ревели моторы самолетов. Радовала чудесная весенняя погода, словно бы сделанная на заказ ради праздника, и только ради него,— ведь на следующий день в Москве царило ненастье.

Но ни внушительность парада, ни красочность проходивших по площади колонн демонстрантов, ни отличная погода не смогли заглушить тревожных ноток, слышавшихся в разговорах на трибунах для дипкорпуса,— еще слишком свежи были в памяти у всех факты апрельского разгрома Югославии и Греции. Многие задавались самым частым в то время вопросом: что же дальше? Не было недостатка в предположениях о том, что очередной жертвой агрессии станет Советский Союз.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая Председателем Совнаркома СССР был назначен И. В. Сталин. Передача функций главы правительства Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) расценивалась как прямое следствие нарастания военной опасности и необходимости концентрации власти в руках наиболее авторитетного в стране человека. В. М. Молотов был назначен заместителем Председателя Совнаркома с сохранением поста Народного комиссара иностранных дел.

О реальности угрозы нападения свидетельствовала и обильная общедоступная и служебная информация. Из наших посольств, миссий и консульств то и дело поступали шифровки

о продвижении к нашим западным границам эшелонов с немецкими войсками, по преимуществу из Югославии и Греции, где в данный момент в них больше не было надобности, о воинственных «лозунгах» на вагонах, перевозящих войска. Но при всем при том вопросом всех вопросов было: когда? Когда же оно начнется, это неминуемое нападение?

Во второй половине мая я поставил перед руководством НКИД давно назревший, с моей точки зрения, вопрос о реорганизации Ближневосточного отдела. В круг его ведения теперь входило 10 стран, расположенных на огромном пространстве от Центральной Европы (Венгрия и Словакия) до Северной Африки (Египет), стран, чрезвычайно различных по своему государственному устройству, по уровню социально-экономического развития, по расовым и религиозным признакам, по положению на международной арене. Среди «подопечных» отделу стран числились нейтральная Турция, четыре сателлита Германии — Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, две оккупированные немцами страны — Югославия и Греция и несколько полуколониальных арабских стран.

Все они изобиловали серьезными проблемами, которые требовали от нас пристального внимания, изучения, разработки тех или иных решений, дипломатической тактики. Я вынужден был сознаться сначала самому себе, а затем и наркому, что не в состоянии справляться на должном уровне со всеми стоявшими перед отделом задачами. Исходя из этих соображений, я и делал вывод о необходимости реорганизации Ближневосточного отдела.

Предложение, сделанное мною наркому, предусматривало два варианта реорганизации. По первому из них «северная» группа стран — Венгрия, Словакия и, может быть, Румыния — передавалась другому отделу, а все остальные по-прежнему оставались в Ближневосточном. По второму варианту Турцию и арабские страны я предлагал выделить в самостоятельный отдел, а из числа Балканских стран плюс Венгрия и Словакия создать новый — Отдел Балканских стран. Сам я предпочитал второй вариант, причем, будучи по специальности востоковедом, рассчитывал получить в свое ведение Турцию и страны Ближнего Востока.

Дней десять спустя после постановки вопроса о реорганизации нарком принял решение в пользу второго варианта, но не согласился с моим пожеланием возглавить Ближневосточный отдел. Я был назначен заведующим Отделом Балканских стран. Заместителем моим стал И. А. Бурмистенко, недавно зачисленный в наркомат. Помощником оставался, как и прежде, Е. А. Монастырский.

8. Первые месяцы войны

Ранним утром 22 июня меня разбудил настойчивый телефонный звонок. Недоумевая, кому я мог понадобиться так рано, притом в воскресенье, подошел к телефону и снял трубку. Звонил управляющий делами НКИД М. С. Христофоров, живший в этом же доме. Без всякого приветствия и в тоне упрека он сказал:

— Ты, конечно, еще спишь и, значит, не знаешь, что началась война.

— Ты не шутишь?— спросил я без всякой уверенности в утвердительном ответе.

— Какие тут могут быть шутки! — вспылил Христофоров.— Вот слушай! В двенадцать часов по радио выступает Вячеслав Михайлович. Слушать его будем в наркомате. Он распорядился, чтобы все завы немедленно явились в наркомат и собрали всех своих сотрудников, кого смогут оповестить. Машина за нами диспетчером выслана, будем ждать ее возле нашего дома. Поедешь вместе со мною и другими завами с Большой Калужской. Через десять минут выходи.

Известие было ошеломляющее, несмотря на то, что психологически, казалось, все давно были к нему подготовлены. Мы ждали его изо дня в день и в то же время страстно желали услышать как можно позже — не в этот день, не в этом месяце и не в этом году. А оно вдруг пришло, в это раннее воскресное утро!..

И, как это ни странно, в сознании отразилось, что положен предел тревожной неопределенности, что настало время помериться силами с наглым, все время угрожающим врагом. Чтобы правильно понять это сложное ощущение, надо вспомнить, что все советские люди жили тогда с твердым убеждением в непобедимости Красной Армии, в уверенности, что война будет кратковременной и происходить будет на территории противника, что, следовательно, неизбежные военные невзгоды вскоре будут ликвидированы — если не навсегда, то, во всяком случае, надолго. Правда, финская кампания внесла в эти представления существенные поправки, но, думалось, с тех пор, за минувшие 15 месяцев, необходимые практические уроки были извлечены и уровень обороноспособности страны, безусловно, повышен.

В возбужденном состоянии я позвонил Бурмистенко и Монастырскому, чтобы они в свою очередь позвонили другим сотрудникам отдела и велели им ехать в наркомат. Сам я быстро оделся, на ходу разжевал бутерброд и спустился к воротам дома. Там уже стояли Христофоров и заведующий одним из

отделов Г. Ф. Резанов, живший в этом же подъезде. Через несколько минут к нам присоединились еще двое коллег. В машине мы попытались выведать у Христофорова дополнительные новости о войне, но он сам ничего еще не знал.

Ничего не выяснили мы об обстановке и у Вышинского, собравшего у себя в кабинете всех заведующих отделами. Он только дал нам ряд указаний о распорядке работы в военное время, об установлении круглосуточных дежурств заведующих и их заместителей и о прочих мерах, по-видимому предусмотренных мобилизационным планом. Часть этих мер была в ближайшие же недели видоизменена — война потребовала основательных коррективов.

Первое официальное сообщение о войне мы услышали из выступления Молотова по радио в 12 часов дня. К этому времени в отделе уже находились почти все его сотрудники, и выступление слушали коллективно. Оно подтвердило то, что в общих чертах знали до того: в четыре часа утра германские войска вторглись на советскую территорию без объявления войны. Далее Молотов заявил, что Советский Союз добросовестно соблюдал пакт о ненападении, не давал никаких поводов для претензий со стороны Германии и что, таким образом, налицо прямая агрессия, которая встретит твердый отпор со стороны Красной Армии и всего советского народа. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»— так заключил свое выступление Молотов.

Духом оптимизма была проникнута и первая сводка Главного Командования Красной Армии о положении на фронтах по состоянию на десять часов вечера 22 июня. «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями».

Атаки отбиты с большими потерями для противника, думалось мне. Что может быть лучше для первого дня? А потом, разумеется, развернется наше контрнаступление, как это предусматривалось советской военной доктриной, о чем всем нам было известно из официальной пропаганды.

Примерно такая же сводка была дана и за 23 июня, в ней отмечались захваченные немцами приграничные города Кольно, Ломжа и Брест. В передовице «Правды» за 24 июня под заголовком «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам» встречались трезвые нотки, предостерегавшие против недооценки врага и предстоящих трудностей. Однако такие пре-

достережения еще не отнимали у нас надежд на предстоящее контрнаступление Красной Армии.

В один из дней этой трагической недели я с трудом выкроил время, чтобы съездить в Верею, что в 100 километрах от Москвы, и привез семью, жившую там летом. Привез ненадолго, потому что уже в середине июля ей, в порядке обязательной эвакуации неработающих женщин с детьми, пришлось вместе с семьями других работников НКИД выехать в предназначенное для них место эвакуации — село Верхний Услон (в нескольких километрах от Казани). С тяжелым сердцем отправлял я в далекий путь жену с двумя малышами на руках, с небольшим, дозволенным нормами, багажом и со скудным запасом продовольствия. Судя по всему, жить им предстояло в очень стесненных условиях. В тот момент это было не более чем предположение, но, к сожалению, оно вскоре полностью оправдалось.

Грозные события на фронтах разрастались в серьезную опасность для страны. Первоначальное недоумение от наших военных неудач начало переходить кое у кого в смятение. Все ждали от руководства страны авторитетного слова, которое внесло бы ясность в создавшееся положение и наметило выход из него. Прошло 11 дней, и 3 июля по радио выступил И. В. Сталин. Содержание этой речи хорошо известно.

В этой речи говорилось и о создании многотысячного народного ополчения для поддержки Красной Армии. Слова о создании народного ополчения наркоминдельская парторганизация восприняла как партийную директиву, подлежащую незамедлительному претворению в жизнь. На следующий день по указанию парткома партгруппа нашего отдела провела собрание, в повестке дня которого был только один вопрос — о речи Сталина. Обсуждение было кратким, серьезным и действенным. Члены партгруппы безоговорочно высказались за вступление в народное ополчение. Но когда тут же, на собрании, открылась запись желающих вступить в ополчение, записались все, кроме одного из референтов. Я не назову его фамилии, это ни к чему. Он отказался поставить в списке свою подпись, ссылаясь на то, что недостаточно крепок физически и что воинская служба в ополчении ему будет не под силу.

Его отказ поразил всех нас, его товарищей по работе. Ведь до сих пор никто в отделе не слышал от него и малейших жалоб на какие-нибудь хвори. Мы пытались образумить его, указывали, что в такой критический момент члену партии не к лицу прикрываться своей физической слабостью. Однако все наши доводы были напрасны: он так и не поставил своей подписи.

Тогда партгрупорг Бурмистенко внес в повестку дня новый

вопрос — персональное дело нашего товарища. Дело было совершенно ясным: среди нас оказался трус и дезертир, недостойный звания члена партии. И как ни тягостно было принимать крайнее, но неизбежное в данных условиях решение, мы единогласно исключили его из партии. Позднее партком утвердил наше решение, а еще через несколько дней дезертир был отчислен из наркомата.

Список ополченцев нашего отдела был передан руководству наркомата, которое рассмотрело его одновременно с аналогичными списками из всех других звеньев аппарата и утвердило с одним изъятием. В ополчение ушли мой заместитель Бурмистенко, помощник Монастырский, референты Сергеев, Берулин, Паисов, Шендра. Из всех мужчин в отделе остался один я. Признаюсь, что, узнав о сделанном для меня исключении, почувствовал себя чуть ли не таким же дезертиром, как исключенный из партии сотрудник. Мне казалось, что такими же глазами на меня смотрят и три сотрудницы отдела — секретарша, стенографистка и машинистка, не говоря уже о сотрудниках других отделов, не знавших, что я записался в ополчение вместе со всеми.

Угнетаемый подобными чувствами, я позвонил наркому и взволнованно сказал, что, по моему глубокому убеждению, мне следует быть в ополчении рядом со своими товарищами, иначе это будет воспринято всеми как какая-то особая поблажка. Не дав мне высказаться до конца, Молотов гневно ответил:

— Вот уж не ожидал от вас таких нелепых рассуждений, товарищ Новиков! Что же, по-вашему, мы собираемся закрыть Наркоминдел? А если нет, то ведь кому-то нужно будет в нем работать? Нужно заново организовать отдел, а кому же его организовать, как не заведующему? Бросьте ваши благоглупости, засучите рукава и работайте. Пока — один за всех. Потом кого-нибудь подберем вам в помощь.

Некоторое время я действительно работал в отделе один, если иметь в виду дипломатических работников. Как работал? Разрывался на части, хронически недосыпал и недоедал и тем не менее все равно не успевал справляться со всеми теми делами, которые обычно выпадали на долю семерых сотрудников отдела, ушедших в ополчение. Выполнял лишь самую срочную работу, не терпящую отлагательства. Помощь канцелярских сотрудниц отдела во многих случаях я, к сожалению, использовать не мог. Только в конце июля и в августе дипломатический состав отдела стал пополняться главным образом сотрудниками НКИД, возвратившимися из-за границы.

К тому времени Отдел Балканских стран, просуществовав всего лишь около двух месяцев, подвергся реорганизации. Из его ведения были изъяты Венгрия и Румыния, как страны, воюющие против Советского Союза, и включены вновь Польша и Чехословакия. Из числа прежних стран в нем оставались Болгария, Югославия и Греция.

После реорганизации отдел стал именоваться Четвертым Европейским. Не будь в нем Греции, его можно было бы назвать отделом славянских стран. Вторая его особенность заключалась в том, что эти страны, за исключением Болгарии, были захвачены Германией, а их правительства находились в изгнании. В июле эти правительства были признаны Советским правительством, и с ними установлены дипломатические отношения.

В конце июля у меня появился заместитель в лице опытного дипломатического работника Георгия Максимовича Пушкина и два референта. Работа отдела постепенно начала входить в нормальное русло.

Немало забот в летне-осенний период 1941 года доставили Наркоминделу в целом — и, естественно, нашему отделу — весьма обострившиеся отношения между СССР и Болгарией. После нападения фашистских агрессоров на Советский Союз подневольное положение Болгарии как сателлита Германии сказалось в еще большей степени, чем раньше. Ее территория, порты, аэродромы и железные дороги превратились в плацдарм для враждебных действий немцев против СССР. Со своей стороны, реакционное болгарское правительство всеми средствами фашистского террора подавляло широко распространенные в народе антигерманские и антивоенные настроения, введя на основе «Закона о защите государства» чрезвычайное положение. Короче говоря, официально провозглашенный болгарский «нейтралитет» на самом деле был целиком поставлен на службу военным интересам гитлеровцев. Неудивительно, что в подобных условиях правительство Болгарии вступило на скользкий путь поддержки германских провокаций.

15 июля болгарский посланник Стаменов попросил аудиенции у Вышинского, в ходе которой сообщил, будто бы 14 июля в Болгарии вблизи города Добрича приземлились три советских парашютиста. 26 июля в Софии последовал новый болгарский демарш. Генеральный секретарь МИД Болгарии Шишманов заявил советскому посланнику в Софии Лаврищеву протест по поводу того, что 23 июля советские самолеты якобы сбросили бомбы вблизи городов Русе, Плевны и Ловеча.

Ответ на болгарские представления в Москве и Софии был дан Станенову 27 июля Вышинским, заявившим по поводу первого из них, что тщательное расследование не подтвердило факта приземления советских парашютистов. При этом он обратил внимание Стаменова на то, что болгарские власти не позволили Лаврищеву встретиться с ними, чтобы установить их личность и обстоятельства этого странного дела. По имеющимся теперь у Советского правительства данным, эти парашютисты — не советские граждане и переброшены немцами из Румынии с провокационной целью. В связи со вторым представлением Вышинский заявил, что ни в одном из перечисленных Шишмановым пунктах и ни в каком другом пункте над территорией Болгарии советские самолеты не летали. Распускаемые по этому поводу слухи носят провокационный характер и явно исходят из враждебных Советскому Союзу германо-фашистских источников. В заключение он добавил, что Советское правительство не может не выразить своего недоумения в связи с тем, что болгарское правительство придало значение этим слухам, несмотря на их явно неправдоподобный и клеветнический по отношению к СССР характер.

10 сентября В. М. Молотов пригласил к себе болгарского посланника и сделал ему пространное заявление, изобилующее данными о подготовке Болгарии к совместному с Германией нападению на Советский Союз со стороны Черного моря. Делая из этих фактов вывод, нарком заявил:

«Исходя из вышеизложенного, Советское Правительство считает необходимым сделать Болгарскому Правительству настоящее представление и обратить его внимание на то, что позиция и действия Болгарского Правительства по отношению к СССР являются нелояльными и не соответствуют позиции и действиям государства, находящегося в нормальных отношениях с СССР, что является, по глубокому убеждению Советского Правительства, в равной мере не соответствующим интересам самой Болгарии и болгарского народа».

Приведенные мною демарши и контрдемарши далеко не исчерпывают всех тех представлений, какие имели место в летние и осенние месяцы 1941 года, но достаточно характеризуют степень накаленности в отношениях между СССР и Болгарией. Пагубные тенденции в политике болгарского правительства, проявившиеся в начальный период войны, не ослабли и в дальнейшем.

Как я отметил выше, в июле были восстановлены дипломатические отношения с Чехословакией и Польшей — новыми странами, относящимися к компетенции Четвертого Европей-

ского отдела. Эти отношения с самого начала носили весьма активный характер, и я остановлюсь на них подробно.

18 июля в результате переговоров, происходивших в Лондоне, советский посол И. М. Майский и чехословацкий министр иностранных дел Ян Масарик подписали соглашение, по которому правительства СССР и Чехословакии взяли на себя обязательства оказывать друг другу помощь и поддержку в войне против гитлеровской Германии. В соответствии с этим обязательством Советское правительство дало согласие на создание на территории СССР чехословацких воинских частей, которые должны были действовать под руководством Верховного Главнокомандования СССР. 27 сентября в Москве было заключено военное соглашение, подписанное Уполномоченным Верховного Главнокомандования СССР генерал-майором А. М. Василевским и Уполномоченным Верховного командования Чехословакии полковником Г. Пикой. В силу этого соглашения в конце 1941 года в Бузулуке было начато формирование чехословацких воинских частей.

Еще более активную форму и размах приняли дипломатические отношения с польским правительством, установленные соглашением от 30 июля, которое было подписано в Лондоне советским послом И. М. Майским и польским премьер-министром генералом Сикорским. Говоря о размахе дипломатических отношений, я имею в виду и размах сопровождавших их трений, причин для которых было немало.

Основной из них являлось нежелание польского эмигрантского правительства найти реалистический подход к вопросу о Западной Украине и Западной Белоруссии. На этой нереалистической позиции стояло правительство Сикорского и в ходе переговоров об установлении дипломатических отношений. Поэтому согласия в вопросе о польско-советской границе достигнуто не было, и он остался открытым, подспудно отравляя отношения между двумя правительствами.

Главными в соглашении от 30 июля были пункты о взаимной помощи и поддержке в войне против Германии и о создании на советской территории польской армии под командованием, назначенным польским правительством с согласия Советского правительства. В оперативном отношении польская армия должна была действовать под руководством Верховного Главнокомандования СССР, в состав которого вводился представитель польской армии. К соглашению был приложен Протокол о предоставлении Советским правительством амнистии всем польским гражданам, интернированным в 1939 году после похода Красной Армии на земли Западной Украины и Западной Белоруссии.

6 августа в Москву прибыла польская военная миссия во главе с генералом Шишко-Богушем для ведения переговоров с Уполномоченным Верховного Главнокомандования СССР генерал-майором Василевским. В результате переговоров 14 августа было заключено соглашение по практическим вопросам, связанным с созданием польской армии. На пост командующего польской армией Главнокомандующий польскими вооруженными силами генерал Сикорский назначил генерала Владислава Андерса, который в сентябре приступил к формированию армии в Бузулуке.

Оба эти соглашения породили множество практических вопросов, обрушившихся на слабо укомплектованный кадрами Четвертый Европейский отдел. Со дня открытия польского посольства в Москве его представители — советник Сокольницкий и первый секретарь Арлет ежедневно посещали отдел, принося в портфелях сразу по нескольку памятных записок или нот.

Речь в них шла преимущественно о расселении и трудоустройстве амнистированных польских граждан, снабжении их топливом, продовольствием и т. д. Вопрос с жильем в восточных районах страны в то время был одним из наиболее острых, но все же так или иначе поддавался решению. Трудности возникали главным образом в связи с тем, что большинство амнистированных не хотели жить в местностях с суровым климатом и добивались через посольство переезда в более теплые края.

Поток подобных документов особенно усилился после создания польским посольством института «специальных представителей» в 20 городах, в дальнейшем дополненного институтом так называемых «доверенных лиц посольства», число которых с течением времени достигло нескольких сотен.

Должен сознаться, что я весьма сдержанно относился к расширению сети «представителей» и «доверенных лиц» посольства. Причина моей сдержанности вызывалась предвидением политических осложнений от такой гипертрофии аппарата иностранного посольства. Осенью 1941 года эти возможные осложнения представали предо мною еще в отвлеченной форме, но подсказанное опытом предвидение вполне осуществилось. Политических трений, недоразумений и конфликтов оказалось в действительности гораздо больше, чем можно было предусмотреть.

Этими беглыми замечаниями о последствиях чрезмерной активности польского посольства я сейчас и ограничусь, имея в виду в дальнейшем остановиться на них еще раз.

Что касается взаимоотношений с остальными странами, относящимися к компетенции отдела,— Грецией и Югославией, то в летне-осенний период 1941 года они не выделялись каки-

ми-либо заметными событиями, а вновь открытые в Москве югославская и греческая миссии едва лишь развернули свою деятельность, мало выходившую за рамки протокольной.

В середине июля обстановка на фронтах, до того характеризовавшаяся почти непрерывным отступлением наших войск, приобрела некоторые новые черты. Под Смоленском наши части вели упорные оборонительные бои, задержавшие продвижение немцев на несколько дней. Смоленск был оставлен нами, но на рубеже Ярцево — Ельня — река Десна Красная Армия надолго остановила немецкое наступление на Западном фронте. В конце июля и в течение всего августа там не стихали бои, а в первых числах сентября развернулось наше контрнаступление, позволившее освободить часть оккупированных районов. 10 сентября оно было приостановлено, и на фронте снова на время создалось неустойчивое равновесие. Успешные оборонительные и наступательные операции Красной Армии под Ельней имели большое морально-политическое значение, так как здесь впервые был сначала замедлен, а затем на два месяца заторможен хваленый немецкий блицкриг. Красная Армия получила возможность для перегруппировки своих сил.

Но на других фронтах дело обстояло иначе. На Северо-Западном фронте немцы продолжали продвигаться вперед и в сентябре блокировали Ленинград. На Юго-Западном фронте наши войска оставили Киев. При отступлении от Киева был убит секретарь ЦК КП(б)У и член Военного совета фронта М. А. Бурмистенко. Некоторое время спустя после этой вести я с горечью узнал, что в одной из боевых операций ополченцев под Москвой погиб его брат — мой заместитель по отделу — И. А. Бурмистенко. Попутно отмечу, что он был не единственным среди ополченцев НКИД, кто отдал свою жизнь за Родину или получил серьезное ранение. В числе последних находился и мой бывший помощник Е. А. Монастырский. Осенью большинство ополченцев НКИД были отозваны из действующей армии и вернулись на свои рабочие места.

В ночь на 22 июля состоялся первый налет немецкой авиации на Москву. Массовые налеты повторились и в ночь на 23 и 24 июля. В дальнейшем они превратились в довольно-таки заурядное явление. Сигнал воздушной тревоги заставал нас в самых различных местах. Если это случалось в рабочие часы (а они затягивались далеко за полночь), то половину ночи, а то и всю ночь напролет — часто из-за отсутствия транспорта — мы проводили в наркоматском бомбоубежище. Спали мы на цементном полу, подкладывая под себя газетные листы. Несколько раз мне приходилось дожидаться сигнала отбоя в служебном бомбоубежище Кремля.

В сентябре мужчин-наркоминдельцев начали обучать военному делу. Для меня, бывшего красноармейца, демобилизованного еще в январе 1921 года, в этом не было ничего нового. Проходил я также военное обучение — по программе Всеобуча — в студенческие годы в Ленинграде, а затем в 30-е годы в Институте красной профессуры, где уровень военной подготовки был намного выше. Но я и сейчас не уклонялся от общей обязанности и проходил курс ускоренного обучения вместе со всеми. Дважды или трижды в неделю мы отправлялись на стрельбище на одной из станций Ярославской железной дороги и упражнялись в стрельбе по мишеням. Моя сильная близорукость несколько снижала мои стрелковые достижения, но все же один-два из трех патронов я всаживал в мишень, изображавшую фашистского солдата.

Так в упорном труде, заботах и тревогах прошло для наркоминдельцев боевое лето 1941 года и настала осень, обозначившая новый, еще более опасный этап войны. Принесла она также крупные перемены и в условиях деятельности НКИД.

Для меня лично она обернулась месяцами полукочевой жизни — на протяжении почти всего четвертого квартала этого года.

9. Месяцы странствий

30 сентября неустойчивое равновесие на центральном участке советско-германского фронта подошло к концу: командование вермахта приступило к широко задуманной операции «Тайфун», стратегической целью которой был захват Москвы. В первую же неделю наступления германская армия сумела прорвать Брянский и Западный фронты, захватила Орел и Брянск, продвинулась к Калуге и Туле. В районе Вязьмы германские войска окружили несколько советских армий. Но, очутившись в окружении, советские армии не прекращали сопротивления, тем самым надолго сковав здесь 28 немецких дивизий и задержав их продвижение в сторону Москвы.

Размеры опасности с каждым днем вырисовывались все с большей ясностью, и хотя никто из нас не сомневался, что рано или поздно фашисты будут остановлены Красной Армией, в эту неделю еще нельзя было даже приблизительно предположить, на каких рубежах это будет достигнуто.

В первых числах октября я получил от жены (из Верхнего Услона) крайне взволновавшее меня письмо. Уже в прежних своих письмах она сетовала на большие трудности с питанием и топливом, на равнодушие местных властей к участи эвакуированных. Теперь же она без всяких околичностей сообщала,

что семья голодает и замерзает в неотопленном доме, и просила меня добиться пропуска для возвращения семьи в Москву. 5-го или 6-го она телеграфировала о том, что мой младший сын, шестимесячный ребенок, опасно заболел. Через день пришла еще одна телеграмма, в которой говорилось, что сын при смерти. Легко себе представить, с какой душевной болью воспринимал я эти печальные вести. Больше всего угнетала невозможность чем-либо помочь больному ребенку и семье вообще. О возвращении в Москву не могло быть и речи: эвакуация населения из столицы продолжалась, началась уже эвакуация промышленных предприятий.

В эти дни я ходил сам не свой, и, наверно, это бросалось в глаза. Во всяком случае, мое состояние было замечено наркомом, когда он вечером 10-го вызвал меня по делам в свой кремлевский кабинет.

— На вас лица нет, товарищ Новиков,— сказал он вместо приветствия.— Что с вами? Вы больны?— Я отрицательно покачал головой.— Или заработались?

— Работаю, как все, Вячеслав Михайлович.

— А может быть, у вас что-нибудь стряслось? Если так, то выкладывайте все начистоту.

Приглашение наркома прозвучало вполне доброжелательно, и я выложил ему все, что отягощало мне душу. Рассказал и о телеграмме, о критическом состоянии сына. Молотов сочувственно выслушал меня.

— Вам бы съездить туда на пару деньков,— нерешительно предложил он.

— В такое-то время?— не без удивления спросил я.

— Ничего особенного,— уже увереннее сказал нарком и хмуро пошутил:— Вы еще успеете вернуться в Москву, чтобы отбросить от нее гитлеровское воинство. Трех дней вам хватит?

— Безусловно,— обрадовался я неожиданному разрешению.

— Но не больше. Ни одного дня больше.

— Само собой, Вячеслав Михайлович,— твердо пообещал я, не подозревая, как мало от меня будет зависеть выполнение обещанного.

Следующий день я посвятил выполнению задания наркома и деловым наказам своему заместителю Г. М. Пушкину, а вечером принялся за сборы в дорогу. Они были несложны. Я наполнил вместительный чемодан консервами, пакетами с крупой, другими предметами питания из своих холостяцких пайковых накоплений, а также теми, что наскоро раздобыл у товарищей и в наркоматском буфете. Утром 12-го я зашел к Вышинскому, чтобы доложить об отъезде. Не поднимая лица от бумаг на столе, он суховато пожелал мне счастливого пути.

Когда я вышел от него, в секретариате меня остановил его помощник Абрамов.

— Драпаешь?— насмешливо спросил он.— В немецкий котел боишься угодить?

Я ответил ему так, как он того заслуживал. Мгновенная стычка с этим желчным человеком немного расстроила меня, но по пути на вокзал я уже забыл о ней.

13-го я прибыл в Казань. Прямо с вокзала устремился к пристани на Волге, откуда пароходик местного сообщения переправил меня в Верхний Услон. Никаких признаков транспорта я в Верхнем Услоне не обнаружил и потому двинулся на высокий обрывистый берег пешком, таща на плече тяжеленный чемодан.

Отчаянные письма и телеграммы жены, к сожалению, ничуть не преувеличивали тягот и лишений моих близких. Младший сын действительно был очень плох, семья действительно сидела на голодном пайке, и в легкой постройке дачного типа, в которой они жили, было чертовски холодно. За неполные два дня, проведенные в Верхнем Услоне, я сумел решить проблему с дровами, для чего пришлось крупно поговорить с нераспорядительными работниками сельсовета, и добился заверений, что паек для эвакуированных семей будет доведен до нормы. Пустых заверений, как выяснилось впоследствии!

Не мог только ничем помочь несчастному ребенку. Но каким-то чудом вскоре после моего отъезда ему стало значительно лучше. Расставание с семьей было тягостным. Я с горечью сознавал, что мало в чем облегчил ее участь.

На железнодорожном вокзале в Казани билетов на Москву касса почему-то не продавала. Тщетно я и несколько офицеров потрясали своими командировочными удостоверениями перед кассиром и дежурным по вокзалу, твердя им о необходимости своевременно вернуться к месту службы. Ответ был лаконичен и невразумителен: билеты не продаются — до особого распоряжения. О причине такого положения нам предоставлялось строить любые догадки.

В ту ночь я ночевал в переполненном пассажирами зале ожидания, сидя на цементном полу и прислонившись спиной к стене. О возвращении в Верхний Услон на ночь нечего было и помышлять — на вечерний пароход уже не поспевал. Кроме того, где-то в сознании время от времени вспыхивала искорка надежды: вдруг этот странный запрет на продажу билетов на Москву будет отменен, и я все же тронусь в путь.

Поздно вечером 15-го я услышал по радио сообщение Совинформбюро, которое, как мне казалось, отчасти приоткрывало завесу тайны. «В течение ночи с 14-го на 15-е октября,— говорилось в нем,— положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону». Не этим ли прорывом объясняется запрет въезда в столицу? Если учесть, что 12-го немцы взяли Калугу, а 14-го — Калинин и находились в окрестностях Можайска, то становилось очевидным, что линия фронта быстро приближается к Москве.

Срок моей командировки истекал, на другой день я уже должен был быть в наркомате. Но и 16-го никакие настояния, теперь обращенные к начальнику вокзала, не помогли. «Поезда на Москву сегодня не будет»,— раздраженно объявил он мне и офицерам и от каких-либо объяснений отказался.

Вторую и третью ночь я ночевал в квартире пожилого вокзального носильщика, татарина по национальности. Он предоставил мне скрипучий топчан в комнате, где проживала его семья из пяти человек.

18-го утром касса наконец продала нам билеты, и мы отправились в путь в полупустом поезде. Но какой же необычной была эта поездка! До Москвы ехали двое суток с лишним. И в течение этих двух суток чуть ли не на всех станциях поезд сиротливо стоял на запасном пути, пропуская один за другим составы из Москвы, до отказа набитые пассажирами. Они переполняли не только вагоны, но и тамбуры, ютились на ступенях, держась за поручни, и даже стояли на буферах. Это зрелище живо напомнило мне дорожные муки периода гражданской войны, когда всеобщая разруха особенно болезненно отразилась на железнодорожном транспорте.

В Москву мы приехали только утром 20-го. В залах ожидания Казанского вокзала и на платформах толпились тысячи людей, ждавших подачи очередного поезда. Городской транспорт, если не считать метро, работал с большими перебоями. Не надеясь на него, я на метро добрался от вокзала до станции «Парк культуры имени Горького», а оттуда пешком до дома, на Большой Калужской, где переоделся и привел себя в порядок перед тем, как явиться в наркомат. Несколько раз звонил в отдел, но трубку почему-то никто не брал. Не желая больше терять время, двинулся в наркомат без предупреждения.

И вот я на Кузнецком мосту, возле здания Наркоминдела. Но тщетно пытаюсь войти в него. Дверь подъезда, которым

я обычно пользовался, наглухо закрыта. В недоумении принялся звонить и стучать в дверь, однако без всякого результата. Внезапно завыла сирена воздушной тревоги — с явным запозданием, ибо буквально в ту же минуту над Кузнецким мостом с оглушительным ревом пронеслась тройка низко летящих немецких самолетов. Вслед за растерянными прохожими я в поисках хоть какого-то укрытия вбежал в соседнюю парикмахерскую. Лишь после того как самолеты пролетели, услышал где-то вдали стрельбу зениток.

«Что бы это значило?— спрашивал я себя.— Что Москва стала беззащитна перед немецкой авиацией? Или же эти самолеты каким-то обманным способом проскользнули мимо нашей пригородной противовоздушной обороны?» Этот мысленный вопрос так и остался тогда без ответа. Но по счастливому стечению обстоятельств — если в данном случае можно так выразиться — я тут же получил ответ на другой вопрос, занимавший меня не менее первого: как быть дальше, если наркомат эвакуировался полностью?

В парикмахерской, среди укрывшихся в ней прохожих, к великой своей радости, увидел одну из знакомых наркоматских машинисток и обратился к ней с расспросами. От нее я узнал, что большинство сотрудников наркомата еще 16-го выехали в Куйбышев. Часть канцелярского персонала была при этом сокращена, в том числе и сама Елизавета Федоровна.

— Сейчас вы в наркомате никого не найдете,— прибавила она.— Разве что попытаете счастья в наркомовском подъезде. Там, кажется, еще есть какие-то признаки жизни.

В подъезде, который именовался «наркомовским», после первого же звонка дверь отворилась. Предъявив бойцу охраны наркоматский пропуск, я сказал, что только что вернулся из командировки и хотел бы повидаться с кем-либо из сотрудников, получить информацию и совет о том, что делать.

— В здании никого не осталось,— сурово заявил охранник, намереваясь закрыть дверь перед самым моим носом и окончательно отрезать меня от наркомата.

— Но раз вы дежурите в подъезде,— напористо возразил я,— стало быть, кто-то здесь все же есть.

— Козырев здесь,— пошел он все-таки на уступку.

— Вот и прекрасно, у него все и узнаю.

Через несколько минут я поднялся в секретариат Молотова, где нашел его помощника С. П. Козырева и двух референтов, разбиравших какие-то бумаги и складывавших их в портфели.

— Откуда ты взялся?— изумился при виде меня Козырев.

— Из Казани.

— Ах да, ты ведь к своим ездил. Но почему ты оттуда пря-

миком в Куйбышев не подался? Как раз сегодня все наши туда прибывают.

Я объяснил ему, что, будучи в Казани, понятия не имел обо всем происходящем в Москве. Сказал, что, едва сойдя с поезда, все время натыкаюсь на неожиданности и не имею отчетливого представления о ситуации.

— А кто его имеет?— иронически заметил Козырев.

В немногих словах он обрисовал события последних дней. 13-го состоялось решение эвакуировать в Куйбышев часть партийных и правительственных учреждений, за исключением Государственного Комитета Обороны, и весь дипломатический корпус. Многие учреждения направлялись в различные города Поволжья, на Урал, в Среднюю Азию. Дата эвакуации не была определена, но 16-го, когда положение на фронте стало критическим, был отдан приказ начать ее немедленно. В тот же день вечером большинство сотрудников наркомата и выехали.

— А мы тут последние из могикан,— невесело усмехнулся Козырев, поясняя присутствие своей группы в здании.— Собираем документы в дорогу. Через час вылетаем, вместе с Вячеславом Михайловичем. Хочешь с нами? Вячеслав Михайлович, конечно, не будет против.

Предложение было очень заманчивое, но оно, к сожалению, не оставляло мне времени заехать домой за вещами, хотя бы самыми необходимыми — как для меня самого, так и для семьи. Эвакуация в другой город в военное время — это ведь не туристская поездка. Было ясно, что до возвращения наркомата в Москву пройдет немалый срок.

Я поблагодарил Козырева за предупредительность, но вынужден был отказаться.

— Ну, тогда устраивайся сам, как знаешь,— развел руками Козырев.— А мы через десять минут едем в Кремль, за наркомом, и оттуда — в аэропорт.

Я сказал, что найду какой-нибудь способ выехать завтра или в крайнем случае послезавтра, попросил Козырева сообщить об этом Молотову и попрощался с коллегами.

Прикидывая в уме свои возможности выехать из Москвы в Куйбышев, я возлагал свои надежды прежде всего на завод «Шарикоподшипник». Как мне было известно еще до поездки в Казань, он исподволь уже приступил к эвакуации оборудования и личного состава в несколько городов на Волге и за Волгой, включая Куйбышев. У меня были связи в парткоме завода, и я воспользовался ими, получив место в пассажирском поезде, отправлявшемся в Куйбышев 21-го вечером.

Правда, с датой отправки произошла неувязка, отнюдь не редкая в пору всеобщего смятения во второй половине октября. Когда я в назначенное время явился с вещами к месту погрузки, выяснилось, что поезд отойдет только на следующий день. Но делать было нечего, об отказе не могло быть и речи. Другой такой возможности у меня не предвиделось.

Поезд, в котором мне предстояло ехать, состоял из паровоза и вагонов подмосковной электрички. Видимо, основной подвижной состав к тому времени был выведен с Московского железнодорожного узла. Я сам наблюдал, какое множество поездов проследовало за двое суток по одной лишь Казанской железной дороге.

В вагоне, не приспособленном для дальних путешествий, я и добирался до Куйбышева. Добирался весьма «экстравагантным» маршрутом и с бесчисленными стоянками, отчего поездка невероятно затянулась. Задержки поезда начались за Рязанью, где все время пропускали встречные воинские и товарные поезда — тоже, наверное, военного назначения.

В Ряжске наш поезд, вместо того чтобы повернуть на восток, к Пензе, неожиданно двинулся дальше на юг, к Мичуринску. Двинулся с убийственной медлительностью, в длиннейшей очереди пассажирских и грузовых составов, застревавших у каждого семафора. От Мичуринска нас повезли обратно к Ряжску и уж оттуда направили на Пензу.

В общем, до Пензы ехали почти 10 суток. Я был в отчаянии от немыслимо медленного продвижения. В Пензе я попытался пересесть на какой-нибудь другой поезд, идущий на восток с более или менее нормальной скоростью, но без всякого успеха. Не удалось и позвонить в Куйбышев по междугородному телефону: линия была занята для военных и правительственных нужд. Посланная из Пензы телеграмма в наркомат — с просьбой об оказании содействия,— по-видимому, так и не дошла до адресата. В довершение бед в этом городе, где мы проторчали больше суток, я из-за напрасных хлопот едва не отстал от поезда. Вскочил я в вагон буквально на ходу — захлопнутую было дверь приоткрыли для меня мои попутчики.

Характер и объем данных записок не позволяют распространяться обо всех злоключениях, впечатлениях и переживаниях, которыми столь богаты были 16 суток моей железнодорожной одиссеи. Да, именно 16 суток понадобилось, чтобы добраться от Москвы до Куйбышева — расстояние, которое в мирное время поезд преодолевал за сутки. Я клял себя на чем свет стоит за то, что не принял совета Козырева, да что толку? Снявши голову, по волосам не плачут.

В Куйбышев эшелон прибыл 7 ноября под вечер. Оставив на

вокзале в камере хранения два объемистых чемодана, я пустился на розыски техникума, в здании которого разместился Наркоминдел. Указания прохожих были довольно сбивчивы, но в конце концов я все же очутился возле нужного мне дома на Галактионовской улице. И первым, на кого я у входа в здание наткнулся, был Г. М. Пушкин.

— Господи, глазам своим не верю!— обрадованно воскликнул обычно сдержанный мой заместитель.— Наконец-то, Николай Васильевич! Мы просто не знали, что и подумать. Ведь, по словам Козырева, вы собирались выехать не то двадцать первого, не то двадцать второго. А сегодня седьмое ноября.

— Двадцать второго и выехал,— подтвердил я слова Козырева.

— Где же вы были все это время?

— В дороге. Разве Вышинский не получил моей телеграммы?

— Мне он о ней ничего не говорил. Знаю только, что Абрамов по его указанию звонил в Москву и еще куда-то, наводил справки. Но ведь вы словно в воду канули.

— Как видите, вынырнул, жив и здоров. Но чертовски устал от кочевой жизни и не прочь перейти к оседлой. Скажите, Георгий Максимович, могу я рассчитывать на какое-нибудь жилье?

— Для вас выделена комната в этом же здании. Сейчас покажу. Между прочим, вы еще можете успеть на праздничный прием для дипкорпуса.

— Ну, мне сейчас не до приема,— махнул я рукой.— Все мысли только о бане или по меньшей мере о горячем душе. Да и костюм выходной еще на вокзале. Воображаю, во что он превратился за восемнадцать суток пребывания в чемодане. Кстати, когда будете на приеме, сообщите, пожалуйста, начальству о возвращении без вести пропавшего.

Пушкин отвел меня в комнату, сравнительно просторную и выглядевшую еще более просторной оттого, что она была совершенно пуста. Через час я принес с вокзала два чемодана, затем получил в хозотделе матрац, который и постелил на полу. Покончив, таким образом, с «меблировкой» комнаты, я отправился к проживавшему по соседству управляющему делами М. С. Христофорову — выяснять, как решаются на новом месте другие житейские проблемы. От него я услышал приятно взволновавшую меня весть: руководство наркомата разрешило привезти из-под Казани в Куйбышев семьи ответработников. Соответствующее указание уже дано, и через несколько дней они прибудут водным путем.

Поздно вечером, а вернее, уже ночью я повидался также

с Вышинским, вернувшимся в свой кабинет после торжественного приема для дипкорпуса. Вопреки обыкновению, на этот раз он держался со мной не сухо, даже участливо расспросил о моих дорожных злоключениях. Но основной темой разговора были, конечно, дела. Вышинский потребовал, чтобы я с самого утра включился в работу Четвертого Европейского отдела. «Дел у нас по горло,— сказал он.— Особенно с поляками. Вся надежда на ваши свежие силы, Николай Васильевич. Я думаю, вы здорово соскучились по работе». Две последние фразы были произнесены свойственным ему насмешливым тоном. Вероятно, так он косвенно укорял меня за долгий «прогул». Я пропустил намек мимо ушей, сознавая, что нахожусь в том незавидном положении, которое хорошо определяется выражением «без вины виноватый».

К себе в комнату я вернулся с пачкой газет за предыдущие дни, взятых в секретариате Вышинского. В дороге не только не удавалось регулярно читать газеты, но даже и радио доходило до наших ушей лишь изредка — на вокзальных стоянках. Я здорово отстал от животрепещущих событий последних дней, но этой ночью успешно ликвидировал свое отставание — лежа на матраце без постельного белья, не раздеваясь, положив под голову вместо подушки портфель и накрывшись демисезонным пальто.

Новостей в газетах было множество, но преимущественно безрадостных. На юге немцы захватили Харьков и большую часть Крыма, за исключением Севастополя и Керчи, которые героически оборонялись. На центральном направлении они в течение октября продвинулись на 250 километров, но главной цели операции «Тайфун»— захвата Москвы — так и не достигли. В конце октября немецкое наступление выдохлось, и на подступах к столице установилось относительное затишье. Но можно было не сомневаться, что долго оно не продержится.

Несмотря на близость фронта, в Москве оставались Государственный Комитет Обороны, часть членов правительства, Ставка Верховного Главнокомандования, минимально необходимый правительственный и военный аппарат. 6 ноября в Москве состоялось традиционное торжественное заседание по случаю XXIV годовщины Великой Октябрьской революции (на станции метро «Маяковская», о чем мы в то время не знали). А 7 ноября на Красной площади был проведен парад войск. И это в Москве, с 19 октября находившейся на осадном положении!

В обоих этих случаях с докладом и речью выступал И. В. Ста-

лин. В докладе на торжественном заседании он проанализировал ход войны за четыре с половиной месяца и причины временных неудач Красной Армии, констатировал провал немецкого блицкрига и выразил уверенность, что разгром немецких империалистов и их армий неминуем. Говорил он и о необходимости открытия на континенте Европы второго фронта, который, «безусловно, должен появиться в ближайшее время», что существенно облегчит положение Красной Армии. Все это, вместе взятое, звучало в те трудные дни поздней осени 1941 года очень обнадеживающе. Что касается открытия второго фронта, то как с ним обстояло дело в действительности, хорошо всем известно.

Я с головой погрузился в работу отдела и практически все дни и ночи безвыходно проводил в здании НКИД. На третий день моего пребывания в Куйбышеве я встретил возле кабинета Молотова Максима Максимовича Литвинова. Он очень сердечно поздоровался со мною и в оживленном разговоре — с сияющим лицом — поведал новость, отдающую сенсацией: его только что назначили послом в Вашингтоне. Я искренне порадовался этому вместе с ним, хорошо понимая его чувства. Ведь фактически он с мая 1939 года находился не у дел — каково-то ему, одному из старейших деятелей партии и дипломатов, было чувствовать себя отстраненным от деятельности в период, когда Родина подвергалась неслыханным испытаниям? 10 ноября по радио и в печати было сообщено о его назначении в Вашингтон, а 14-го — о его назначении заместителем народного комиссара иностранных дел, что придавало дополнительный вес его дипломатической миссии в США. Через несколько дней он вылетел в Вашингтон.

За чередой бесконечных дел я не забывал о приближении счастливого момента встречи с семьей. По сведениям Управления делами, пароход с эвакуированными семьями 11 ноября отплыл из Казани и 13-го утром должен был прибыть в Куйбышев. Но 12-го по наркомату прошел слух, что Волга вот-вот станет и навигация прекратится. Зима в этом году пришла очень рано, суровые морозы, ударившие с начала ноября, делали этот слух весьма правдоподобным. Нашлись и очевидцы, видевшие на реке лед. А как же наш пароход? Успеет ли он прийти до ледостава? Этот обычный природный феномен на этот раз крайне обеспокоил нас.

Беспокойство наше усугубилось 13-го утром, когда достоверно выяснилось, что пароход застрял во льду где-то неподалеку от Куйбышева.

Это очень волновало меня. Дело в том, что 13 ноября я получил из Москвы распоряжение Молотова — вылететь туда

14-го утром вместе с польским послом Станиславом Котом, которого должен был принять И. В. Сталин. Это значило, что если в течение 13-го пароход не придет, то я разминусь с семьей и не смогу ничего для нее сделать хотя бы в первые часы по приезде. К счастью, к вечеру выяснилось, что пароход сумел все-таки пробиться сквозь ледяную преграду и теперь медленно продвигается к Куйбышеву.

К пристани он подошел уже за полночь. Только в третьем часу ночи привез я промерзших детей и жену «домой», то есть в полупустую комнату, где за минувшие шесть дней прибавились кровать и стол.

Когда дети уснули, у нас с женой, измученной физически и душевно, состоялась еще долгая беседа — о семейных и бытовых делах, о моем отлете через несколько часов, о том, как ей справиться с первоочередными нуждами до моего возвращения, срок которого был неизвестен. И опять я чувствовал себя без вины виноватым, покидая семью в неблагоустроенной комнате, со скудным пайковым запасом пищи и со всевозможными, но неизбежными трудностями, которые дадут себя знать с самого утра.

14-го в пять часов утра, еще затемно, я со стесненным сердцем сел в машину и поехал на аэродром, а в начале седьмого уже поднялся в воздух. Самолет был военно-транспортный, со скамьями для сидения по бортам; в центре его над потолком возвышалась башенка, в которой виднелась турель пулемета и сиденье для стрелка-радиста. В первой половине пути оно пустовало, но километров за полтораста от Москвы стрелок-радист занял свое место за пулеметом. Самолет был устаревшей конструкции, а потому тихоходный, к тому же скорость его снижал сильный встречный ветер, чьи бешеные порывы то и дело заставляли самолет вздрагивать. Пассажиры — посол Кот, советник Сокольницкий и я — ежились от арктического холода.

Летели мы до Москвы необычайно долго — четыре с половиной часа. Под конец меня укачало. Вообще-то я хорошо переносил воздушные путешествия, но данный рейс протекал в очень уж неблагоприятных условиях. Весь предыдущий день был настолько хлопотливым, что на всем его протяжении я не смог поесть буквально ни крошки; далее, я чрезвычайно волновался за семью, застрявшую где-то во льдах, из-за чего рисковал разминуться с нею, а потом в авральной обстановке встречал ее; наконец, всю ночь провел без сна и в дорогу отправился на пустой желудок. Все это не могло не отразиться на моем само-

чувствии. Теперь, в дополнение ко всему, коченел от холода, испытывал то почти непрерывную болтанку, то внезапные падения в воздушные «ямы».

На подходе к Москве самолет обстреляли немецкие истребители или истребители-бомбардировщики — точно не знаю. Наш стрелок-радист также выпускал очередь за очередью. Но, конечно, не он один разогнал вражеские самолеты. В воздухе появилось звено наших истребителей, под прикрытием которых мы и прорвались к Центральному аэропорту.

Правда, и здесь мы не были в безопасности. Посадку самолет совершал в момент, когда аэропорт подвергся налету вражеской авиации. Выходили из самолета под аккомпанемент взрывов немецких бомб и оглушительной пальбы из зенитных орудий. Мы поспешили укрыться в здании аэропорта, что отнюдь не гарантировало от бомб, но спасало хотя бы от осколков. В бомбоубежище спускаться не потребовалось, так как вскоре налет прекратился.

Памятным для меня был этот полет, но еще более памятной стала посадка под грохот немецкого «салюта».

Из аэропорта присланная за нами из Кремля автомашина отвезла польских дипломатов в «Метрополь», а меня прямо в Кремль, где я поспешил в кабинет Молотова. Там с ноября помещался, если можно так выразиться, «Московский филиал» Наркоминдела, состоявший из самого наркома, его помощника Козырева и нескольких сотрудников секретариата.

Наркома я на месте не застал — он в это время заседал в Государственном Комитете Обороны. Я признался Козыреву, что после тяжелой поездки и бессонной ночи изрядно вымотался, и он посоветовал мне в ожидании Молотова вздремнуть на диване в секретариате. Я не заставил себя уговаривать.

Когда возвратился нарком, я доложил ему материалы, подготовленные для вечерней встречи С. Кота со Сталиным. Касались они в первую очередь вопросов о «представительствах» польского посольства в местах нахождения польских граждан, а также о польской армии, личный состав которой, первоначально определенный в 30 тысяч солдат и офицеров, к концу октября уже превысил 40 тысяч. Несмотря на это, правительство Сикорского намеревалось сформировать еще несколько дивизий, в связи с чем возникал ряд серьезных проблем, нуждавшихся в обсуждении на правительственном уровне. Нынешняя миссия С. Кота как раз и заключалась в подготовке такого обсуждения — с участием польского премьер-министра Сикорского, который для этой цели намеревался приехать в СССР.

Сталин принял Кота в присутствии Молотова. В продолжение двухчасовой беседы была достигнута предварительная договоренность по некоторым из затронутых вопросов, в том числе по поводу приезда Сикорского в СССР.

Через день польские дипломаты улетели обратно в Куйбышев, а меня Молотов задержал до 19-го для выполнения нескольких заданий. В промежутках между ними я имел возможность побывать на своей пустующей квартире, а также повидать столицу в новом ее качестве — в качестве города на осадном положении. За минувший месяц близость фронта внесла много перемен в ее жизнь и внешний вид.

В результате массовой эвакуации население Москвы к концу октября уменьшилось на 2 миллиона человек, и это сразу бросалось в глаза: улицы, даже в центре, поражали своей малолюдностью. Стены Кремля, кремлевских и многих других зданий подверглись камуфляжу с помощью цветных пятен всевозможной конфигурации, с тем чтобы сбить с толку вражеские бомбардировщики. У Калужской заставы выросли баррикады — массивные металлические надолбы и противотанковые «ежи». Аналогичные картины можно было увидеть и на других окраинах Москвы.

Облик Москвы стал суровым и по-военному строгим, как и подобает прифронтовому городу. Но эта суровость и военная подтянутость не означали, что общественная и культурная жизнь в нем замерла. Для оставшихся в городе москвичей были открыты клубы, кинотеатры и даже театры. Большой театр, эвакуировавшийся с основным составом в Куйбышев, сохранил здесь часть труппы, поставившей балет «Конек-горбунок» и другие спектакли. Такой разноликой предстала предо мною Москва в середине ноября.

Почти каждую ночь совершала налеты немецкая авиация. В ночь на 17 ноября, когда я находился в секретариате Молотова, работая над его заданием, зазвучал очередной сигнал воздушной тревоги. Все работники секретариата — и я вместе с ними — спустились в бомбоубежище Совнаркома, вполне безопасное и приспособленное для работы в часы тревоги. В эту ночь бомбежке подвергся и Кремль: одна из фугасных бомб взорвалась на Ивановской площади, неподалеку от здания Совнаркома. После отбоя я вернулся в секретариат, чтобы завершить к утру задание наркома.

В Куйбышев я вылетел 21-го — на сей раз без осложнений, если не принимать в расчет, что потерял два дня в ожидании летной погоды. Но на душе у меня было неспокойно — не переставала тревожить военная обстановка. 15 ноября германская армия возобновила наступление на Москву.

Уже через неделю немцы захватили на северо-западе от Москвы город Клин, на западе — Истру, на юго-западе — Малоярославец. В конце ноября они форсировали канал Москва — Волга у Яхромы, подступили на юге к Кашире. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы убедиться, что с севера и юга Москву охватывают клещи. Но как ни велико было давление немецких армий, а замысел «последнего прыжка» оставался все так же неосуществимым. Никогда еще войска Красной Армии не бились с таким ожесточением, с таким беззаветным героизмом, как на ближних подступах к столице, изматывая врага и уничтожая его живую силу и технику. С каждым днем боевой дух немецких частей ослабевал, а темп их продвижения замедлялся.

Близился час перелома на фронте. 27 ноября «Правда» опубликовала передовую статью, заголовок которой —«Под Москвой должен начаться разгром врага»— служил воодушевляющим боевым призывом к воинам Красной Армии.

В этот напряженнейший момент кампании 1941 года в Советский Союз в соответствии с договоренностью от 15 ноября прибыл Председатель Совета министров и Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Владислав Сикорский.

В Куйбышев он прилетел из Тегерана 30 ноября советским самолетом. Его сопровождали начальник штаба Главнокомандующего генерал Климецкий, командующий польской армией на территории СССР генерал Андерс, глава польской военной миссии генерал Шишко-Богуш и доктор Ретингер, летом, до приезда посла С. Кота, возглавлявший польское посольство в качестве временного поверенного в делах. В куйбышевском аэропорту Сикорского встретили с подобающими его положению почестями. От имени Советского правительства его приветствовал заместитель Председателя Совнаркома СССР Вышинский; вместе с ним были: от Наркомата обороны — начальник отдела внешних сношений полковник В. Н. Евстигнеев, от НКИД — заведующий Протокольным отделом Ф. Ф. Молочков и я. Встречали его, разумеется, и представители польского посольства во главе с послом Котом, а также представители союзнических военных миссий.

1 декабря генерал Сикорский нанес визит Председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину, а на следующий день вылетел в Москву со свитой из польских дипломатов и военных. От Наркомата обороны его сопровождали полковник Евстигнеев, от НКИД — Молочков и я.

Полет премьера происходил в комфортабельном «дугласе». На дальних подступах к Москве наш самолет был встречен эскадрильей советских истребителей и дальше летел под их охраной. На Центральном аэродроме генерала Сикорского встречали В. М. Молотов, начальник войск НКВД СССР генерал-майор А. Н. Аполлонов, комендант города Москвы генерал-майор К. Р. Синилов, уполномоченный Генштаба по формированию польской армии на территории СССР генерал-майор А. П. Панфилов. При встрече был выставлен почетный караул. Аэродром был украшен польскими и советскими флагами.

В столице всех пассажиров «дугласа» поселили в гостинице «Москва» на седьмом этаже, где для них было выделено целое крыло. В день прибытия польские представители отдыхали, а я с момента приезда почти безвыходно пребывал в Кремле, трудясь в отведенной для меня комнате рядом с секретариатом наркома. Покидал я ее только в часы трапез, которые в этот и последующие дни мы с Молочковым разделяли с польскими гостями в специальной столовой гостиницы. Проходя от Кремля до «Москвы», я неизменно вслушивался в орудийный гул, доносившийся с линии фронта: его ближайший рубеж находился теперь вблизи Химкинского водохранилища на окраине столицы.

3 декабря Сталин принял — в присутствии Молотова — генерала Сикорского, посла Кота и генерала Андерса. Переговоры польской делегации с руководителями Советского правительства, длившиеся более двух часов, были продолжены и на следующий день. Они охватили широкий круг вопросов, главным образом военных: о расширении контингента польской армии, о финансировании ее содержания, о дислокации ее на период формирования в Средней Азии, о переселении туда же польских граждан. Советская сторона подняла также и принципиальный вопрос о границах, но от обсуждения его польский премьер уклонился.

В результате двухдневных переговоров были решены важные практические вопросы и подписана Декларация Правительства Советского Союза и Правительства Польской Республики о дружбе и взаимопомощи. От имени Советского правительства ее подписал Сталин, от имени польского — Сикорский.

В декларации оба правительства, «исполненные духом дружеского согласия и боевого сотрудничества», провозглашали, что Советский Союз и Польша — совместно с Великобританией и другими союзниками, при поддержке США — «будут вести войну до полной победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков», что польская армия на территории СССР будет «вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками», что после войны они будут сотрудничать

для обеспечения «прочного и справедливого мира». Эта программа боевого сотрудничества открывала перспективы подлинно дружественных отношений между двумя соседними странами и их правительствами.

Утром 5-го Сикорский и все, кто прибыл с ним, вылетели обратно в Куйбышев. В самолете генерал Панфилов сообщил мне и Евстигнееву чрезвычайно важную новость: по данным нашей разведки, 4 декабря под Москвой немецкое командование ввело в бой последнюю резервную дивизию. «Выдохлись завоеватели,— прокомментировал он свое сообщение.— Эту дивизию наши части за один день перемелют».

Как отлично осведомленный заместитель начальника Генштаба, он мог бы в то утро и еще кое-что добавить. Например, о начале контрнаступления Красной Армии. 5—6 декабря оно и началось — после того как немецкие войсковые группировки были окончательно измотаны или вовсе перемолоты Красной Армией.

7 декабря генерал Сикорский устроил в Куйбышеве большой прием в польском посольстве, а затем на несколько дней слег в постель из-за простуды, что отсрочило его поездку по местам дислокации дивизий польской армии. Только 10 декабря он выехал поездом в Бузулук с целью проинспектировать расквартированные там части польской армии. И снова его сопровождало множество лиц. Советскую сторону представляли Вышинский, генерал Панфилов и я, польскую — старшие сотрудники посольства и военные. Кроме того, в поездке приняли участие представители союзнических военных миссий, в том числе подполковник Людвик Свобода, вскоре ставший во главе формируемых в СССР чехословацких воинских частей.

В Бузулуке Сикорский, завершив инспектирование, устроил в штабе польской армии прием в честь комсостава армии. На приеме он выступил с речью, повторив основные положения декларации от 4 декабря, встреченные бурными аплодисментами гостей и офицеров польской армии. Не меньше аплодисментов вызвали слова генерала Андерса: «Лично для меня было бы огромным счастьем получить первый оперативный приказ советского Верховного Главнокомандования о выступлении на фронт!»

Из Бузулука генерал Сикорский направился в Тоцкое — поселок Чкаловской области, где находилась 6-я дивизия польской армии, а оттуда в Татищево, той же области. Здесь была расквартирована 5-я дивизия. В обоих лагерях Сикорский присутствовал на воинских парадах частей и религиозных церемониях, устраивал приемы, произносил патриотические и союзнические речи.

Мы с Вышинским, сопровождавшие польского премьера и главнокомандующего, при каждой возможности избегали участия в этом бесконечном чередовании протокольных мероприятий — разумеется, так, чтобы не нарушить этикета. В этом путешествии, длившемся целых семь суток, у нас с ним были и свои наркоматские дела. Занимался ими со своими помощниками Вышинский, занимался и я, нередко вместе с Вышинским. Чаще всего в наш салон-вагон ко мне наведывался первый секретарь Арлет со своими стереотипными памятными записками и нотами, составленными в поезде. Часть выдвигавшихся посольством вопросов разрешалась на месте Вышинским, но большинство их, требовавшее наведения справок и контакта с компетентными органами, переадресовывалась нами в Наркоминдел.

Последним этапом поездки Сикорского стал Саратов, куда мы все 16 декабря приехали из Татищева. Саратовские власти дали в честь генерала банкет, после чего пригласили его и всех его спутников на спектакль МХАТа, показавшего нам «Трех сестер». А утром 17-го, торжественно провожаемый почетным караулом Саратовского гарнизона, Сикорский вылетел в Баку для дальнейшего следования в Тегеран и Каир. До Баку его сопровождали вся его свита, генерал Андерс, полковник Евстигнеев и я.

Однако до Баку мы в тот день не долетели, заночевав в Астрахани. Утром 18-го воздушное путешествие возобновилось, и в первой половине дня наш самолет прибыл в Баку. На следующий день мы с Евстигнеевым и представителями азербайджанских властей распрощались на аэродроме с высоким гостем, отбывшим на советском самолете в Тегеран.

На этом моя трехнедельная миссия в связи с приездом польского премьер-министра и главнокомандующего закончилась. 21 декабря я вернулся в Куйбышев и возобновил работу в отделе.

Близился новый, многотрудный 1942 год, с его переменчивым военным счастьем, с новыми тяжелейшими испытаниями для страны, с новыми жгучими проблемами для советской дипломатии, которыми он не обошел и наш отдел.

10. Наркоминдел на Волге (1942 год)

Как же складывались в этом многотрудном году отношения Советского Союза со странами, относящимися к Четвертому Европейскому отделу?

Осветить эти отношения я намерен в последовательном обзоре, уделив особое внимание тем странам, чья дипломатия проявляла наибольшую активность.

Свой обзор я начну с кратких замечаний о Болгарии, единственной из стран отдела, правительство которой примкнуло к числу гитлеровских сателлитов. Присоединившись 1 марта 1941 года к Тройственному пакту, правительство Филова пошло и дальше по этому гибельному пути. 25 ноября 1941 года оно присоединилось также к «антикоминтерновскому пакту», а в декабре того же года, подчиняясь диктату Берлина, объявило войну Великобритании и США, в результате чего Болгария стала воюющей страной со всеми вытекающими из этого последствиями.

1942 год не принес улучшения советско-болгарских отношений, обострившихся после нападения Германии на СССР. В Болгарии не прекращалась антисоветская кампания в печати и по радио, время от времени предпринимались провокационные акции. Особенно усилились эти враждебные вылазки во второй половине года. Одним из их объектов явилось советское консульство в Варне.

В связи с этим 5 сентября Советское правительство решило закрыть консульство, о чем 7 сентября довело до сведения болгарского правительства — через болгарского посланника в Москве Стаменова и через советского посланника в Софии Лаврищева. Как это ни странно, но этот вполне правомерный акт послужил поводом для грубейшего нарушения болгарскими властями элементарных норм международного права. 15 сентября ватага полицейских в форме и в штатском ворвалась в здание консульства и произвела там бесчинства, включая вооруженное ограбление консульской кассы, в связи с чем Лаврищев заявил болгарскому правительству решительный протест.

В начале октября болгарские власти совершили новый враждебный акт, организовав в Софии «выставку» клеветнических антисоветских материалов, рассчитанную на то, чтобы подорвать доверие и уважение болгарского народа к народам СССР. Советское правительство не могло пройти мимо этой вылазки и поручило Лаврищеву заявить решительный протест, что он и сделал в ноте болгарскому МИД от 6 октября. В ноте указывалось, что на выставке фигурируют фальсификации, изготовленные врагами Советского Союза в тщетной надежде поколебать искреннее уважение к народам СССР со стороны болгарского народа. Советское правительство, отмечалось далее в ноте, квалифицировало действия болгарского правительства как проявление враждебного отношения к народам Советского Союза.

Положение в Югославии и Греции в рассматриваемый период определялось двумя основными факторами — разбойничьим хозяйничаньем германо-итальянских оккупантов, с одной стороны, и подъемом национально-освободительного движения — с другой.

Югославское и греческое правительства, обосновавшиеся в Лондоне под опекой Форин офис, поддерживали связь с подпольными организациями правого толка в Югославии и Греции, но их деятельность была по преимуществу негативной. Они сдерживали развитие освободительной борьбы против оккупантов, считая ее в данный момент несвоевременной. Главной патриотической силой в этих странах были партизанские отряды, созданные коммунистическими партиями и ведущие вопреки увещеваниям из Лондона активную вооруженную борьбу.

Наибольшего масштаба сопротивление оккупантам достигло в Югославии. Уже к осени 1941 года численность партизанских отрядов составляла около 70 тысяч бойцов. В течение второго полугодия этого года и в 1942 году они освободили многие города и районы Сербии, Черногории, Боснии, Герцеговины и других областей страны. Важным этапом в деле национального освобождения Югославии стало создание в ноябре 1942 года в городе Бихач Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ) — представительного органа патриотических сил всех областей страны.

Боевые успехи партизан снискали им широкую популярность в Югославии и за ее пределами. Высокую оценку им дало Советское правительство в своем заявлении от 14 октября 1942 года. «Наиболее ощутимый ущерб,— говорилось в нем,— нанесен врагу в тех странах, где, наподобие великому движению народных мстителей-партизан, борющихся против оккупантов на временно оккупированных гитлеровцами советских территориях, верные патриоты бесстрашно вступили на тот же путь вооруженной борьбы с захватчиками, как это имеет место в особенности в Югославии».

Трудности освободительной борьбы против военной машины вермахта усугублялись предательской деятельностью отрядов четников под командованием полковника Михайловича. Они фактически сотрудничали с генералом Недичем, премьер-министром белградского марионеточного «правительства». Проводя по указанию Недича и с благословения эмигрантского правительства политику торможения вооруженной борьбы, полковник Михайлович потребовал от партизан безусловного подчинения себе, как «верховному руководителю Сопротивления». Формальное право для такого требования ему давала поддержка эмигрантского правительства, которое в декабре 1941 года

произвело Михайловича в генералы, а в январе 1942 года назначило своим военным министром.

18 ноября 1941 года премьер-министр генерал Симович обратился в советское посольство в Лондоне с просьбой о том, чтобы Советское правительство рекомендовало партизанам признать Драже Михайловича «национальным военным вождем». Одновременно аналогичные демарши в Наркоминделе предприняли югославский поверенный в делах Богич и от имени Форин офис английский посол Стаффорд Криппс. Естественно, Советское правительство не согласилось на подобный шаг, имея в виду, что генерал Михайлович скомпрометировал себя связями с коллаборационистом Недичем и не заслуживал доверия.

Широкое признание партизанского движения в качестве главного фактора национально-освободительной борьбы сеяло смятение в кругах реакционной югославской эмиграции, опасавшейся, что после победы над Германией народы Югославии выступят против реставрации антинародного монархического строя и пойдут по пути социального прогресса. Эти опасения высказывало югославское правительство, а вместе с ним и другие эмигрантские правительства, сталкивавшиеся с более или менее аналогичной ситуацией в своих странах и нуждавшиеся в политической помощи извне. Реакционные эмигрантские круги становились послушным орудием английской дипломатии.

В угоду Форин офис они одобрили планы создания на Балканском полуострове и в Восточной Европе некоего подобия того «санитарного кордона», который после первой мировой войны был сколочен вдоль западной границы СССР. Первым звеном нового «кордона» явился договор о союзе, подписанный 15 января 1942 года в Лондоне эмигрантскими правительствами Югославии и Греции. Неделю спустя там же было заключено соглашение о создании польско-чехословацкой «конфедерации». По смыслу соглашения, эмигрантские польское и чехословацкое правительства обязались координировать свою деятельность в экономической, политической, социальной и военной областях. После окончания войны к этим двум странам должны были — по замыслу чиновников Форин офис — присоединиться и некоторые другие государства, составив, таким образом, непрерывный «кордон» из стран, лежащих между Балтийским и Средиземным морями.

Затея с новым «санитарным кордоном», в целях благовидности именуемым «федерацией», имела скрытое антисоветское острие, и советской дипломатии необходимо было не только оценить ее по достоинству, но и предпринять надлежащие полити-

ческие шаги, чтобы не допустить ее осуществления. Ближайшим делом было, конечно, всестороннее изучение проектируемого и частично уже осуществляемого «кордона», в который входили четыре страны — Польша, Чехословакия, Югославия и Греция, относящиеся к Четвертому Европейскому отделу,— правда, пока только в лице эмигрантских правительств.

Этой проблеме, в центре которой — с точки зрения советских государственных интересов — стояла польско-чехословацкая «конфедерация», наш отдел уделил весьма серьезное внимание. Мы подготовили соответствующие материалы и наметили в докладной записке руководству НКИД предварительные выводы, в октябре 1943 года положенные в основу аргументации советского представителя на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Англии.

Теперь я остановлюсь на двух узловых вопросах польско-советских отношений этого периода — о нарушении союзнических соглашений о польской армии на территории СССР и о нелояльности посольства.

В соответствии с достигнутой в декабре 1941 года договоренностью Советское правительство предоставило польскому правительству беспроцентный заем в сумме 300 миллионов рублей, обеспечивавший развертывание польской армии в составе шести пехотных дивизий, запасных частей и частей усиления общей численностью 96 тысяч солдат и офицеров. Было также претворено в жизнь обещание о переводе формирующихся польских дивизий из района Бузулука в Среднюю Азию и Северный Казахстан. Таким образом, были созданы все необходимые условия для ускоренного формирования армии, с тем чтобы она в надлежащие сроки смогла выступить на фронт и принять участие в военных действиях.

К февралю польская армия фактически уже развернулась в составе шести дивизий, насчитывавших 73 тысячи солдат и офицеров. Некоторые из этих дивизий были полностью обмундированы, вооружены и обучены, иначе говоря, подготовлены к отправке на фронт. Но командование армии вовсе и не помышляло об этом. Генерал Андерс втайне гнул свою линию на вывод польской армии из Советского Союза в Иран, линию, отвергнутую во время советско-польских переговоров 3—4 декабря 1941 года. Имея в виду эту цель, он выдвигал всевозможные предлоги, чтобы не допустить отправку на фронт хотя бы одной дивизии. Эта негативная линия Андерса была поддержана генералом Сикорским.

Опираясь на его поддержку, Андерс вновь поставил перед Советским правительством вопрос о переводе нескольких ди-

визий в Иран, где, по его заверениям, они получат от английского командования экипировку и вооружение, а после обучения будут возвращены на территорию СССР. Предлог этот был заведомо фальшивым, но Советское правительство, не видя в этих условиях реальной возможности боевого использования польской армии, не стало препятствовать частичной эвакуации. Так, в марте через Красноводск в Иран были эвакуированы 31 тысяча солдат и офицеров и вместе с ними более 12 тысяч семей военнослужащих. А в августе, опять же по настоянию генерала Андерса, были эвакуированы и остальные дивизии общей численностью 44 тысячи человек и более 25 тысяч членов их семей.

Но вывод из СССР армии Андерса представлял собою лишь часть серьезных проблем, порожденных враждебной политикой польского эмигрантского правительства. В делах гражданских их было не меньше, чем в делах военных.

Как я отмечал выше, еще осенью 1941 года Советское правительство согласилось с просьбой польского посольства об открытии в различных пунктах Советского Союза «представительств» («делегатур») посольства с целью оказания материальной помощи польским гражданам. Финансовой основой этой помощи послужил советский заем в 100 миллионов рублей, соглашение о котором было подписано 31 декабря 1941 года в Куйбышеве. Кроме того, в фонд помощи поступали также средства из посольства и пожертвования из-за границы.

В течение краткого времени посольство открыло 20 «делегатур», в каждой из которых работали десятки, а в иных случаях и сотни человек. Помимо этого посольством был еще создан и институт так называемых «доверенных лиц», число которых перевалило за 400 человек, причем каждое «доверенное лицо» также обзаводилось собственным служебным аппаратом. Создание и гипертрофированный рост института «представителей» и «доверенных лиц» являлись беспрецедентными в практике дипломатических отношений, и согласие Советского правительства на их деятельность свидетельствовало о его доброй воле к укреплению дружбы между народами СССР и Польши.

Однако доверие Советского правительства было грубо обмануто. Организуя благотворительную помощь, польское посольство в то же время прибегло — через широко разветвленную сеть своих «делегатур» — к разведывательной деятельности. Занимались ею и дипломатические сотрудники посольства. Руководил этой разведывательной деятельностью глава военной миссии генерал Воликовский, объявленный вследствие этого персоной нон грата и вынужденный покинуть пределы СССР.

У меня нет ни намерения, ни возможности останавливаться на тех конкретных делах, какие в 1942 году выпали на долю нашего отдела в связи с подобной деятельностью польского посольства. Сильно скомпрометированному послу С. Коту уже нельзя было больше оставаться на своем посту. 13 июля он вылетел в Лондон якобы для доклада правительству. В действительности же его отъезд был не чем иным, как завуалированной отставкой. В Куйбышев он так и не вернулся, а руководство посольством временно принял на себя советник Сокольницкий.

12 октября в Куйбышев прибыл новый польский посол Тадеуш Ромер. Прибыл он в период, когда в польско-советских отношениях еще сказывалась холодность, вызванная нелояльным поведением представителей посольства, и когда только что закончилась ликвидация института «делегатов» и «доверенных лиц». Наркоминдел подготовил пространную памятную записку о действиях польской стороны, направленных на нарушение сотрудничества с Советским Союзом, и 28 октября записка была передана, но не послу Ромеру, еще не вручившему своих верительных грамот, а временному поверенному в делах Сокольницкому.

Это была многозначительная «памятка» новому послу о недружественном поведении его предшественника и вместе с тем повод для размышлений о собственной будущей деятельности. Два дня спустя, после того как Ромер получил возможность изучить памятную записку НКИД, его впервые принял Молотов. Верительные грамоты М. И. Калинину он вручил только в начале ноября, то есть почти месяц спустя по прибытии в Куйбышев. Нужно ли пояснять, что медлительность, с какой проходило аккредитование нового посла, объяснялась не одними только техническими причинами?

По иному пути развивались советско-чехословацкие отношения, как в политической, так и в военной областях.

В конце 1941 года в Бузулуке началось формирование чехословацкой бригады, которую возглавил полковник Людвик Свобода. В январе 1942 года Советское правительство предоставило на содержание бригады заем, обеспечивавший на том этапе все ее нужды. Дополнительные вопросы, возникавшие в ходе формирования и обучения первых воинских контингентов, были разрешены в июне—июле во время пребывания в Куйбышеве и Москве министра национальной обороны Чехословацкой Республики генерала Ингра.

В создании бригады активное участие принимали представители чехословацкой демократической эмиграции в СССР,

помогавшие воспитанию бойцов бригады в духе подлинного патриотизма и верности союзническому долгу. В отличие от генерала Андерса, уклонившегося от участия в военных действиях, командование чехословацкой бригады, сформировав и обучив свой первый батальон, упорно добивалось от советского командования отправки его на фронт, и уже в марте 1943 года батальон принял участие в боях под Соколовом.

С осени 1942 года в дипломатические отношения Советского Союза с Чехословакией и Югославией был внесен новый элемент. «В ознаменование дружественных отношений, существующих между народами и правительствами этих стран, а также тесного союза в войне против гитлеровской Германии», как было сказано в сообщении Наркоминдела от 9 сентября, дипломатические представительства СССР при правительствах Чехословакии и Югославии в Лондоне и дипломатические представительства последних при правительстве СССР в Куйбышеве были преобразованы из миссий в посольства, а соответствующим представителям был присвоен ранг послов.

Так, в СССР статус посла приобрели чехословацкий посланник Зденек Фирлингер и югославский посланник Станое Симич, сменивший в марте 1942 года посланника Милана Гавриловича. В соответствии с требованиями дипломатического протокола им понадобилось вручать М. И. Калинину новые верительные грамоты, аккредитовавшие их уже в новом, более высоком ранге.

В апреле следующего, 1943 года аналогичное соглашение о преобразовании миссии в посольство было заключено и с Грецией.

Дальнейший рассказ о событиях на дипломатической арене, с которыми мне в той или иной форме пришлось иметь дело, я позволю себе на некоторое время сменить несколькими заметками бытового характера, относящимися к 1942 году.

Я и моя семья недолго пребывали в неблагоустроенном общежитии НКИД, где в ноябре 1941 года разместились. Ввиду недостатка жилья в перенаселенном до крайности Куйбышеве нас поселили в коммунальной трехкомнатной квартире, в которой кроме нас жили еще семьи заведующего Первым Европейским отделом Павла Дмитриевича Орлова и заведующего Вторым Европейским отделом Федора Тарасовича Гусева.

Гораздо сложнее обстояло дело с питанием. Получаемый на семью продовольственный паек был настолько скуден, что не позволял накормить досыта даже детей, не говоря уже о взрослых. Само собой разумеется, что добавочным источником про-

довольствия сделался рынок. Но цены на рынке зимой и особенно ранней весной 1942 года подскочили поистине до небес, откуда моя зарплата и зарплата жены (она преподавала сотрудникам в НКИД английский язык) выглядела совершенно мизерной. Тогда в обмен на масло, мясо и молоко для детей на рынок были унесены, одна за другой, все те вещи из нашего гардероба, которые представляли хоть какую-либо меновую стоимость. Таким путем проблема питания детей кое-как разрешалась. А как питались мы сами, взрослые? Увы, на уровне, едва достаточном, чтобы поддержать существование. Скажу откровенно, что дело могло бы дойти и до катастрофы, не будь у меня время от времени «дополнительного питания» — на дипломатических банкетах, как ни скромно они выглядели по сравнению с изобилием мирного времени. Наше постоянное недоедание, разумеется, не было чем-то исключительным, а скорее нормой для подавляющего большинства советских людей.

Работа в наркомате обычно отнимала у меня весь день и часть ночи, так как ночные бдения практиковались и в Куйбышеве. Обычно до трех-четырех часов ночи. Однако жизнь в Куйбышеве по сравнению с московской имела и свои преимущества. Например, хотя бы в том, что в редкие, относительно свободные дневные часы я мог за пять минут добежать до дома и наскоро повидаться с детьми.

Жизнь моя в Куйбышеве стала более оседлой, чем до того. Все же «перемены местожительства» случались и в этом году. В марте я по вызову наркома вылетел в Москву на трое суток, в конце мая — начале июня на целую неделю, в сентябре — почти на две недели. Причиной вызовов служили по преимуществу польские дела, постоянно требовавшие подготовки материалов для очередных дипломатических демаршей.

Здесь я позволю себе отступить от хронологической последовательности в повествовании, чтобы рассказать об одном эпизоде личного порядка во время моего приезда в Москву в феврале 1943 года.

Едва я заявился в кремлевский секретариат Молотова, как помощник наркома С. П. Козырев с довольным видом сказал:

— До чего же своевременно ты прилетел! Поистине на ловца и зверь бежит.— В ответ на мой недоумевающий взгляд он разъяснил: — Я вот о чем. Поверишь ли, Николай Васильевич, мне больше невмоготу сидеть на этом стуле, ежеминутно хвататься за телефонную трубку, а у меня их с полдюжины, по звонку из кабинета наркома и без звонка бежать туда, чтобы получить десятки поручений, одно срочнее и важнее другого, почти круглосуточно находиться в секретариате... Всех благ моей

должности не перечислишь. Словом, я окончательно выдохся и вчера прямо заявил об этом Вячеславу Михайловичу.

Я отлично понимал Козырева. Знал также, что он многого недоговаривает. Причина, заставившая его «выдохнуться», заключалась, разумеется, не только в хлопотливых обязанностях помощника наркома, а и в трудности повседневного, стократного в сутки общения с ним, человеком требовательным, нетерпеливым и способным резко и грубо отчитать подчиненного, причем далеко не всегда справедливо, сорвать на нем злость, рожденную собственными неприятностями, которых у него хватало по горло. Отдавая себе отчет в том, что приходилось переносить Козыреву, я всегда от души ему сочувствовал, предвидя, что при всей его выдержке он рано или поздно очутится на грани нервного срыва. Услышав сейчас о том, что он «окончательно выдохся» и даже сообщил об этом Молотову, я понял, что эта критическая точка наконец достигнута.

— Значит, ты поставил вопрос о переводе на другую должность,— резюмировал я неожиданное душеизлияние Козырева. Он согласно кивнул.— А как Вячеслав Михайлович? Склонен он отпустить тебя? — Козырев опять утвердительно кивнул. И тогда в голове у меня родилась тревожная, хотя и смутная еще мысль: не с этим ли связана радость Козырева по поводу моего «своевременного» прилета? Своевременного — для чего? Я спросил:

— Выходит, твоя метафора о звере, бегущем на ловца, имеет отношение к твоему перемещению?

— Именно,— признался Козырев.— На свое место я рекомендовал тебя. По-моему, Вячеслав Михайлович не против твоей кандидатуры.

— Премного благодарен за доверие,— рассердился я.— Вот удружил так удружил. Всю жизнь мечтал, чтобы сменить тебя на этом жестком стуле.

— Мечтал или не мечтал, а к разговору на эту тему готовься. Сейчас я доложу наркому о твоем приезде.

Принял меня Молотов примерно через полчаса. К этому времени я уже твердо решил, что буду отказываться от почетной должности, если мне ее действительно предложат, ибо по складу моего характера она была мне категорически противопоказана. Но нарком не спешил с предложением. Поначалу он задал мне ряд вопросов о польских делах и поручил держать наготове материалы, которые могли понадобиться для предстоящей его беседы со Сталиным. Время от времени он брал телефонную трубку и вел с кем-то разговоры, как правило немногословные. Один из них мне очень хорошо запомнился. Звонил из Красноярска не то секретарь крайкома, не то председатель крайиспол-

кома. Речь шла о том, что красноярские руководители никак не возьмут в толк, почему Государственный Комитет Обороны предложил им прекратить налаженное в крае производство минометов. Выслушав соображения собеседника, Молотов с шутливым отчаянием воскликнул:

— Да поймите же, наконец, дорогие товарищи! Нам просто некуда девать минометы. Некуда, представляете? Армия и склады перенасыщены ими. А что касается производственных мощностей, то применение для них найдется. Указания дадим позже.

Этими вескими аргументами вопрос был исчерпан. Молотов повесил трубку и, обращаясь ко мне, сказал:

— Да, сейчас не сорок первый год. И даже не сорок второй. Теперь вооружение любых видов для нас не дефицит. Есть чем бить фрицев.

После этого он с усмешкой произнес:

— Козырев просится на покой. Устал, говорит. Устал от своего начальника. Каково, а? — Выждав мгновение, он продолжал: — Сообщил он вам, кого прочит на свое место?

— Сообщил, Вячеслав Михайлович.

— Ну и как вы смотрите на это дело?

— Неудачную кандидатуру он подыскал,— не без волнения ответил я, уверенный, что мой отказ вызовет резкую отповедь.

— Это в каком же смысле неудачную? — изобразил добродушное удивление нарком.

— Простите за прямоту, Вячеслав Михайлович, но я слишком хорошо знаю себя, чтобы не понимать, что мне недостает качеств, необходимых для такой должности.

— Каких качеств? — Добродушное выражение исчезло с лица наркома.

— Качеств послушного и расторопного адъютанта,— совсем не дипломатично выпалил я, тут же спохватившись, что выразился, пожалуй, слишком вызывающе. Но будь что будет, подумал я. Зато в вопрос была внесена полная ясность.

Молотов пристально поглядел на меня и сухо промолвил:

— Что ж, как-нибудь обойдемся без вас. Можете идти.

Как это ни странно на первый взгляд, но гроза, казалось бы, неминуемая, так и не разразилась. И в тот момент и позже я гадал, почему нарком не встретил в штыки мой не очень-то деликатный намек на то, что с ним нелегко сработаться. Должно быть, он оценил мою прямоту в отношении себя, к какой, по всей вероятности, не привык.

— Ну, с чем тебя поздравить? — с нетерпением спросил Козырев, как только я вышел из кабинета.

— Ни с чем,— облегченно вздохнул я.— Мне очень жаль, что я обманул твои надежды, но я отказался.

— Эх ты,— с огорчением проговорил он.— А я-то на тебя так рассчитывал.

— Ничего,— утешил я его.— Найдешь другого, более достойного кандидата.

Месяц спустя я с удовольствием узнал, что Козырев всетаки отпущен из секретариата наркома. 24 марта он был назначен генеральным секретарем и членом коллегии НКИД, перейдя, таким образом, на самостоятельную работу. В дальнейшем он с честью представлял Советский Союз на дипломатических постах за границей и в НКИД—МИД.

А война тем временем сурово давала себя знать. Сравнительно ограниченный масштаб военных действий в первом полугодии сменился с конца июня битвами огромного размаха. Вермахт сделал попытку возродить не удавшийся в предыдущем году блицкриг. В течение июля и августа немецкие войска, прорвав фронт на Юго-Западном направлении, продвинулись до Воронежа, Сталинграда, Орджоникидзе и Новороссийска. Но с приближением осени немецкое наступление начало выдыхаться. Воронеж, Сталинград, Новороссийск и Орджоникидзе стали теми рубежами, на которых Красная Армия остановила полчища вермахта, измотав их в непрерывных боях летне-осенней кампании.

С затаенной надеждой ждали советские люди момента, когда свое решающее слово скажет Красная Армия. Момент этот был уже недалек. 19 ноября на Среднем Дону и под Сталинградом развернулось мощное контрнаступление Красной Армии, завершившееся окружением и в дальнейшем — полным разгромом армейской группировки Паулюса. А затем сильнейшие удары обрушились на немецкие войска и на других фронтах. И снова, как в прошлом году, страна встречала Новый год под грохот орудий наступающей армии-освободительницы.

11. Наркоминдел на Волге (1943 год)

Немало важных событий произошло в 1943 году в дипломатических отношениях Советского Союза со странами, что входили в круг компетенции Четвертого Европейского отдела.

Среди последних наиболее серьезным являлось прогрессировавшее из месяца в месяц ухудшение советско-польских отношений. Основной причиной этого была та же, что в предыду-

щем году привела к выводу польской армии из Советского Союза и к политической дискредитации польского посольства, а именно антисоветские тенденции эмигрантского польского правительства. Питались они упорным нежеланием эмигрантских буржуазно-помещичьих кругов отказаться от притязаний на советские западноукраинские и западнобелорусские земли.

Эти притязания были вновь официально подтверждены 25 февраля на заседании польского правительства, обсуждавшего состояние польско-советских отношений. В результате заседания было опубликовано вызывающее по тону и содержанию заявление, которое уже на следующий день, 26 февраля, было вручено польским послом Ромером И. В. Сталину. Никакого официального коммюнике о беседе Сталина с Ромером опубликовано не было, но отношение Советского правительства к этому заявлению было четко выражено в сообщении ТАСС от 3 марта:

«Опубликованное 25 февраля сего года заявление Польского Правительства в Лондоне о советско-польских отношениях,— так начинался этот важный документ,— свидетельствует о том, что Польское Правительство не хочет признать исторических прав украинского и белорусского народов быть объединенными в своих национальных государствах. Продолжая, видимо, считать законной захватническую политику империалистических государств, деливших между собою исконные украинские и белорусские земли, и игнорируя всем известный факт происшедшего уже воссоединения украинцев и белорусов в недрах своих национальных государств, Польское Правительство, таким образом, выступает за раздел украинских и белорусских земель, за продолжение политики раздробления украинского и белорусского народов».

После ссылки на то, что даже лорд Керзон признавал в свое время беспочвенность подобных притязаний Польши, и приведя ряд других аргументов против необоснованных польских домогательств, ТАСС делал следующий вывод:

«Заявление Польского Правительства свидетельствует о том, что теперешние польские правящие круги в данном вопросе не отражают подлинного мнения польского народа, интересы которого в борьбе за освобождение своей родины и возрождение крепкой и сильной Польши неразрывно связаны с делом всемерного укрепления взаимного доверия и дружбы с братскими народами Украины, Белоруссии, равно как с русским народом и другими народами СССР».

Сообщение ТАСС, отражавшее мнение «советских руководящих кругов», не оставляло каких-либо недомолвок, недвусмысленно указывая на вызываемую позицией польского правительства напряженность в советско-польских отношениях.

Рассказ о том, как эта напряженность вылилась в открытый конфликт, следует предварить упоминанием о факте частичной реорганизации в НКИД. 23 марта Совнарком СССР назначил заместителем наркома видного украинского драматурга Александра Евдокимовича Корнейчука. Его жена писательница Ванда Василевская активно работала в Союзе польских патриотов. Приказом наркома в ведение этого нового замнаркома переходил один-единственный отдел — наш Четвертый Европейский.

Такая реорганизация была обусловлена рядом причин. Главной из них являлся вызревавший в тот момент и в общих чертах уже наметившийся проект создания в союзных республиках народных комиссариатов иностранных дел. С этой точки зрения статус Корнейчука, не обладавшего необходимой специальной подготовкой, можно было рассматривать как своего рода стажировку, с тем чтобы в будущем, накопив некоторый опыт, он мог бы занять в правительстве УССР пост наркома иностранных дел, что впоследствии и было осуществлено.

А накапливать опыт и необходимые для дипломата профессиональные знания ему, как в свое время и мне, понадобилось буквально с азов. Служебное подчинение Четвертого Европейского отдела Корнейчуку было в значительной мере формальным, фактически же имел место тесный служебный контакт с ним, немало помогавший прохождению «стажировки». И выбор отдела для этой цели оказался удачным. Ведь большое место в деятельности отдела занимали «польские дела», а многое из того, что касалось Польши — ее исторические судьбы, ее современное положение, ее деятели и организации Сопротивления, как на оккупированной территории, так и за ее пределами,— не было чуждым для нового замнаркома. Таким образом, в общеполитической компетенции Корнейчуку отказать было нельзя. Что касается освоения дипломатической практики, то в его распоряжении был опыт Четвертого Европейского отдела. Мало того, на должность его помощника был назначен мой заместитель по отделу В. А. Зорин, сменивший в этой должности в середине 1942 года Г. М. Пушкина, который занял в Урумчи пост генконсула.

Едва прошли две недели с момента назначения Корнейчука, как на долю нашего отдела выпало серьезное испытание. А для нового замнаркома оно явилось подлинным боевым крещением.

Начало события, о котором я хочу рассказать, относилось к середине апреля. К этому времени я уже с месяц как перестал совершать паломничества из Куйбышева в Москву и переехал туда вместе с несколькими сотрудниками. Однажды вечером я, покончив с самыми неотложными делами, дал по ВЧ в Куйбы-

шев необходимые указания тамошним сотрудникам отдела, побывал в кабинете Корнейчука и с его согласия покинул наркомат.

Покинул всего на пару часов, которые мне предстояло провести на квартире у С. П. Козырева, где происходило небольшое семейное торжество. Все шло там отлично, вечеринка обещала быть неплохой передышкой перед ночным бдением в наркомате, как вдруг в самый разгар скромного застолья раздался телефонный звонок. Звонил Зорин, сообщивший Козыреву, что Корнейчук немедленно вызывает меня в наркомат и что машина за мной уже послана. Недоумевая, какое дело потребовало моего срочного возвращения, когда я и без того должен был вскоре сам явиться в наркомат, я распрощался с гостеприимными хозяевами и спустился к машине.

В наркомате я сразу же отправился в кабинет Корнейчука, где находился и Зорин. Замнаркома казался очень взволнованным и растерянным.

— Вот полюбуйтесь, Николай Васильевич, о чем брешет немецкое радио,— произнес он, протягивая мне страницу вечернего выпуска бюллетеня ТАСС.— Ведь это же черт знает что!

Я пробежал глазами страничку бюллетеня. В сверхкрикливом тоне немецкое радио возвещало всему миру чрезвычайную «новость». О том, что немецкие оккупационные власти обнаружили в Катыньском лесу, неподалеку от Смоленска, могилы, в которых захоронены тысячи — тысячи! — польских офицеров, будто бы расстрелянных органами НКВД весной 1940 года.

— Чудовищная провокация! — сказал я, собравшись с мыслями.— Бомба огромной взрывной силы, рассчитанная на то, чтобы еще больше поссорить нас с поляками, а может быть, взбудоражить и западных союзников.

— Вы имеете в виду лондонских поляков? — спросил Зорин, также крайне расстроенный.

— Ну с ними-то мы фактически рассорились уже в феврале. Я подразумеваю население Польши и тех поляков, что сейчас живут в Советском Союзе.

— В этом-то весь и ужас,— раскрыл наконец потаенную причину своей взволнованности Корнейчук.— Я с трепетом душевным думаю о том, как воспримут эту тухлую фашистскую утку мои друзья из Союза польских патриотов.

— Надо, чтобы они восприняли ее именно как тухлую утку.

— Давайте вместе подумаем, что для этого должен сделать Наркоминдел.

И мы перешли к обсуждению практических шагов, какие следовало бы предпринять в связи с фальшивкой. Необходимо было незамедлительно связаться с ответственными работни-

ками НКВД и выяснить, что им известно об этом деле, наметить, как и в какой форме дать отпор провокации, подготовить предложения для наркома.

16 апреля Совинформбюро опубликовало сообщение, разоблачающее провокационные вымыслы Геббельса.

Нашлись, однако, и такие люди, для которых на первом плане стояла не истина, а политические интриги против СССР. Нашлись они среди реакционных польских деятелей, задававших тон в правительстве Сикорского и в эмигрантской прессе. Они подхватили геббельсовскую фальшивку и повели разнузданную антисоветскую кампанию. Делая вид, что он принял фашистскую фальшивку за истину, министр национальной обороны генерал Соснковский обратился 17 апреля параллельно с гитлеровским министром иностранных дел Риббентропом в Международный Красный Крест с просьбой «расследовать» Катыньские события. И хотя любому мало-мальски искушенному в политике человеку было ясно, что никакое беспристрастное расследование на оккупированной немцами территории невозможно, с позицией Соснковского солидаризировалось 18 апреля и правительство Сикорского в целом.

Итак, правительство Сикорского — какой бы ни была позиция самого премьера — фактически отошло от союзных отношений с Советским правительством. При таком положении вещей Советскому правительству не оставалось ничего иного, как прервать с ним дипломатические отношения. Соответствующее решение было принято 21 апреля, о чем в тот же день сообщено британскому премьер-министру Черчиллю и президенту США Рузвельту в идентичных конфиденциальных посланиях Сталина.

Однако прошло еще несколько дней, прежде чем решение Советского правительства было осуществлено. Только 25 апреля нота о «перерыве отношений» была вручена Молотовым польскому послу Ромеру.

Рождение этого документа произошло необычным путем. Кажется, это был первый случай, когда проект ноты польскому посольству составлялся не у нас в отделе, с последующей санкцией Вышинского или Молотова, как бывало всегда на протяжении предыдущих лет. На сей раз она составлялась вообще не в наркомате, а в Совнаркоме, И. В. Сталиным, и представляла собою не что иное, как копию его послания Черчиллю и Рузвельту от 21 апреля.

Таков был печальный финал дипломатических отношений с эмигрантским польским правительством, установленных в 1941 году, как дружественных и союзнических, но не выдержавших бремени антисоветских тенденций в политике польского правительства. В то же время он явился и началом заката эмиг-

рантского правительства, растерявшего свой престиж в глазах патриотически настроенной части польского народа, а также в значительной мере и в глазах наших западных союзников. Впрочем, последние, несмотря на свое скептическое отношение к правительству Сикорского, все же продолжали его поддерживать и даже пытались удержать Советское правительство от его решительного шага. Однако их усилия в этом направлении не увенчались успехом. Советская сторона не видела больше возможностей для контактов с правительством, проводящим враждебную политику.

Скатившись на обочину большой исторической дороги, правительство Сикорского тем самым расчистило на ней место для подлинно патриотических сил польского народа, способных выразить и отстоять его коренные национальные интересы, действуя в дружбе и союзе с советским народом. Отстоять не на словах, а с оружием в руках в боях против гитлеровских оккупантов.

Такие силы уже действовали в оккупированной Польше. Существовали они и на советской территории, будучи объединены Союзом польских патриотов, к которому непрерывно примыкали все новые и новые группы поляков. Польские патриоты отчетливо видели, кто их друзья и кто враги, с кем им шагать нога в ногу.

Об этом говорила вся практическая деятельность Союза польских патриотов. В начале мая Союз сделал новый важный шаг, обратившись в Совнарком СССР с ходатайством о разрешении создать на советской территории польскую пехотную дивизию имени национального героя Польши Тадеуша Костюшко, которая воевала бы против немецко-фашистских оккупантов вместе с Красной Армией. 6 мая Государственный Комитет Обороны удовлетворил это ходатайство. Так начался новый, плодотворный этап в советско-польских отношениях.

8—9 июня в Москве проходил Первый съезд Союза польских патриотов, принявший программную декларацию, принципиальные положения которой совпадали с политическими принципами Польской рабочей партии. Президиум съезда обратился к Совнаркому СССР с благодарностью за согласие на формирование польской дивизии и за помощь польским беженцам. Президиум заверял, что поляки в СССР выполнят «свой солдатский долг и, борясь плечом к плечу с героической Красной Армией против немецких захватчиков, спаяют кровью братство оружия и дружбу между польским народом и народами Советского Союза».

Заверения польских патриотов не были пустым звуком, как оставившие печальные воспоминания пылкие клятвы генералов

Сикорского и Андерса. Уже в октябре 1943 года дивизия имени Костюшко участвовала в боях Красной Армии под Ленино. Приток польских добровольцев помог Союзу польских патриотов сформировать и другие части, которые в марте 1944 года были объединены в 1-ю Польскую армию, прошедшую славный боевой путь бок о бок с Красной Армией через Белоруссию и Польшу и завершившую его в разгромленной Германии.

Как складывались дипломатические отношения с другими странами, входящими в компетенцию отдела?

Советско-чехословацкие отношения продолжали развиваться на основе дружественного сотрудничества и взаимной помощи в борьбе против гитлеровской Германии. Большое значение имело то, что уже в марте 1943 года оно воплотилось в совместные боевые действия чехословацкого батальона и частей Красной Армии под селом Соколовом. Осенью численно выросшие чехословацкие части сражались под Киевом и Белой Церковью, а в дальнейшем, развернувшись в корпус под командованием генерала Свободы, участвовали вместе с Красной Армией в освобождении Чехословакии.

Успешно развивалось и политическое сотрудничество. В отличие от польского правительства, своего соучастника по польско-чехословацкой «конфедерации», чехословацкое правительство во главе с президентом Бенешем проводило более реалистическую политику.

В мае оно фактически отмежевалось от антисоветской кампании польского правительства. 20 мая собравшийся в Лондоне чехословацкий Государственный совет принял резолюцию, осуждающую антисоветскую пропаганду, направляемую из Берлина. «Кульминационным пунктом злостной антисоюзной пропаганды,— говорилось в резолюции,— была в последнее время грубо сфабрикованная ложь о так называемой Катыньской расправе». И хотя формально Государственный совет осуждал немецкую пропаганду, было совершенно очевидно, что вместе с тем осуждению подвергается и эмигрантское польское правительство, подхватившее и распространявшее эту «грубо сфабрикованную ложь». Одновременно Государственный совет выразил сожаление по поводу «недружественного поведения польского правительства в отношении жизненных интересов Чехословакии», подразумевая под этим притязания правительства Сикорского на принадлежащий Чехословакии Тешинский округ, захваченный польскими войсками после «мюнхенского диктата».

Реалистический курс чехословацкого правительства выразился также в инициативе заключения с Советским Союзом

Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. До того как официально выступить с предложением по этому вопросу, оно провело полуофициальный зондаж. Осуществлял его чехословацкий посол Зденек Фирлингер в беседах со мною в марте, когда моим постоянным местопребыванием был еще Куйбышев. Не в пример своим польским коллегам С. Коту и Т. Ромеру Фирлингер, не страдавший гипертрофированной протокольной амбицией, и раньше нередко наносил мне визиты, хотя в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла мог все свои сношения с Советским правительством вести непосредственно через наркома или его заместителей, а в особых случаях — и с Председателем Совнаркома Сталиным.

В первый свой визит Фирлингер ограничился несколькими общими соображениями о том, что советско-чехословацкое соглашение от 18 июля 1941 года о совместных действиях в войне против Германии заключено на военный период и не предусматривает важных вопросов послевоенного сотрудничества. Логика событий, по его словам, рано или поздно потребует заключения долговременного соглашения, рассчитанного на период мирного существования. Я согласился с его соображениями о дальнейшей перспективе советско-чехословацких отношений, ожидая, что за этим последует какое-то конкретное предложение. Но Фирлингер не пошел дальше. Цель его пока состояла в том, чтобы его зондаж, высказанный как бы от себя лично, был доведен до сведения руководства НКИД. В таком же духе высказывался он и в беседе с заместителем наркома С. А. Лозовским. Записи наших бесед с Фирлингером были с интересом встречены наркомом, который дал мне указание в следующий раз активнее поддержать инициативу чехословацкого посла, если он к ней вновь обратится.

Во время второго визита Фирлингер опять заговорил на эту же тему. На этот раз он сообщил, что его мнение о необходимости заключить долгосрочный договор одобряется чехословацким правительством, которое предполагает внести в «удобный» момент соответствующее предложение Советскому правительству. Действуя в духе указаний Молотова, я ответил, что считаю нынешний момент вполне удобным для переговоров и что чехословацкая инициатива, несомненно, будет изучена с должным вниманием. Наша третья беседа с Фирлингером на эту тему была и последней, ибо по указанию наркома я сообщил послу о благожелательной позиции НКИД и порекомендовал ему вступить в официальные переговоры с Вышинским или Молотовым.

Переговоры эти затянулись на длительное время. Не потому, что стороны не смогли найти общий язык, а потому, что на пути

к заключению договора возникли неожиданные внешние препятствия. Когда основные его положения уже были разработаны, английское правительство оказало сильный нажим на президента Бенеша, возражая против заключения договора.

Последняя английская попытка помешать заключению договора имела место в октябре 1943 года в ходе Московской конференции министров иностранных дел СССР, Англии и США, когда в числе прочих обсуждался вопрос о сколачиваемых Форин офис «федерациях» и «конфедерациях». В. М. Молотов решительно выступил против подобных искусственных союзов, воскрешающих в памяти пресловутый «санитарный кордон», и отстоял эту точку зрения.

Благодаря этой позиции Советского правительства переговоры с Чехословакией были доведены до успешного конца.

Советско-югославские отношения в 1943 году мало чем отличались от тех, что сложились во второй половине 1941 года и продолжались в 1942 году. Югославские эмигрантские клики, группировавшиеся под эгидой Форин офис вокруг юного короля Петра II, раздирала ожесточенная борьба за теплые местечки в правительстве. Внешне она проявлялась в министерской чехарде. Генерал Симович продержался на посту премьер-министра только до декабря 1941 года. Сменивший его на этом посту Иованович дважды перетасовывал состав правительства — последний раз в январе 1943 года. 17 июня премьером стал уже Трифунович, в свою очередь смещенный 10 августа Божидаром Пуричем.

Но все эти министерские перетасовки не влекли за собою существенных изменений в политике югославского правительства, сказываясь лишь в некоторой эволюции дипломатической тактики. Его военным министром по-прежнему оставался генерал Михайлович, связи которого с коллаборационистом Недичем и немецкими властями сделались еще более одиозными. Четники Михайловича не прекращали своих нападений на партизан, получая при этом жестокий отпор. В таких случаях эмигрантское югославское правительство делало нам представления, изображая зачинщиками «братоубийственных» раздоров партизан.

Но характер этих представлений постепенно менялся. Эмигрантское правительство больше не просило Советское правительство воздействовать на партизан с целью подчинить их командованию генерала Михайловича. Причины новой тактики не составляли секрета. К середине 1943 года Народно-освободительная армия Югославии выросла уже в столь внушительную

силу, что требования о ее подчинении Михайловичу выглядели бы совершенно нелепыми.

Другая причина заключалась в том, что западные союзники, в первую очередь Англия, взяли курс на сотрудничество с Народно-освободительной армией как главным фактором Сопротивления в Югославии, и эмигрантское правительство не могло с этим не считаться. Приходя в отдел и оставляя мне памятные записки о новых конфликтах, Станое Симич, аккредитованный с мая 1943 года уже в ранге посла, прозрачно намекал, что делает он это лишь для проформы, поскольку, мол, получил такое указание от МИД. (Забегая немного вперед, отмечу, что в 1944 году Станое Симич был одним из первых югославских дипломатов, которые дезавуировали несостоятельную политику эмигрантского правительства и стали на сторону истинно патриотических сил югославского народа.)

Дипломатические отношения с греческим правительством носили нормальный характер, но не были отмечены какими-либо значительными актами или событиями политического порядка. 31 января 1943 года в Куйбышев прибыл новый греческий посланник Атанос Политис. 13 февраля он был принят в Москве В. М. Молотовым, а 15 февраля вручил верительные грамоты М. И. Калинину. Но ему недолго пришлось пребывать в ранге посланника. 17 апреля между Советским и греческим правительствами было заключено упомянутое мною раньше соглашение, по которому дипломатическим представительствам обеих стран присваивался статус посольств. В связи с этим 16 июля А. Политис вторично вручал верительные грамоты М. И. Калинину — на этот раз уже в качестве посла.

Из всех подведомственных Четвертому Европейскому отделу стран Болгария в этом году доставляла нам меньше всего поводов для оперативных дипломатических шагов. Наглые антисоветские провокации, которые в первые годы войны характеризовали внешнюю политику болгарского правительства, теперь сошли на нет. Можно было не сомневаться, что снизошедшее на правительство Филова относительное «благоразумие» навеяно поражениями Германии на Восточном фронте, начавшимися разгромом под Москвой и грандиозным сталинградским «котлом».

Болгарский посланник Стаменов стал нередким гостем в моем кабинете. Я намеренно называю его «гостем», ибо приходил он, как правило, без конкретной деловой надобности — просто для поддержания контакта с НКИД, сильно омраченного прошлогодними конфликтами.

В наших беседах, выдержанных в официальном тоне и обычно не затягивавшихся надолго, Стаменов избегал касаться важнейшего вопроса того периода — хода военных действий, но я время от времени не отказывался комментировать победные сообщения Совинформбюро, на что он реагировал тягостным молчанием. Предпочитал он помалкивать и о незавидном положении, в котором очутилась Болгария как сателлит Германии. Но однажды этот придворный сановник царя Бориса и поклонник гитлеровской Германии, имитируя обиду, разразился такой тирадой:

— Советская пресса, господин директор, очень несправедливо рисует Болгарию. Нас изображают как верных друзей Германии и участников ее агрессивных действий против России. Но почему же никому из ваших журналистов не приходит в голову, что Болгария не вступила в войну с вами и не намерена делать это впредь? Почему никто не хочет понять, какие усилия затрачивает болгарское правительство, чтобы противостоять нажиму из Берлина? А ведь вы знаете, в каком направлении оказывается этот нажим.

В этой квазипатетической тираде слышалась новая для болгарского посланника нотка. Должно быть, в Софии начали всерьез задумываться над участью, которая ожидает Болгарию после намечающегося уже разгрома Германии. Но трудно было представить себе, чтобы слабые проблески внешнеполитического «благоразумия» привели в конце концов Болгарию к ее радикальной переориентации. Может быть, болгарские правители рассчитывали выйти сухими из воды, сыграв на такой «заслуге», как сомнительный «нейтралитет» в отношении Советского Союза? Похоже, что именно на эту карту ставило правительство Филова.

Откровенно говоря, сетования Стаменова по поводу «необъективности» советских журналистов я принял отчасти на свой счет. Возможно, он знал или догадывался, что говорит с одним из авторов газетных статей о Болгарии, подписанных литературным псевдонимом. Но это, конечно, не имело значения. Отвечал я ему как заведующий отделом, который не один год ведает болгарскими делами. Отводя упрек в «несправедливом» отношении к Болгарии, я напомнил, что в прошлом году у нас было достаточно веских причин для претензий к болгарскому правительству, и мы их открыто предъявили. Что же касается трудности противодействовать нажиму из Берлина, то ведь Болгария добровольно пошла на союз с Германией, дважды отказавшись от советского предложения о пакте взаимопомощи.

Тут Стаменов сдержанно-ворчливым тоном возразил, что Болгария примкнула к Германии вовсе не добровольно, что на ее

границах тогда стояли десятки немецких дивизий и союз с Германией был единственным способом избежать трагической судьбы Югославии и Греции. Несостоятельность подобного аргумента была очевидна, а довода о советском предложении он «не услышал» и никак на него не отозвался. Словом, общего политического знаменателя мы с ним в этой беседе не нашли, как не находили его и раньше.

В 20-х числах августа ввиду благоприятного положения на фронтах дипкорпус был переведен из Куйбышева в Москву. Вернулась на Кузнецкий мост и основная часть аппарата НКИД, проведшая в Куйбышеве немногим менее двух лет. 31 августа по случаю возвращения в Москву дипломатического корпуса нарком устроил на Спиридоновке большой прием.

К этому периоду относится один из эпизодов моей деятельности, связанный с тем, что в Москве, как до того и в Куйбышеве, я время от времени публиковал в центральных газетах и журналах статьи на международные темы. Я всегда располагал обильными материалами по соответствующим вопросам, и когда у меня выдавался час-другой относительно свободного времени, главным образом в ночных бдениях, я брался за очередную статью. Писал о гитлеровском «новом порядке» на Балканах, о раздорах в лагере германо-итальянских захватчиков, о назревании политического кризиса в румынской вотчине Гитлера, о подъеме национально-освободительного движения в Югославии, об антивоенных настроениях болгарского народа и о других существенных явлениях в странах, входящих в компетенцию нашего отдела. За эти рамки я не выходил, не касаясь проблем Турции и арабских стран с тех пор, как при реорганизации в мае 1941 года они остались вне Отдела Балканских стран, а позднее Четвертого Европейского. Тем более неожиданным явилось для меня задание наркома написать статью о Турции для журнала «Война и рабочий класс».

Журнал этот был задуман и создан (при некотором моем участии) в июне 1943 года как политический еженедельник, освещающий актуальные международные проблемы. Издавался он газетой «Труд», но специфический характер затрагиваемых им тем, естественно, предопределял повседневное пристальное внимание к нему со стороны Наркоминдела.

Давая мне в самом конце августа задание, Молотов высказал несколько соображений, которые надлежало отразить в статье. Ее тема красноречиво определялась заголовком: «Кому на пользу нейтралитет Турции?» Статья шла за подписью Н. Васильева (то есть под моим давним публицистическим псевдо-

нимом). Я детально проследил, как изменялось на различных этапах войны значение нейтралитета Турции, и делал вывод, что на нынешнем этапе турецкий нейтралитет служил преимущественно стратегическим интересам Германии.

Я приводил следующие доводы:

«Турция обеспечивает безопасность балканского фланга германских армий и дает возможность Германии по-прежнему держать здесь весьма ограниченные силы, концентрируя подавляющую часть немецких войск на советско-германском фронте. Германии дорога сейчас каждая свободная дивизия. Германия цепляется сейчас за каждую возможность оттянуть момент роковой для нее развязки. Эта развязка могла бы быть ускорена, если бы Турция вышла из состояния своего благоприятного для Германии нейтралитета. Вполне понятно, что в этих условиях Германия изо всех сил добивается сохранения Турцией ее нейтралитета».

Но соль статьи заключалась в ее многозначительной концовке, которую я также процитирую:

«Советская общественность понимает, конечно, что определение линии своей внешней политики является делом самой Турции. Но, с другой стороны, наша общественность не может не интересоваться характером нейтралитета Турции. Советская общественность внимательно следит за нынешней турецкой внешней политикой и изучает факты для того, чтобы определить свое отношение к этой политике».

Должен сознаться, что ни одна из написанных мною по собственной инициативе статей не давалась мне с таким трудом, как эта статья по заданию. Основная трудность вызывалась отнюдь не незнанием мною темы и не недостатком материалов, а некой внутренней противоречивостью указаний Молотова, от которых он не отступал ни на йоту. Столкнувшись с нею в процессе работы, я решил в своих рассуждениях руководствоваться стройной политической логикой. Но идя таким путем, я разошелся в одном важном вопросе с наркомом.

В результате соответствующие абзацы статьи были им забракованы, и мне было предложено переделать их. Но как я ни бился над ними, противоречивость их бросалась в глаза, а когда я устранял ее, нарком снова браковал текст.

Сославшись на мою «непонятливость», он призвал на помощь мне «варяга» в лице А. Леонтьева, редактора журнала «Война и рабочий класс». Леонтьев был журналистом-международником, вполне эрудированным, обладающим тонким политическим чутьем и хорошо владеющим пером. Но и вместе с ним мы не справились с этой злосчастной противоречивостью.

Плод нашего совместного труда обсуждался на коллегии НКИД, куда был приглашен и руководящий состав редакции журнала. Сердясь и упрекая нас с Леонтьевым в неспособности выразить политический «нюанс», нарком собственноручно внес в текст несколько фраз, которые, по его мнению, этот «нюанс» отражали, а в действительности снова приводили к противоречивости. Поэтому ни я, ни Леонтьев с поправкой не согласились. Однако решающее слово осталось не за нами. В таком «исправленном» виде статья и была опубликована в 7-м номере журнала.

Но на этом дело не кончилось. На следующий день после выхода журнала в газете «Труд» появилась поправка к моей статье — именно в том спорном абзаце, что подвергся редактированию наркома. К тексту этой поправки ни я, ни редакция журнала и даже — как выяснилось позже — ни редакция газеты «Труд» никакого отношения не имели. Написал ее И. В. Сталин, оперативно прочитавший статью, поспоривший о ней с Молотовым и распорядившийся немедленно, не дожидаясь выхода очередного номера журнала, напечатать поправку в «Труде». А так как «Труд» не принадлежал к числу газет, находившихся в центре внимания дипломатических кругов, коим адресовалась эта статья и поправка к ней, то для пущей уверенности в том, что они дойдут до адресатов, статья — в новом, отредактированном Сталиным варианте — была 11 сентября дополнительно перепечатана в газете «Известия», где растянулась на два подвала. Мне остается лишь добавить, что поправка Сталина полностью восстанавливала первоначальный смысл «криминального» абзаца, хотя и в несколько иных выражениях.

12. Уравнение со многими неизвестными

На шестом году работы в центральном аппарате Наркоминдела в моей судьбе произошла серьезная перемена. Осенью 1943 года я был назначен представителем СССР в Египте.

Принципиальное решение руководства наркомата о посылке меня в одно из наших посольств за рубежом состоялось еще в июне. Но конкретный вопрос, куда именно и в каком качестве, долгое время оставался как бы уравнением со многими неизвестными.

Должен сказать, что инициатива в вопросе о перемене места работы принадлежала мне самому. На исходе пятилетнего срока пребывания в наркомате я пришел к выводу, давно уже вызре-

вавшему, что мне необходимо сменить условия труда, без чего я рисковал превратиться в типичного кабинетного работника-рутинера. Основная причина для такого вывода заключалась в том, что, наряду с важными политическими проблемами, отделу приходилось заниматься обширной, чисто канцелярской перепиской и массой мелких текущих дел, которые приковывали к письменному столу и телефону всех сотрудников и, разумеется, заведующего. Перспектива бесконечного противоборства с канцелярщиной и текучкой угнетала меня, и в один прекрасный день — это было в конце апреля — я надумал поделиться своими мыслями с А. Е. Корнейчуком.

В беседе с ним мы затрагивали различные выходы из создавшегося положения. Не вдаваясь во все подробности разговора, отмечу, что в числе других возможностей мы касались и перевода на заграничную работу. Беседа протекала не в официальной плоскости, а скорее в порядке товарищеского обмена мнениями. Тем не менее она сыграла определенную роль. Корнейчук сообщил о моих соображениях наркому, который признал основательными те из них, что касались перевода за границу. Но до реализации их было еще далеко.

Май и июнь внесли некоторые новшества во внутреннюю жизнь внешнеполитического ведомства. 28 мая был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении рангов для дипломатических работников Наркоминдела, посольств и миссий за границей. В тот же день постановлением Совнаркома СССР для дипломатических работников вводилась форменная одежда со знаками различия в виде вышитых золотом звезд на погонах. А 14 июня были приняты сразу два Указа о присвоении дипломатических рангов лицам руководящего состава Наркоминдела, посольств и миссий. Одним из таких Указов мне в числе других заведующих отделами присваивался ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника. Отныне мне предстояло носить мундир с погонами без просвета (наподобие генеральских), вышитыми тремя звездочками и увенчанными металлической золоченой эмблемой — двумя скрещенными пальмовыми ветками. Последние — несомненный символ миролюбивых устремлений советской дипломатии.

29 июня заведующих и их заместителей (к этому времени добрая половина их перебралась из Куйбышева в Москву) пригласили в кабинет А. Я. Вышинского на совещание, в котором принял участие и В. М. Молотов.

Совещание было непродолжительным. Закрывая его, нарком добавил: «Товарища Новикова попрошу задержаться».

В общих чертах я догадывался, о чем пойдет речь. В последнее время Корнейчук не раз намекал мне на перспективу стать

посланником в Египте, с правительством которого тогда велись переговоры об установлении дипломатических отношений. С другой стороны, генеральный секретарь НКИД С. П. Козырев вдруг стал размечать мне для ознакомления депеши из Анкары, хотя турецкими делами я давно уже не занимался. Понимая, что Козырев действовал не по своей инициативе, я воспринял анкарские шифровки как косвенное доказательство возможности быть посланным в Турцию. А как же обстоит дело с Каиром, на который намекал мне Корнейчук? Спрошенный мною об этом, он ничего определенного сообщить не смог, кроме того, что Отдел кадров наркомата занялся мною вплотную. Услышав обращенные ко мне слова наркома, я подумал, что сейчас, наконец, твердо определится, в Анкару или Каир будет проложен мне маршрут.

Подождав, пока участники совещания, кроме меня и заместителей наркома, покинут кабинет, Молотов сказал:

— Настало время, товарищ Новиков, возвратиться к нашей старой теме, все еще не исчерпанной. Мы окончательно решили послать вас за границу. Вам давно уже следовало бы перейти на самостоятельную работу, но вы были нужны здесь. На первых порах хотим направить вас в Лондон, советником в посольство Богомолова. Для вас это будет как бы переходный период, наверно, короткий. А когда «подшефные» Богомолову правительства начнут возвращаться восвояси, мы назначим вас послом при одном из них. Как вы смотрите на такой план?

Как я смотрел на этот план? По меньшей мере с изрядной озадаченностью. Лондон! Да еще на краткий переходный период! В годы войны посол А. Е. Богомолов был аккредитован одновременно при нескольких эмигрантских правительствах, обосновавшихся в Лондоне и с нетерпением ждавших освобождения своей национальной территории, чтобы перебраться туда. И момент этот был тогда уже не столь отдаленным.

Тут было над чем призадуматься. Я так и ответил Молотову, а после минутного колебания прибавил, с улыбкой глянув на Корнейчука:

— Судя по некоторым слухам, мне скорее предстояло услышать предложение о Каире, чем о Лондоне. Но если будет сочтено целесообразным использовать меня в Лондоне, я надеюсь, что сумею оправдать оказанное мне доверие и там.

— Слухи слухами, а факты фактами,— назидательным тоном заметил Молотов.— Но ваш ответ именно такой, на какой я рассчитывал. Значит, с этим все ясно. А по какой же стране Новикову быть советником? — Теперь он обращался к своим за-

местителям, но первым высказался сам.— По-моему, лучше всего по Франции.

Эта мысль вызвала сомнения у Корнейчука, склонявшегося к тому, чтобы поручить мне в Лондоне польские и чехословацкие дела, которыми я в наркомате занимаюсь уже два года. Но его никто не поддержал, а я, со своей стороны, заявил, что не возражаю против Франции.

Молотов сел за стол Вышинского, набросал телеграмму Богомолову с запросом о его мнении по поводу моей кандидатуры, а затем вызвал звонком помощника Вышинского и передал ему текст для отправки в Лондон.

На этом беседа закончилась.

Уже 4 июля Козырев сообщил мне, что Богомолов, как выражаются в дипломатическом обиходе, «выдал мне агреман». Наступила стадия «оформления», то есть выполнения ряда формальностей и прохождения моих документов по многим инстанциям, вплоть до самых высоких. Одновременно я взялся за ознакомление с ведомственными и литературными материалами по основным вопросам советско-французских отношений. Предстояло мне также урегулировать немало семейных и хозяйственных дел, связанных с заграничной поездкой.

А поездка предвиделась дальняя и сложная — почти кругосветное путешествие. Летом 1943 года путь на Лондон складывался из таких впечатляющих этапов: поездом из Москвы до Владивостока, далее пароходом до Сан-Франциско, потом снова поездом через континент до Нью-Йорка и оттуда опять океаном до Англии, с возможным заходом — из-за немецких подводных лодок — в Исландию, если не в Гренландию. Я не говорю уже о том, что и Англия, по всей вероятности, не была бы конечным пунктом пути. Развитие военных и политических событий летом 1943 года позволяло думать, что местопребыванием только что образованного Французского комитета национального освобождения, будущего Временного правительства Франции, станет не Лондон, а Алжир.

Сборы в дорогу и подготовка к новой работе протекали в неустанном круговороте прежних текущих дел, от которых меня еще не освободили.

16 июля я побывал в Президиуме Верховного Совета СССР. С 1939 года мне доводилось там бывать многократно — на церемонии вручения верительных грамот «подшефными» отделу послами и посланниками. На этот раз верительные грамоты М. И. Калинину вручал греческий посол Политис. Церемония проходила с частичным отступлением от традиционного порядка — было отменено фотографирование ее участников. Дело

было в том, что глаза Михаила Ивановича, незадолго до того подвергшегося серьезной операции, не выносили ослепительных вспышек магния. Вид «всесоюзного старосты», двадцать пятый год бессменно стоявшего на посту главы Советского государства, показался мне очень болезненным.

К августу сборы в дорогу и «оформление» далеко продвинулись вперед. В середине месяца были уже запрошены американская транзитная и английская въездная визы. Дела Четвертого Европейского отдела я сдал новому заведующему — В. А. Зорину, который с полгода работал помощником А. Е. Корнейчука. Теперь я мог больше времени посвящать французским делам и не терял ни одного часа. Ведь до отъезда оставались считанные дни — визы для дипломатов выдавались, как правило, в сжатые сроки.

16 августа, после какого-то совещания у наркома в его кремлевском кабинете, я осведомился, могу ли я трогаться в дорогу сразу же по получении виз?

— Можете,— не очень уверенно произнес Молотов, обменявшись непонятным мне взглядом с присутствовавшим Вышинским, и в явном несоответствии со сказанным продолжал: — Только учтите, что вы по-прежнему числитесь у нас кандидатом на Каир. Мы непременно пошлем вас туда, правда не сейчас, а попозже.

Дата этого «попозже», хотя бы приблизительная, не была названа. Нечеткая позиция наркома мгновенно окутала мою поездку в Лондон непроницаемым, истинно лондонским туманом, сквозь который смутно просматривались стреловидные минареты Каира.

Мне не хотелось дольше оставаться в неведении относительно моей ближайшей судьбы, и я решил поговорить с наркомом без всяких недомолвок, рассчитывая при этом склонить чашу весов в пользу французского варианта, с которым я к тому времени успел свыкнуться. Тем более что в запасе у меня имелся, как я считал, довольно веский аргумент.

— Вячеслав Михайлович,— сказал я,— вы хорошо знаете, что я готов работать всюду, куда меня пошлет партия. Это относится, разумеется, и к Каиру. Но, говоря о Каире, я не вправе умолчать об одном личном обстоятельстве. До сих пор, бывая в жарких краях, я обычно заболевал тяжелой формой тропической малярии, которая изматывает меня до предела. Из-за нее я уже дважды был на пороге смерти: в Стамбуле в 1928 году и в Таджикистане в 1934 году. И меня, естественно, тревожит перспектива еще раз стать жертвой малярии, потерять на чужбине работоспособность и сделаться пациентом какой-нибудь каирской больницы.

Терпеливо выслушав мою тираду, нарком сказал:

— Надеюсь, что в Египте рецидива малярии у вас не будет. Во всяком случае, мы не оставим вас в беде. Я думаю, что в знойные летние месяцы мы сможем отзывать вас в Союз.

По окончании разговора я ушел убежденный, что разрешение ехать слишком уж призрачно, чтобы всерьез на него полагаться, и что Лондон и Франция медленно, но верно исчезают с моего горизонта. Дальнейшие события подтвердили такой вывод.

Через неделю американская и английская визы уже красовались на наших паспортах — моем и моей жены. Мы готовы были к отъезду в любой момент, неясно было только — куда? В Лондон? В Алжир? В Каир? Или еще куда-нибудь? Узнав о визах, я позвонил Вышинскому и, сославшись на разговор с наркомом 16 августа, спросил, сохраняет ли силу его разрешение на мой отъезд в Лондон? Ответ гласил: надо подождать. И хотя Вышинский отказался пояснить, чего именно ждать и сколько времени, я уже понял, в чем дело: 26 августа были установлены дипломатические отношения с Египтом и со дня на день ожидалось опубликование совместного советско-египетского коммюнике. Теперь уже не надо было гадать, куда лежит мой путь.

Снова завертелись колеса машины «оформления» — теперь в направлении Каира. 14 октября Указом Президиума Верховного Совета СССР я был официально назначен Чрезвычайным и Полномочным Посланником СССР в Египте.

Трудное уравнение со многими неизвестными было наконец решено.

Завершился продолжительный период неопределенности, в течение которого я и моя семья, фигурально выражаясь, сидели на чемоданах. Теперь их можно было на время распаковать и убрать в чулан: отъезду в Каир предшествовали более сложные приготовления, чем отъезду в лоно давно сформированного посольства А. Е. Богомолова. В Лондон я бы поехал «на все готовое», тогда как в Каире надо было все создавать заново, начиная, по терминологии строителей, с «нулевого цикла». Прежде всего — с комплектования штата новорожденного дипломатического представительства. Подбором кандидатур сотрудников занимался Отдел кадров НКИД, но отбор их с точки зрения деловой квалификации лежал, естественно, на мне. На процедуру комплектования и утряску административно-хозяйственных вопросов ушло более месяца.

Хватало и различных других забот. Большое внимание требовалось уделять Египту и всему Ближнему Востоку. Приходилось также тщательно следить за нашими отношениями с Югославией и Грецией. Ведь по решению высших инстанций, о котором я до сих пор не удосужился упомянуть, мне наряду с ролью посланника в Египте предназначалась и роль посла при эмигрантских греческом и югославском правительствах, чьим местопребыванием с сентября 1943 года сделался Каир.

Замечу мимоходом, что так как на наше дипломатическое представительство в Каире возлагались одновременно задачи миссии и двух посольств, а сам я, как его руководитель, имел по Указу Президиума Верховного Совета от 21 сентября ранг посла, то оно с полным основанием именовалось всеми посольством.

В середине октября король Фарук I выдал агреман на мое назначение посланником. После этого были запрошены агреманы у югославского короля Петра II и греческого — Георга II.

В двадцатых числах октября их агреманы были получены. Вслед за этим в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября я стал послом при правительстве Греции, а по Указу от 31 октября — послом при правительстве Югославии.

Но если главы четырех государств без заминок сделали все, чтобы наше посольство превратилось в международно-правовую реальность, то практическое его становление шло черепашьими шагами. К началу ноября Отдел кадров с трудом обеспечил нас двумя сотрудниками-арабистами, притом неопытными в дипломатической работе. Что касается сотрудников для греческих и югославских дел, то их не было вовсе. Недоставало также более половины канцелярского и технического персонала.

Словно догадываясь о наших затруднениях с кадрами, добровольно предложил свои услуги некий предприимчивый обитатель Каттакургана. Едва в газетных разделах «Хроника» появилось сообщение о моем назначении в Египет, как он телеграфировал:

«Москва. Наркоминдел. Посланнику Египте Новикову. Приспособлен работать жарком климате. Одинокий. Телеграфьте вызов Каттакурган, Самаркандской области, до востребования».

Увы, Отдел кадров не посчитался с трудовым порывом одинокого и приспособленного к жаркому климату гражданина.

В повседневной лихорадочной спешке и перегруженности всяческими делами я и не заметил, как вплотную подошла XXVI годовщина Октябрьской революции.

Празднование годовщины революции, несмотря на вызванные войною по всей стране тяготы и лишения, происходило в атмосфере радостной приподнятости.

В мажорном настроении проходил и традиционный ноябрьский прием в Доме приемов Наркоминдела на Спиридоновке. Это был самый пышный из всех праздничных приемов, на каких мне довелось побывать за пять с половиной лет моей дипломатической службы. Наряду с иностранными дипломатами в залах особняка можно было видеть членов Советского правительства, прославленных маршалов и генералов, писателей и артистов, научных и общественных деятелей. Присутствовали, разумеется, и ответственные работники Наркоминдела, впервые нарядившиеся в парадные мундиры.

После большого праздничного концерта, в котором выступили лучшие музыкальные и театральные силы столицы, гости разбрелись по залам и плотной толпой осадили столы с закусками и напитками, то есть с той гастрономической роскошью, какая в те скудные времена казалась почти сказочной. Кое-кто из иностранных дипломатов, пренебрегая разнообразной снедью, так усиленно налегали на коньяк и водку, что тут же, не отходя от стола, «полегали костьми».

Я бы не рискнул упомянуть с такой уверенностью об этом колоритном факте, если бы его не подтвердил другой очевидец, английский журналист Александр Верт. В своей интересной книге «Россия в войне 1941—1945» он, рассказывая об этом вечере, пишет: «Первыми с приема ушли японские дипломаты, которых принимали подчеркнуто холодно, но вскоре за ними последовала целая процессия «их превосходительств», которых просто выносили — ногами вперед. Английский посол свалился ничком на стол, уставленный бутылками и рюмками, и даже слегка порезался».

Пробираясь сквозь гудящую, как шмелиный рой, толпу, я отыскивал в ней знакомых дипломатов и беседовал с ними — с греческим послом Политисом, болгарским посланником Стаменовым, чехословацким послом Фирлингером. По словам последнего, в декабре в Москву для подписания договора о взаимной помощи собирался приехать президент Чехословацкой Республики Бенеш. Я выразил сожаление, что из-за близкого отъезда вряд ли смогу стать свидетелем этого важного события. Свидетелем события я действительно не стал, но познакомиться с президентом мне все-таки довелось, только не в Москве, а в Каире.

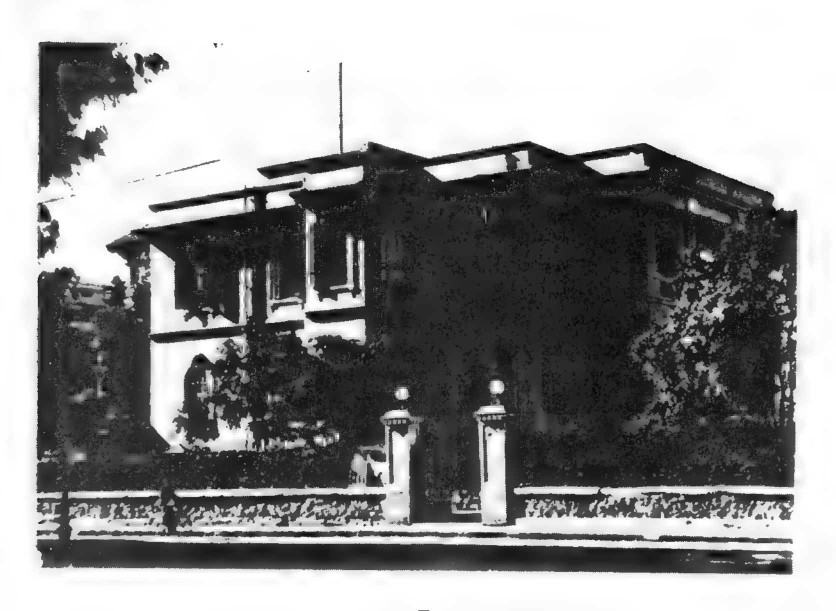
Когда все иностранные и значительная часть советских гостей покинули особняк, прием продолжался, теперь уже лишь для советских его участников. Протекал он в еще более непри-

нужденной обстановке. По настойчивому требованию оставшихся был сымпровизирован дополнительный концерт — без эстрады и без чинных рядов стульев для слушателей. Главными исполнителями были народные артисты СССР И. С. Козловский и И. М. Москвин. Козловский, в репертуар которого входила и классика, и современная вокальная музыка, неожиданно для всех с непревзойденной задушевностью спел популярную в те дни «Темную ночь» Никиты Богословского, за что был награжден настоящей овацией.

Разъехались мы по домам лишь под утро. Эта праздничная ночь глубоко врезалась мне в память и часто вспоминалась на чужбине.

Часть вторая

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ



1. Посольство на Ниле

Спустя три дня после праздника нарком вызвал меня к себе, кратко проинструктировал о направлении работы посольства и предложил срочно вылететь в Каир с теми из сотрудников, которые уже были оформлены.

— Но у меня их пока так мало, что посольство не сможет развернуть свою работу,— возразил я и доложил, как печально обстоит дело с кадрами.

— Не прибедняйтесь, пожалуйста,— отделался шуткой нарком.— У вас там будут два посла и посланник, без малого дипкорпус. Для начала не так уж плохо. А следом за вами потянутся и сотрудники. Я сам прослежу за этим.

Я понял, что никакие мои доводы не произведут должного эффекта и что мне не остается ничего иного, как вновь собирать чемоданы.

К середине ноября немногочисленная группа сотрудников с семьями (вместе со мной и моей семьей) была готова к отъезду в любой момент. Но, как на грех, чуть ли не неделю подряд стояла нелетная погода, заставлявшая нас сидеть на чемоданах в ожидании просвета.

Только 19-го рано утром наша группа стартовала с Центрального аэродрома к далеким нильским берегам.

По расписанию мы должны были к вечеру добраться до Баку, однако порывистый встречный ветер сильно снижал скорость полета. Под Сталинградом наш старенький «дуглас» сделал внеплановую посадку, чтобы пополнить запас перерасходованного горючего. Теперь его хватило бы до Баку, но времени для посадки там засветло было в обрез. Поэтому во избежание риска экипаж предпочел остановиться на ночь в Астрахани.

Утром полет до Баку прошел без сучка без задоринки. Время позволяло нам в тот же день достигнуть Тегерана. К несчастью, по данным метеосводки, над Эльбурсским хребтом (в Северном Иране) господствовала сплошная облачность — непреодолимое препятствие для «дугласа» с его низким потолком полета. Это означало для нас еще одну ночевку на советской территории.

Утром 21-го самолет сразу же после взлета начал быстро набирать высоту, открывая нашим взорам широчайшую панораму. Слева от нас пенилось седыми гребнями Каспийское море, справа виднелись южные отроги Главного Кавказского

хребта. С полчаса мы летели над просторной низменностью, которую горы постепенно оттеснили к самому морю, сжав до размеров узенькой полоски. В этот момент второй пилот вышел из рубки и объявил, что мы пересекаем советско-иранскую границу. Еще секунда — и крылатая тень «дугласа» заскользила уже по склонам иранских гор.

В Тегеран мы прибыли точно по расписанию.

Тегеранский аэродром представлял собою весьма своеобразное зрелище. Забыв на минуту о географии, которую мы собственными глазами изучали из поднебесья, легко было бы вообразить, что мы еще не покинули пределов своей страны. Повсюду на летном поле стояли и передвигались советские боевые и транспортные самолеты, деловито сновали советские военные грузовики; на каждом шагу попадались красноармейцы, слышалась русская и украинская речь. Но о географии мы не забывали, помнили и историю, в частности август 1941 года, когда части Красной Армии по условиям советско-иранского договора 1921 года и по договоренности с английским правительством вступили в Северный Иран. Тегеранский аэродром был одним из тех, что использовала для своих нужд в военные годы авиация группы советских войск в Иране.

На аэродроме нас встретил представитель советского посольства и отвез в гостиницу, сделавшуюся нашим пристанищем почти на двое суток. Для меня пребывание в Тегеране явилось источником разнообразных забот, главным образом о том, как ускорить отъезд нашей группы в Каир. В нашем посольстве мне сначала только сообщили, что полетим английским военным самолетом, а срок отлета пока неизвестен. Позднее была уточнена и дата: 23 ноября.

23 ноября утром начался заключительный этап нашего путешествия. Экипаж английского военно-транспортного самолета был очень приветлив и предупредителен, что в какой-то степени компенсировало отсутствие в самолете удобств для пассажиров. Теперь наш путь лежал на юго-запад, пересекая Иран, Ирак, Трансиорданию и Палестину, в Египет.

От Тегерана до иракской границы самолет шел почти параллельно горным хребтам, затем — уже в пределах Ирака — горный ландшафт уступил место равнинному. Оставив Багдад в стороне, самолет приземлился возле озера Хаббания на английской военно-воздушной базе того же названия. Здесь была одна из двух намеченных промежуточных остановок. Мы вышли на летное поле, и нас мгновенно охватило душной волной воздуха. Дул резкий, знойный ветер, пришелец из пустынь соседней Саудовской Аравии, бросая в лица пригоршни песчинок. Мы укрылись в помещении офицерской столовой, куда нас

пригласило командование базы. Там нам сервировали недурной завтрак, но из-за страшной духоты ели мы без всякого аппетита. Зато литрами поглощали оранжад со льдом.

После завтрака хозяева любезно предложили совершить краткую автомобильную прогулку по окрестностям. Проведя в своей группе молниеносный референдум, я ответил, что сейчас наше единственное желание — как можно скорее двинуться дальше.

И вот мы снова в воздухе. Летим над раскаленной, точно пекло, пустыней, где глаз не находит даже редчайших оазисов. Пейзаж стал меняться только неподалеку от Аммана, трансиорданской столицы, но и там его в лучшем случае можно было считать полупустыней. С огромным любопытством наблюдал я издали свинцово поблескивавшее Мертвое море и расплывчатые контуры Иерусалима, в то же время глубоко сожалея, что лишен возможности осмотреть их вблизи. Откуда мне тогда было знать, что я все-таки побываю в этом легендарном городе и искупаюсь в соленых водах этого безжизненного моря?

Вторая промежуточная посадка произошла в Лидде, недалеко от Средиземноморского побережья. Здесь нас задержали всего на полчаса. А еще через час-полтора полета над пустынями Южной Палестины и Синайского полуострова под нами сверкнула серебряная лента Суэцкого канала. Это означало, что мы уже над Африкой.

От канала рукой подать до Каира. Самолет садится на английский военный аэродром, где-то по соседству со знаменитыми пирамидами Гизы, однако они почему-то не попадают в поле нашего зрения. Да если бы и попали, то вряд ли мы тогда предались бы созерцанию исторических памятников. Многочасовая дорога над всеми этими горными и песчаными пустынями изрядно утомила нас, и главное наше желание сводилось к тому, чтобы поскорее добраться до места назначения.

В Каире мы поселились в отеле «Шеперд» на одной из центральных улиц. Из «Шеперда», за отсутствием более подходящей резиденции, наше посольство и начало развертывать свою деятельность.

Но прежде чем перейти к рассказу о ней, необходимо хотя бы бегло обрисовать общую ситуацию в стране, в которой нам предстояло жить и работать.

Египет всегда был одним из крупных очагов национально-освободительной борьбы в Британской колониальной империи. Добиваясь свободы и независимости, его население неоднократно бралось за оружие. В середине 30-х годов, когда в результате

итальянской агрессии в Эфиопии на Ближнем Востоке явственно запахло порохом большой войны, британский империализм вынужден был прибегнуть к политическому маневру и пойти на формальные уступки национально-освободительному движению. В 1936 году он заключил с египетским правительством «договор о союзе». Однако «союз» между империалистической державой и слабой, экономически отсталой страной, на свою беду расположенной в центре британских имперских коммуникаций и стратегических позиций, явился, в сущности, «союзом» всадника и лошади.

Египет продолжал зависеть от Лондона. Прежний британский Верховный комиссар, облеченный всей полнотой власти, сэр Майлз Лэмпсон стал отныне именоваться Чрезвычайным и Полномочным Послом его британского величества. За свои ценные услуги колониализму он получил титул лорда Киллерна.

С изменением статута Египта борьба за подлинную независимость не прекратилась, а лишь приняла иные, сравнительно спокойные формы. Наиболее активную роль в этой борьбе играла партия Вафд, возникшая еще в 1918 году.

По своему социальному составу она отличалась большой пестротой: в нее входили мелкие и средние помещики, представители национальной торговой и промышленной буржуазии, мелкой буржуазии, интеллигенции, отчасти рабочие. Эта социальная пестрота влекла за собою частые и острые внутрипартийные разногласия и расколы, которые ослабляли ее, обусловливали нечеткость политической линии и вели к шатаниям то влево, то вправо. В области внутренней политики вафдистские лидеры добивались установления в стране буржуазно-демократического строя, скопированного с западноевропейских образцов. Идеологии Вафда не чужды были и некоторые прогрессивные черты, отражавшие чаяния народа. К сожалению, прогрессивные принципы совершенно недостаточно претворялись в действительность даже тогда, когда это вполне зависело от партии.

В национально-освободительной борьбе Вафд сталкивался с ожесточенными противниками в лице не только британских колонизаторов, но и проанглийских партий. А во внутренней политике ему противостояла еще более враждебная сила — реакционная дворцовая клика — преимущественно феодальная аристократия, которую возглавлял король Фарук, сам крупнейший землевладелец Египта. В стране, где основой существования нищего феллаха являлся крохотный клочок земли, королю принадлежали 28 тысяч федданов [1], приносивших ему ежегодно доход в 2 миллиона египетских фунтов стерлингов.

[1] 1 феддан=0,42 гектара.

Поэтому всякий раз, как парламентские выборы ставили Вафд и его лидера Наххас-пашу у кормила правления, Фарук и его окружение пускали в ход все средства, чтобы добиться отставки нежелательного кабинета.

Вряд ли во всем Египте можно было сыскать человека, более ненавистного Фаруку, чем Мустафа Наххас-паша, который, впрочем, платил монарху той же монетой. Этим обстоятельством искусно пользовалась английская дипломатия. Прибегая к испытанному веками методу угнетателей «разделяй и властвуй», она попеременно оказывала политическую поддержку враждующим между собой силам и тем самым не давала им выступить единым фронтом против общего врага Египта — британского империализма.

С началом второй мировой войны первостепенное значение приобрела внешнеполитическая ориентация Египта. В сентябре 1939 года египетское правительство в соответствии с «союзным» договором 1936 года порвало дипломатические отношения с нацистской Германией, а в июне 1940 года — с фашистской Италией. Однако от вступления в войну против них оно воздержалось.

Такую позицию правительства нельзя объяснить только нежеланием бросить страну в пучину войны. Существовал и другой немаловажный фактор. В августе 1939 года, когда в Европе дело явно шло к войне, Фарук назначил премьер-министром Али Махир-пашу, включившего в свой кабинет ряд министров-англофобов, тайных сторонников держав «оси». В те годы в Египте было широко распространено мнение, что на державы «оси» ориентировался и сам Фарук.

В обстановке войны, развязанной фашистскими агрессорами, Вафд, не поступаясь своей конечной целью — освобождением Египта от чужеземного господства, счел возможным пойти на сотрудничество с Англией. В апреле 1940 года лидеры Вафда, находившегося в тот момент в оппозиции к дворцовому кабинету Али Махир-паши, предложили английскому правительству сотрудничество при условии, что оно официально примет обязательство вывести из Египта по окончании войны все свои вооруженные силы, обеспечит участие Египта в мирной конференции и признает суверенитет Египта над Суданом. Речь шла фактически о пересмотре основных статей договора 1936 года, что в корне противоречило всей английской политике на Ближнем Востоке. Поэтому предложение о пересмотре договора было отклонено как «несвоевременное». Что касается сотрудничества с Вафдом, чья популярность в народе быстро возрастала, то британская дипломатия считала его желательным.

Осуществлено оно было в 1942 году, когда положение на Ближнем Востоке вызывало у английского правительства обоснованную тревогу. Наступательные операции английских войск в Ливии выдохлись, и танковый корпус Роммеля усиленно готовился к форсированному маршу на Александрию. В то же время в Египте, в тылу английских армий, вовсю развернула свою подрывную деятельность фашистская «пятая колонна».

Помимо прямой германо-итальянской агентуры, к ней можно было причислить и религиозно-политическую «Ассоциацию братьев-мусульман», известную своими резко выраженными антибританскими и профашистскими тенденциями. «Братья-мусульмане» пользовались финансовой поддержкой дворцовых кругов и покровительством кабинета Али Махир-паши. Они были активными сеятелями смуты, грозившей восстанием.

Не улучшилось положение и после отставки Али Махир-паши. Очередной дворцовый кабинет Сырри-паши если и не поощрял открыто происков «пятой колонны», то во всяком случае не противодействовал им. Неудивительно, что в подобной обстановке профашистские силы сумели организовать в Каире массовую демонстрацию с требованием возврата к власти Али Махир-паши. Одним из лозунгов демонстрантов был зловещий призыв: «Вперед, Роммель!»

Тревожная ситуация в Египте побудила Англию к решительным шагам. Британский посол Киллерн потребовал от короля создания правительства, способного оздоровить политическую атмосферу, и рекомендовал на пост премьера Наххас-пашу. Но кандидатура Наххас-паши была для Фарука совершенно неприемлемой, и он категорически отверг ее. Во взаимоотношениях короля с английскими властями разразился острейший кризис, разрешить который дипломатическими средствами оказалось невозможным.

В полдень 4 февраля лорд Киллерн предъявил королю ультимативное требование — не позднее шести часов вечера того же дня издать указ о назначении Наххас-паши премьером. Посоветовавшись со своими приближенными из дворцовой клики и некоторыми другими политическими деятелями, Фарук отклонил ультиматум, чем еще больше накалил атмосферу. Дальнейшие действия англичан не заставили себя долго ждать. По приказу командующего английскими войсками в Египте генерал-лейтенанта Стоуна королевский дворец был окружен пехотными частями. А в девять часов вечера лорд Киллерн и генерал Стоун нанесли королю визит, не предусмотренный строгим дворцовым этикетом: они прибыли в осажденный дворец в автомашине, эскортируемой тремя танками.

Как гласит широко известная версия этого «визита», протекал он так. Британский посол протянул Фаруку два документа и сказал:

— Ваше величество, вот тексты указов, один из которых вам надо подписать. Первый касается назначения нашего общего друга Наххас-паши премьер-министром. Вторым указом вы добровольно отрекаетесь от престола. Если вы предпочтете второй документ, то на этот случай в аэропорту стоит наготове самолет, с тем чтобы отвезти вас в Южную Африку. Выбирайте, ваше величество!

Угроза отстранения от трона и изгнания звучала слишком реально, чтобы игнорировать ее. Взглянув на выстроившуюся на площади перед дворцом английскую пехоту и на орудия трех танков, король угрюмо ответил:

— Выбора у меня нет, так как отрекаться от престола моих предков я не намерен. Но этого дня я никогда не забуду.

Туманная угроза короля ничуть не смутила ни посла, ни генерала. Они добились своей цели: 6 февраля лидер Вафда Наххас-паша стал премьер-министром. Популярность Вафда к этому времени находилась в зените: на парламентских выборах в марте 1942 года его кандидаты завоевали 219 мест из 264.

Новое правительство принялось энергично искоренять фашистскую «пятую колонну». Оно не остановилось перед арестом видных пронацистски настроенных деятелей, включая бывших министров, нескольких принцев королевской крови, бывшего начальника генерального штаба армии генерала Масри и ряда других генералов. Не забыт был и прежний премьер-министр Али Махир-паша. Его арестовали по обвинению в передаче итальянцам секретных оперативных планов британского командования на Ближнем Востоке. Уже один этот факт проливал яркий свет на тайный смысл деятельности Махир-паши в бытность его премьер-министром и ближайшим сподвижником короля.

Внешнеполитический курс кабинета Наххас-паши был благоприятен для антигитлеровской коалиции. Не пытаясь здесь анализировать его, напомню лишь, что в активе нового правительства числится и такой важный шаг, как установление дипломатических отношений с Советским Союзом.

К моменту прибытия нашего посольства в Египте все еще сохранялась та расстановка политических сил, которая сложилась в феврале 1942 года. Пребывали на своих местах, ведя далеко не мирное сосуществование, и представители этих сил, три главных действующих лица февральских событий: на троне восседал король Фарук, пост премьер-министра и министра

иностранных дел занимал Мустафа Наххас-паша, британским посольством руководил лорд Киллерн. Поддерживая с ними по роду своих обязанностей тесный контакт, наше посольство должно было постоянно вглядываться в сложнейшую паутину их противоречивых стремлений, чтобы не запутаться в ней и не повредить каким-либо образом интересам Советской страны.

В заключение этого обзора — несколько слов о столице Египта.

В начале нынешнего века, когда система колониализма достигла своего апогея, считалось модным цитировать киплинговское двустишие из «Баллады о Западе и Востоке»: *«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут»*. В Каире я услышал поговорку, которая, в противовес Киплингу, утверждала: «В Каире Восток встречается с Западом».

Что ж, в известной мере она неплохо отражала своеобразие Каира того периода. В этом городе с двухмиллионным населением Древний Восток и Восток Арабский на каждом шагу встречались с Западом. Я имею в виду, конечно, не «контакты» с британским империализмом в лице его колониальных институтов и солдат гарнизона, усиленного в военное время армейскими частями. Цивилизация Запада накладывала на Каир свой отпечаток и в иных формах, которые в соединении со специфическими чертами культуры Востока придавали египетской столице космополитический характер.

Так, в городском строительстве резко бросались в глаза контрасты арабской архитектуры в стиле сказок «Тысячи и одной ночи» и европейской архитектуры всевозможных школ и течений. Поражала также этническая пестрота населения. В основном оно состояло из потомков древних египтян, смешавшихся с арабскими завоевателями и целиком арабизировавшихся. Правда, часть этих потомков (копты), оставаясь с древних времен христианами, имеют отличия в языке и культуре от окружающих их арабов. Но среди постоянных жителей Каира насчитывалось и множество представителей других национальностей: греков, армян, евреев, выходцев из стран Западной Европы — прежде всего французов, итальянцев и англичан — и, наконец, так называемых левантинцев — выходцев из стран Ближнего Востока. Вследствие своего многонационального характера Каир стал средоточием разнообразных религиозных общин и отличался многоязычием. Среди языков преобладал, разумеется, арабский — и в официальном обиходе, и в быту, но повсюду — на улицах, в магазинах и учреждениях — сплошь да рядом слышалась и иностранная речь. Чаще

всего французская и английская, несколько реже — греческая и итальянская. Таким образом, утверждение о том, что «в Каире Восток встречается с Западом» имело под собою весьма определенную космополитическую основу.

2. Первые шаги

Итак, с 23 ноября отель «Шеперд» сделался не только нашим пристанищем, но и местопребыванием формирующегося посольства.

Почти на неделю одна из комнат моего номера превратилась в служебный кабинет, где происходили деловые совещания наличного персонала посольства и составлялись первые документы, откуда налаживалась связь с египетским, югославским и греческим министерствами иностранных дел и откуда ежедневно отправлялись «экспедиции» на поиски помещения для посольства и квартир для наших семей.

Через день после приезда я нанес визит Наххас-паше, но не как премьер-министру, а как министру иностранных дел, портфель которого также находился в его руках. Поэтому принял он меня не в здании Совета министров, а в здании МИД.

В обширном холле министерства меня поджидали директор Протокольного отдела Есин-бей, личный секретарь министерства Камель-эль-Салонекли и еще несколько чиновников. После взаимных представлений Есин-бей пригласил меня сначала к себе в кабинет, где любезно и неторопливо расспросил о том, как мы летели и как устроились в отеле, посвятил в некоторые особенности местного придворного и дипломатического этикета, а затем провел к Наххас-паше.

Мустафе Наххас-паше, с которым я уже немного познакомил читателя, шел шестьдесят пятый год. Однако выглядел он еще очень бодрым и энергичным, и следует признать, что внешность его не вводила в заблуждение: энергии ему было действительно не занимать, так же, впрочем, как и гражданского мужества, которое так часто требовалось в его бурной политической карьере. Путь Наххас-паши к руководству Вафдом и к посту премьера не был усыпан розами, но зато тернии на нем встречались в изобилии. Юрист по образованию и профессии, он с 1918 года примкнул к национально-освободительному движению, переживавшему под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции период наивысшего подъема. За активное участие в движении он подвергался всяческим преследованиям со стороны английских властей. В декабре 1921 года

он был арестован, осужден и сослан на Сейшельские острова, где пробыл до июня 1923 года. Вернувшись на родину, Наххас-паша с прежней энергией отдался политической борьбе. Серьезные неудачи и невзгоды, выпадавшие на его долю, избороздили его лицо глубокими морщинами.

Наххас-паша был в светло-сером, так называемом деловом костюме и красной феске, традиционном арабском головном уборе. При моем появлении он с радушной улыбкой, казалось несвойственной его суровой физиономии, пошел мне навстречу, крепко пожал руку и сердечным тоном произнес:

— Я счастлив приветствовать в вашем лице первого официального посланца Советского Союза в Египте. Я испытываю чувство большого удовлетворения оттого, что правительство, которое я возглавляю, проявило инициативу в установлении дипломатических отношений с вашей могучей державой и что инициатива наша не осталась без отклика. Ваш приезд сюда я рассматриваю не только как дипломатический успех Египта, но и как начало нового этапа его национального существования.

На это приветствие, явно выходившее за рамки протокольной любезности, я ответил так:

— Я считаю для себя большой честью представлять Советский Союз в такой стране, как Египет, с его величественной историей, в стране древней и вместе с тем молодой, устремленной в будущее. Советское правительство высоко оценило добрую волю Египта и со своей стороны не пожалеет усилий для развития дружественных отношений между нашими странами. Мой почетный долг, как посланника,— всемерно способствовать этому развитию в тесном сотрудничестве с египетским министерством иностранных дел.

Наххас-паша заверил меня, что такое сотрудничество всех работников его министерства и правительства в целом гарантировано.

Последовавшая затем беседа длилась три четверти часа. Разговор мы вели по-французски. В Египте я охотнее всего пользовался французским языком и к другим языкам прибегал лишь тогда, когда мои собеседники не владели им.

В нашей беседе мы затронули ряд актуальных вопросов международного положения, начав с военных действий на советско-германском фронте. Наххас-паша не скупился на восторженные оценки, говоря о мощи Красной Армии, теснившей врага на колоссальном по протяженности фронте. В то же время он довольно сдержанно отзывался об операциях англо-американцев в Средиземноморском бассейне.

От обмена мнениями по общим вопросам мы перешли к практическим делам.

Я передал Наххас-паше для ознакомления французский перевод своих верительных грамот, иначе говоря, послание М. И. Калинина королю Фаруку о моем назначении посланником СССР с задачей поддержания дружественных отношений между Советским Союзом и Египтом. На этой стадии беседы в ней участвовал и заместитель Наххас-паши по МИД, статс-секретарь Салахэддин-бей, щеголевато одетый, на вид не старше сорока лет. В отличие от своего шефа статс-секретарь был для меня величиной неизвестной. Впоследствии я узнал, что как в Вафде, так и в правительстве он обладал значительным весом и что Наххас-паша ценил его как своего верного сторонника и добросовестного исполнителя его указаний.

Я спросил о дате вручения мною верительных грамот королю. Как и следовало ожидать, вопрос этот остался открытым. Из газет я узнал о несчастном случае с Фаруком: на недавней охоте под Александрией он сломал ногу и в данный момент был прикован к постели. Наххас-паша не мог дать мне точного ответа. Более того, он даже высказал опасение, что моя встреча с королем откладывается надолго, может быть на три-четыре недели.

Таким образом, печальный финал королевской охоты создавал для нашего посольства довольно-таки щекотливую ситуацию. В течение длительного срока оно должно было существовать без всякой легальной основы для выполнения своих функций — не только дипломатических, но даже и хозяйственно-практических, например для заключения контракта на аренду здания. Я обратил на это обстоятельство внимание министра, и он поспешил успокоить меня, заявив, что министерство уже обсуждало этот казус и приняло решение о том, что независимо от формально-юридической стороны дела посольство уже сейчас может пользоваться всеми прерогативами дипломатического представительства. Я выразил удовлетворение заверением министра и выдвинул перед ним другую проблему, также порожденную отсрочкой.

Суть ее заключалась в том, что болезнь короля Фарука автоматически отодвигала на неопределенный срок вручение грамот югославскому королю Петру и греческому королю Георгу. Ведь и с формальной, и с политической точек зрения требовалось, чтобы я был сначала аккредитован при короле Египта и лишь после этого при королях — гостях этой страны. Поэтому я спросил, не согласится ли египетское правительство на мою аккредитацию в ближайшие дни при югославском и греческом королях? Наххас-паша ответил, что он и сам уже задумывался над таким решением проблемы и надеется вскоре сообщить мне ответ. Разумеется, в таком вопросе необходимо

было получить согласие короля Фарука, невольного виновника затруднений посольства.

На этом мой визит к Наххас-паше завершился.

Подчиняясь правилам этикета, о которых меня информировал Есин-бей, я побывал на другой день в приемной королевского дворца Абдин, где внес в книгу для почетных посетителей свои пожелания скорейшего выздоровления королю.

Третий мой официальный визит в Каире был нанесен британскому послу: лорд Киллерн являлся дуайеном (старшиной) дипкорпуса в Египте, и по протоколу я обязан был посетить его в самом начале своей деятельности.

Лорд Киллерн был ветераном дипломатической службы, на которую поступил в 1903 году. Служил он по преимуществу в странах Дальнего и Ближнего Востока, а в 1920 году побывал и в Советской России — однако не как почтенный дипломат, а в качестве одного из организаторов антантовской интервенции, исполняя обязанности «британского Верховного комиссара в Сибири» — так высокопарно называлась его тогдашняя малопочтенная должность. Как известно, никаких лавров она ему не принесла, а сам он, должно быть, благодарил бога за то, что успел вовремя унести ноги из Сибири.

К этому испытанному служаке британского колониализма я и направился с визитом.

Территория посольства занимала целый квартал, примыкающий к набережной Нила. Несмотря на обилие цветущих деревьев и аккуратных зеленых газонов в традиционном английском стиле, она сильно смахивала на укрепленный военный лагерь. Вся она была обнесена высокой глухой стеной и рядами проволочных заграждений, а многочисленные здания посольства забаррикадированы мешками с песком.

У чугунных ворот, охраняемых часовыми в хаки, машину с красным советским флажком на радиаторе встретил секретарь посольства. Он указал моему водителю, египтянину Махмуду (наши советские водители тогда еще не прибыли), к какому подъезду подъехать, а потом, резвой рысцой пройдясь рядом с нашей машиной, с учтивыми поклонами провел меня по коридорам в кабинет посла.

Лорд Киллерн, мужчина гигантского роста и бычьей упитанности, приветствовал меня с еще большим дружелюбием, чем Мустафа Наххас-паша. Он полуобнял меня за плечи, как старинного приятеля, и с места в карьер заявил, что страшно рад возможности работать бок о бок со своим советским коллегой.

Имея за плечами пятилетний опыт общения с иностранными дипломатами, я хорошо знал, как легко — при надлежащей

светской выучке — дается такое дружелюбие и чего оно стоит в действительности. Я склонен был верить в радушие египетского премьера, ибо оно не противоречило политической логике: для Наххас-паши присутствие в Каире представителя Советского Союза, надежного сторонника национально-освободительного движения, являлось одним из факторов укрепления национального суверенитета Египта. А могло ли это же присутствие вызвать энтузиазм у посла Великобритании, вынужденной скрепя сердце согласиться на установление советско-египетских отношений?

Однако светская и дипломатическая тренированность и союзническая лояльность ко многому обязывали. Поэтому новоиспеченный лорд не скупился на крепкие рукопожатия, умильные улыбки и задушевные слова. Давно усвоив правила этой игры, я тоже придерживался их, хотя к аффектации и не прибегал.

В качестве дуайена и каирского старожила лорд Киллерн рассказал мне о составе и условиях жизни дипкорпуса, посетовал на пристрастие местной знати к приемам, в орбиту которых волей-неволей втягиваются дипломаты.

В нашей беседе задели мы, конечно, и неизбежную тему войны. Снова, как в кабинете Наххас-паши, я выслушал восхищенные оценки военных успехов Красной Армии и трудовых усилий советского народа. В свою очередь я положительно отозвался о действиях союзных армий в Северной Африке и в Италии, но в интересах истины упомянул и о теневой стороне ситуации. По мнению советских людей, добавил я, итальянская кампания протекает в слишком замедленном темпе и по своему стратегическому значению никак не компенсирует отсутствия второго фронта во Франции, открыть который союзники обещали еще в 1942 году.

Критические нотки в последнем замечании немного остудили моего пышущего благожелательностью собеседника. Напустив на себя хмуро-озабоченное выражение, он ответил, что хорошо понимает советскую точку зрения. До сих пор главная тяжесть войны падала на Советский Союз, и он, естественно, вправе рассчитывать на более активную помощь своих союзников. Однако затяжка с открытием второго фронта вызвана не чьей-либо злой волей, а серьезнейшими объективными причинами, о чем Советское правительство было в свое время информировано. Теперь же второй фронт, как он уверен,— дело ближайшего будущего.

Я искренне разделил эту его надежду. Но, оглядываясь в прошлое теперь, когда опубликовано столько документов и мемуаров о международной политике военного времени, я ви-

жу, что вопреки убеждению посла — если оно не было наигранным — тогдашняя позиция Англии в вопросе о втором фронте не давала прочных оснований для его оптимизма.

Прощаясь со мною в том же сверхдружелюбном тоне, лорд Киллерн пожелал мне удачи в моей дипломатической деятельности и в устройстве на новом месте.

Устройство на новом месте, то есть подыскание особняка для посольства и жилья для сотрудников, было для нас в те дни задачей первостепенной важности. Содействие МИД не шло дальше рекомендаций нам ряда фирм, промышлявших куплей-продажей недвижимости, и посреднических контор по аренде домов и квартир. Винить его в недостаточной помощи было бессмысленно — ведь фондом свободных зданий египетское правительство не располагало. Нам не оставалось ничего другого, как договариваться с этими фирмами и конторами, срывавшими на своих сделках по аренде жирные куши.

Обстоятельства играли им на руку. В столице Египта располагалось командование британских вооруженных сил на Ближнем Востоке с их бесчисленными штабными и тыловыми учреждениями; здесь были расквартированы и сами войска всех родов оружия – английские, австралийские, новозеландские, англо-индийские, американские, польские. Каир служил местопребыванием британских имперских ведомств, чья обязанность заключалась в координации деятельности союзных военных и экономических организаций; здесь, наконец, обосновались два эмигрантских правительства с сопровождавшей их разношерстной толпой политических деятелей, придворной камарильей и аккредитованными при них дипкорпусами.

Для всех требовались служебные здания, виллы, квартиры.

Такое положение вещей не сулило нам ничего хорошего. Наркомфин СССР — страны, третий год ведущей небывалую по масштабам войну,— беспощадно экономил на всех государственных расходах невоенного характера. Наша скудная смета, составленная в Москве без учета спекулятивного бума на каирском рынке недвижимости, при первом же соприкосновении с реальностью затрещала по всем швам. Мы не желали сдаваться и упорно продолжали поиски таких зданий, которые позволили бы нам и помещение для посольства приобрести и смету соблюсти. Однако нас ждало полное фиаско, в чем мы убедились после многодневных разъездов по Каиру, осматривая десятки зданий и жестоко, но бесплодно торгуясь с дельцами из посреднических контор. Пришлось запросить дополнительных ассигнований. Так мы и сделали. Наркоминдел и Нарком-

фин вняли нашим настояниям — соответствующая статья сметы была увеличена, и к началу декабря посольство уже не было больше бесприютным.

Мы арендовали на полгода двухэтажный особняк какого-то паши, расположенный на левом берегу Нила. Это была западная окраина непрерывно расширяющегося Каира, где селилась преимущественно египетская аристократия, где отсутствовали деловые предприятия и правительственные учреждения (за исключением министерства земледелия). Район был тихий, утопающий в субтропической растительности.

Внешний вид особняка никаких возражений не вызывал. Это было аккуратное, смешанного европейско-восточного стиля двухэтажное здание с плоской крышей, с эркером и балконами, с парадным входом через веранду, куда вела широкая каменная лестница. К сожалению, размеры особняка нас не удовлетворяли. В комнатах первого этажа мы кое-как разместили кабинеты посла и нескольких дипломатических сотрудников, выделили гостиную для приема коллег по дипкорпусу и важных посетителей, а также комнату для секретариата, служившую и общей приемной. Но значительно сложнее обстояло дело на втором этаже. При полностью укомплектованном штате дипломатических и канцелярских сотрудников рабочие комнаты второго этажа обещали превратиться в некое подобие перенаселенной коммунальной квартиры. Совсем не было ни парадных помещений — для широких приемов, ни столовой для банкетов; вовсе не оставалось места для квартиры посла.

Но хотя во многом особняк нас не устраивал, ничего лучшего на примете у нас не было, и свой выбор мы все-таки остановили на нем. В самом конце ноября на флагштоке над его центральной частью взвился советский государственный флаг.

Постепенно и наши наличные сотрудники находили себе жилье, как правило, сравнительно недалеко от посольства. А в один прекрасный день и моя семья покинула отель, чтобы поселиться — нет, не на постоянной квартире, которой еще не подыскали, а в посольстве, в двух комнатах второго этажа. Поселиться, конечно, временно, пока малочисленность персонала позволяла это и пока запрошенные вновь добавочные ассигнования не разрешат нашей жилищной проблемы более удовлетворительным образом.

Вскоре после моей встречи с Наххас-пашой МИД Египта уведомил посольство, что с его стороны не имеется препятствий к вручению мною верительных грамот югославскому и греческому королям до выздоровления короля Фарука. В связи с этим

я нанес визиты министру иностранных дел Югославии Пуричу и министру иностранных дел Греции Цудеросу, которые были одновременно и премьер-министрами, и условился с ними о времени соответствующих церемоний.

Вручение верительных грамот королю Эллинов Георгу II состоялось 9 декабря.

Резиденция короля находилась в скромной вилле на западном берегу Нила, на той же набережной Бахр-эль-Ама, что и наше посольство. «Тронным залом» здесь служила обыкновенная гостиная буржуазного особняка, в которой и произошла церемония вручения верительных грамот.

Предшествующая дипломатическая работа не раз сталкивала меня с иностранными высокопоставленными особами — министрами и премьер-министрами, но о монархах я до сих пор знал лишь по прессе и из литературы. А сейчас передо мною стоял первый король, встретившийся мне не на страницах романа или учебника истории, а живой, во плоти и крови. Для советского человека от его титула отдавало чем-то средневековым, хотя я еще застал у нас в стране «помазанника божия» — самодержца всея Руси Николая II.

Конечно, первый личный контакт с этим представителем «монаршего сословия» вызывал у меня не только деловой интерес. Очень уж необычным казалось мне именовать этого пятидесятитрехлетнего худощавого человека «ваше величество» и в ответ слышать «ваше превосходительство». Правда, с последним обращением я уже постепенно свыкался, так как в Каире слышал его довольно часто. Пора было привыкать и к «вашим величествам» — ведь кроме Георга мне предстояли контакты и с другими королями.

Я вручил королю свои верительные грамоты и произнес по-французски краткую приветственную речь. Король также произнес несколько подобающих случаю слов. Следуя установленному этикету, я представил королю сопровождавших меня сотрудников посольства — советника Д. С. Солода и второго секретаря А. Ф. Султанова, а он мне — свою свиту, в том числе премьер-министра и министра иностранных дел Греции Э. Цудероса.

Частная аудиенция у короля в программу церемонии не входила. Вместо нее гофмаршал, ведающий протокольными делами двора, предусмотрел мою встречу с королем на специальном банкете в феврале следующего года, о чем я расскажу несколько позже.

Второе вручение верительных грамот произошло 11 декабря в резиденции югославского короля Петра II — на великолепной вилле, арендованной у какого-то египетского сановника.

В назначенный час я прибыл в резиденцию короля в сопровождении советника посольства Д. С. Солода и второго секретаря А. Ф. Султанова. В холле нас встретил премьер-министр Божидар Пурич, высокий, седоватый мужчина в долгополом сюртуке и полосатых брюках, с надменно вздернутой головой. Он чопорно обменялся приветствиями со мною и с моими спутниками и прошел с нами в небольшой зал, где находился король Петр в окружении своей свиты из полудюжины штатских и военных.

Чтобы не повторяться, я не стану вдаваться в подробности церемонии, в основных чертах схожей с той, что происходила в резиденции греческого короля. Расскажу лишь о последовавшей за нею частной аудиенции у короля Петра.

Для этой цели меня (без моих спутников) провели в кабинет, где король пригласил сесть на старомодный, вычурной формы диван и сам уселся на уголок, словно опасаясь стеснить меня. Присутствовавший на аудиенции Пурич довольствовался креслом той же вычурной формы. Здесь во время неторопливой, отмеченной известной скованностью беседы я не без любопытства, но и без назойливости разглядел своего молодого собеседника.

Этому коронованному юноше тогда исполнилось только 20 лет. Он носил щеголеватый военный мундир с двумя рядами орденских колодок, переливавших всеми цветами радуги. Король был среднего роста, немногословен, застенчив (чтобы не сказать — робок), без малейших признаков монаршего величия — будь то в осанке, в жестах или в манере выражаться. И тем не менее он, как и Георг II, был «его величеством», «государем божьей милостью».

Беседа с ним как-то не клеилась. Пока шел обмен впечатлениями о достопримечательностях Каира, он еще поддерживал беседу, хотя и очень вяло. А когда дело коснулось политических вопросов, стал удивительно неразговорчив. Не спеша с ответами, вопросительно поглядывал на Пурича, как бы призывая его выступить на авансцену. Тот так и сделал. Опытный политикан, к тому же наделенный крайним властолюбием, Пурич, судя по всему, умел удерживать своего слабовольного государя от самостоятельных суждений на ответственные темы.

В последовавшем диалоге между мною и Пуричем главным был вопрос о ближайших перспективах стран Балканского полуострова, и прежде всего Югославии. С точки зрения премьер-министра, перспективы эти выглядели в розовом свете. Англо-американский флот, по его мнению, добился превосходства в Средиземном море, что обеспечивает подступы к Балканскому полуострову с юга. В Италии союзные армии наступа-

ют, а от Италии до Балкан рукой подать. Один короткий бросок через Адриатическое море — и союзники закрепляются на югославском и греческом побережье, откуда наступают в глубь полуострова совместно с силами Сопротивления. Одна беда: среди последних нет единства. Партизаны Тито не желают подчиняться распоряжениям генерала Михайловича. Более того, есть сведения о кровавых столкновениях между четниками и партизанами по наущению партизанского штаба.

Я довольно скептически отозвался о нарисованной Пуричем картине. Сказал, что не располагаю сведениями о численности и боеспособности союзных армий в Италии, однако если учесть медленные темпы их продвижения и полный застой на отдельных участках фронта, то вряд ли можно ожидать, что они смогут выделить сейчас достаточные силы для крупных операций на Балканах. Что касается господства союзного флота на южных подступах к полуострову, то недавний разгром английского десанта на Додеканезских островах не подтверждает надежд на скорое освобождение района Эгейского моря от немцев.

С большей определенностью высказался я о положении в Югославии. В Наркоминделе я располагал разносторонней информацией из этой страны, и в данное время она еще не устарела. Поэтому, приведя ряд убедительных фактов, я заявил, что вина за братоубийственную борьбу в стране ложится на четников Михайловича, которые, открыто враждуя с партизанами, втайне сотрудничают с югославским квислингом генералом Недичем. Говорил я обо всем этом, разумеется, в умеренных выражениях, чтобы не затевать полемики в столь неподходящий момент, как день вручения верительных грамот. Тем не менее расхождение наших взглядов, отражавших два разных подхода к положению в Югославии, было налицо, и уже в ближайшем будущем оно не могло не принять острого характера.

А в тот день, не найдя общего языка, мы с обоюдного молчаливого согласия перешагнули через этот камень преткновения и перешли к какой-то иной, не спорной теме.

По окончании аудиенции в кабинет был приглашен придворный фотограф, сделавший несколько снимков.

После фотографирования мы втроем вышли в зал, где нас дожидались, беседуя, мои спутники и королевская свита. Король Петр, Пурич и вся свита проводили нас до подножия лестницы парадного подъезда, где уже стояла наша машина. Здесь фотограф сделал еще ряд снимков.

Свой рассказ о протокольных приемах, связанных с моей аккредитацией при балканских королях, я завершу описанием не лишенного некоторой пикантности банкета у Короля Георга II.

Эту первую в моей жизни трапезу за королевским столом никак не назовешь лукулловым пиршеством. Никто, правда, и не обещал поразить нас шедеврами кулинарии и гастрономии, но мне самому всегда почему-то думалось, что королевская кухня должна затмевать собою все остальные по изысканности и обилию яств. Но даже не это нас удивило на приеме. Прежде всего — необычная натянутость среди присутствовавших как перед банкетом, так и во время него. Мне не раз доводилось, иногда просто отбывая протокольную повинность, часами просиживать на скучнейших завтраках и обедах, но такого тоскливого, даже тягостного завтрака в моей практике еще не встречалось.

Всего за столом сидело человек десять. Из сотрапезников я хорошо запомнил — помимо короля Георга — двух пожилых дам, его родственниц — не то старших сестер, не то теток. Во всяком случае, это были принцессы королевской крови, а потому титуловались «их королевскими высочествами». Честь и удовольствие сидеть между ними выпали мне, как почетному гостю. И все бы еще ничего — дипломату и не в таком обществе приходится бывать,— если бы не каменная неотзывчивость, с какой они относились к моим попыткам поддерживать с ними светский разговор. Кажется, никакая тема не вызывала со стороны их высочеств хотя бы проблеска интереса; лишь изредка они выдавливали из себя куцые реплики, закрывавшие тему на замок. «Что же такое их замораживает? — спрашивал я себя.— Шокирующее ли соседство гостя-плебея или — что еще ужаснее — «красного» представителя революционного пролетарского государства?» Как бы то ни было, но элементарный светский такт, не говоря уже о придворном и дипломатическом этикете, здесь был явно не выдержан.

Не лучше обстояло дело и на других участках банкетного стола. Тосты были вежливо-ледяные и предельно лаконичные, бокалы с вином подымались, но почти не осушались. Живительная атмосфера гостеприимства обошла этот банкет стороной. Если бы не король, он почти целиком прошел бы в гробовой тишине. В качестве хозяина дома Георг II взял на себя труд рассеять натянутость и превратился в бессменного застольного оратора, тем самым превратив всех нас в молчаливых слушателей.

Сначала он поведал нам о своих переживаниях в Лондоне во время бомбежек. Потом, учтя, что тема эта не из самых занимательных, рассказал пару анекдотов — опять же из лондонского военного «фольклора». А за десертом он буквально изумил меня своей «светскостью», заговорив о тараканах. Об огромных черных тараканах, кишевших во всей вилле

и дерзко отравлявших существование его королевского величества и всех королевских высочеств. Перед моим мысленным взором и теперь еще время от времени возникает эта экстравагантная сценка. Живописуя, как он давит тараканов, король шаркал ногой, и, воспроизводя звук, который они при этом издают, с мрачным удовлетворением восклицал: «Крак! Крак! Крак!» Я не сомневался в нарочитости этого грубого скоморошества, но терялся в догадках о том, чему его приписать.

По окончании банкета мы с женой, едва пригубив в гостиной крошечные чашечки с кофе по-турецки, поспешили откланяться. Нам не терпелось поскорее вырваться из душной атмосферы виллы с ее странными и неприятными обитателями как королевского, так и тараканьего происхождения. Когда машина помчала нас по набережной Нила к посольству, мы с облегчением вдыхали свежий февральский воздух. А в ушах у меня не переставал звучать скрипучий голос короля: «Крак! Крак! Крак!»

3. Уверенной поступью

Скромность процедуры вручения верительных грамот королям-беженцам легко объяснима. До пышности ли, когда ютишься из милости на чужой земле, с весьма проблематичными шансами возвратиться на родину?

Совсем по-другому относился к этому официальному акту король Фарук. Непомерно честолюбивый, он ревниво следил за тем, чтобы его королевской особе воздавались все те почести, которые обычно воздаются государям в монархиях Европы, с большим довеском в виде чисто восточного ритуала. Пышность и затейливость характеризовали весь египетский придворный этикет, накладывая свой отпечаток также и на процедуру вручения грамот.

О том, что близится день моего свидания с Фаруком, я узнал из газет, которые 16 декабря возвестили о быстром прогрессе в выздоровлении короля. Сообщали они об этом в раболепном, верноподданническом тоне, как о знаменательном событии, должном вызвать энтузиазм у населения Египта.

Вскоре я получил и официальное уведомление Протокольного отдела МИД о том, что король пребывает в добром здравии и готов принять меня в один из ближайших дней. Дата церемонии была намечена на 26 декабря.

Во все детали сложного церемониала нас посвятили заранее. Многое в нем казалось нам просто архаичным или забавным, но с одной деталью наше сознание никак не мирилось. Дело в том, что по придворному этикету ни один человек, какого бы звания и общественного положения он ни был, не смел, уходя,

повернуться к его блистательному величеству спиной. Ему надлежало медленно пятиться назад, не сводя взора с короля и все время отвешивая ему низкие поклоны. В таком прощании чувствовался оттенок унизительности. Пристало ли представителю Советского Союза, первой в мире социалистической державы, чье могущество и величие изумляли весь мир, вести себя столь странно перед кем бы то ни было?

Свои сомнения на этот счет я сообщил наркому. Он согласился, что правило действительно архаичное и нелепое, но посоветовал не придавать ему значения и выполнить все требования этикета. С большой неохотой подчинился я совету, равносильному прямому приказанию, утешая себя мыслью, что кое-где на земном шаре, наверное, существуют ритуалы и похуже.

26 декабря запоздалая церемония вручения верительных грамот наконец состоялась.

В 11 часов в посольство пожаловал обер-камергер короля Теймур-бей в роскошной ветхозаветной карете с упряжкой из четверки вороных, с узорчатыми попонами на их гладких боках. За первой каретой подъехала вторая, ее родная сестра. У ворот посольства Теймур-бея встретил атташе Соколов и проводил до гостиной, где мы с высоким посетителем, сидя на диване, повели неторопливую беседу. Времени у нас хватало — представляться королю я должен был ровно в полдень. Затем, после того как я познакомил Теймур-бея со своими спутниками, все мы двинулись в путь.

В первую из парадных карет сели мы с обер-камергером, в другую — Солод, Султанов и недавно прибывший второй секретарь Харламов. На высоченных козлах обеих карет восседали расфранченные на восточный манер кучера, на запятках стояло по два лакея в таких же, как у кучеров, франтоватых ливреях.

Весь путь от посольства до самого дворца — прекрасно асфальтированные проспекты, площади и мосты — покрывал насыпанный с утра плотный слой золотистого песка, мягко хрустевшего под колесами карет и копытами лошадей. Неожиданное дорожное покрытие было очевидным пережитком далекого прошлого, когда улицы арабских столиц еще не видали мостовых и когда песок в торжественных случаях избавлял гостя калифа или эмира от опасности застрять в вязкой уличной грязи. Но не только песок напоминал об этом прошлом. По обе стороны передней кареты бежало по двое глашатаев в желтых камзолах и белых шароварах. Они поминутно оповещали толпившихся на тротуарах прохожих о том, кого, куда и зачем везет королевская карета.

Обе кареты сопровождал почетный эскорт — отряд конной королевской гвардии с саблями наголо.

В таком порядке кортеж проехал через окраинную и центральную часть Каира до Абдинской площади, где за литой чугунной оградой высился королевский дворец.

При нашем въезде в широко распахнутые ворота дворца выстроившийся за оградой военный духовой оркестр грянул бравурный марш. Когда кареты приблизились к главному подъезду и все их пассажиры вышли наружу, оркестр заиграл египетский национальный гимн, а затем и Государственный гимн Советского Союза — тогда это еще был «Интернационал».

Какие волнующие ощущения испытывал я, слушая исполнение нашего гимна! Сотни раз я слушал его до этого, сотни раз с воодушевлением пел сам. Но все дело было в том, что исполнялся он под окнами королевского дворца, цитадели одной из самых деспотических монархий в мире. Исполнялся, может быть, впервые на египетской земле. Нельзя было не видеть в этом знамение времени, ибо «Интернационал» отражал не только торжество победоносного государства рабочих и крестьян, но и неудержимое движение вперед людей труда во всем мире.

Вытянувшись в струнку и приложив руку к козырьку форменной фуражки, я с праздничным чувством прислушивался к такой родной и воодушевляющей мелодии и в то же время мысленно представлял себе, как сейчас воспринимается наш гимн за стенами дворца. Знакомы ли его обитателям слова «Интернационала»? Наверняка знакомы и преданы анафеме. Как, должно быть, режет слух Фарука и всех его присных революционный призыв: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Какой возмутительный подрыв всех устоев деспотизма! Однако надо терпеть: из песни слова не выкинешь. Особенно если это государственный гимн державы, чей представитель через несколько минут будет вручать свои верительные грамоты.

Но вот смолкли последние звуки «Интернационала». Обер-камергер стряхнул с себя напускное оцепенение и принялся за свои обязанности, начав с того, что отрекомендовал мне лиц, толпившихся на ступенях подъезда. Часть из них была в таких же раззолоченных сюртуках, со шпагами, как и у Теймур-бея, другие — в военной форме, но все они принадлежали к придворной знати — я чуть было не сказал: «челяди». Внутри дворца, куда Теймур-бей повел нас вместе с нашими новыми знакомыми, мы поднялись на второй этаж по мраморным ступеням, устланным ковровыми дорожками, затем пошли широким коридором, вдоль стен которого выстроились шпалерами еще

какие-то придворные чины и военные. У входа в тронный зал придворная свита отстала, и в зал вошли только мы — советские дипломаты, ведомые Теймур-беем.

Это была не банальная буржуазная гостиная, как в резиденциях королей-беженцев, а настоящий тронный зал внушительных размеров, роскошно декорированный, уставленный вдоль стен произведениями искусства. В дальнем конце зала возвышался трон, в данный момент пустовавший. Король Фарук предпочел встретить нас возле трона, стоя в окружении группы лиц, среди которых я различаю Наххас-пашу.

Высокого роста, с фигурой атлета, с самодовольной миной на лице, украшенном холеной рыжей бородкой и завитыми рыжими усиками, король был в парадном военном мундире, с огромными золотыми эполетами, в феске, при орденах невероятной величины, с цветными муаровыми перевязями через плечо и еще с какими-то сверкающими регалиями. Таким предстал перед нами король Египта, государь Нубии, Судана, Кордофана и Дарфура Фарук I. И последний — можем мы теперь с удовлетворением добавить.

Вводя нас в зал, Теймур-бей еще в дверях низко поклонился стоявшему в отдалении королю, чем подал нам пример, которому мы последовали с гораздо меньшим усердием. Только приблизившись к Фаруку, я отвесил ему поклон, более или менее отвечающий требованиям придворного этикета.

Теймур-бей с торжественным видом представил меня королю, и мы с ним пожали друг другу руки. А дальше все пошло по известному уже шаблону. Вручил Фаруку послание М. И. Калинина, затем мы обменялись с ним краткими любезными речами. Я представил Фаруку дипломатический персонал посольства, а он мне — лиц из своего окружения. В их число помимо упомянутого ранее Наххас-паши входили начальник королевской канцелярии Ахмед Хассанейн-паша, адъютант короля генерал Абдалла Нугуми-паша и еще несколько сановников.

Когда процедура вручения грамот была исчерпана, Теймур-бей взглядом дал нам знак к отступлению — в том самом варианте, против которого я бесплодно возражал. И тут из-за непривычки к попятным движениям с нашей группой произошел забавный конфуз. Еще вступая в тронный зал, я учел, что путь к королю от входа идет почти по диагонали. Держа это в памяти, я и попятился по диагонали, бок о бок с кланяющимся, как китайский болванчик, Теймур-беем. Мои же коллеги упустили диагональ из виду и ретировались напрямик от короля, в результате чего сразу же оторвались от меня. Сигналить им о перемене курса было неудобно, да они и не заметили бы этого, ибо в тот момент «ели глазами» его величество, как предписывал

этикет. Свой промах они обнаружили только неподалеку от противоположной стены зала, по счастью ни на что не наткнувшись. Здесь они сделали полуоборот вправо и под улыбки присутствующих смущенно допятились до выхода, где их уже поджидали мы с Теймур-беем. Над этим промахом мы потом немало смеялись между собой. Впрочем, смеялись, вероятно, не мы одни.

Обратный путь в посольство проходил все с той же пышностью и торжественностью, включая вторичное исполнение перед дворцом египетского гимна и «Интернационала». Толпы народа на тротуарах, как мне показалось, были теперь еще гуще. Может быть, основная причина их интереса заключалась в том, что впервые в истории Египта королевская карета везла представителя Страны Советов.

Частная аудиенция у Фарука состоялась несколько дней спустя. В указанный день и час я снова отправился во дворец Абдин, но уже без всяких церемоний. И не в дворцовой колымаге, а в черном ЗИСе посольства, с развевающимся на ветру красным флажком. Во дворце личный секретарь Фарука провел меня в его просторный кабинет, где он сидел в одиночестве за письменным столом. В этот раз на нем был не военный мундир с регалиями, а деловой темно-серый костюм. Я тоже дал передышку своему парадному мундиру, в котором в декабре частенько выходил в свет, и одет был в бежевую тройку. Церемониймейстер двора, известив меня заранее об обыденном костюме, как бы подчеркнул этой деталью приватность моей встречи с королем.

Когда секретарь распахнул дверь кабинета и пропустил меня вперед, король поднялся и с приветливой улыбкой сделал несколько шагов мне навстречу. После того как мы с ним поздоровались, секретарь пододвинул к письменному столу кресло для меня, а король уселся в свое — напротив. Жестом он отпустил секретаря, и между нами началась долгая, растянувшаяся на час с лишним беседа — совершенно неслыханный казус в практике сношений Фарука с иностранными дипломатическими представителями.

Фарук был еще очень молод — ему шел двадцать четвертый год, а его королевский стаж насчитывал всего шесть с небольшим лет. Но эти годы прошли не только в попойках, азартных играх и любовных похождениях, какими он ославил себя на всю страну. Одержимый безграничным властолюбием и склонностью к политическим интригам, он со страстью отдавался им с первого же года своего царствования.

Сейчас этот молодой человек — с прочно установившейся репутацией деспота, интригана и распутника — сидел напротив меня, нацепив на себя личину серьезного, умудренного государственным опытом правителя страны, чьи интересы для него превыше всего.

После взаимных приветственных фраз наша беседа покинула светское русло, перейдя в русло политическое. Инициативу ее взял в свои руки король. Начав с неизбежных комплиментов Красной Армии, Фарук затем засыпал меня вопросами о внешней политике СССР и о самых различных областях жизни нашей страны. Я охотно удовлетворял его любознательность, хотя и чувствовал, что во многом она показная.

Во многом, но не во всем. Среди задаваемых им вопросов встречались и такие, которым он с полным основанием придавал большое значение. Один из них касался отношения Советского Союза к борьбе арабских стран Ближнего Востока за независимость.

Мне не понадобилось открывать никаких Америк, чтобы разъяснить советскую позицию в ближневосточных делах. Сославшись на ленинские принципы национальной политики, я заявил, что Советский Союз горячо сочувствует стремлению арабских народов к самостоятельности и поддерживает их всем своим авторитетом на международной арене. При этом он исходит из принципа суверенности и равноправия всех стран. Убедительным примером подобной политики служат, в частности, равноправные дипломатические отношения, только что установленные между СССР и Египтом.

В ходе беседы я мельком глянул на часы и изрядно удивился. Прошел уже почти час, а Фарук все еще никак не проявлял намерения завершить аудиенцию. Инициативу в этом вопросе придворный этикет предоставлял исключительно королю.

Мой мимолетный взгляд на часы не остался не замеченным Фаруком, и, усмехнувшись, он сказал:

— Если вы, ваше превосходительство, никуда не торопитесь, я буду рад продолжить наш увлекательный разговор.

Я заверил короля, что чрезвычайно польщен его вниманием и что мое время в его распоряжении. Беседа была продолжена. Теперь и я в свою очередь не скупился на расспросы. Интересовался я предпочтительно влиянием войны на экономику и общественную жизнь Египта. На вопросы экономического порядка Фарук отвечал обстоятельно, приводя иногда статистические данные.

Намного лаконичнее и суше были ответы Фарука на мои вопросы о политической ситуации в стране и практически почти не углубляли информации, получаемой мною из газет и прочих источников.

Характерно, что ни король, ни другие два члена «правящего триумвирата» — лорд Киллерн и Наххас-паша — при встречах со мною ни единым словом, ни даже намеком не обмолвились об отношениях между ними. Все они, точно по молчаливому уговору, тщательно избегали этой больной темы. Впрочем, может быть, и не по молчаливому.

Когда беседа стала подходить к концу, Фарук огорошил меня приглашением на охоту, которую наметил в ближайшие дни устроить в своем заповеднике под Александрией.

Должен сознаться, что этот знак королевского благоволения поставил меня в довольно-таки щекотливое положение. Прежде всего я никогда не питал склонности к этому виду спорта и не помышлял заниматься им в Египте. У меня не было ни охотничьего оружия, ни необходимой экипировки, а покупка их ради сомнительного удовольствия поохотиться с королем ничуть мне не улыбалась — из-за той самой бешеной дороговизны, о которой мы только что говорили с Фаруком.

Но главное заключалось в другом. Моя готовность сблизиться с королем на неофициальной почве могла бы дезориентировать определенные круги египетской общественности и повредить моей репутации. Я уже был в курсе историй о том, что охотничьи экспедиции короля — не более чем удобная ширма для разнузданных оргий в александрийских дворцах Мунтаза и Рас-эль-Тин. Во время ноябрьской разгульной «охоты» Фарук и сломал ногу. Мне, как советскому дипломату, естественно, было не к лицу кутить со знатными прожигателями жизни и прослыть собутыльником беспутного Фарука.

В общем, приглашение следовало отклонить. Трудность состояла лишь в том, как это сделать. Отклонить без маломальски уважительной причины значило бы совершить светскую бестактность. И вот после некоторого колебания я прибег к отговорке, как мне кажется, достаточно уважительной и по форме корректной. Подчеркнуто поблагодарив короля за оказанную мне высокую честь, я шутливым тоном продолжал:

— Но вы, ваше величество, наверно, и не представляете себе, на какой риск идете, приглашая меня. Я за всю жизнь ни разу не держал в руках охотничьего ружья и притом феноменально близорук. Боюсь, что после охоты с таким компаньоном, как я, вы недосчитаетесь половины своих приближенных и немедленно потребуете моего отзыва. Увы, исходя из высших государственных интересов, я вынужден отказаться от предложенной мне чести.

Фарук благодушно принял мою шутливую тираду, выразил сожаление, что лишается моей компании, и вопрос об охоте был закрыт.

Расставаясь, король заявил, что весьма доволен нашей беседой и что надеется встречаться со мной и впредь. Забегая немного вперед, отмечу, что эту свою надежду он осуществил дважды уже в ближайшие месяцы.

Неслыханная продолжительность моего свидания с Фаруком преподносилась прессой в сенсационном духе, но лишь с туманными догадками о содержании нашей беседы, так как сообщения о ней королевская канцелярия не давала. Это заставляло кое-кого в дипкорпусе и в политических кругах ломать голову над тем, что крылось за таким фактом.

Я и сам задумывался над необычным характером моей встречи с королем. Несомненным для меня было одно: нарочито затягивая наше свидание, Фарук преследовал какую-то цель. Какую же? Создать у общественности впечатление, будто он вел со мною важные переговоры? Если так — а похоже было, что это так,— значит, он стремился создать заведомо ложное впечатление. Ибо никаких переговоров — в дипломатическом смысле слова — мы не вели. Зачем же тогда этот маневр?

Предположений возникало у меня немало. Наиболее вероятными из них я считал следующие. Во-первых, проявляя особое внимание к представителю самой могущественной державы антигитлеровской коалиции, Фарук пытался затушевать свои прежние прогитлеровские симпатии, на нынешнем этапе войны ставшие неходовым товаром. Одновременно он перебегал дорогу Вафду и его лидеру Наххас-паше, не позволяя им монопольно пожинать лавры установления дипломатических отношений с Советским Союзом. Не исключено, наконец, что, желая одним камнем убить и «третьего зайца», Фарук хотел туманно намекнуть лорду Киллерну на возможность какого-нибудь сговора с нами за спиной Англии.

Камешек, пусть и легковесный, брошенный в «третьего зайца», рикошетом бил и по советскому посольству. По Каиру стали циркулировать слухи о закулисных переговорах между двором и посольством. Поэтому при встречах с коллегами по дипкорпусу и с египетскими общественными деятелями, интересовавшимися моей беседой с Фаруком, я сам и по моему указанию все сотрудники посольства решительно отметали любые инсинуации насчет начавшихся будто бы в Египте тайных козней Москвы.

С начала декабря посольство действовало уже не в моем гостиничном номере, а в здании, расположенном на советской территории. Да, именно на советской. Арендованный нами кло-

чок земли под зданием и садом был по международному праву экстерриториален, иначе говоря, неприкосновенен для местных властей.

Наряду с текущими делами мы с первых же дней приступили к решению наших основных задач. Первейшая из них заключалась в том, чтобы, если можно так выразиться, «открыть» современный Египет, десятилетиями закрытый для советских людей, если не считать моряков с судов, проходивших до войны через Суэцкий канал или грузивших хлопок в Александрии. Запас сведений, с которым мы явились сюда, рассматривался нами лишь как отправной пункт для углубленного осмысления египетской действительности. Корни социальных противоречий и их конкретные выражения, меняющаяся расстановка политических сил, формы и результаты их борьбы за власть и влияние, личности представителей придворной клики, политических лидеров и деятелей культуры, новые явления в общественной и экономической жизни — таковы были главные объекты нашего наблюдения и анализа, позволяющие НКИД более четко определять политическую линию во взаимоотношениях Советского Союза с Египтом.

Главнейшим из средств познания страны я считал личное общение с людьми всех рангов и сословий — оно входило в непременную обязанность каждого нашего дипломатического сотрудника.

Мне (по своему положению) надлежало поддерживать контакты в первую очередь с королевским двором, правительственными кругами, общественными деятелями и коллегами по дипкорпусу. Протокольные визиты, деловые встречи, присутствие на званых завтраках и обедах, участие в торжественных приемах и различных церемониях — таков далеко не полный перечень форм, в которых осуществлялись эти контакты. Если учесть, что «подшефных» нам правительств было три, а аккредитованные при них посольства и миссии насчитывали около четырех десятков, то легко понять, каким трудоемким делом были эти контакты. За каждым визитом непременно следовал (хотя и не сразу) ответный, каждое приглашение на завтрак или обед через некоторое время «уравновешивалось» ответным приглашением. В результате график моих передвижений по Каиру в декабре 1943 года и в первой половине 1944 года был крайне напряженным.

В длинном списке протокольных визитов, которые мне надлежало нанести после вручения верительных грамот Фаруку, числились визиты к нескольким членам королевской фамилии. Первым среди них был наследный принц Мохаммед Али.

Нет никакой возможности (да и смысла) останавливаться на всех встречах этого рода, хотя некоторые из них были не лишены интереса с той или иной точки зрения. Ограничусь только рассказом о встрече с наследником престола.

Обычно, говоря о наследном принце, подразумевают сына правящего монарха. Наследником (по египетскому закону о престолонаследии) могло быть только лицо мужского пола. При отсутствии у королевской семьи сына престол наследовал ближайший и старший родственник короля по мужской линии. В данный момент им был шестидесятивосьмилетний дядя Фарука, брат покойного короля Фуада. Он слыл чрезвычайно религиозным человеком и строго соблюдал все мусульманские обряды. Говорили также, что он ведет полузатворнический образ жизни, постоянно одет в специальное молитвенное одеяние и домашние туфли, всегда готов для очередного намаза, который совершает в своей частной мечети при дворце. Так это или не так, меня он принял в нарядном европейском костюме и франтоватых лакированных ботинках.

Несмотря на свой возраст, его королевское высочество принц Мохаммед Али отнюдь не выглядел дряхлым. Он был по-светски обходителен, обладал незаурядным чувством юмора, принимавшим подчас саркастический оттенок. В ходе беседы он, шутливо подтрунивая над своей ролью престолонаследника при таком молодом здоровяке, как король Фарук, с двусмысленной усмешкой промолвил: «Надеюсь, всемилостивый Аллах не позволит мне пережить нашего обожаемого повелителя». Сомнительно, конечно, чтобы Мохаммед Али обожал своего коронованного племянника.

В самом начале беседы принц сказал:

— Судя по газетным сообщениям, вы ориенталист и большой знаток арабского языка.

— Это недоразумение, ваше высочество,— улыбнулся я.— Из восточных языков я мало-мальски прилично знаю один турецкий.

— Превосходно! — воскликнул принц по-турецки.— Где вы его изучили? Вы жили в Турции?

На его вопросы я ответил тоже по-турецки, и почти вся наша дальнейшая беседа шла на этом языке. Для принца он был как родной: ведь во времена Османской империи вся египетская знать говорила только на нем, чураясь арабского как языка черни. Кроме того, Мохаммед Али несколько лет прожил в Стамбуле. Это обстоятельство дало нам повод заговорить о Стамбуле, а затем перейти к Петербургу.

В Петербурге молодой отпрыск королевской фамилии был принят при императорском дворе и прожигал жизнь в компании знатных русских шалопаев в шикарных кабаках, тогда как я был в те годы всего лишь школьником, сыном рабочего. В царских дворцах, правда, я тоже был «принят», но уже после революции — в качестве экскурсанта. В Стамбуле Мохаммед Али жил в начале века и, разумеется, тоже вращался в придворных кругах. А я попал в Стамбул уже при республиканском режиме как студент-практикант, усердно штудирующий язык, нравы и обычаи турецкого народа. В султанских дворцах я также был «принят» — опять же как экскурсант. Но различия в нашем тогдашнем и теперешнем общественном положении, не говоря уже об убеждениях, не мешали нашей беседе быть интересной и непринужденной.

Систематически встречался я (по требованию протокола или по деловым надобностям) с моими коллегами — послами и посланниками при трех правительствах.

Конечно, не все встречи с коллегами были содержательными. Но даже и просто протокольные визиты, как правило, давали известную сумму новых сведений, помогавших ориентироваться в тех или иных вопросах, в настроениях дипкорпуса. Когда эти сведения представляли определенную ценность и для Москвы, мы сообщали их в НКИД шифром или с диппочтой.

Постепенно придворный этикет и дипломатический протокол втягивали меня в водоворот званых обедов, завтраков и пышных приемов. Начало им было положено королем Фаруком, устроившим 29 декабря вечером для дипкорпуса широкий прием по случаю своего выздоровления. А уже 3 января меня и дипломатических сотрудников посольства с женами потчевал завтраком Наххас-паша.

Дважды — в апреле и июне — я получал приглашения от министра земледелия Мустафы Нусрата. Министр не только не скрывал причин своего подчеркнутого внимания к моей особе, но и всячески выпячивал их: в моем лице он видел представителя крупного потенциального покупателя египетского хлопка.

Я укреплял в нем это убеждение, выражая надежду, что уже близится время для практических шагов в этой области.

11 февраля я присутствовал на приеме в королевском дворце Заафаране, на северо-восточной окраине Каира. Прием устраивал премьер-министр по случаю дня рождения короля Фарука — дня, считавшегося национальным праздником Египта. А 24 февраля у меня состоялось новое, неожиданное свидание с королем Фаруком — уже четвертое по счету, притом

в сугубо неофициальной обстановке загородного ресторана «Приют у пирамид», где Фонд имени Мохаммеда Али Великого организовал большой благотворительный вечер.

Объектом благотворительности были обездоленные феллахи Верхнего Египта. В 1943 году их постигло страшное бедствие: небывалый неурожай зерновых вызвал здесь повсеместный голод, ставший благодатной почвой для малярийной эпидемии, поскольку истощенный хроническим недоеданием организм человека легко становился добычей свирепой болезни. Сплошь да рядом уже первый приступ малярии сводил больного в могилу, в результате чего смертность в деревнях приняла необычайные размеры. За один лишь 1943 год голод и малярия скосили в Верхнем Египте более 100 тысяч человек. Щедрую жатву пожинала здесь смерть и в начале 1944 года.

Благотворительный вечер, конечно, был не в состоянии оказать существенную помощь голодающим и больным. Доход от него мог в лучшем случае дать нескольким тысячам феллахов необходимую для лечения дозу хинина (который они, кстати сказать, по невежеству своему и из-за голода зачастую отдавали за кусок хлеба). В сущности, этот вечер был не больше чем лицемерной данью общественному мнению, взволнованному небывалыми масштабами бедствия. Затея Фонда широко рекламировалась, свое «высокое покровительство» ей предоставил Фарук. Ожидалось, что в благотворительном вечере примут участие и дипломатические представительства. В этих условиях не осталось в стороне и наше посольство: мы зарезервировали для себя один столик на открытом воздухе.

В ресторане было шумно и многолюдно, в разных концах его играли два оркестра. Больше всего «благотворителей» набилось в залы, где шла азартная игра — в рулетку и за картежными столами. Внезапно возле нашего столика вырос офицер; лихо щелкнув каблуками и отрекомендовавшись адъютантом короля, он обратился ко мне:

— Ваше превосходительство, по приказу его величества я имею честь просить вас пожаловать в бар, где его величество будет рад приветствовать вас.

С точки зрения придворного этикета подобное желание короля считалось признаком особого расположения. Добиваться его у меня не было причин — ни личных, ни деловых. Но нельзя было, не совершив непростительной бестактности, и пренебречь им. Поэтому я поблагодарил адъютанта и отправился с ним в отделенный бархатным занавесом бар, нечто вроде заповедника для избранных участников этого вечера. Направляясь туда, я наскоро готовился высказать королю, как «отцу и радетелю» своих подданных, сочувствие в связи с тяжкими испытаниями,

постигшими Верхний Египет. Но подходящего случая для этого мне так и не представилось. Царившая в баре веселая атмосфера меньше всего ассоциировалась с печальными событиями, послужившими поводом для устройства благотворительного вечера.

По громкой, беззаботной и почти развязной речи Фарука я заключил, что в этот вечер он осушает уже не первый бокал. Его разговор со мной протекал по преимуществу в дружелюбно-шутливом тоне и даже отдаленно не касался ни одной мало-мальски серьезной темы — сегодня Фарук не старался изображать из себя мудрого государя. Кое-кто из присутствующих поддерживал нашу беседу краткими репликами. Внезапно король предложил мне пройти в соседний зал и сыграть в баккара.

— В баккара я абсолютный профан,— с улыбкой признался я.— В карты я вообще пас.

— Как, неужели никакие игры вас не увлекают? — изумился Фарук.

— Нет, отчего же, ваше величество. Я большой охотник до шахмат и всегда готов попробовать свои силы. Наверно, и вы не чураетесь этой замечательной игры?

— О, я вижу, куда вы клоните,— расхохотался Фарук.— Прошу вас, господин посол, не втягивайте меня в эту опасную авантюру. Все русские — блестящие шахматисты, и я держу пари, что вам ничего не стоит сделать мне мат.

— Я только любитель,— обнадежил я его.

Играл я на уровне второй категории, и у нас такие «блестящие шахматисты» исчислялись многими тысячами, если не десятками тысяч. Но в других странах моя скромная квалификация, может быть, котировалась выше, чем у нас. И поэтому я подумал, что, прими Фарук мой косвенный вызов, мне придется, вероятно, играть не спортивно, а «дипломатично».

Однажды я уже играл так — в сентябре 1939 года с турецким министром иностранных дел Шюкрю Сараджоглу, о чем рассказано в первой части книги.

С Фаруком я решил — если это, конечно, будет зависеть от меня — иметь равный счет. Но он явно уклонялся от игры:

— Нет, нет, не уговаривайте меня. Сейчас я, во всяком случае, ни за что не отважусь на это.— Затем, обращаясь к приближенным, сказал: — Господа, мы, кажется, собирались попытать счастья на другом поприще. А вызов господина посла надо еще зрело обдумать.

Момент был очень удобен для прощания, и я, пожелав королю Фаруку и его спутникам удачи в баккара, вернулся к своему столику.

Выше я отмечал, что каждое приглашение на банкет должно было рано или поздно «уравновешиваться» ответным гостеприимством. Поэтому по истечении некоторого времени мы начали сами устраивать приемы для коллег по дипкорпусу и египетских государственных деятелей. Приемы эти проводились у меня в доме на улице Рефаа, так как здание посольства представительскими помещениями не располагало.

Их было немало, этих приемов. Упомяну здесь лишь о банкете, данном мною 20 мая и носившем по составу участников сугубо «восточный» характер. Принимали мы в этот день Наххас-пашу, Салахэддин-бея, иранского посла Джема, иракского посланника Аскари, афганского — Могаддеди, китайского — Цинь Няньцзяна, поверенного в делах Эфиопии Тесфаи Тегена. Из гостей-европейцев в эту азиатско-африканскую компанию я включил только лорда Киллерна — старого, испытанного «друга» народов Востока.

Незачем доказывать ту азбучную истину, что дипломату необходимо знать хотя бы один из наиболее распространенных европейских языков. Для безъязычного дипломата прямое общение с собеседником невозможно, а объяснение через переводчика неполноценно. Но в данной компании, как я вскоре убедился, в отдельных случаях не выручало даже знание нескольких европейских языков. Мои соседки за столом — супруга посла Джема и супруга посланника Аскари — не владели ни одним из них. Поэтому с госпожой Аскари я объяснялся по-турецки, а с госпожой Джем на фарси, который я знал неважно, притом с «окающим» таджикским произношением, приобретенным в Таджикистане.

Завтрак прошел очень оживленно. Вопреки правилу этикета «за столом о делах ни слова», все мы только и делали, что говорили о политике — первейшем для дипломата деле. Оживлению за столом немало содействовало то обстоятельство, что все гости, включая пятерых мусульман, презревших запреты пророка и кары Аллаха, усердно налегали на спиртные напитки — от водки до шампанского. От последнего отказался только афганец Могаддеди, вероятно по соображениям диеты. По окончании приема лорд Киллерн шепнул мне:

— Поздравляю вас, господин посол, с выдающимся успехом! Вы добились того, чего не мог еще добиться ни один дипломат и вообще ни один человек: сегодня Наххас-паша выпил впервые за всю свою жизнь!

Что ж, если наше гостеприимство смогло настроить египетского премьера на столь благодушный лад, что он на сей раз отказался от своего пуританского зарока, то посольство вправе было записать этот факт себе в актив.

4. Деловые будни посольства

Выше я писал о том, что одна из основных задач посольства заключалась в том, чтобы «открыть» Египет для Советского Союза. Но, пожалуй, не менее важной была задача открыть египтянам глаза на Советский Союз. Мы должны были систематически рассеивать густой туман дезинформации, лжи и клеветы, долгие годы окутывавший представления египтян о нашей стране; разрушать стену предубеждения против нее, пропагандировать принципы советской политики в отношении угнетенных стран Востока. Требовалось во весь рост показывать беспримерный подвиг советского народа и его Красной Армии в деле разгрома фашизма, злейшего врага человечества; выявлять и привлекать к себе дружественно настроенных к нам людей и — что еще важнее — создавать новых друзей.

Решать эту задачу нам надлежало и путем личного общения с представителями самых различных слоев общества, организации документальных выставок, демонстрацией кинофильмов о Советском Союзе, путем предоставления местной прессе информационных материалов, правдиво освещающих положение у нас в стране и на фронтах Великой Отечественной войны. Каждое наше слово, каждое наше мероприятие должно было служить благородной цели — закладке фундамента дружбы между народами СССР и Египта.

Работа наша облегчилась тем, что друзья Советского Союза с энтузиазмом шли навстречу всем нашим начинаниям. Более того, в трудный период становления посольства именно они сделали первый шаг к сближению с нами. О нем стоит рассказать, но предварительно я позволю себе небольшое отступление в московское прошлое.

Запись в моем личном дневнике от 29 мая 1943 года отмечает в виде рядового штришка из быта наркоминдельцев, что накануне я присутствовал на закрытом кинопросмотре, начавшемся в час ночи и окончившемся в пять часов утра — днем на это времени у нас недоставало. Нам показали новый советский фильм «Она защищает Родину», военную кинохронику и — как гвоздь программы — американский фильм «Миссия в Москву», поставленный по одноименной книге мемуаров бывшего посла США в СССР Джозефа Дэвиса.

Слабый по части художественных достоинств, фильм, однако, имел и свою сильную сторону — разоблачение укоренившейся на Западе басни о «красной опасности».

В Каире мне опять пришлось стать зрителем этой картины. Но уже не из любопытства, которое я еще весной утолил

в Москве, а по мотивам иного порядка. Дело в том, что местные друзья Советского Союза, группировавшиеся вокруг египетского филиала Фонда помощи России, созданного в Англии супругой Черчилля, решили связать свое очередное мероприятие с прибытием в Каир советского посольства.

Еще до нашего приезда они наметили показать в «Опере», лучшем каирском кинотеатре, именно «Миссию в Москву». Весь сбор от киносеанса, билеты на который продавались по завышенным ценам, предназначался на закупку медикаментов для жертв войны среди гражданского населения СССР. Теперь, в декабре, организаторы кинопросмотра пожелали придать ему характер дружественного жеста по отношению к посольству, в связи с чем объявить, в духе принятых здесь напыщенных формул, что сеанс проводится «под высоким покровительством его превосходительства господина Николая Новикова, полномочного министра СССР в Египте»[1]. С таким предложением они и обратились в посольство.

На первый взгляд и выбор слабенького фильма, и особенно ссылка на «высокое покровительство» показались нам курьезными и даже забавными. Но цель мероприятия заслуживала всяческого уважения. Она была изложена в «Призыве» Фонда, напечатанном в газетах, журналах и в отлично изданной программе киносеанса. На ее обложке на переднем плане развевалось алое полотнище советского государственного флага, частично заслоняя собою звездно-полосатый американский флаг и британский «Юнион Джек».

Вот выдержка из этого «Призыва»:

«После Тегерана окончательно сложилась солидарность всех Объединенных Наций. СССР больше, чем любая другая страна, испытывает на себе все невыразимые ужасы тотальной войны. Армии, отбросившие нацистские орды от берегов Волги за Днепр, освободили сотни тысяч мужчин и женщин, которые были доведены до крайней нужды среди пепла и развалин городов и деревень, разрушенных отступающим врагом. К ним обращено наше сочувствие. К ним направлена наша солидарность. Ради них мы призываем всех тех, кто сами не страдают от войны, неустанно и щедро жертвовать в Фонд помощи России, чтобы и они могли — пусть в малой, очень малой мере — облегчить человеческие страдания».

---

[1] В зарубежных странах посланник в соответствии с Венским регламентом 1815 года именовался «Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром». В Египте вместо этого полного звания в обиходе употреблялась, как правило, только вторая его половина. Меня же именовали то министром, то послом в связи с тем, что у меня был личный ранг посла, а к тому же я был аккредитован в качестве посла при югославском и греческом правительствах.

Разумеется, было бы уместно заменить «Миссию» одним из довоенных шедевров нашей кинематографии или хорошим фильмом военного времени. Однако в декабре советская киноэкспортная организация еще не вышла на египетский рынок, и для замены у нас ничего не было. В конце концов, рассуждали мы, показ «Миссии» также способен дать определенный положительный эффект, а наша поддержка мероприятия только усилит его. К тому же участие посольства в организации просмотра — неплохая возможность для завязывания знакомств с представителями египетской общественности. Взвесив все, мы приняли предложение о «покровительстве». Премьера фильма и все последующие сеансы прошли с большим успехом.

В январе посольство устроило прием для представителей прессы.

Мы были очень заинтересованы в том, чтобы местная пресса как можно шире освещала жизнь Советского Союза. До сих пор она публиковала кое-какую информацию, заимствованную главным образом у западных телеграфных агентств, зачастую далекую от точности, а иногда и неприязненную по тону. Стремясь изменить это положение к лучшему, мы решили установить непосредственные деловые контакты с редакциями газет и журналов, что позволило бы нам снабжать их материалами из советских источников и в какой-то мере влиять на их ориентацию. С другой стороны, контакты наших сотрудников с журналистами, людьми осведомленными, могли стать источником информации о местных делах. В виде первого шага в этом направлении мы и пригласили в посольство представителей каирской прессы.

К назначенному часу гостиную посольства начали заполнять приглашенные журналисты. Их встречали наши сотрудники, владевшие хотя бы одним из трех языков — арабским, французским или английским. Гостей угощали отечественными напитками и закусками, завязывали с ними знакомства, расспрашивали их, отвечали на их вопросы.

Когда мне сообщили, что все приглашенные в сборе, я вышел из своего кабинета в гудящую, словно улей, гостиную и был тотчас окружен журналистами. Я радушно приветствовал их и произнес небольшую вступительную речь о задачах посольства в деле развития дружественных отношений с Египтом, выразив под конец надежду, что местная пресса окажет нам посильное содействие. Моя речь была встречена вежливыми аплодисментами. Затем началась пресс-конференция, хотя и не совсем обычная, так как проходила она в конфиденциальной атмосфере и без определенных тематических рамок.

На меня посыпался настоящий град вопросов. Чем только не интересовались напористые газетчики! Из сохранившихся у меня газетных вырезок видно, что диапазон их любознательности был необъятен — от пустяков, вроде того, какой авторучкой я подписываю документы, до проблем мирового масштаба. Каков штат посольства, какие его отделы уже функционируют, когда Советский Союз возобновит торговлю с Египтом и будет ли закупать хлопок, что будет предпринято в ближайшее время в области советско-египетских культурных связей, какую роль играют в войне советские граждане-мусульмане, что я думаю о сроках окончания войны — эти и еще десятки других вопросов были заданы мне в течение часа с четвертью. На некоторые из них — в зависимости от их характера — я отвечал подробно, на другие лаконично, от третьих — с каверзным подтекстом — отделывался шуткой.

По прошествии часа я начал уставать от непрерывного напора журналистов — ведь это была первая в моей жизни пресс-конференция. Сказывалось также и то, что формулировать ответы, зачастую большой политической важности, мне приходилось не на родном языке. Пора было свертывать «беседу», и я ждал лишь краткой паузы в вопросах, чтобы объявить о конце. Повод мне дал какой-то журналист, сказав:

— Мы слышали, что в Тегеране недавно побывал знаменитый русский балет. Можем ли мы надеяться, что в один прекрасный день он появится и в Каире?

Я шутливо промолвил: «Иншалла!», что значит «Как соблаговолит Аллах!» Все весело рассмеялись, а я, воспользовавшись желанной паузой, поблагодарил гостей за их интерес к делам посольства и попрощался с ними.

Мы, разумеется, не рассчитывали на то, что этот наш скромный шаг мгновенно перестроит египетскую прессу, по большей части реакционную и рептильную, на просоветский лад. Но положительный резонанс все же имел место. На следующий день почти все газеты напечатали объективный репортаж о пресс-конференции, а в дальнейшем более или менее благожелательно освещали различные мероприятия посольства. Кроме того, отделу печати посольства удавалось время от времени протолкнуть на страницы газет и журналов материалы, поступавшие к нам от Совинформбюро или ВОКСа.

13 февраля мы открыли свою первую выставку — о зверствах немецко-фашистских оккупантов на советской земле. Обширная коллекция фотодокументов, удачно смонтированных и снабженных красноречивыми надписями, служила беспощад-

ным обвинением против гитлеровского «нового порядка». Примерно половина экспонатов рисовала страшную картину фашистских зверств, пыток и издевательств над достоинством советских людей, имевших несчастье очутиться под властью оккупантов. Другая половина рассказывала о грандиозных масштабах ущерба, причиненного захватчиками советской экономике и жилому фонду в городах и селах. В целом выставка создавала отчетливое представление о бедствиях, которые война обрушила на наш народ, и с убийственной прямотой рисовала поистине звериный лик нацистских «сверхчеловеков». Она вызывала искреннее сочувствие к Советскому Союзу и справедливую ненависть к агрессору.

Получив из Москвы эти экспонаты, мы занялись поисками помещения для выставки. По совету наших новых каирских друзей мы обратились за содействием к Лиге защиты прав человека. Ее председатель Жан Рапнуй горячо откликнулся на просьбу посольства. Он заявил, что подобная выставка как нельзя лучше отвечает гуманным принципам Лиги, и заверил, что сочтет своим почетным долгом сделать все возможное для ее организации.

Его обещание не было пустым звуком. Руководители Лиги связались с местным Французским комитетом национального освобождения в Каире, и тот по их ходатайству предоставил нам на декаду несколько просторных комнат в занимаемом им здании. Благодаря дружеской помощи Лиги и Комитета выставка прошла очень организованно и привлекла массу посетителей. На другой день после закрытия выставки — это было в XXVI годовщину Красной Армии — совместная делегация Комитета во главе с его председателем Пьером Жуге и Лиги — во главе с Жаном Рапнуем посетила посольство и в торжественной обстановке вручила мне «Золотую книгу» с записями посетителей выставки. Одновременно делегация поздравила посольство с годовщиной Красной Армии, пожелав ей новых решающих успехов.

Записи в «Золотой книге» в основном сводились к двум категориям. Одна, меньшая по числу, выражала чувства сострадания к советским людям, дышала гневом против фашистских захватчиков. В другой, преобладающей, на первом плане стояли восхищение тем мужеством, с каким советский народ, несмотря на все суровые испытания, громит агрессоров, и уверенность в том, что вскоре он освободит порабощенные страны Европы.

Как бы продолжением этой выставки явилась другая — «СССР в дни войны»,— фотоэкспонаты которой раскрывали, как выглядит всенародный отпор врагу. Посетителям предлагались наглядные свидетельства величайших сражений под

Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, свидетельства героического труда рабочих на оборонных предприятиях и колхозников на полях. Отражена была и культурная жизнь страны. Не пытаясь вдаваться в детальное описание экспонатов, хочу лишь упомянуть о фотоснимке, показывавшем руины Сталинграда, с лаконичной, но красноречивой надписью: «Здесь были похоронены замыслы врага». Такое проникало в самую глубь сердца и надолго запоминалось.

Выставка открылась 3 июня в здании Королевского общества инженеров Египта. На ее официальном открытии присутствовали представители короля Фарука и египетского МИД, члены дипкорпуса, британский министр-резидент на Среднем Востоке лорд Мойн, общественные деятели Египта. Но, отдавая эту неизбежную дань дипломатическому протоколу, мы, конечно, не упускали из виду, что наша выставка предназначена не столько для высокопоставленных лиц, получивших персональные приглашения, сколько для широких слоев населения. И в ее большом успехе мы уверились именно потому, что ежедневно тысячи и тысячи простых людей Египта устремлялись в ее залы, чтобы вдумчиво вглядеться в убедительные документы, а затем оставить восторженные записи в книге для отзывов.

Я не намерен прослеживать шаг за шагом все массово-пропагандистские начинания посольства. Хочется только остановиться еще на одном протокольном мероприятии, которое косвенно также давало серьезный пропагандистский эффект.

Речь идет о большом дипломатическом приеме, организованном посольством 23 февраля по случаю XXVI годовщины Красной Армии,— разумеется, не в нашем тесном особняке на набережной Бахр-эль-Ама. На этот раз нас выручил так называемый Греческий центр, нечто вроде культурно-просветительного клуба для греков, проживавших в Каире: он выделил нам свои парадные помещения. Пригласили мы около 300 гостей, в том числе, учитывая повод для приема, много военных. Личные поздравления по случаю годовщины победоносной Красной Армии принесли нам греческий премьер-министр Цудерос (говоривший одновременно и от имени короля Георга), британский министр-резидент лорд Мойн, начальник королевской канцелярии Хассанейн-паша, статс-секретарь египетского МИД Салахэддин-бей, члены трех дипкорпусов, главнокомандующий британскими вооруженными силами на Среднем Востоке генерал Пэйджет и многие другие высшие офицеры — египетские, английские, греческие, югославские. От имени короля Фарука поздравлял обер-камергер Теймур-бей, от имени югославского короля Петра — министр его двора. От чести побывать на нашем празднике уклонился только Наххас-паша, заня-

тый какими-то неотложными делами и заранее извинившийся за свое отсутствие, да югославский премьер Божидар Пурич — по причине возникших у нас с ним дипломатических трений, о которых будет сказано ниже. Широко были представлены на приеме пресса и общественность. Из творческой интеллигенции наиболее заметной фигурой был маститый египетский писатель Таха Хуссейн, уже в преклонных годах и слепой, пришедший в сопровождении своей супруги.

Пресса с лихвой отплатила нам за приглашение ее представителей. Газетные репортажи не ограничивались перечислением знатных гостей, как это обычно делается в отношении дипломатических приемов, а давали и собственные комментарии в связи с годовщиной. Для их позитивного тона характерна такая выдержка из одной газеты:

«Можно смело сказать, что уже в течение года Россия переживает самые славные дни своей истории, и почести, которые вчера воздавались ей на всем земном шаре,— а почести в Каире нисколько не уступали им — показывают, что победы ее армий завоевали ей заветное место в сердцах наций, борющихся за свободу». Коснувшись далее того факта, что на протяжении всего XIX и начала XX века огромной военной мощью обладала и царская Россия, журналист продолжает: «Но сила сама по себе ничего не создает. Если она не служит добру и справедливости, она лишь разрушает. Народы страшатся силы, они любят равноправие. И воздавая почести Советской Армии, они выражают свое восхищение тем, что она разбила военную машину германского Цезаря, и в особенности тем, что вместе со своими союзниками она подготавливает мирное будущее и безопасность для всех».

Подобные высказывания лишний раз подтверждали ту истину, что Красная Армия являлась тогда наилучшим советским пропагандистом, благотворно влиявшим на общественное мнение во всем мире.

Заодно процитирую еще несколько строк из другой газеты — маленький, но небезынтересный штрих, также относящийся к данному приему. В своем репортаже газета писала: «Добавим, что весть о приеме распространилась по всему городу, и подступы к Греческому центру чернели — или, если хотите, белели — от любопытной и доброжелательной толпы, выражавшей на свой собственный лад чувства, внушенные ей приемом. Красный флажок на машине Его Превосходительства министра СССР привлек к себе всеобщее внимание».

Многозначительно замечание корреспондента о том, что улица вблизи Греческого центра «белела» от толп народа. Это значит, что состояли они из тех «любопытных и благожелатель-

ных» египтян, которые принадлежали к низам общества — ведь только они в Каире не носили европейской одежды, а одевались по традиции в длиннополую, по щиколотку, белую галябию.

В 1943—1944 годах Каир был транзитным пунктом для всех — будь то советские люди или иностранцы,— кто ехал из Москвы в Алжир, Лондон, освобожденные районы Югославии и Италии, а со второй половины 1944 года также и в освобожденные районы Франции. Не миновали его, разумеется, и те, кто ехал в обратном направлении. Из проезжавших через Каир советских людей редко кто не заглядывал в наше посольство по каким-либо делам, а то и вовсе без дела, но мы всегда были рады им. Для нас они были очень важным источником новостей, в том числе и таких, о которых не узнаешь ни из прессы, ни по радио. Поэтому мы не могли пожаловаться на свою оторванность от мира, хотя и находились, казалось бы, на отшибе от эпицентра потрясавших его событий.

В декабре 1943 года из США в Москву возвращались народный артист СССР С. Михоэлс и поэт И. Фефер, делегаты Антифашистского еврейского комитета. Они рассказали много интересного о положении в Америке и о своих дорожных впечатлениях. Воздушный путь из США в Каир пролегал тогда через Вест-Индию, Бразилию, Сенегал, Марокко, Тунис и Ливию.

Пребывание на каирском «бойком месте» позволило мне познакомиться с рядом видных иностранных деятелей.

В первой декаде декабря 1943 года по пути из Лондона в Москву в Каире остановился на сутки президент Чехословакии Эдуард Бенеш. Он ехал, чтобы подписать советско-чехословацкий Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Его сопровождал советский посол при чехословацком правительстве В. З. Лебедев. Предварительно сговорившись через последнего, я нанес Бенешу визит в гостинице.

По форме это был простой визит вежливости, вызванный, однако, моим деловым интересом, сохранившимся с того времени, когда я еще сам — в последний раз в октябре 1943 года — занимался чехословацкими делами, среди которых был и вопрос о советско-чехословацком договоре, встречавший тогда препятствия со стороны Форин офис. Я поздравил президента с успешным завершением подготовки к подписанию договора. Но в беседе на эту тему я не заметил с его стороны энтузиазма. Может быть, на его настроении сказалась усталость от дальней дороги. А может быть, в этот момент перед глазами у него маячила негодующая физиономия Идена, не дальше как в сен-

тябре обозвавшего правительство Чехословакии безумным — за его решение подписать договор с Советским Союзом.

В марте 1944 года мне довелось познакомиться с Пальмиро Тольятти. До тех пор я знал о нем лишь по советским газетам как об одном из руководителей Коминтерна, притом под конспиративным именем Эрколи. Сейчас он возвращался на родину как лидер итальянских коммунистов, с тем чтобы уже в апреле войти в коалиционное правительство маршала Бадольо в качестве министра без портфеля.

Памятной была встреча в начале апреля с военной миссией Национального комитета освобождения Югославии во главе с генералом Терзичем, направлявшейся в Москву. Мы горячо приняли членов миссии. Ведь они прибыли из страны, где размах народного сопротивления оккупантам и его успехи не шли ни в какое сравнение с тем, что делалось в этом смысле в других оккупированных странах Европы. Посольство устроило для миссии неофициальный прием, на котором присутствовали все члены миссии и ряд сотрудников посольства.

На нем все вместе мы пели советские песни, начиная, конечно, с «Катюши», которая в те годы победоносно шествовала по всем континентам. Далеко за полночь не смолкала причудливо смешавшаяся русская, сербская и хорватская речь. Когда из-за недопонимания возникала заминка с языком, на помощь приходил Д. С. Солод, до войны работавший в советском посольстве в Белграде и прилично знавший сербский язык.

За всеми шагами нашего посольства с сочувственным интересом следили друзья и со скрытым недоброжелательством — недруги. Впрочем, иногда и с открытым. Случалось, что те или иные наши шаги получали искаженное истолкование, посольство становилось мишенью злопыхательства и клеветы. Не обходила своим вниманием и немецко-фашистская пропаганда. В майском информационном бюллетене английского посольства, который оно в порядке союзного сотрудничества присылало нам, я прочел, например, такую оценку нашей деятельности, данную как сообщение из Мадрида, транслировавшееся германским радио:

«По сведениям из хорошо информированных кругов, советский посол в Каире Новиков больше всего занят созданием большевистских сфер влияния и большевистской пропагандой вообще. Кроме того, имеется и другой центр большевистской демагогии под вывеской отделения ТАСС, руководителем которого является коммунистический генерал. Согласно этой информации, эти лица тратят на подкуп огромные денежные суммы».

Подивился я этим «сведениям» о себе, о корреспонденте ТАСС М. А. Коростовцеве (ныне покойном академике-египтологе), о наших «подкупах», немного посмеялся, а потом призадумался. От фашистской радиопропаганды, конечно, всего можно было ожидать — в том числе и нелепой сплетни, рассчитанной на запугивание «советской опасностью» на Ближнем Востоке как наших союзников-англичан, так и правящих кругов в арабских странах. Но у меня не было полной уверенности в том, что эти инсинуации действительно исходили из Мадрида и что вообще они переданы германской радиостанцией. Кто знает, не сочинило ли их какое-нибудь английское учреждение в Каире специально для нас — как многозначительный намек и предостережение? Но если даже радиосообщение было и немецким, то, будучи любезно подсунуто в читаемый нами бюллетень, не служило ли оно все тем же целям — помешать растущему в стране престижу Советского Союза?

Пустые уловки, решил я. Мы не станем отказываться от своих основных дипломатических задач только потому, что нервы английских колонизаторов начинают пошаливать!

Рассказывая о деловых буднях посольства, кратко коснусь и некоторых «неделовых» сторон повседневного существования его коллектива.

По мере того как время шло, жизнь нашего небольшого советского коллектива принимала упорядоченные формы. Но наряду с этим у многих из сотрудников посольства и членов их семей начала подспудно расти, а затем и пробиваться наружу тоска по родине. Ее не могли заглушить ни чрезвычайная загруженность делами, ни бытовые заботы, особенно сложные при устройстве на новом месте. К числу тех, кто был охвачен ностальгией, принадлежал и я сам. Мысли неизменно устремлялись к далеким родным краям, где ни на один день, ни на один час не прекращалась битва с врагом, где и в тылу советские люди, терпя неимоверные лишения, отдавали все свои силы в помощь фронту.

Это состояние было вызвано не мыслями об оторванности от общего патриотического дела. Мы не ощущали ее, так как и на чужбине добросовестно, с полной отдачей выполняли свой долг. Конечно, в тоске по родине проявлялось нечто врожденное, впитанное с молоком матери. Но сильнее всего сказывалась длительная — измерявшаяся десятилетиями — жизнь в привычных, принятых умом и сердцем общественных условиях, где постоянно ощущаешь себя среди своих.

Ощущать себя среди своих — это величайшее благо, оценить

которое по-настоящему можно, только лишившись его, пусть даже на короткое время. Там, на родине, вообще все свое, если даже и не все радует глаз, ум и душу. Здесь же, на чужбине, все чужое. Притом зачастую непонятное. И если в отношении материальных благ здесь было тогда чему позавидовать, то в укладе жизни встречалось много такого, от чего у советского человека с души воротило. Нередко рождалось активное желание протестовать, переделать, желание, которое надо было подавлять, вечно помня, что ты не у себя дома, что ты здесь нужен и приемлем только на строго определенных условиях. Чужой! Вот, пожалуй, то главное ощущение, которое порождало тягу домой, первоначально глухую, неосознанную, а затем все более и более явственную. На этой почве отдельные члены нашей колонии даже теряли значительную часть работоспособности и инициативы, а кое-кого нам просто пришлось вернуть домой.

Противостоять подобным настроениям требовалось прежде всего путем тесного сплочения коллектива. Ведь сформировался он из людей, большинство которых еще вчера ничего не знали друг о друге. Совместная работа постепенно сближала их. Этому естественному процессу способствовали различные мероприятия вне служебной сферы. Большой популярностью пользовались массовые экскурсии по Каиру и по историческим местам в окрестностях города. Первая из них — к знаменитым пирамидам Гизы — была проведена еще в первый месяц нашего пребывания в Египте. За нею последовали и другие. 31 декабря мы всем коллективом весело встретили Новый, 1944 год — в особняке, всего лишь за несколько дней до того арендованном для проживания моей семьи и для представительских целей посольства. Отмечали традиционными торжественными собраниями советские праздники — годовщину Красной Армии и 1 Мая.

Очень поднимали настроение хорошие вести с фронта в передаваемых по радио приказах Верховного Главнокомандующего и сообщениях Совинформбюро, которые мы регулярно записывали и доводили до сведения каждой семьи. В праздничном приказе от 23 февраля мы с воодушевлением прочли о том, что «гитлеровская Германия неудержимо движется к катастрофе» и что «близится час окончательной расплаты за все злодеяния, совершенные гитлеровцами на советской земле и в оккупированных странах Европы».

Советские газеты приходили к нам с огромным запозданием, притом толстыми пачками — за две-три недели сразу. Прочитывать эти газеты было немыслимо, оставалось только пробегать их глазами, выискивая самое главное. Поэтому, помогая быть в курсе быстро меняющихся событий тем, кто не мог узнавать о них из местной прессы, я, в дополнение к приказам

и сообщениям Совинформбюро, делал время от времени для коллектива доклады о текущем положении, охватывая широкий круг международных проблем.

Благодаря этим и ряду других мер, благодаря высокой политической сознательности своих членов наш коллектив и на чужбине жил полнокровной советской жизнью, без чего рассчитывать на успешное выполнение посольством его задач было бы невозможно.

В первые месяцы пребывания в Каире мы наслаждались благодатной «зимней» погодой. В конце ноября было еще умеренно жарко. Но зато вторая половина марта и весь апрель были ужасны. Недели за неделями с гнетущим постоянством из Сахары дул отвратительный хамсин, приносивший оттуда тучи мельчайшего раскаленного песка. Дышать становилось трудно, песок засыпал глаза, попадал в рот, скрипел на зубах. Спастись от него нельзя было и в закрытых помещениях: ни оконные стекла, ни ставни-жалюзи не мешали ему проникать внутрь дома, покрывать плотным слоем мебель, посыпать, словно солью, еду, оседать на дне тарелок с супом или стаканов с чаем. Но песок был не единственным «даром» Сахары. Вместе с ним на Египет обрушился и палящий зной пустыни. В последнюю неделю апреля температура поднималась днем до 41 градуса в тени, а на солнце — до 70 градусов с лишним.

В мае температура несколько понизилась. Мои египетские знакомые шутливо утверждали, что это мы, русские, привезли с собою с севера прохладу. Правда, «прохлада» была очень относительной — она держалась на уровне 30—35 градусов в тени.

А на пороге стояло жаркое египетское лето. Король Фарук, правительство и аккредитованные при нем дипломаты готовились к переезду на период с июня по октябрь в летнюю столицу Египта — Александрию, с ее сравнительно умеренным климатом, с ее роскошными пляжами, где государственные дела можно было перемежать с морскими купаньями. На приеме 20 мая Наххас-паша известил меня, что правительство покидает Каир к середине июня. В связи с этим посольство поставило перед Наркоминделом вопрос об аренде в Александрии дачи на три-четыре месяца и о переезде туда вместе со мною нескольких оперативных и канцелярских работников; остальным предстояло выполнять текущую работу в Каире. Наркоминдел без волокиты выделил нам необходимые дополнительные ассигнования.

Дачу мы сняли в Сиди-Бишре, восточном предместье Александрии, поблизости от летнего королевского дворца Мунтаза.

Расположена она была на самом берегу моря и архитектурой своей напоминала небольшой пароход с двумя палубами, роль которых играли веранды вокруг дома, обнесенные поручнями; имелось и нечто вроде капитанского мостика. Не хватало только пузатой дымящей трубы.

В конце мая я отправил в Александрию свою семью и семьи еще нескольких сотрудников посольства. Мой же переезд туда все время откладывался из-за ряда важных дел. Практически мне так и не удалось сделать Александрию своей летней резиденцией, какой она была для большинства моих дипломатических коллег.

5. Принцесса Ирина и Египетский фонд помощи гражданскому населению СССР

То, что читатель прочитает дальше, также относится к деятельности посольства, но попутно я хочу рассказать историю одной незаурядной русской женщины, с которой я познакомился в Каире, а впоследствии встречался и на других широтах земного шара.

В момент, когда я впервые услышал о ней, она обладала двумя громкими титулами — «Ее Королевское Высочество Принцесса Греческая и Принцесса Датская». Она была замужем за принцем Петром, двоюродным братом короля Георга II, и в силу этого считалась членом королевского дома. Очутившись после оккупации Греции в эмиграции, она разделяла в годы войны участь королевского дома и вместе с ним обосновалась в Каире.

Это была уже вторая эмиграция Ирины Александровны Овчинниковой, дочери крупного русского коммерсанта. Первая произошла после Октябрьской революции, когда она, еще девочкой, выехала с родителями за границу, где ей суждено было жить до конца своих дней. Многое повидала и испытала юная эмигрантка, пока прихотливая фортуна не вознесла ее к ступеням греческого трона. Но, став греческой принцессой, Ирина Александровна не перестала быть русской. Именно это обстоятельство и послужило основой для нашего знакомства.

Уже в первые недели существования советского посольства в Каире Ирина Александровна проявила к нему повышенный интерес. Через своего личного секретаря она связалась с нашей канцелярией и выразила желание встретиться со мною по какому-то делу. Я не спешил с ответом, так как тогда еще ничего не знал о ней и не мог решить, насколько подобная встреча,

вне рамок обычного светского общения, целесообразна. А пока я наводил справки, она сама частенько звонила в канцелярию и подолгу разговаривала с нашими сотрудниками. Как позднее она мне призналась, делала она это не столько для того, чтобы ускорить мой ответ, сколько для того, чтобы «отвести душу» в беседах с русскими людьми на своем родном языке. Не просто с русскими — в Каире в ту пору жило немало белоэмигрантов,— а с русскими «из дома», из Советского Союза.

Тем временем я собрал кое-какие сведения о «принцессе Ирине», как именовали ее наши сотрудники. В первые годы эмиграции она была манекенщицей в Париже, где пленила своей красотой какого-то французского маркиза и вышла за него замуж. Ее женское обаяние в те годы было, видимо, очень велико — недаром его воспел А. Вертинский в одной из своих популярных песенок «Пани Ирэн». Воспел с присущей ему вычурностью и манерностью — строки песенки изобиловали такими выражениями, как «золотистый плен медно-змеиных волос», «бледность лица, до восторга, до муки обожженного песней моей» и т. д. В конце песенки «пани Ирэн» именовалась уже «принцессой Ирэн», и слова эти, звучавшие тогда как салонная банальность, оказались поистине пророческими. Выйдя вторично замуж — за принца Петра,— маркиза Ирэн приобрела титул принцессы королевского дома.

Помимо обаятельной внешности у нее имелись и другие достоинства. Она была умна и образованна, в совершенстве владела английским, французским и итальянским языками, хорошо говорила по-гречески. Все это, вместе взятое, плюс высокое положение при греческом дворе делало ее объектом жгучей зависти (если не ненависти) со стороны принцесс «голубой» королевской крови (я имел «удовольствие» любоваться ими на банкете у Георга II) и у придворных дам. Кроме того, в глазах спесивой аристократии она была выскочкой, поднявшейся до нынешнего уровня лишь потому, что сумела правдами и неправдами подбить принца Петра на мезальянс. Уже одно то, что его брак был признан официально, являлось вопиющим нарушением династических традиций. По всем этим причинам вряд ли Ирина Александровна пользовалась большим влиянием при греческом дворе, но при египетском дворе и в высшем обществе Египта оно было неоспоримо.

Еще я узнал, что Ирина Александровна очень набожна, притом нелицемерно; что, несмотря на принадлежность к греческому королевскому дому, она горячая русская патриотка; что ее патриотизм, который она открыто проявляет, выливается в готовность посильно содействовать советскому населению, пострадавшему от гитлеровских захватчиков; что еще до нашего

приезда в Каир она уже выступала инициатором благотворительных мероприятий, направленных к этой цели.

В общем, полученные мною сведения склонили меня в пользу встречи. Однако я не забывал, что она белоэмигрантка, хотя бы и с высоким греческим титулом, и встречаться с нею в официальных рамках, как с принцессой королевского дома, воздавая ей соответствующие почести, находил неуместным. Поэтому я сообщил ей через секретаря, что охотно приму ее в посольстве. В каком качестве, не уточнялось, но подразумевалось, что как частное лицо. И тут возникло неожиданное препятствие: греческий придворный этикет не разрешал членам королевского дома переступать порог иностранных посольств и миссий. Ведь для «Ее Королевского Высочества Принцессы Греческой и Принцессы Датской» советское посольство было иностранным.

Выход из затруднения нашла сама Ирина Александровна. Позвонив в очередной раз в посольство, она настойчиво потребовала у секретаря соединить ее со мною. Взяв трубку, я вежливо-выжидательным тоном, как говорят впервые с неизвестным собеседником, предоставляя ему инициативу, сказал:

— Я вас слушаю.

Несколько секунд трубка молчала. Видимо, Ирина Александровна была шокирована тем, что я не употребил никакого обращения, а тем более титула. Но возможно, причиной явилась ее взволнованность. Действительно, когда принцесса наконец заговорила, в ее голосе явственно различались нотки волнения.

— Здравствуйте, ваше превосходительство! Я очень вам признательна, что вы дали мне возможность поговорить непосредственно с вами.

— Здравствуйте, Ирина Александровна! — Своим обращением по имени-отчеству я давал понять, что желал бы вести беседу без «превосходительств» и «высочеств».

Последовала новая краткая пауза, после чего я услышал:

— Я от души рада, господин посол, что вы так назвали меня. Это очень... очень по-русски и удивительно приятно. Надеюсь, и вы ничего не имеете против того, что я буду также обращаться к вам по нашему родному русскому обычаю?

— Нет ничего лучше, Ирина Александровна!

— Спасибо, Николай Васильевич! Я звоню вам в связи с одним практическим вопросом...

Так лед между нами был сломан. Отделавшись от условностей этикета, мы без труда нашли общий язык. Ирина Александровна предложила, чтобы мы встретились у нее в доме, без всяких церемоний, как два частных лица. Ей непременно надо переговорить со мной лично. «Эта беседа нужна мне как воз-

дух» — так патетически выразилась она. Ее предложение встретиться в частной обстановке не противоречило намеченной мною прежде тактической линии, и потому я дал свое согласие.

В условленный день и час я направился к дому, где проживала принцесса Ирина с принцем Петром. Для этого мне не потребовалась машина. Ровно две минуты ходьбы от нашего дома на улице Рефаа — и я уже стоял у ворот их виллы на углу той же улицы Рефаа и улицы Абд Эль-Монейм.

Смуглый слуга, нубиец или суданец, в красной феске и белоснежной галябии, проворно распахнул передо мною калитку и с низким поклоном пригласил в дом. На мраморных ступенях подъезда дежурила горничная в кокетливом кружевном передничке и кружевном чепчике, которая провела меня через анфиладу холлов и гостиных в громадный зал, где, громко доложив обо мне, удалилась.

В дальнем углу зала, так отгороженном выступом стены, диванами и креслами от остального пространства, что здесь образовалась как бы крохотная уютная гостиная, сидела Ирина Александровна. При моем появлении она поднялась и пошла навстречу. У меня было слишком мало времени, чтобы подробно рассмотреть хозяйку дома, но и с одного взгляда становилось понятно, что, воспевая ее необыкновенную внешность, модный эстрадный певец не льстил ей. Конечно, с тех пор протекло немало лет, наложивших на нее свой отпечаток. Но и сейчас она была стройна и изящна; на ее точеной шее горделиво высилась классической красоты голова, увенчанная пышными золотистыми, с медным отливом, волосами; вся ее осанка говорила о том, что она знает цену своему женскому обаянию и привыкла к поклонению мужчин.

С заметной внутренней напряженностью, необычной для дамы из высшего общества, где умение владеть собою считается важнейшим из светских качеств, Ирина Александровна поздоровалась со мною и протянула мне руку так, как ее протягивают для поцелуя. Но я только пожал ее, любезной улыбкой смягчив отступление от этого галантного обычая — должен сознаться, что я никогда его не придерживался. Не показав виду, что ее жест отклонен, Ирина Александровна провела меня в свой уголок и предложила сесть. Теперь я обнаружил, что это не только миниатюрная гостиная, но отчасти и ее рабочий кабинет. Здесь стоял старинный секретер красного дерева, с тонкой перламутровой инкрустацией, уставленный письменными принадлежностями, этажерка с книгами, альбомами и папками и еще нечто из кабинетных аксессуаров.

— Я пригласила вас, чтобы обсудить один серьезный вопрос,— заявила она.— Но сначала я хотела бы выговориться на

личную тему, именно выговориться! Вы позволите, Николай Васильевич?

— Пожалуйста, прошу вас,— предупредительно промолвил я, смутно догадываясь, о чем она хочет «выговориться».

И тотчас же, не очень связно, подчас перебивая себя и повторяясь, Ирина Александровна заговорила на извечную тему о ностальгии. О том, как тоскливо живется русскому человеку вдали от России, о печальной необходимости все время говорить на чужом языке, о том, как неодолимо тянет ее на родину, хотя она и отдает себе отчет в том, что путь туда ей по ряду причин закрыт. Это было как бы предисловие, за которым последовал рассказ о ее недавнем «паломничестве к русской земле» — именно так, без тени шутливости, она и выразилась.

— Вам, наверно, трудно это понять,— страшно волнуясь, говорила она.— Вы только что оттуда, всего каких-нибудь полтора месяца, а я не была там четверть века, нет, даже двадцать шесть лет. Боже мой, это же целая вечность! В Тегеране ваше военное командование любезно разрешило мне проехать к границе. Когда я подъезжала к пограничной заставе, меня всю лихорадило. И вот я на границе, с иранской стороны. Стою, смотрю во все глаза, а слезы из глаз у меня ручьем! Расстроилась так, что слова произнести не могу. Майор, сопровождавший меня, не знал, бедняга, что со мной делать. А потом я взяла себя в руки, набралась храбрости и попросилась на ту сторону — на русскую. Сделаю, мол, два шага по русской земле и обратно. Мне позволили...

Голос у Ирины Александровны внезапно осекся. Она проглотила несколько нервных комков, а потом продолжала:

— Я встала там на колени, поцеловала землю и полила ее своими слезами. Как мне было радостно и горько в одно и то же время! А потом я наскребла руками горстку земли и унесла с собой. Вот она, священная русская земля! — вдруг дрогнувшим голосом воскликнула Ирина Александровна, доставая из-за корсажа черную бархатную ладанку и набожно целуя ее.

И тут она безудержно разрыдалась. Низко склонив голову, прижав ладанку к щеке, она судорожно вздрагивала от рыданий. Испытывая сильнейшую неловкость, смешанную с сочувствием, я оглянулся вокруг в тщетной надежде обнаружить графин с водой, бормотал какие-то успокоительные слова. Должно быть, не из самых действенных, так как Ирина Александровна не переставала рыдать. Так прошло минут десять. Наконец она утихла, носовым платком осушила глаза.

— Простите мою глупую сентиментальность,— сказала она, еще не поднимая головы и тихонько всхлипывая.— Стоит мне коснуться этой темы, и я ничего не могу с собой поделать.

Как счастлив тот русский, кому не надо носить ладанку с родной землей, раз он может в любой момент вернуться на родину и разъезжать по ней из края в край.— Она глубоко вздохнула и добавила: — Когда ладанка со мной, на душе у меня не так кошки скребут.

Постепенно она успокоилась. В соседней комнате зазвонил телефон. На пороге зала показалась горничная с телефонной трубкой на длиннейшем шнуре и вопросительно посмотрела на хозяйку. Та молча отмахнулась, и горничная скрылась.

Последующий разговор происходил уже в ином ключе. Ирина Александровна деловито посвятила меня в свой план создания Египетского фонда помощи гражданскому населению СССР — организации, которая собирала бы денежные средства, закупала медикаменты, одежду и продовольствие и направляла все это в распоряжение соответствующих советских инстанций. Аналогичную кампанию она уже провела в 1943 году в Сирии и Ливане, так что ее проект не выглядел прожектом. Для придания Фонду общественного и финансового веса она намечала привлечь к участию в его деятельности широкий круг лиц — видных государственных и общественных деятелей, финансистов и коммерсантов, как египтян, так и из представителей союзников. По ее мнению, Фонду было необходимо и «покровительство» короля Фарука, в условиях Египта почти обязательное для успеха подобного предприятия. Кое с кем из предполагаемых руководителей Фонда она уже советовалась и добилась от них обещания содействовать; с другими намерена переговорить в ближайшие дни и недели. В благоприятном отношении к ее инициативе со стороны короля Фарука она не сомневалась. У меня создалось даже впечатление, что она уже успела позондировать почву и у него. Если я не ошибался, то это означало, во-первых, что Фонду действительно будет сопутствовать успех, а во-вторых, что придворные круги Египта не упускают сейчас ни одного повода продемонстрировать нам свои «союзнические» чувства. О других попытках этого рода я уже упоминал раньше.

В состав комитета, который будет руководить Фондом, Ирина Александровна предложила войти и мне, если у меня имеется для этого время и желание. Впрочем, добавила она с улыбкой, много времени у меня Фонд не отнимет. Мое участие будет скорее почетным и символическим, чем деловым: вся повседневная работа будет уделом других членов комитета.

Я с большим интересом выслушал этот хорошо продуманный проект. Как и в других подобных начинаниях, существенной материальной помощи от Фонда я не предвидел, но его политическое значение недооценивать не следовало. Он мог стать

новым звеном в цепи различных мероприятий, откуда бы они ни исходили, которые способствовали бы укреплению симпатий египетской общественности к Советскому Союзу. Поэтому с готовностью поддержал проект и согласился войти в состав будущего руководящего комитета и оказать ему полное содействие со стороны посольства.

Расстались мы с Ириной Александровной по-дружески.

Недели две спустя она присутствовала в числе прочих гостей посольства на праздновании XXVI годовщины Красной Армии в Греческом центре. 3 марта я вместе с женой снова был на вилле принца Петра, где он и принцесса Ирина давали в нашу честь завтрак. Там я впервые встретился с принцем, мужчиной 36 лет, в форме офицера греческой армии. Не в пример своему коронованному кузену он оказался очень гостеприимным хозяином и очень простым в обращении, благодаря чему вскоре между нами установились отношения, достаточно свободные от официальности.

Между тем проект создания Египетского фонда шаг за шагом воплощался в жизнь. В конце марта энергичными усилиями Ирины Александровны и тех, кто поддержал ее инициативу, был сформирован многочисленный (из тридцати с лишним человек) руководящий комитет Фонда. Во главе его стоял бывший премьер-министр Шериф Сабри-паша. От правительства в комитет вошел министр финансов Амин Осман-паша — один из лидеров Вафда. Насчитал я в нем немало и приближенных короля — бывшего премьер-министра Хуссейна Сирри-пашу, губернатора Каира Саида Мохаммеда Шахин-пашу и еще нескольких видных сановников.

Однако нельзя сказать, чтобы в комитете преобладали сторонники Фарука,— большинство состояло из представителей деловых кругов и интеллигенции, значительная, если не решающая, часть которых примыкала к Вафду. Пост почетного председателя пресс-бюро, в которое вошли главные редакторы десятка газет и журналов, занял уже упоминавшийся мною писатель Таха Хуссейн. Ирина Александровна формально в комитете не числилась, оставаясь, однако, его главной действующей пружиной. Свое «августейшее покровительство», как это и предполагалось с самого начала, предоставил Фонду король Фарук.

На первых своих заседаниях в апреле комитет наметил программу мероприятий, основную часть которых в связи с приближением летнего «мертвого сезона» отнесли на осень. Кампанию сбора пожертвований было решено начать в мае с демонстрации советского документального фильма «Сталинград». Перед публичной демонстрацией Ирина Александровна устроила у себя на вилле закрытый просмотр для членов комитета,

представителей прессы и других гостей. Подробный отчет об этом «заседании» комитета был опубликован в прессе и послужил первым официальным сообщением, что Египетский фонд приступил к деятельности.

С официальным разъяснением его целей и с призывом к общественности помочь их достижению выступила сама неутомимая организаторша. Сделала она это 28 апреля в своей речи по Каирскому радио. Объективно очертив значение битв на советско-германском фронте, она затем напомнила о громадных жертвах «русского народа, который несет на себе самое тяжелое бремя войны» и о необходимости облегчить это бремя. А в заключение сказала:

«Задача, стоящая перед нами, чрезвычайно велика, и иногда невольно задаешься вопросом, не станут ли собранные нами суммы каплями, которые затеряются в океане нужды? Этот же вопрос вставал передо мною и долго сдерживал меня тогда, когда я намеревалась обратиться с аналогичным призывом в Сирии и Ливане. Но, приняв наконец решение, с какой радостью я обнаружила, что множество людей, и бедных и богатых, с энтузиазмом отвечают на мой призыв. И какой наградой для меня было письмо его святейшества патриарха всея Руси, который подтвердил получение медикаментов, вакцины, одежды и сигарет и уведомил меня, что все посылки уже распределены между отважными солдатами генерала Рокоссовского. Сегодня эти великолепные бойцы знают, что мы, живущие вдали от них, думаем о них с любовью и признательностью. Я уверена, что Египет, великодушный и процветающий, ответит на мой призыв, и заранее от всего сердца благодарю щедрых жертвователей».

Призыв был, несомненно, полезным для предпринятого дела. Но не требовалось особой проницательности, чтобы заметить, что Ирина Александровна воспользовалась им и для выпячивания собственной организаторской роли. Что побудило ее к этому? Желание лишний раз выказать себя ревностной русской патриоткой? Или простое женское тщеславие, заставлявшее ее гнаться за личной популярностью? Пожалуй, и то и другое, решил я. В данном случае, однако, эти чисто личные мотивы делу не вредили, и поэтому я не придал им серьезного значения. Впоследствии я понял, что погоня Ирины Александровны за популярностью могла иметь под собою и иное основание.

Премьеру фильма «Сталинград» наметили на 15 мая. Весь доход от нее предназначался сиротам Сталинграда. Участвуя в приготовлениях к просмотру, посольство направляло дело к тому, чтобы он вылился в демонстрацию советско-египетской дружбы.

На улицах были расклеены красно-зеленые афиши-анонсы

с такими надписями: «Сталинград». Официальный документальный фильм о русской победе под Сталинградом. Битва, которая спасла Россию, Европу и, может быть, весь мир».

В фойе кинотеатра «Опера» зрителям раздавалась — за более или менее щедрые пожертвования — программа-сувенир. Это была прекрасно изданная, многокрасочная брошюра с многочисленными иллюстрациями, взятыми из кадров фильма, с большими портретами героев Сталинграда — Маршала Советского Союза Жукова и маршала артиллерии Воронова, генералов Еременко, Рокоссовского, Чуйкова, Родимцева. В иллюстрациях фигурировал и плененный в Сталинграде немецкий генералитет во главе с фельдмаршалом Паулюсом — последний был показан в сцене его допроса маршалом артиллерии Вороновым и генералом Рокоссовским.

Текст брошюры кратко излагал историю Сталинградской битвы и рассказывал о тяжелейших разрушениях в городе, о бедствиях его гражданского населения. Отсюда естественным был переход к призыву о помощи сталинградским сиротам. Искреннее восхищение ратным подвигом Сталинграда пронизывало заключительные строки первой части брошюры: «Пройдут годы, Сталинград залечит свои раны. Но его слава, дела его защитников, их смелость и мужество навеки сохранятся в памяти народов мира. Столетиями будут вспоминать о ветеранах Сталинграда как о героях русского народа, ибо они своим примером показали, как надо сражаться за свою Советскую Родину, за честь, свободу и независимость своей страны». Тон этой концовки вполне можно считать лейтмотивом всей брошюры.

На обложке программы бросался в глаза портрет короля Фарука в военной форме при всех парадных регалиях. Его усатая физиономия казалась здесь неуместной. Но только на первый взгляд. Ведь даровав Египетскому фонду свое «августейшее покровительство» и изъявив «всемилостивейшую волю» присутствовать на премьере фильма, он тем самым как бы тоже «имел право» приобщиться к славе Сталинграда.

В продолжение всей двухнедельной демонстрации фильма зал кинотеатра был празднично украшен советскими и египетскими государственными флагами. В день премьеры в половине десятого вечера ложи бельэтажа заполнили члены правительства и дипкорпуса, египетская знать, египетские и английские высшие офицеры. Кресла в партере занимала менее знатная и совсем незнатная публика. В одной из лож бельэтажа разместились дипломатические сотрудники нашего посольства и их жены.

Центральная, так называемая «королевская» ложа в начале сеанса пустовала. Фарук собирался приехать ко второму отде-

лению кинопрограммы, то есть на демонстрацию основного фильма. В соседней с королевской ложе разместились члены руководящего комитета Египетского фонда. Там же находился и я, рядом с Ириной Александровной. Премьера проходила в сугубо торжественной обстановке. Перед началом сеанса весь зал стоя прослушал национальный египетский и новый Гимн Советского Союза.

Первое отделение кинопрограммы включало в себя английскую кинохронику и американскую двухактную комедию. Около 10 часов вечера члены руководящего комитета покинули свою ложу и спустились в фойе, где им предстояло встретить короля Фарука.

Прибывший король поздоровался с членами комитета и прошел в свою ложу, когда первая часть кинопрограммы еще продолжалась. По указке невидимого распорядителя в зале вспыхнул свет, и публика, увидев в ложе Фарука, разразилась аплодисментами. Король снисходительно помахал зрителям рукой. На этом проявление верноподданнических чувств оборвалось, и сеанс был продолжен.

В перерыве между первым и вторым отделениями, пока оркестр наигрывал нечто бравурное, король пригласил меня в свою ложу. Поздравив меня с новым успехом Красной Армии, к 12 мая полностью очистившей Крым от захватчиков, он затем неожиданно перешел к Сталинграду.

— Я убежден,— заявил он,— что увижу сегодня на экране много интересного и поразительного. Но никакой фильм не скажет мне ничего более поразительного, чем то, что я уже знаю о вашей сталинградской победе. Разгромить такую армию, как немецкая шестая! Это неслыханно! Даже две армии,— задумчиво прибавил он, вероятно подразумевая кроме 6-й полевой еще и 4-ю танковую, также попавшую в сталинградский «котел».— История еще не ведала подобных триумфов. Я никогда не перестану изумляться искусству ваших полководцев и героизму ваших солдат.

Я поблагодарил Фарука за любезные слова по адресу Красной Армии. А мысленно представил себе, как всего три-четыре года назад он, при его тогдашних профашистских симпатиях и прогерманской внешнеполитической ориентации, должно быть, с таким же восхищением отзывался о той самой 6-й армии, разгром которой теперь приводил его в изумление. Ведь это она под командованием генерала Рейхенау вторглась в мае 1940 года в Бельгию, а вскоре захватила Париж. Ведь это она в апреле 1941 года вторглась в Югославию и Грецию, а потом долгое время топтала советскую землю. Как же перевернули мир победы Красной Армии, если я не впервые выслу-

шиваю льстивые комплименты ей от бывшего поклонника Гитлера.

Возобновившийся сеанс положил конец нашей беседе, четвертой и последней. Кинофильм я смотрел из комитетской ложи.

Величественная эпопея обороны Сталинграда и разгрома фашистских полчищ уже давно оставила неизгладимый след в сознании египтян. Теперь документальный фильм делал их как бы свидетелями этой эпопеи. И нет ничего удивительного в том, что по окончании киносеанса вспыхнули продолжительные аплодисменты и зазвучали приветственные возгласы. Они были обращены к ложе посольства, где находились люди, которые представляли в данный момент могучий Советский Союз и его непобедимые вооруженные силы. Провожали нас аплодисментами и возгласами и тогда, когда мы спускались по ступеням подъезда к своим машинам.

Подводя итоги первого этапа деятельности Египетского фонда, можно без преувеличения утверждать, что это был первый успех — сравнительно скромный по финансовым результатам, но весьма значительный по благоприятному общественно-политическому резонансу. И хотя для достижения этого успеха потрудились многие люди, включая коллектив нашего посольства, нельзя, не совершая несправедливости, умолчать о том, что весомый вклад в него был сделан кипучей энергией Ирины Александровны.

Но, признавая патриотические мотивы ее деятельности, я не закрывал глаза на то, что к ним, очевидно, примешивались и политические расчеты иного порядка. Если русская женщина Ирина Александровна близко принимала к сердцу горести и радости России, то принцессу Греческую не могли не интересовать живейшим образом состояние и перспективы греческих дел. С ними-то и были связаны эти политические расчеты.

Выше уже говорилось, что король Георг имел мало шансов на возвращение в Грецию. Английское правительство, самовольно взявшее на себя обязанность опекуна Греции, учитывало эту ситуацию. Стремясь не допустить прихода к власти в освобожденной стране радикальных демократических сил, оно было не прочь в крайнем случае пожертвовать королем Георгом. На такой «крайний случай» оно располагало «запасными игроками» в лице брата короля принца Павла, сына принца Павла — Константина и двоюродного брата короля — принца Петра. Если бы первые две фигуры почему-либо отпали, на авансцене оказался бы принц Петр.

В отличие от других претендентов он ничем не скомпрометировал свою репутацию. В 1940—1941 годах он воевал против итальянских и немецких оккупантов, в эмиграции служил в гре-

ческих частях на Ближнем Востоке, участвовал в сражении под Эль-Аламейном и в других боевых операциях.

Имелся у него и еще один «козырь» — брак с Ириной Александровной, не только не скрывавшей, но и выставлявшей напоказ свои русские симпатии. Так по меньшей мере это казалось кое-кому из чиновников Форин офис, пребывавших в плену дипломатических методов, корни которых следовало искать еще в XIX веке. Если бы Красная Армия проникла на Балканы прежде западных союзников, что становилось все более и более вероятным, то можно было бы пойти и с этого «козыря». А вдруг и он сыграет какую-нибудь роль в момент, когда освобожденные балканские народы, в том числе и греческий, начнут по своему усмотрению перестраивать судьбы своих стран! Разумеется, расчеты эти строились на песке, но мало ли подобных непрочных «сооружений» зафиксировано в анналах истории?

Так, не обольщаясь иллюзиями и вместе с тем не предаваясь огульному скептицизму, я поддерживал с Ириной Александровной хорошие отношения вплоть до моего отъезда в Сирию. В августе я виделся с нею в Иерусалиме, о чем расскажу в своем месте, а в сентябре снова в Каире — перед тем как уехать в Вашингтон. Тогда я думал, что наши пути разошлись навсегда. Но я ошибался. На мировых перекрестках происходит много непредвиденных встреч.

Летом 1945 года, уже находясь в Вашингтоне, я узнал из газет, что Ирина Александровна неожиданно объявилась в Нью-Йорке. Вскоре она позвонила оттуда мне в посольство. Торопливо расспросив о семье, здоровье и тому подобном, она возбужденным тоном бросила несколько фраз о беспримерных злодеяниях, творимых в Греции английскими войсками, и пообещала рассказать обо всем подробно, если сумеет выбраться в Вашингтон.

Более пространно она говорила на эту же тему и на пресс-конференции в Нью-Йорке, выявившей нечто новое в настроениях моей каирской знакомой. Она резко осудила жестокий произвол английских войск, подвергла суровой критике греческое правительство, призвавшее в страну иностранные войска, и недвусмысленно защищала борющихся греческих патриотов

Читая газетные сообщения о ее радикальных высказываниях, я с недоумением спрашивал себя, чем они вызваны. Переменами ли в ее политических убеждениях за минувший год? Или, может быть, чувством разочарования? Например, из-за того, что Лондон окончательно сделал ставку на короля Георга и тем самым лишил принца Петра и его супругу радужных перспектив. До встречи с Ириной Александровной обо всем этом можно было только гадать.

В новом разговоре с нею по телефону я воздал должное ее решительному поступку. Она поблагодарила меня, но с печальными нотками в голосе. Я пригласил ее в Вашингтон, чтобы обстоятельно побеседовать, но она на следующий день вылетала в Европу. «Обстоятельства складываются так, что я немедленно должна ехать»,— уклончиво сказала она, не объясняя, что это за обстоятельства.

Судя по всему, отъезд Ирины Александровны был связан с ее нашумевшей пресс-конференцией в Нью-Йорке. Американская и европейская буржуазная пресса смаковала ее выступление как первоклассный политический скандал. Ее королевское высочество, член королевской фамилии, резко критикует короля и его правительство — чем не мировая сенсация? Но крикливые отклики прессы были только первым из последствий пресс-конференции; не обошлось дело и без других, скрытых за кулисами греческого королевского двора.

Узнал я о них только летом 1946 года в Париже, куда прибыл для участия в работе мирной конференции. Однажды в перерыве между двумя пленарными заседаниями конференции наш посол во Франции А. Е. Богомолов, также член советской делегации, сказал мне, что в Париже находится какая-то греческая принцесса, выражающая настойчивое желание повидаться со мною. Я сразу же догадался, что это была Ирина Александровна. Нескончаемая череда пленарных и комитетских заседаний, дипломатических приемов, подготовка внутри делегации к заседаниям и многие другие дела не оставляли мне времени для встреч, не связанных с конференцией. Но отказать Ирине Александровне в свидании я по старой памяти не мог и в конце концов уделил ей полчаса.

Встретились мы в здании посольства на улице Гренель. Когда А. Е. Богомолов ввел ее в гостиную, где я наспех просматривал утренние газеты, Ирина Александровна, вместо того чтобы поздороваться со мною, вдруг громко зарыдала. Донельзя удивленный, Богомолов сконфуженно пробормотал какое-то извинение и скрылся за дверью, оставив нас наедине. Должен сознаться, что не менее Богомолова был удивлен и я, хотя при нашем первом свидании в Каире я уже был в сходной ситуации. Кое-как успокоив взволнованную женщину, я подвел ее к креслу и усадил. К счастью, здесь нашелся графин с водой. Большими глотками Ирина Александровна выпила стакан воды, после чего еще какое-то время всхлипывала и вздыхала. А потом поведала мне свою невеселую историю.

Началась она действительно с пресс-конференции в Нью-Йорке. Получив сообщение о ее характере, король Георг пришел в ярость и незамедлительно подписал рескрипт, которым Ири-

на Александровна лишалась звания принцессы королевского дома и пышного титула «Ее Королевское Высочество», что повлекло за собою потерю ряда привилегий и прерогатив. Не довольствуясь этим, король лишил ее права проживать в Греции. Был расторгнут также ее брак с принцем Петром. Таким образом, Ирина Александровна в третий раз сделалась эмигранткой, притом вторично — из Греции.

Украдкой я разглядел собеседницу. Она сидела грустная, осунувшаяся, с предательскими морщинками под глазами, в уголках губ. Так потускнеть — всего за каких-то два года! Облик этой подавленной женщины никак не вязался с запечатлевшимся в моей памяти образом принцессы Ирины, горделивой красавицы, влиятельной политической фигуры. Мне было безотчетно жаль ее.

— Не подумайте, Николай Васильевич,— говорила она, слегка всхлипывая,— что я хотела видеть вас, чтобы выплакать свои горести, как тогда, в Каире. Нет, у меня к вам деловая просьба. Я хочу съездить в Москву, к родным местам. Надеюсь познакомиться с новым патриархом, посетить православные святыни. Но беда в том, что советская виза почему-то недопустимо задержалась. Я не знаю уж, дадут ли мне ее вообще. Умоляю вас, узнайте, в чем дело, посодействуйте, если можете.

Я пообещал выяснить в посольстве причину задержки, но предупредил, что вряд ли смогу повлиять на ход дела, находящегося вне моей компетенции. Все же Ирина Александровна настоятельно просила меня поинтересоваться ее визой.

Мое время истекало. Я торопился на какое-то заседание, опаздывать на которое не полагалось. Наше прощание прошло без всяких осложнений, хотя Ирина Александровна едва удерживалась от того, чтобы снова не всхлипнуть.

Это была наша последняя встреча. В посольстве я узнал, что с его стороны все необходимые формальности выполнены. Только такой неопределенный ответ я и смог сообщить по телефону Ирине Александровне. А через несколько дней я вылетел в Вашингтон, куда меня призывали дела тамошнего нашего посольства и дела, связанные с подготовкой к предстоявшей в октябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ирина Александровна снова исчезла с моего горизонта. И на этот раз навсегда.

6. Дела балканские

До сих пор я рассказывал главным образом о событиях и делах, так или иначе связанных с Египтом. Теперь я хочу остановиться на отношениях с Грецией и Югославией, контакты

с правительствами которых уже в первые месяцы деятельности посольства стали по разным причинам осложняться.

Начну с Югославии.

14 декабря 1943 года Информбюро Наркоминдела опубликовало заявление «О событиях в Югославии», в котором сообщило о преобразовании Антифашистского веча народного освобождения Югославии в верховный законодательный и исполнительный орган и о создании — в качестве временного правительства Югославии — Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ). Далее в заявлении говорилось:

«Эти события в Югославии, встретившие уже сочувственные отклики в Англии и США, рассматриваются Правительством СССР как положительные факты, способствующие дальнейшей успешной борьбе народов Югославии против гитлеровской Германии... С этой же точки зрения в Советском Союзе рассматривается и деятельность четников ген. Михайловича, которая, по имеющимся сведениям, до сих пор не способствовала, а скорее наносила вред делу борьбы югославского народа против немецких оккупантов и потому не могла не встречать отрицательного отношения в СССР». В конце заявления указывалось, что Советское правительство решило направить в Югославию Советскую военную миссию, как это еще раньше сделало Британское правительство.

Такое заявление еще не означало официального признания Национального комитета освобождения в качестве правительства, но было близко к тому, что в международном праве именуется признанием де-факто. Для правительства Пурича оно прозвучало как грозный сигнал. В этих условиях от него требовалась максимальная гибкость в политике, чтобы не оказаться за бортом истории. Однако Пурич предпочел закрыть глаза на действительность и гоняться за политическими химерами, которые ничего, кроме конфуза, ему не дали.

О первом таком конфузе поведал миру корреспондент ТАСС в своем сообщении из Каира от 3 февраля 1944 года, опубликованном в советской печати под выразительным заголовком «Несвоевременное предложение о советско-югославском договоре». Ввиду его важности приведу его целиком:

«Здесь имеются сведения, что в середине декабря минувшего года глава югославского правительства в Каире г. Пурич обратился к правительству Советского Союза с предложением заключить пакт о взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве по образцу советско-чехословацкого договора.

Предложение г. Пурича не могло не вызвать недоумения в советских кругах, если учесть сложившуюся в Югославии

ситуацию, профашистскую роль генерала Михайловича, до сих пор считающегося югославским военным министром, и его борьбу против народно-освободительной армии маршала Тито, а также образование Национального Комитета Освобождения Югославии, поддерживаемого широкими народными массами Югославии.

Советское правительство ответило, что оно не может принять предложение г. Пурича ввиду неясности положения в Югославии, отклонив, таким образом, это предложение».

Это жестокое фиаско попытки поднять престиж правительства путем заключения договора с Советским Союзом не образумило Пурича. Учитывая, что одним из главных препятствий в отношениях с Советским правительством является одиозная фигура генерала Михайловича, он предпринял обходный маневр с целью выгородить своего ставленника. Слово о провале этого маневра опять предоставляю корреспонденту ТАСС. В своем сообщении от 6 февраля под заголовком «Неуклюжие попытки реабилитации генерала Михайловича» он писал:

«На днях глава пребывающего в Каире югославского правительства г. Пурич вручил аккредитованному при этом правительстве советскому послу письмо, очевидно заслуживающее, по мнению г. Пурича, особого внимания. По заявлению г. Пурича, указанное письмо исходит от группы советских военнопленных, бежавших из германских лагерей и попавших в отряды четников ген. Михайловича, занимающего пост военного министра в кабинете г. Пурича. Авторы письма вопреки общеизвестным фактам о борьбе ген. Михайловича против югославских партизан и о его связях с недичевцами и немцами, а также вопреки его профашистским тенденциям будто бы чрезвычайно лестно отзываются о нем и именуют его «вождем сербского народа». В то же время авторы письма резко нападают на главу Народно-освободительной армии Югославии маршала Тито в выражениях, фальшь которых бросается в глаза.

Примитивность содержания письма вскрывает всю неуклюжесть подобных попыток реабилитации ген. Михайловича.

Это письмо было возвращено советским послом г. Пуричу с указанием на явную неправдоподобность содержащихся в нем утверждений».

Возврат премьер-министру письма, да еще с указанием на его вздорность, был своего рода дипломатическим ЧП. Оно сразу же отразилось на наших взаимоотношениях с югославским МИД. Если с самого начала они были прохладными, то теперь стали холодными. Раздраженный нашей акцией, Пурич демонстративно не явился на празднование XXVI годовщины Красной Армии, что было замечено не только нами, но и ино-

странными наблюдателями. Своим бестактным жестом Пурич лишь доказал, что он не в состоянии извлечь урока из своих провалов и пойти в ногу со временем.

А события между тем все более подрывали и без того шаткий авторитет его правительства. В феврале в югославских воинских частях, расквартированных в Каире и других пунктах, произошли волнения из-за отказа Пурича разрешить солдатам и офицерам выехать в Югославию, чтобы вступить там в ряды Народно-освободительной армии. Волнения удалось подавить, но антиправительственные настроения в югославских частях от этого не ослабли. Падал престиж правительства и в результате начавшегося перехода официальных лиц на сторону Национального комитета. Так, например, 10 марта югославский посол в Москве Станое Симич и военный атташе посольства подполковник Лозич заявили в послании к маршалу Тито, что порывают с антинародным эмигрантским правительством и отдают себя в распоряжение Национального комитета. Об этом же в апреле заявил и председатель Югославского антифашистского комитета в Каире М. Мартинович.

23 февраля на освобожденную территорию Югославии прибыла Советская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом Корнеевым, а в начале апреля через Каир проследовала военная миссия Национального комитета освобождения, о чем я уже писал. 19 мая в Москве ее руководителей принял И. В. Сталин, что с новой силой подчеркнуло то большое значение, какое Советский Союз придавал Народно-освободительной армии и Национальному комитету и их патриотической борьбе.

Дальнейшее пребывание Божидара Пурича на посту премьер-министра грозило королю Петру (который в апреле снова перебрался в Лондон) полной политической изоляцией. Встревоженный Форин офис поставил перед ним вопрос о реорганизации кабинета, запросив также на этот счет мнение Советского правительства. 22 апреля Советское правительство ответило, что «изменения в Югославском правительстве, если они не будут пользоваться поддержкой маршала Тито и Народно-освободительной армии Югославии, вряд ли могут принести какую-нибудь пользу. Следовало бы добиться по этому вопросу соглашения с маршалом Тито, у которого действительно имеются реальные силы в Югославии».

Именно в этом направлении развивались дальнейшие события, предопределившие падение кабинета Пурича. В тот самый день, когда представители Народно-освободительной армии вошли в кремлевские ворота, обанкротившийся премьер подал в отставку и исчез с политической авансцены.

Охладились до очень низкой температуры и наши отношения с греческим правительством — также вследствие его антинародной политики.

Давние стремления греческих патриотов, как в самой Греции, так и за рубежом, объединить усилия всех организаций Сопротивления приобретали все большую популярность. Укрепились они и в греческих вооруженных силах, дислоцированных в Египте и других странах Ближнего Востока. В этих частях сторонники Национально-освободительного фронта (ЭАМ) создали так называемый Общевойсковой комитет, который в марте 1944 года выдвинул энергичное требование реорганизовать кабинет Цудероса, с тем чтобы включить в него представителей Политического комитета национального освобождения, образованного 10 марта ЭАМ и действовавшего на освобожденной территории Греции в качестве временного правительства.

Однако преобладавшие в эмигрантском правительстве крайние реакционные элементы категорически возражали против сотрудничества с ЭАМ, чья радикально-демократическая программа приводила их в содрогание. Тогда Общевойсковой комитет объявил, что военные части не будут больше подчиняться правительству, отвергающему идею национального единства перед лицом общего врага. В начале апреля мятежные настроения в войсках достигли зенита.

Греческие военные власти не замедлили принять драконовские меры против непокорных частей, состоявших по преимуществу из военных моряков и морской пехоты. Расправа над ними чинилась в Египте и в Ливане, но эпицентром кровавых апрельских событий явилось местечко Эль-Амирия вблизи Александрии. Расположенный там греческий военный городок был осажден частями, сохранившими верность правительству. Осажденным предложили сложить оружие, а когда они не приняли ультиматума, против них начались настоящие военные действия. Несколько дней шли бои, в ходе которых правительственные части применили — с благословения английского командования — артиллерию. В конце концов сторонники ЭАМ были разгромлены, более тысячи из них заключены в концлагерь, а многие преданы военно-полевому суду. В полном составе был арестован Общевойсковой комитет.

Эта кровавая расправа над греческими патриотами вызвала немалый переполох как в греческих реакционных кругах, так и у их английских покровителей. В результате возникшего на этой почве правительственного кризиса 3 апреля кабинет Цудероса подал в отставку.

С болью в сердце следили мы за трагическими событиями в Эль-Амирии, глубоко сочувствовали мужественным патрио-

там, бросившим вызов реакции, осуждали беспощадный произвол греческих властей. Но осуждали молча. В отличие от правительства Пурича греческое правительство не давало нам в тот момент повода официально выразить нашу позицию, скажем, в виде дипломатического представления греческому МИД.

Правда, у нас еще оставалась косвенная возможность проявить свое неодобрение, и мы ею воспользовались. Когда новым премьер-министром был назначен Софоклис Венизелос, особенно отличившийся в качестве министра военно-морского флота своими репрессиями против греческих патриотов, наше посольство фактически отказалось от контакта с его кабинетом, как и с последующим кабинетом.

Однако, демонстрируя таким способом неодобрение реакционной политики греческого правительства, мы не тешили себя иллюзиями насчет того, что наша позиция сможет серьезно повлиять на поворот греческих дел к лучшему. Греческая ситуация основательно отличалась от югославской и предвещала для Греции иной финал, чем в Югославии. Дальнейшие события, к сожалению, подтвердили это.

Здесь я на короткое время отвлекусь от дел дипломатического порядка, чтобы бегло очертить многозначительные военные события лета 1944 года.

6 июня армии западных союзников высадили первые десанты в Нормандии. В этот день под вечер я с энтузиазмом записал у себя в дневнике:

«Наконец-то долгожданный второй фронт открылся. Скепсис, пессимизм, уныние в стане союзников — все это уступает дорогу бодрому и трезвому оптимизму, без которого невозможна никакая победа. Теперь дело за тем, чтобы вчерашние скептики и пессимисты, столь затянувшие открытие второго фронта, не начали бы вставлять вновь палки в колеса и тормозить темп развития событий. Я глубоко убежден, что, если сконцентрированные союзниками силы и средства будут использованы умело и эффективно, все «атлантические валы» окажутся ничтожными препятствиями».

Коснулся я в этой записи и положения на советско-германском фронте:

«Надо полагать, что и на нашем фронте затишье долго не протянется. Еще не раз мир будет с изумлением читать сводки с нашего фронта. Мне, по должности представителя Советского Союза, приходится повсюду выслушивать столько неумеренных восторгов по поводу наших побед, что иногда невольно рассматриваешь эти восторги как банальные светские любезности.

Но это, конечно, не так или по меньшей мере далеко не во всех случаях».

Мое предположение о скором конце затишья на нашем фронте подтвердилось. 10 июля я сделал в дневнике такую запись:

«Месяц с лишним не писал, и если б пожелал перечислить военные события, которые за это время произошли, то, пожалуй, не хватило бы всей тетради.

Основные события, однако, происходят не на Западе, где союзники только вчера взяли Кан — первый мало-мальски значительный пункт после Шербура. Гораздо важнее то, что делается у нас.

За это время почти полностью очищен Карельский перешеек, что увенчано взятием Выборга; освобождена почти вся Карело-Финская Республика вместе с столицей — Петрозаводском; освобождена большая часть Белоруссии, включая столицу — Минск; началось освобождение Литвы, причем в течение двух дней бои идут уже на улицах ее столицы — Вильнюса; советские войска двигались в направлении Двинска, освобождая Латвию; Красная Армия вблизи польско-советской границы и — что еще важнее — вблизи германской территории, которой она угрожает с нескольких направлений одновременно. Германские армии в Прибалтике могут попасть в железное кольцо советских войск. На фронте между Ковелем и Черным морем пока царит затишье. Когда начнется движение и на этих участках фронта, дело примет еще более благоприятный оборот».

Не исключено, что в этих данных найдутся кое-какие фактические погрешности и неточности в оценках. Ведь это не официальная сводка Генштаба, а просто запись в дневнике человека, насквозь штатского, чей интерес к военным событиям диктовался только чувствами советского патриота. К тому же делал я ее в большой спешке, можно сказать, сидя на дорожном чемодане.

Через час мне предстояло ночным поездом отправиться в путь, который привел меня в Сирию.

7. Миссия в Сирию

В один из адски жарких дней, 15 июня, когда все помыслы обуглившихся от зноя каирцев обращаются если не к благодатным александрийским пляжам, то к прохладной ванне или душу, в посольство заявился респектабельного вида приезжий из Сирии. Принятый советником Д. С. Солодом, он представился ему как Наим Антаки, депутат сирийского парламента от Дамаска, бывший министр иностранных дел Сирии. Н. Антаки довери-

тельно сообщил, что в Каир прибыл с секретным поручением от сирийского правительства и говорить о нем может только с послом.

Я принял Наима Антаки. Представившись мне так же, как и советнику, он передал рекомендательное письмо сирийского министра иностранных дел Джемиля Мардам-бея, в котором тот уведомлял меня, что Наим Антаки облечен полным доверием правительства и уполномочен сделать от имени последнего важное конфиденциальное предложение.

Это предложение, переданное мне устно, было в самом деле важным. Сирийское правительство намеревалось установить дипломатические отношения с Советским Союзом, с каковой целью хотело провести предварительные переговоры. Удобным местом для переговоров оно считало Дамаск, где ответственному советскому представителю будет оказано подобающее гостеприимство и обеспечен дипломатический иммунитет. Выражая надежду на согласие Советского правительства вести переговоры, сирийское правительство вместе с тем просило считать его инициативу конфиденциальной. Аналогичная просьба касалась и поездки советского представителя в Дамаск, разумеется только до завершения переговоров. Дождаться ответа из Москвы Наим Антаки хотел в Каире, где часто вел какие-то коммерческие операции и где, следовательно, его присутствие не давало повода для нежелательных догадок.

Меня не очень удивили меры предосторожности со стороны Джемиля Мардам-бея.

До войны Сирия, как и Ливан, являлась подмандатной территорией Франции, иначе говоря, слегка завуалированной колонией. Формально они обладали национальной автономией, имели свои парламенты и правительства, но вся полнота власти в обеих странах принадлежала французскому Верховному комиссару.

После поражения Франции в 1940 году в Сирии и Ливане некоторое время формально сохранялась власть вишистского коллаборационистского правительства. Однако фактически верховодила там германо-итальянская контрольная комиссия. Захват Германией Греции, в том числе Крита и островов Эгейского моря в непосредственном соседстве с Сирией и Ливаном, ненадежно защищенными остатками вейгановской армии, побудил Лондон к решительным действиям. В июне 1941 года английские войска при содействии частей «Свободной Франции» разгромили вишистские вооруженные силы и оккупировали Сирию и Ливан. Возник как бы период междуцарствия, когда французский мандат практически потерял силу, и у народов Сирии и Ливана появилась перспектива достижения независимости.

Но пока это была только перспектива. Положение правительств этих стран было очень непрочным. Даже после того, как осенью 1941 года Сирия и Ливан были провозглашены суверенными республиками, реальные бразды правления в обеих странах держал в своих руках командующий британскими оккупационными войсками, власть которого пытался оспаривать представитель де Голля. В городах Сирии и Ливана стояли гарнизоны бывшей армии Вейгана, наскоро перекрашенные в войска «Свободной Франции» и продолжавшие оставаться угрозой для независимости этих стран.

В данных условиях признание Советским Союзом Сирии в качестве суверенного государства явилось бы солидной поддержкой ее народа в его борьбе за подлинную независимость. Но преждевременное разглашение факта ведущихся переговоров о признании позволило бы недругам молодого государства помешать их успешному завершению. Отсюда и упор сирийского правительства на конфиденциальность. Правда, такой факт можно было скрыть лишь на короткое время, да и то не от всех. Для английских властей, например, чья разведывательная агентура наводняла столицы стран Ближнего Востока, он был бы, конечно, секретом полишинеля. Деголлевская осведомительная служба на Ближнем Востоке стояла на более низком уровне, и попытка на время укрыться от нее могла удаться. Вероятно, именно французских властей в первую очередь и опасалось сирийское правительство. Я спросил Наима Антаки, так ли это? Он не стал отрицать, что это в настоящий момент Сирию больше всего и беспокоит.

— Но я полагаю,— с искательной улыбкой добавил он,— что у моего друга Мардам-бея есть и другая веская причина, заставляющая его прибегать к конспирации. Буду с вами вполне откровенен. У нас нет никакой гарантии, что Советское правительство воспримет нашу инициативу положительно, хотя сам я полон оптимизма. И в случае, если произойдет осечка и она сделается достоянием гласности, престиж правительства будет подорван. Естественно, что премьер желал бы избежать такого исхода.

Я сказал, что, выражая пока лишь свою личную точку зрения, не вижу повода для подобных опасений. На мой взгляд, дружественная инициатива сирийского правительства встретит самое благоприятное отношение со стороны Советского правительства. Я заверил Наима Антаки, что незамедлительно свяжусь с Москвой и об ответе уведомлю его.

В тот же день я информировал Наркоминдел о сделанном предложении и высказался за то, чтобы принять его. Ответ наркома пришел через два дня. В. М. Молотов уполномочивал

меня передать Н. Антаки, что Советское правительство в принципе готово установить дипломатические отношения с Сирией, дает свое согласие на переговоры в Дамаске и поручает вести их мне.

Приглашенный в посольство Наим Антаки с радостью выслушал от меня ответ Москвы и сказал, что сразу же выедет в Дамаск для согласования с Мардам-беем срока и других деталей моей поездки. 7 июля он снова объявился в Каире с известием, что в Дамаске меня ждут в один из ближайших дней, если для меня это удобно. Мы договорились, что я выеду в понедельник 10 июля.

Субботний вечер и воскресенье я провел в кругу семьи на александрийской даче посольства.

В понедельник утром я выехал в Каир, весь день занимался в посольстве текущими делами, давал наставления Д. С. Солоду, которого оставлял на время своего отсутствия поверенным в делах, а вечером сел в поезд, идущий до Хайфы, в Палестине. В Хайфе меня должен был встретить Наим Антаки и на машине доставить в Дамаск.

Меня сопровождали недавно прибывший из Москвы первый секретарь посольства Павел Матвеевич Днепров и атташе Георгий Семенович Матвеев. Днепров сносно говорил по-французски и мог быть полезен в повседневных сношениях с сирийским МИД, а также в ведении дипломатической переписки. Матвеев был необходим для поддержания шифрованной связи с Москвой. Весь его «шифровальный отдел» умещался в кожаном портфеле, с которым он не расставался ни на минуту. И это в течение сорока суток нашей непредвиденно затянувшейся миссии!

С «конспирацией» дело обстояло так. Сотрудникам посольства я дал наказ отвечать всем, кто будет спрашивать обо мне, что я в отъезде, не вдаваясь ни в какие подробности. Это касалось членов дипкорпуса, журналистов и каирских знакомых. Но статс-секретарю египетского МИД Салахэддин-бею я по телефону сообщил, что еду на несколько дней в Сирию, не разъясняя, конечно, цели поездки. Дипломатический представитель не может покинуть страну тайком, словно какой-нибудь контрабандист. Знало о моей поездке и английское посольство: ведь это через него я получал разрешение английских военных властей на проезд через Палестину. Таким образом, «конспиративной» для этих инстанций была лишь цель моей миссии — в том ограниченном смысле, о котором сказано выше. Но любопытно, что ни одна из этих осведомленных инстанций не проронила о моей поездке и слова падкой на подобные новости прессе. В результате опубликованное впоследствии официальное ком-

мюнике о переговорах в Дамаске оказалось для нее абсолютной неожиданностью.

Утром следующего дня мы приехали в Хайфу — одну из баз британского флота в Восточном Средиземноморье. До войны порт играл значительную роль и во внешней торговле Палестины. Сейчас мирная коммерция замерла. Это тотчас становилось ясным даже при поверхностном взгляде на портовые причалы, где торговые суда насчитывались единицами, притом, видимо, и они использовались для военных перевозок.

Едва поезд застыл у перрона, как в купе у нас очутился приветливо улыбающийся Наим Антаки. Наши вещи были доставлены на привокзальную площадь и погружены в багажник потрепанного шестиместного лимузина. Меня сильно подмывало проехаться по всей Хайфе, но дело призывало нас в Дамаск. Все же краешком глаза мы город увидели — сначала по дороге в ресторан, где скромно позавтракали, а потом выбираясь на шоссе, ведущее к сирийской границе.

В погранпункте в долине реки Иордан всю заботу о формальностях взял на себя наш высокопоставленный гид. Он разделался с ними еще до того, как я и мои спутники, выйдя из машины, успели размять затекшие в пути ноги.

До Дамаска еще предстояло проехать 90 километров.

Часов в пять вечера наш лимузин подкатил к отелю «Омейяды», вполне современному и комфортабельному. Тут Наим Антаки простился с нами, сдав нас с рук на руки представителю Протокольного отдела МИД, молодому человеку по имени Хуссейн Марраш. Тот отвел нас, минуя портье, в забронированные для нас номера, смущенно извиняясь за то, что нам не воздаются почести, полагающиеся посланцам иностранного правительства.

Мы заняли два номера из трех, забронированных для нас. В одном поселились вместе Днепров и Матвеев — ради пущей безопасности «шифровального отдела», другой, двухкомнатный, занял я: он должен был служить мне и жильем, и рабочим кабинетом. Хуссейн Марраш пожелал нам приятно отдохнуть, сообщил, что утром мне предстоит встреча с Джемилем Мардам-беем, и откланялся. После его ухода мы старательно смыли с себя слой дорожной пыли, переоделись и втроем пообедали у меня в номере.

Вечером нас, естественно, тянуло прогуляться по знаменитому древнему городу, но мы помнили о просьбе Марраша не делать этого во имя соблюдения инкогнито. Поэтому мы довольствовались тем, что полюбовались тускло освещенной центральной частью города из окна отеля, расположенного вблизи площади Мучеников. Названа она была так в честь сирийских

патриотов, которые во время первой мировой войны подняли восстание против турецкого владычества, за что и были казнены на этой площади турками.

Утром 12 июля я просмотрел местные и бейрутские газеты (на французском языке) и не нашел в них ни строчки о нашем приезде — ни в политических репортажах, ни в разделе светской хроники. Заботы правительства о конспирации увенчались успехом.

Моя встреча с Джемилем Мардам-беем произошла не в МИД, как я ожидал, а в каком-то солидном особняке европейской архитектуры. Я так и не узнал, был ли этот особняк обитаем или служил для каких-нибудь иных целей, например для протокольных приемов. Во всяком случае, я видел там только привратника, открывшего мне и Хуссейну Маррашу массивную входную дверь, и Джемиля Мардам-бея, дожидавшегося меня в гостиной.

Сирийскому министру иностранных дел было уже за пятьдесят, но выглядел он очень моложаво. После взаимных приветствий и любезных расспросов Мардам-бея о том, как прошло наше путешествие и хорошо ли мы устроены в отеле, Хуссейн Марраш оставил нас наедине. Начался деловой разговор.

По просьбе министра я разъяснил ему положительную позицию Советского правительства по вопросу об установлении дипломатических отношений между СССР и Сирией. При этом я особо подчеркнул, что отношения устанавливаются на общепринятой международно-правовой основе, с признанием полного равенства обеих сторон. Сделал я это, казалось бы, само собою разумеющееся разъяснение для того, чтобы устранить возможные опасения Мардам-бея. Ведь я не исключал, что ему и его коллегам по кабинету министров, не раз испытавшим на собственной шкуре все коварство политики «великих» империалистических держав, было свойственно некоторое недоверие и к новому для Сирии международному партнеру, к Советскому Союзу, чья политика, как известно, слишком часто искажается враждебными нам кругами.

Когда я высказался, министр заявил, что согласие Советского правительства — это очень значительный фактор независимого существования Сирии, что уже первоначальное сообщение Наима Антаки вызвало огромное воодушевление у ее руководителей. Дело теперь за официальным оформлением отношений между двумя нашими странами.

— Вот мое письмо на имя господина Молотова,— сказал он.— Прошу вас ознакомиться с ним и высказать свое мнение.

Я внимательно прочел документ, составленный на французском языке. В переводе на русский он выглядел так (цитирую не полностью):

«Движимая своим восхищением перед советским народом, усилия и успехи которого в великой борьбе демократий против духа завоеваний и господства дают основу для законных надежд на будущую свободу и равенство для всех больших и малых наций, ободренная, с другой стороны, иностранной политикой Союза Советских Социалистических Республик, который с начала своего существования провозгласил упразднение всех привилегий, капитуляций и других преимуществ, которыми пользовалась царская Россия и несовместимость которых с равенством наций признало Советское Правительство, Сирия, которая только что после долгих усилий и громадных жертв увидела торжественное признание своего международного существования в качестве независимого и суверенного государства... была бы счастлива поддерживать в этом качестве с Союзом Советских Социалистических Республик дружественные дипломатические отношения...» В заключение Мардам-бей просил согласия Советского правительства на обмен дипломатическими представителями в ранге посланников.

Прочтя письмо, я сказал, что оно вполне отвечает основной цели переговоров и очень импонирует мне духом дружелюбия, пронизывающим его от первой до последней строки. Я высказал убеждение, что Советское правительство рассмотрит его с максимальной благожелательностью и не замедлит с положительным ответом.

В дальнейшей беседе мы коснулись ряда актуальных проблем того периода, в центре которых была ситуация на военных фронтах Европы и положение на Ближнем Востоке. Напоследок министр сказал:

— Я понимаю, господин посол, что ожидание ответа из Москвы потребует некоторого времени. Может быть, нескольких дней. Поэтому,— продолжал он с доброжелательной улыбкой,— я приглашаю вас и ваших спутников как гостей правительства переселиться из душного Дамаска в Блудан. Это наш горный курорт, всего в шестидесяти километрах отсюда. Там вы будете пользоваться максимальным комфортом, а горный воздух пойдет вам на пользу. Кстати,— он лукаво подмигнул мне,— там вы будете вне досягаемости нашей пронырливой прессы.

Мне не очень хотелось уезжать из Дамаска, не познакомившись с сирийской столицей. Однако хитроумное гостеприимство Мардам-бея отлично укладывалось в рамки договоренности о конспирации, и возразить тут было нечего. Оставалось лишь поблагодарить его за заботливость и согласиться на пере-

езд в Блудан во второй половине дня, когда схлынет жара.

Хуссейн Марраш, как бы ставший моей второй тенью на весь период пребывания в Сирии, проводил меня обратно в отель. Когда я сообщил своим спутникам новость о перебазировании на горный курорт, они не скрыли своей радости. Июльский зной в Дамаске, пожалуй, ни в чем не уступал каирскому, и перспектива провести несколько дней в горах таила в себе немало привлекательного. Разумеется, и для меня, в чем я к этому времени сумел себя убедить.

В номере я внимательно перечитал письмо. По своему содержанию и духу оно действительно отвечало цели переговоров, как я заявил Мардам-бею. Но сверх того — и это было весьма характерным для письма,— упоминая в отдельных формулировках о равноправных отношениях, об отказе Советского Союза от привилегий царской России и т. д., сирийское правительство как бы приглашало Советское правительство в своем ответе еще раз официально декларировать общеизвестные принципы советской внешней политики. Это, конечно, была некоторая перестраховка, на мой взгляд совершенно излишняя. Но окончательное решение о содержании нашего ответа было за Москвой.

Я перевел письмо на русский, написал сообщение о беседе с Мардам-беем и отдал все это в наш «шифровальный отдел» для отправки в НКИД.

Под вечер мы двинулись в новый вояж, на сей раз короткий. Маршрут в Блудан вел поначалу по автостраде Дамаск — Бейрут, идущей вдоль многоводной и бурной Барады, главному источнику орошения дамасского оазиса. Автострада покорно следовала всем ее извивам в ущелье между горными хребтами Хермон и Антиливан. На пятнадцатом километре мы покинули автостраду и начали подъем по южному склону Антиливана. Новая дорога была не первоклассная, но вполне сносная. Хуссейн Марраш называл встречные деревни и курортные местечки, рассказывал, чем они славятся.

В верхней части долины проехали через городок Зебдани, административный центр района. А 10 минут спустя наша машина застопорила у подъезда импозантного «Гранд-отеля».

Отель на 150 номеров выглядел почти безлюдным. Сирийские помещики и коммерсанты, переполнявшие его осенью и весной, сейчас предпочитали ливанские пляжи. Кроме нас в «Гранд-отеле» жило всего несколько десятков человек, очевидно из числа тех, кто нуждался в лечении. Наша группа держалась от них в стороне, никаких знакомств не заводила, а от непрошеных знакомств бдительно оберегал Хуссейн Марраш. Только в одном случае он отступил от своего железного правила, пред-

ставив нам депутата парламента Ахмеда Шарабати и его жену. Супруги Шарабати жили не в отеле, а в соседнем поселке, где владели усадьбой. Исключение, сделанное для Шарабати, заставило меня предположить, что он также был «прикомандирован» к нашей группе предусмотрительным Мардам-беем — как Хуссейн Марраш и голубая автомашина с водителем.

В первые дни мы смотрели на свое пребывание в Блудане как на неожиданный кратковременный отпуск для отдыха от нелегкого семимесячного труда в Каире. Матвеев чуть ли не безвылазно сидел у себя в номере, а мы с Днепровым вместе с Хуссейном Маррашем совершали в автомашине экскурсии по окрестностям, поклоняясь греко-римским древностям или наблюдая жизнь современной сирийской деревни. Когда ближние окрестности были обследованы — в дальние экскурсии мы, в ожидании сигнала из Дамаска, не пускались,— я зачастил на теннисную площадку при отеле. В Каире у меня для тенниса недоставало досуга, хотя корты английского «Спортинг-клуба» на Гезире, членом которого я числился, виднелись из окон посольства. Теперь я решил наверстать упущенные возможности. Спутники мои в теннис не играли, но, на мое счастье, рядом был Хуссейн Марраш, отличный партнер, всегда готовый составить мне компанию.

В субботу 15 июля около полудня в Блудан пожаловал Джемиль Мардам-бей. О его приезде меня еще с утра предупредил наш заботливый опекун Хуссейн, сообщивший, что министр хочет представить меня президенту республики Шукри Куатли-бею, на что я с признательностью согласился.

Президент жил по соседству с нами, в собственном поместье в долине Зебдани. Его резиденция мало походила на дворец главы государства. Это была заурядная помещичья усадьба, ничем не отличавшаяся от других, виденных мною в окрестностях Блудана. Парадные комнаты дома, обставленные наполовину в европейском, наполовину в арабском стиле, говорили скорее о благосостоянии хозяина, чем о богатстве.

Президент Сирийской Республики и лидер правящего Национального блока был уже пожилым, болезненного вида человеком. От меня не укрылось, что в продолжение всего моего визита он с трудом превозмогал физическую слабость, а может быть, и острую боль.

Принял он меня чрезвычайно приветливо, но без всякой помпы, в присутствии одного лишь Мардам-бея — конспирация действовала неукоснительно. Я догадывался, что, приглашая советского представителя на прием, президент руководствовался не протоколом, а желанием путем личного контакта удостовериться в надежности шага, предпринятого сирийским

правительством. Характер нашей беседы после завтрака еще более утвердил меня в этой догадке. Фактически здесь, в этой помещичьей усадьбе, проходил второй тур переговоров, начатых 12 июля в Дамаске.

Оценив в самых лестных выражениях дружественный жест Советского правительства, давшего согласие на установление дипломатических отношений с Сирией, и одобрительно отозвавшись о моей встрече с министром иностранных дел, Шукри Куатли-бей продолжал:

— Меня крайне интересует одно обстоятельство, которое для вас, наверно, выглядит анахронизмом, но для нас, сирийцев, нисколько не потеряло актуальности. Я подразумеваю капитуляции и другие специальные привилегии, какими пользовались в странах Востока великие державы, включая и царскую Россию. Я хорошо знаю, что Советская Россия с самого момента своего рождения торжественно отказалась от них. Однако я был бы очень рад услышать от вас, что и теперь, спустя почти три десятка лет, этот принцип остается в силе.

Итак, снова опасения насчет неравноправности. Выходит, что при встрече с Джемилем Мардам-беем я не убедил его до конца. А если убедил, то, стало быть, в головах у других сирийских руководителей они еще гнездились.

Как и в беседе с Мардам-беем, я изложил ленинские принципы советской внешней политики, наиболее обстоятельно остановившись на политике в отношении стран Востока. Я напомнил о заключенных после Октябрьской революции равноправных договорах с Афганистаном, Турцией, Ираном, Монголией и Китаем — договорах, в которых эти принципы воплощены. Если для подтверждения их действенности в настоящее время требовались более свежие факты, то этой цели отлично отвечал, например, недавний факт установления дипломатических отношений с Египтом. На абсолютно равноправной основе, не преминул я еще раз подчеркнуть. Президент поблагодарил меня за разъяснения и больше этой темы не касался.

На прощание президент и министр выразили надежду, что в ближайшее время отношения между нашими странами вступят в новую фазу. Я разделил эту надежду, хотя, не скрою, меня уже начала беспокоить задержка с ответом Наркоминдела.

Наше «великое сидение» в Блудане продолжалось.

Во второй половине дня 18 июля горный курорт Блудан вновь посетил Джемиль Мардам-бей и пригласил меня к себе в номер. Там он был не один. Рядом с ним на диване сидел незнакомый мне мужчина, лет под пятьдесят, в роговых очках,

с намечающейся надо лбом лысиной. Мардам-бей подготовил мне крупный сюрприз, представив незнакомца как министра иностранных дел Ливанской Республики Селима Таклу. (В Ливане, в отличие от Сирии и Египта, титул «бея» для знатных персон не употреблялся.)

Селим Такла без околичностей открыл мне цель своей встречи со мной. Ливанское правительство, сообщил он, информировано о переговорах сирийского правительства с Советским Союзом, с сочувствием и заинтересованностью следит за их ходом и со своей стороны также намерено предложить Советскому Союзу установить с ним дипломатические отношения.

— Я буду вам крайне признателен,— заключил свою краткую речь Селим Такла,— если вы запросите на этот счет мнение Советского правительства. В случае его согласия я уполномочен официально пригласить вас для переговоров в Ливан, как только ваши дела в Сирии позволят вам это.

Я ответил, что горячо приветствую дружественные намерения ливанского правительства и что немедленно запрошу Москву. В согласии Советского правительства у меня нет сомнений, добавил я, но от заверений о возможности скорого ответа из Москвы на этот раз воздержался.

Визит министров был недолог. Мардам-бей торопился в Дамаск, Селим Такла — в Бейрут. А я направился к своим спутникам, чтобы подготовить сообщение в Москву о предложении ливанского правительства. Затем мы вернулись к своему обычному, набившему оскомину времяпрепровождению.

Наконец вечером 23 июля пришла телеграмма В. М. Молотова для передачи Джемилю Мардам-бею. Если среди сирийских руководителей кое-кто действительно рассчитывал на широковещательные декларации по вопросам, давно решенным жизнью, то их расчеты не оправдались. Телеграмма была дружелюбной, по-деловому краткой и вместе с тем исчерпывающе ясной. Приведу ее целиком:

«Правительство Союза Советских Социалистических Республик высоко оценивает чувства, выраженные Вами в отношении великой борьбы советского народа против гитлеровской Германии и ее сообщников.

Советское Правительство с удовлетворением принимает предложение Сирийского Правительства об установлении дружественных дипломатических отношений между СССР и Сирией. Советское Правительство готово в возможно короткий срок аккредитовать Чрезвычайного и Полномочного Посланника СССР при президенте Сирийской Республики и принять

Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Сирии, который будет аккредитован при Президиуме Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик».

Ознакомившись с телеграммой, я попросил Хуссейна немедленно известить министра иностранных дел о том, что ответ из Москвы получен, что он, как и следовало ожидать, вполне благоприятен и что завтра утром я могу его вручить министру лично.

Утром 24 июля вся наша группа прибыла в Дамаск. Не заезжая в отель, я отправился прямо в МИД, где Мардам-бей сразу же принял меня. Я поздравил министра с успешным завершением переговоров и передал ему переведенный мною на французский язык текст послания вместе с моей сопроводительной нотой — оба документа были старательно перепечатаны Хуссейном на пишущей машинке. Пробежав глазами тексты послания и ноты, Мардам-бей сказал:

— Я всегда буду гордиться тем, что участвовал в историческом акте установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот акт — знаменательная веха в истории Сирийской Республики, ибо он означает признание нашего молодого государства самой могущественной державой мира. Я со своей стороны также поздравляю вас и сердечнейшим образом благодарю за ваше содействие в этом деле.— Он крепко пожал мне руку и добавил: — Мы сегодня же сделаем это великое событие достоянием гласности. Пусть о нем узнают все сирийцы и весь мир.

Я напомнил ему о своей ноте, в которой содержалось предложение Наркоминдела опубликовать тексты обоих посланий одновременно 26 июля.

— Я согласен с этим,— ответил министр.— Но ведь краткое предварительное сообщение можно опубликовать и сегодня, не так ли? Просто немыслимо держать такую животрепещущую новость под спудом еще целых два дня! Вы не будете возражать?

Я не стал возражать, но поставил условие, чтобы сообщение было действительно кратким и не цитировало официальных документов — иначе возник бы ничем не оправданный разнобой в датах их опубликования. Министр принял это условие.

На этом мы с ним расстались — до новой встречи вечером на экстренном широком приеме в МИД.

До вечерней церемонии в МИД у нас оставалось около шести часов, и мы целиком посвятили их прогулке по Дамаску. Нашим гидом, знающим и толковым, был все тот же Хуссейн Марраш. Он так умело составил маршрут импровизированной экскурсии, что за один первый день нашего пребывания в Да-

маске — первый день, свободный от «конспиративных» ограничений,— мы получили довольно отчетливое представление об этом древнем городе.

Около пяти часов дня мы вернулись в отель, чтобы привести себя в порядок. В холле я купил только что вышедшую вечернюю газету на французском языке и прочел броскую заметку — первое печатное упоминание о нашем пребывании в Сирии. Начиналась она такой высокопарной фразой:

«Нынешний день будет увековечен в нашей национальной истории тем, что в сирийской столице впервые находится Советский Министр». Дальше излагалась моя биография, заимствованная из прошлогодних египетских газет, и сообщалось, что сегодня вечером МИД устраивает в мою честь прием. Этим осведомленность газеты и исчерпывалась: ни одним словом она не обмолвилась ни о времени, ни о цели приезда нашей делегации, не говоря уже о важном результате советско-сирийских переговоров. Объяснялось это, безусловно, тем, что, подписывая номер в печать, ее редактор еще не получил пригласительного билета на прием в МИД, во второй половине дня разосланного во все редакции.

Заявившись незадолго до шести часов в кабинет Джемиля Мардам-бея, я застал его в довольно растрепанных чувствах. Организуя сегодняшний экстренный прием, все министерство иностранных дел, начиная с самого министра и кончая младшим сотрудником Протокольного отдела, буквально сбилось с ног. Приглашалось множество гостей — все члены правительства, депутаты парламента, члены дипкорпуса, представители английских и французских военных властей, журналисты и т. д. Их ждали из Дамаска и его окрестностей, из ближних городов Сирии, а также из Бейрута, постоянного местопребывания глав дипломатических миссий, аккредитованных одновременно при правительствах Сирии и Ливана.

Для подавляющего большинства гостей приглашение прозвучало как гром среди ясного неба. Дел у министерских работников было невпроворот. Возникали и досадные недоразумения. Все это не могло не нервировать министра.

Он протянул мне листок с отпечатанным на пишущей машинке французским текстом.

— Прошу вас, господин посол, ознакомиться с коммюнике, которое я сейчас оглашу на приеме, а затем отдел печати передаст и на радио. Составлено оно, пожалуй, не совсем гладко, но все необходимое в нем, по-моему, сказано.

Некоторой шероховатостью коммюнике действительно страдало.

Десяти—пятнадцати минут вполне хватило бы, чтобы испра-

вить все встречавшиеся в тексте неточности и перепечатать его набело. Но минут этих уже недоставало. Шеф протокола нервно торопил министра с открытием приема. С озабоченным видом он повел меня и Джемиля Мардам-бея в обширный конференц-зал, очищенный от столов и кресел и гудевший от множества голосов.

Пройдя вместе со мной сквозь расступающуюся и аплодирующую толпу гостей, Мардам-бей остановился в сравнительно свободном конце зала, выждал, когда наступит тишина, представил меня собравшимся, вкратце рассказал о переговорах и дважды огласил предварительное коммюнике — по-арабски и по-французски. Оглашение каждого из текстов коммюнике также сопровождалось аплодисментами, которым, казалось, конца не будет.

И вдруг Мардам-бей предоставил слово мне. Говорю «вдруг», потому что он не предупредил меня о том, что от меня ждут выступления. Вероятно, это была импровизация министра — сегодня в министерстве все отдавало импровизацией. Так или иначе, а отмолчаться было нельзя. Произнося речь экспромтом, я заявил, что чрезвычайно доволен благоприятным исходом переговоров, отпустив при этом комплимент дипломатической опытности Мардам-бея, выразил уверенность, что дружественные отношения между Советским Союзом и Сирией пойдут на пользу обеим странам, и закончил лестными словами о сирийском гостеприимстве и неповторимых красотах Дамаска, часть которых я имел удовольствие лицезреть. Мой скромный экспромт был встречен незаслуженным восторгом.

А потом началась церемония представления гостей. Один за другим они вереницей подходили ко мне, называли себя и пожимали мне руку. Последними из всех продефилировали журналисты. По их лицам было видно, что они сгорают от нетерпения задать мне и Мардам-бею тысячу вопросов. Но церемония протекала так, что этой возможности им не представилось. В своих репортажах о приеме в МИД они не преминули с ехидцей отметить это неприятное для них обстоятельство.

В числе иностранных гостей помимо дипкорпуса и консулов присутствовал личный представитель английского посланника в Сирии и Ливане генерала Эдварда Спирса полковник Мак-Гарет. Забыв о традиционной британской сдержанности, он долго жал мне руку и проникновенным голосом поздравлял от своего имени и от имени генерала с дипломатическим успехом. Зато заметную сухость проявили делегат французского правительства Шатеньо и его заместитель полковник Олива-Роже, хотя они тоже пожимали мне руку и тоже поздравляли с дипломатическим успехом.

Едва церемония представления подошла к концу, как распахнулись боковые двери конференц-зала, открыв выход в тенистый сад министерства. Там, на садовых площадках вокруг журчащих фонтанов, красовались в лучах вечернего солнца длиннейшие столы, щедро уставленные яствами и напитками. Гости хлынули в сад, началась вторая, неофициальная часть приема.

Я также вкусил гастрономические дары МИД. Компанию мне составляли премьер-министр Саадалла Джабри-бей, Мардам-бей и ливанский министр иностранных дел Селим Такла. К нам то и дело подбирались бойкие журналисты, но шеф протокола и Хуссейн Марраш бдительно отражали все их атаки. А вскоре мы, все четверо, перешли в кабинет Мардам-бея, чтобы побеседовать без помех.

Селим Такла желал услышать от меня новости из Москвы. Ведь он приехал из Бейрута не ради одной лишь церемонии, но и для деловой встречи со мной. Я был рад сообщить ему, что ответ на предложение ливанского правительства получен: Советское правительство соглашается на переговоры в Ливане и уполномочило для этой цели меня.

— Прекрасно! — воскликнул Селим Такла.— Москва — неисчерпаемый источник приятных вестей. Сперва для Сирии, теперь для нас. Когда же мы приступим к переговорам? Вернее, мне следует спросить, когда же вы, ваше превосходительство, сможете, наконец, прибыть к нам?

— В один из ближайших дней,— неопределенно ответил я, зная со слов Мардам-бея, что сирийский МИД намечает для меня поездку по стране.— Мне только хотелось бы осмотреть Дамаск чуточку поосновательнее, чем сегодня.

— Ну, нет, ваше превосходительство,— засмеялся Саадалла Джабри-бей.— Так быстро мы вас не отпустим. После длительного заточения в Блудане вам необходимо проветрить голову на просторах Сирии. Я приглашаю вас проехать вместе со мной на наш север, в Халеб.

— С признательностью принимаю ваше приглашение,— не заставил я себя уговаривать.

— А потом еще слетаете в Пальмиру. Если вас, конечно, не слишком утомит путешествие в Халеб.

— Постойте, постойте, господа,— шутливо запротестовал Селим Такла, который, видимо, был в курсе планов сирийского МИД относительно меня.— Этак вы сорвете наши переговоры!

— Не волнуйтесь, уважаемый коллега,— вмешался Мардам-бей.— Программа поездок господина посла займет не больше четырех дней. 29-го можете выставлять на границе почетный караул для торжественной встречи.

— В чем, в чем, а уж в почете мы ему не откажем,— продолжал шутливо пикироваться Селим Такла.— Мы не станем скрывать его от людских взоров в тайных горных убежищах.

— Лучший курорт Сирии — это, по-вашему, тайное убежище? — возмутился Мардам-бей.— Не знаю, сыщется ли во всем Ливане такой фешенебельный отель, как у нас в Блудане?

— Не будем об этом спорить, господа,— сказал премьер-министр.— Пусть сам господин Новиков скажет потом, где его лучше принимали — у нас или у вас.

— Я уверен, господа,— примиряющим тоном произнес я,— что ливанское гостеприимство не уступит сирийскому, и, стало быть, оба стоят на одинаково высоком уровне.

— Итак, завтра, господин посол, вы мой личный гость,— напомнил мне о прежней договоренности сирийский министр.— Я покажу вам нашу знаменитую дамасскую Гуту.

Я поблагодарил его, распрощался с премьером и обоими министрами и покинул министерство. Шум приема в саду значительно утих, гости начали постепенно расходиться.

Шел всего лишь десятый час, но я чувствовал себя очень утомленным. После столь обильного впечатлениями, к тому же очень знойного дня хотелось отдохнуть. Однако сначала требовалось еще отправить в Москву телеграфный отчет о событиях дня, сообщить о предстоящей поездке по Сирии и о дате переезда в Ливан.

Усердно поработали в этот вечер авторучки местных и бейрутских корреспондентов, побывавших на приеме в МИД. Их продукцию в виде репортажей и статей, выдержанных в сенсационном духе, я читал на следующее утро в газетах на французском языке. А о той, что была опубликована по-арабски, меня информировал Хуссейн Марраш. Все сирийские и ливанские газеты подчеркивали исключительную важность установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Сирией, но, подобно тому как это было выпячено и в предварительном коммюнике МИД, видели в этом событии прежде всего факт признания Советским Союзом независимости Сирийской Республики.

Но нельзя сказать, чтобы арабская пресса — в этот и в последующие дни — выражала одно лишь удовлетворение. Время от времени в ней раздавались и нотки, говорившие о некотором недовольстве. Наряду с комментариями по поводу признания независимости Сирии отдельные газеты подпускали Мардамбею шпильки. Немало слов было сказано по адресу министерства в связи с той секретностью, какой оно окружило советскую

делегацию и советско-сирийские переговоры. Журналисты считали себя обойденными и кровно обиженными. Еще бы! Оставаться в полном неведении о таком событии до самой последней минуты!

Последующие несколько дней были посвящены проведению программы дальнейшего пребывания нашей делегации в Сирии, которая была намечена в памятный вечер 24 июля, программы очень насыщенной и весьма богатой впечатлениями. Подробный рассказ обо всем увиденном и услышанном потребовал бы многих дополнительных страниц, которыми я, увы, не располагаю. Поэтому я позволю себе лишь хронологически перечислить основные пункты этой программы. Вот они:

25-го. С утра — продолжение знакомства с Дамаском. Вечером — обед в имении Мардам-бея в Гуте, в окрестностях столицы.

26-го. С рассвета до полудня — автомобильная поездка в обществе Джабри-бея в Халеб (Алеппо) с промежуточной остановкой в Хаме. Днем — экскурсия по Халебу. Вечером — обед у губернатора.

27-го. С утра — знакомство с историческими памятниками Халеба. В пять часов — отлет с Джабри-беем в Дамаск. Вечером в Блудане — обед для членов сирийского правительства, устроенный мною в «Гранд-отеле».

28-го. Экскурсия самолетом в легендарную Пальмиру.

По возвращении из Пальмиры в Дамаск мы направляемся в отель «Омейяды», куда еще утром привезли из Блудана все свои пожитки. Я привожу себя в порядок, переодеваюсь и еду с прощальными визитами к премьер-министру и министру иностранных дел. Визиты краткие, чисто протокольные, с обилием наилучших пожеланий.

Последний вечер в Дамаске мы проводим в кинотеатре, с интересом смотрим английский фильм «Джунгли». Потом, отпустив Хуссейна Марраша отдыхать, долго еще сидим на балконе у меня в номере, вдыхаем ночную прохладу. Говорим о Пальмире, от нее перескакиваем к Москве, оттуда — к Каиру, прикидываем, когда сумеем вернуться «домой» к своим семьям.

Утром 29-го мы направляемся в Ливан в сопровождении шефа протокола и Хуссейна Марраша.

Выехав по набережной Барады на южную окраину сирийской столицы, мы продолжаем подниматься вверх по течению реки уже в горном ущелье. Этот отрезок автострады, Дамаск — Бейрут, изучен нами досконально: мы уже столько раз проезжали его, следуя из Дамаска в Блудан и из Блудана в Дамаск. Но дорогу в Блудан мы теперь оставляем в стороне.

Автострада отходит наконец от Барады, петляет по ущельям среди лесистых горных склонов. Впереди виднеется залитый солнечными лучами выход из последнего ущелья. Мы в преддверии широкой долины Бекаа. Здесь, по ее восточному краю, проходит граница между Сирией и Ливаном. Но мы не видим ни пограничных шлагбаумов, ни пограничников, ни таможенников. О том, что тут граница, я узнал только тогда, когда наша машина остановилась на обочине и шеф протокола с улыбкой произнес:

— Вот мы и доставили вас в Ливан, ваше превосходительство!

Неподалеку, также на обочине, стоит еще одна машина. От нее отделяются два человека и с приветственными жестами движутся к нам. Мы выходим из машины, шеф протокола знакомит нас. Двое ливанцев — это начальник кабинета министра иностранных дел Халим Харфуш и его молодой помощник Надим Демешкие.

Мы крепко пожимаем руки обоим сирийцам, особенно нашему «опекуну», обмениваемся с ними последними приветствиями и пересаживаемся в машину ливанского МИД.

Прощай, гостеприимная Сирия!

8. Миссия в Ливан

Первое, что я слышу в машине от ливанцев,— это слова Халима Харфуша:

— Господин посол, прошу вас внимательнее присмотреться к моему молодому другу. Он никого вам не напоминает?

Я вглядываюсь в Надима Демешкие. Ему около тридцати, он жгучий брюнет, с аккуратно подстриженными и подбритыми усиками, в черных защитных очках, в белом костюме, с изящным галстуком. С виду он разбитной малый, в любой момент, кажется, готовый выкинуть что-нибудь залихватское и удерживаемый лишь строгими рамками протокола. Нет, он мне никого не напоминает.

— А напрасно,— улыбается Харфуш.— Это ведь второй Хуссейн Марраш, только ливанского образца. Нам известно, что в Сирии вы остались довольны своим временным «спутником жизни». Здесь с вами будет Надим, неотступный, как тень. Я убежден, что он оправдает возложенное на него доверие.

— Надеюсь,— сказал я.— Господин Марраш действительно был очень полезным спутником и помощником, и я сожалею, что пришлось с ним расстаться.

— Вы перестанете сожалеть, когда близко познакомитесь с Надимом. Человек он расторопный, услужливый и знающий.

Так в нашу жизнь на ближайшие недели вошел новый «опекун» в лице Надима Демешкие, и у нас не было оснований сожалеть об этом.

Машина быстро пересекла долину Бекаа, привольно простершуюся между предгорьями хребтов Ливана и Антиливана. За рекой Литани, вблизи селения Штора, начался подъем на Ливанский хребет — с серпантинами, головокружительным огибанием скал над глубокими обрывами. Отсюда прекрасно просматривалась вся долина Бекаа, а на западе виднелись бесконечные цепи гор, с узкими долинами между ними.

Путь от перевала до курортного местечка Айн-Софар, нашей новой, ливанской «резиденции», занял четверть часа. Айн-Софар был также горным климатическим курортом подобно Блудану.

У подъезда местного отеля, именовавшегося, разумеется, «Гранд-отелем», нас встречали министр иностранных дел Селим Такла и мрачноватого вида шеф Протокольного отдела МИД Бустрос. Их окружали еще какие-то неведомые мне лица. Не ощущалось недостатка и в любопытных зрителях.

Министр и шеф протокола провели меня в мой номер. В ходе краткой беседы С. Такла напомнил мне о нашей первой беседе в Блудане.

— Я обещал вам тогда, что не дам никакого повода жаловаться на ограничения, и слово свое сдержу. Господин Бустрос и господин Демешкие сделают все необходимое, чтобы вы и ваши спутники не испытывали ни малейших неудобств. Ездите куда хотите, знакомьтесь с кем хотите. Никаких ограничений! Вот разве что... Одно самоограничение. Как вы посмотрите на то, чтобы не давать прессе интервью о течении переговоров?

Я ответил, что согласен до конца переговоров держать журналистов на голодном пайке.

Прощаясь, министр сказал, что сейчас он не намерен мешать моему отдыху серьезными разговорами. Вечером сегодня он приглашает меня и П. М. Днепрова к себе на банкет, где познакомит с председателем Совета министров и с другими членами правительства. Там мы и поговорим о делах.

Приведя себя в порядок, наша советская группа вместе с Надимом Демешкие спустилась в ресторан «Гранд-отеля» и заняла отведенный для нас столик. А около четырех часов Надим Демешкие повез меня и Днепрова в Алей, местонахождение президента, в 10 километрах от Айн-Софара: протокол требовал, чтобы я расписался в книге почетных посетителей. Поездка в Алей и несложная церемония в приемной президентского дворца (а выражаясь проще, респектабельного буржуазного особняка) отняли у нас немного времени.

Вечером я был на банкете у министра иностранных дел — первом банкете в Ливане, за которым почти беспрерывной чередой последовали другие.

Банкет Селим Такла давал в своей летней вилле, расположенной в дачном поселке Бхамдун на расстоянии 10 минут езды от Айн-Софара. На прием к нему явился практически весь кабинет министров во главе с премьером Риадом Сольхом, плотно сбитым мужчиной среднего роста. Он был премьером и в ноябре 1943 года, когда деголлевский эмиссар Катру продемонстрировал ливанцам образцы «западной демократии», бросив в тюрьму ливанское правительство почти в полном составе. Здесь же присутствовали и некоторые из тогдашних коллег премьера по правительству и по тюремному заключению.

Наличие в гостиной почти полного состава Совета министров послужило поводом для шутливого диалога перед началом банкета. Кто-то из министров заметил Риаду Сольху:

— Не пора ли нам, господин председатель Совета, открыть заседание правительства?

— Сегодня председательствую не я, а министр иностранных дел,— возразил Риад Сольх.— Что за повестку дня вы нам предлагаете, Селим?

— Пройти всем в столовую и достойно отпраздновать прибытие к нам советской делегации.— Любезным жестом хозяина Такла пригласил гостей к накрытому в соседней комнате столу.

Не буду задерживаться на застольных речах и тостах, способствовавших созданию теплой и дружественной атмосферы банкета, и перейду к последующей моей беседе с премьер-министром и министром иностранных дел. Протекала она в кабинете министра, где мы втроем уединились по окончании обеда, пренебрегши кофе с ликерами и коньяком.

Деловую часть разговора начал Селим Такла.

— Вам известно, господин посол, что ливанское правительство с понятным волнением наблюдало за вашими переговорами с сирийским правительством и вместе с ним горячо приветствовало их завершение. Вы также знаете, что ливанское правительство приняло решение идти по стопам Сирии. Фактически мы уже составили документ, который будет направлен от моего имени господину Молотову.

Он сделал паузу, как бы предоставляя мне возможность вставить слово, хотя, судя по всему, сказанное было всего только введением. Я выразил удовлетворение тем, что дело движется вперед, и заметил, что, очевидно, определенную положительную роль в этом сыграли наши предварительные контакты в Блудане и Дамаске.

— О, очень большую роль,— подтвердил С. Такла.— Поэтому-то мы и смогли заблаговременно подготовиться к выходу на сцену.

— Представьте себе, господин Новиков,— вмешался Риад Сольх,— мы настолько подражаем нашим сирийским друзьям, что даже проект нашего письма в Москву будет аналогичен посланию господина Мардам-бея.

Своим тоном и взглядом он как бы подчеркивал, что в его словах кроется какой-то особый, важный смысл. Я решил выждать, пока сам премьер-министр не раскроет его.

— Вот и прекрасно,— благодушно произнес я.— Сирийское послание как нельзя лучше достигло цели.

— Да, но ведь господин Молотов оставил без внимания очень существенный принцип, отраженный в нем,— мягко возразил Риад Сольх.

— Что вы имеете в виду? — попросил я уточнения, уже догадываясь, что подразумевает ливанский премьер.

— Я имею в виду вопрос о капитуляциях и прочих привилегиях царской России. В ответе Молотова они обойдены молчанием.

Так оно и есть! Тот же самый призрак далекого прошлого, что тревожил и сирийцев. В Сирии я дал на этот счет разъяснения, которые казались мне исчерпывающими. Но выходит, что их надо повторить и здесь. И я повторил их перед двумя государственными деятелями Ливана с такой же обстоятельностью, с какой сделал это в Сирии. Основной мой тезис по-прежнему сводился к тому, что ленинский принцип отказа от неравноправных договоров целиком остается в силе и прочно воплощен в практику советской внешней политики, поэтому надобность в его новом декларировании отпадает. Поэтому-то в ответе В. М. Молотова о таком отказе ничего и не говорится.

Селим Такла и Риад Сольх переглянулись, потом премьер заговорил:

— Мы нисколько не сомневаемся в искренности признания Советским правительством Сирии как равноправного партнера в международных отношениях, несмотря на то что прямых указаний на это в его ответе не содержится. Мы надеемся на такой же статус и в советско-ливанских отношениях. И все же в своем обращении мы, очевидно, вернемся к этому вопросу.

Он испытующе посмотрел на меня, словно ожидал возражений с моей стороны. Я сказал:

— Когда вы, господин премьер, заявили, что ливанское послание будет аналогично сирийскому, я заявил: «Прекрасно!» Сейчас, выслушав ваши дополнительные соображения, я могу снова заявить: «Прекрасно!» И убежден, что ваше по-

слание даст столь же положительный эффект, как и сирийское.

На этом деловой разговор закончился. Риад Сольх пообещал не позже завтрашнего дня доложить о нем президенту и высказал надежду, что уже в понедельник послание в Москву будет мною отправлено. Мы присоединились к остальным гостям, а через полчаса я и Днепров уехали. Теперь правительство могло заседать вполне официально. Возможно, что именно так оно в тот вечер и поступило.

Воскресенье — день отдыха, но нельзя сказать, чтобы мы провели его совсем праздно. Первую его половину мы посвятили осмотру древних памятников в местечке Баальбек, а вечер — обеду у президента Ливанской Республики Бешары эль-Хури. Приглашение на обед передал нам утром шеф протокола Бустрос, явившийся сопровождать нас в поездке в Баальбек и тем самым придавший ей характер протокольного мероприятия.

Вечерний прием у президента в честь советской делегации был менее многолюден, чем банкет на вилле министра иностранных дел. Кроме Риада Сольха и Селима Таклы высокие обитатели дворца в Алее — Бешара эль-Хури и его супруга — пригласили на обед всего семь человек. В их числе — Н. Бустрос и наш новый «опекун» Надим Демешкие, а также два личных адъютанта президента. Банкет проходил в довольно-таки церемонной обстановке, заметно отличавшейся от непринужденной атмосферы приема у С. Таклы.

На приеме С. Такла информировал меня, что в течение воскресенья проект его послания В. М. Молотову был окончательно согласован во всех инстанциях и завтра днем оно будет вручено мне в Бейруте. Я обещал быть там в условленное время.

В понедельник с утра мы трогаемся в недалекий путь — до Бейрута только 30 километров. Первый этап пути — Алей, за которым начинается непрерывный спуск к приморской равнине. Въехав в столицу, мы неторопливо колесим по улицам и площадям, чтобы составить о ней общее представление, затем направляемся в Национальный музей древностей. По преимуществу это древности финикийской цивилизации, но немало экспонатов и из других эпох.

Приближается время завтрака, и мы едем в отель «Норманди», где Протокольный отдел МИД забронировал для нас номер. После завтрака в номер к нам пришел шеф кабинета министра иностранных дел Халим Харфуш и вручил мне оформленное по всем правилам послание Селима Таклы на имя В. М. Молотова.

Как и предупреждали меня Риад Сольх и Селим Такла, документ был аналогичен сирийскому, но текстуально, конечно, не повторял его. Фигурировал в нем и вопрос о капитуляциях, упомянутый как бы вскользь в фразе, где в очень положительной форме говорится о внешней политике Советского Союза. Выглядит эта фраза так:

«Ливанский народ, который долгие годы боролся за свою независимость и суверенитет, которых он только что полностью добился, твердо убежден, что советская внешняя политика основана на уважении свободы и равенства всех народов — принципов, несовместимых с попытками завоевания и господства, так же как с капитуляциями, привилегиями и другими преимуществами, которыми пользовалась царская Россия».

Вряд ли после сирийского опыта и моих разъяснений ливанцы возлагали большие надежды на то, что ответ из Москвы затронет вопрос о капитуляциях. Но для них он был слишком важным и наболевшим, чтобы они могли обойти его молчанием.

Проводив Халима Харфуша, мы принялись за дело: надо было перевести текст документа и затем подготовить для немедленной отправки в Москву. Потом мы вчетвером продолжили экскурсию по Бейруту.

Насмотревшись досыта на все, что мало-мальски достойно осмотра, мы возвращаемся к вечеру в тихий и прохладный Айн-Софар.

Никакого банкета на этот вечер не намечалось. Обедали мы в ресторане «Гранд-отеля». Но не вчетвером (включая «опекуна»), а впятером, ибо к нашей компании за столом неожиданно для нас присоединился заместитель премьер-министра Хабиб Аби-Шахла, с которым я уже встречался на приеме у министра иностранных дел. Он пригласил нас на обед, который устраивал в нашу честь на следующий день в одном из ресторанов Алея.

Вечером во вторник Хабиб Аби-Шахла заехал за мной, Днепровым и Надимом Демешкие, и через полчаса мы уже усаживались за столик алейского ресторана. Тут нас подстерегал сюрприз.

Вначале все шло обычным порядком. Два услужливых официанта мгновенно приняли от нас заказ. На эстраде оркестр выводил плавную мелодию медленного фокстрота, пары танцующих в центре зала томно скользили по паркету. Внезапно музыка оборвалась, и не успели еще танцоры вернуться к своим столикам, как оркестр заиграл... «Катюшу». Да, да, именно эту популярную в те годы песню, каждая нота которой рождала в душе радостное и одновременно тоскливое чувство, напоминала о далеких родных краях. Я спрашивал себя, благодаря

какой счастливой случайности эта песня попала в репертуар ресторанного оркестра и зазвучала сразу после нашего появления? Но, уловив лукавые искорки во взгляде Хабиба Аби-Шахлы, я догадался, что это он преподносит нам музыкальный сюрприз.

По окончании номера дирижер приблизился к краю эстрады и отвесил нашему столику четыре почтительных поклона — по одному на каждого из нас. В зале вспыхнули аплодисменты — теперь всем стало ясно, для кого предназначалась музыка. Таким оригинальным способом Хабиб Аби-Шахла представил публике своих советских гостей.

Вслед за «Катюшей» оркестр исполнил «Очи черные» и вальс «На сопках Маньчжурии». Кто знает, сколько еще номеров было в его «русском» репертуаре? Танцорам явно грозил простой по вине нашего любезного хозяина. Я сказал ему об этом. Он засмеялся, сказал: «Сейчас все уладим!» — и слегка кивнул Надиму Демешкие, который, пошептавшись с дирижером, в два счета ликвидировал угрозу. С эстрады полились звуки танго, сменившиеся после паузы четким ритмом румбы. Ресторанная жизнь вошла в обычную колею.

В среду мы узнали приятную новость: получена ответная телеграмма наркома по вопросу об установлении дипломатических отношений с Ливаном. Через четверть часа Матвеев вручил мне ее текст. Содержание телеграммы почти дословно повторяло телеграмму, присланную 10 дней назад на имя Джемиля Мардам-бея, поэтому цитировать ее я не стану.

Итак, положительный ответ Москвы юридически завершал исторический акт установления дипломатических отношений между СССР и Ливаном.

Мы, то есть я, Днепров и Надим Демешкие, на время превратившийся в технического секретаря нашей делегации, немедленно принялись за работу. Пока я переводил телеграмму на французский язык, Днепров составил текст препроводительной ноты в МИД, а Надим выяснял местонахождение министра иностранных дел. Когда оба документа были готовы, Надим перепечатал их на пишущей машинке, а затем доставил их Селиму Такле в Бхамдун.

Часа через полтора мне позвонил радостно возбужденный Селим Такла.

— Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за рекордную оперативность,— сказал он.— Демешкие рассказал мне, как организованно вы действовали, чтобы незамедлительно доставить нам важнейший для нас документ. Я последовал вашему

благому примеру и также не терял времени. Я уже повидался с господином президентом и созвонился с господином премьер-министром. Мы все воодушевлены той безоговорочностью, с какой Советский Союз признает нашу независимость. Вы были правы, абсолютно правы, когда заверяли нас в высокой принципиальности советской внешней политики. Теперь, когда главное сделано, мы желаем ознаменовать акт признания с максимальной торжественностью, какой он заслуживает. И будьте уверены, что в этом смысле Бейрут не ударит в грязь лицом перед Дамаском.

Намек был слишком прозрачен, чтобы его не понять. Из-за предварительной «конспирации» сирийский МИД не сумел как следует подготовить официальную церемонию и изрядно скомкал ее. Ну что ж, посмотрим, как она пройдет в Ливане.

А проведена она была, как показали ближайшие дни, весьма продуманно и с гораздо большей торжественностью, чем в Дамаске.

3 августа МИД трудился вовсю. С утра Селим Такла принял у себя в кабинете парламентскую комиссию по иностранным делам и доложил ей о ходе и результате переговоров. Комиссия одобрила деятельность МИД, о чем довела до сведения представителей прессы. Протокольный отдел в это время разрабатывал программу мероприятий на ближайшие дни, согласовывал ее в надлежащих инстанциях, а под конец информировал о ней меня.

В соответствии с этой программой во второй половине следующего дня наша делегация перебралась в Бейрут, остановившись в уже знакомом нам отеле «Норманди». К шести часам вечера за нами прибыла личная машина президента. В ней мы доехали до Пляс де Мартир (площадь Мучеников) — главной площади города, где находился так называемый Малый дворец — местопребывание Совета министров.

Закрытая для транспорта и пешеходного движения площадь казалась очень обширной. Ливанские и советские флаги на стенах зданий и на фонарных столбах придавали ей праздничный вид. Тротуары кишели толпами зрителей, готовых хлынуть на площадь, если бы не сдерживавшие их полицейские кордоны. Сотни зрителей облепили балконы окружающих площадь зданий или высовывались из распахнутых окон. Посреди площади выстроились шеренги почетного караула, сверкали на солнце медные трубы военно-духового оркестра.

Под аплодисменты и возгласы зрителей мы выходим из машины. Нас троих — меня, Днепрова и неизменного нашего спутника Н. Демешкие — встречают высокие военные чины и люди в штатском, ведут к почетному караулу. Звучат гимны Ливан-

ской Республики и Советского Союза. Затем по команде солдаты салютуют нам, взяв на караул, и мы под звуки церемониального марша шествуем вдоль шеренг к Малому дворцу.

У подъезда нас поджидает шеф протокола Н. Бустрос. Он сопровождает меня на второй этаж, в кабинет премьер-министра. Это первый мой официальный визит к главе правительства после установления дипломатических отношений. Риад Сольх не один, с ним его заместитель Хабиб Аби-Шахла и Селим Такла. Все трое в отличном расположении духа, и беседа между нами протекает в самых дружеских тонах. Риад Сольх спрашивает, как мне понравился церемониал встречи на площади.

— У меня такое впечатление,— говорю я,— словно в Ливане большой национальный праздник, присутствовать на котором имею честь и я.

— Это действительно наш национальный праздник,— подтверждает премьер.— И вы, господин посол, не просто присутствуете, а участвуете в нем. Как один из главных участников.

Беседа у премьера длится с полчаса. Отсюда в сопровождении Селима Таклы мы направляемся через запруженную народом площадь в МИД, где в кабинете министра предстоит пресс-конференция. Министр усаживает меня за свой рабочий стол, а сам, стоя перед толпой набившихся в комнату журналистов, зачитывает им по-арабски и по-французски тексты посланий, которыми обменялись Бейрут и Москва. Журналисты что-то черкают у себя в блокнотах.

Далее происходит процедура представления каждого из журналистов, после чего они наперебой засыпают нас вопросами. Часть из них, адресованная мне, носит характер каверзных, чтобы не выразиться сильнее, хотя и задается в безукоризненно вежливой форме. В подобных случаях я парирую их то серьезным разъяснением, то насмешливым замечанием. Иногда в этот обмен репликами вмешивается Селим Такла, с укором прерывая особенно назойливых из «инквизиторов» — это ироническое выражение принадлежит ему.

В тот же вечер принимал представителей прессы и премьер-министр. Он огласил перед ними текст правительственного заявления, в котором сообщалось об установлении дипломатических отношений между Ливаном и СССР и подчеркивалась важность этого акта. В заявлении, в частности, говорилось:

«Это одно из крупнейших событий в жизни нашей страны со дня достижения ею независимости. Безоговорочное признание Советским Союзом укрепит нашу независимость и сделает ее непоколебимой... Признание Советским Союзом Ливана рассеет сомнения, которые кое-кто распространял, чтобы сбить с толку общественное мнение».

Когда я читал у себя в номере текст этого заявления, последняя фраза показалась мне весьма многозначительной. В памяти у меня сразу же возникла сцена сегодняшней пресс-конференции, с настырными «инквизиторами», пытавшимися навести тень на ясный день. Вспомнились мне и двусмысленные статейки, время от времени печатавшиеся в отдельных газетах. В них можно было прочесть о «беспокойстве», якобы вызываемом у ливанцев «запоздалым признанием стран Леванта Москвой». В них всячески преуменьшалась ценность нашего признания и выпячивалась роль западных держав, как надежных гарантов ливанской независимости. Вероятно, авторов подобных инсинуаций имел в виду Риад Сольх, говоря о «сеятелях сомнений». Однако вряд ли он подразумевал только газетных злопыхателей. В конце концов, журналисты были всего лишь наемными перьями тех влиятельных кругов, ливанских и иностранных, которые стремились сохранить зависимость Ливана от империализма и отгородить его народ от свежих ветров национального раскрепощения, дующих от границ Советской страны.

Но в подавляющем большинстве случаев пресса расценивала события вполне благожелательно.

Церемония и официальные визиты 4 августа были только началом торжественных приемов. В субботу 5 августа МИД дал в честь советской делегации завтрак в парадном зале министерства. Во второй половине того же дня Селим Такла и его супруга устроили с этой же целью «гарден-парти» — большой прием на открытом воздухе в тропически роскошном саду Школы искусств и ремесел. Среди приглашенных были члены правительства во главе с премьером, депутаты, общественные деятели, журналисты, члены дипкорпуса. Из Дамаска для участия в торжествах приехал Джемиль Мардам-бей.

Сад был празднично декорирован советскими и ливанскими флагами. А на зеркальной водной глади центрального бассейна, специально подкрашенной красной краской, плавали советские эмблемы — серп с молотом и красная звезда, благодаря чему бассейн, по выражению одного корреспондента, «превратился в огромное колышущееся знамя победоносной России». Эта политизированная декоративная затея привлекла к себе всеобщее внимание, с которым могла соперничать только притягательная сила буфетных столов.

Воскресенье было для меня днем отдыха от банкетов и церемоний.

Во второй половине этого дня Н. Демешкие сообщил, что

по международному телефону меня вызывает Иерусалим. Несколько удивленный, я взял трубку. Звонила Ирина Александровна. Оказывается, она сбежала туда из каирского пекла, «чтобы подышать прохладным воздухом».

Ирина Александровна поздравила меня с успехом нашей миссии в Сирии и Ливане, «о которой только и говорят здесь, в Иерусалиме». Сказала, что, как русская, она гордится ростом влияния и престижа России на Ближнем Востоке. Осведомилась, каким путем я собираюсь возвращаться в Каир. «Если поедете через Иерусалим, то знайте, что я и принц Петр будем очень рады вас видеть»,— закончила она. Поблагодарив ее за любезные слова, я пообещал навестить ее и мужа в Иерусалиме, куда собирался заехать в связи с одним делом.

В понедельник 7 августа ответный банкет ливанскому правительству давал я. Кроме членов правительства в полном составе я пригласил на него и сотрудников МИД, постоянно имевших дело с нашей делегацией,— Халима Харфуша, Н. Бустроса и Н. Демешкие. А во вторник состоялся последний из серии официальных банкетов — обед у премьер-министра.

Напоследок Селим Такла предложил нашей делегации совершить две поездки по стране: одну — на юг, в Бейт-эд-дин, прежнюю столицу Ливана, другую — на север, в заповедник знаменитых ливанских кедров. Обе эти экскурсии были нами совершены.

В субботу и воскресенье я наносил прощальные визиты вежливости. Визиты чисто протокольные, ибо все деловые вопросы были давно исчерпаны. Но последние беседы мои с ливанскими руководителями — президентом, премьер-министром, его заместителем, министром иностранных дел — меньше всего походили на светское суесловие. Мы говорили о нынешнем сложном положении Ливана, говорили с полной откровенностью. От меня не скрывали, что, несмотря на признание Ливанской Республики Советским Союзом, ее, по-видимому, еще ждут тяжелые испытания. Я разделял опасения собеседников, но вновь и вновь заверял их, что Ливан может рассчитывать на дружественную поддержку Советского Союза, принципиального защитника порабощенных народов и стойкого помощника в их борьбе за национальное освобождение. Мои заверения имели под собою прочную почву в виде долголетней практики советской внешней политики.

В понедельник 14 августа от подъезда айн-софарского «Гранд-отеля» тронулись в дальний путь две автомашины. В первой из них, принадлежавшей президенту, ехал я и сопровождавшие нас до границы с Палестиной Н. Бустрос и Н. Де-

мешкие, во второй — Днепров, Матвеев и два водителя этой машины, которые должны были доставить нас в Египет.

Наш маршрут вел через Бейрут, Сайду и Сур к ливано-палестинской границе. Здесь, у мыса Рас-эн-Накура, она проходит по обрывистой скале, почти над самой линией прибоя.

У пограничного пункта мы сердечно прощаемся с Н. Бустросом, много сделавшим для того, чтобы наше пребывание в Ливане дало максимальный политический эффект и вместе с тем было приятным. Еще сердечнее мы прощаемся с Н. Демешкие, с которым за это время очень сдружились.

Пограничные формальности выполняются без малейшей задержки. Наша делегация пересаживается во вторую машину. Под приподнятым шлагбаумом она медленно переезжает по другую сторону границы.

Мы в Палестине.

Машина, предоставленная нам ливанским правительством, поочередно управляется двумя водителями — ливанцами средних лет Ахмедом Хафезом и Мохаммедом Катибом. Оба водителя были люди опытные, в чем мы быстро убедились. Дорогу они знали так, что, наверно, и вслепую могли бы вести машину без всяких осложнений. О встречавшихся достопримечательностях рассказывали с компетентностью заправских гидов. Отлично объяснялись по-французски. Были тактичны, почтительны и услужливы. Но ни своей внешностью, ни повадками, ни речью они никак не походили на шоферов-профессионалов. Скорее всего, это были работники каких-то специальных служб — уж не знаю чьих, ливанских или иных,— приставленных к нам ради нашей безопасности. А может быть, и для наблюдения за нами. Если так, то последнее нас не стесняло — ничего незаконного в наши планы не входило.

Подъехав к Хайфе, мы оставляем позади около 200 километров пути. В Хайфе мы завтракаем, немного прогуливаемся пешком по улицам и движемся дальше. Дальше — это значит утомительным и длинным путем через Назарет, Наблус и Рамаллах на Иерусалим, куда мы прибываем под вечер, усталые и насквозь пропыленные.

Как и Каир, Иерусалим поражает нас пестротой архитектурных стилей, хаотическим чередованием старинных построек и многоэтажных домов в чисто модернистском вкусе. Купола и минареты мечетей высятся по соседству с куполами и колокольнями христианских храмов, с приземистыми строениями иудейских синагог. То тут, то там в глаза бросаются потемневшие от веков и тысячелетий руины.

Минуя оживленный деловой центр, с муниципалитетом, отелями, банками, через какую-то улицу выезжаем на Юлианову дорогу, широкий проспект, затененный кипарисами. Здесь, на самой высокой точке города, в гордом одиночестве стоит отель «Царь Давид», где для нас и для наших водителей забронировано из Бейрута три номера.

По Палестине мы путешествуем без всякой помпы: никто нас здесь не встречает, не произносит приветственных речей. В этом есть своя хорошая сторона — можно отдохнуть от бесконечных церемоний, от повседневной необходимости держаться в рамках строгого протокола и светского этикета. Поэтому единственная наша забота — это поскорее добраться до своих номеров и смыть с себя липкий слой дорожной пыли. Как-никак, а преодолеть расстояние в 400 километров в августовскую жару — это не шутка!

В этот вечер прогулка по Иерусалиму нас не манит. А на следующее утро мы с Днепровым направляемся в Дом правительства, где наносим деловой визит английскому Верховному комиссару. Нас интересуют вопросы, связанные с так называемым «русским имуществом в Палестине».

Дело это для меня не новое. Впервые я занимался им еще в Наркоминделе, в бытность заведующим Ближневосточным отделом. Для нас имело значение прежде всего многообразное имущество бывшего Палестинского общества, но попутно мы интересовались и тем, что сталось с церковным имуществом, долгие годы остававшимся без юридического хозяина.

В мае 1944 года посольство командировало в Иерусалим второго секретаря Султанова и атташе Гнедых, которые получили у английской администрации, ведавшей «русским имуществом», все необходимые юридические и экономические данные. Теперь нам оставалось получить у английской администрации дополнительные юридические и экономические данные на случай, если в дальнейшем понадобится поставить этот вопрос в официальном порядке. Кроме того, мы хотели лично осмотреть само имущество.

Верховный комиссар без проволочек удовлетворил наше пожелание и прикомандировал к нам двух чиновников соответствующего отдела комиссариата. Вместе с ними мы в течение дня разъезжали по Иерусалиму и его окрестностям и осмотрели все, что нас интересовало.

Вечером я встретился с Ириной Александровной в помещении греческой патриархии, где она и принц Петр жили в двух комнатах в качестве гостей иерусалимского патриарха Тимофея. Странно было видеть «ее королевское высочество» в небольшой, крайне скромно обставленной комнате, с вязаньем в руках,

одетой «по-домашнему». Принимала она меня тоже «по-домашнему», поила чаем из самовара, потчуя вишневым вареньем и домашним печеньем. Немного позднее к нашему чаепитию присоединился и принц Петр.

— Я отдыхаю здесь душой и телом,— говорила она, не переставая вязать.— Если бы вы знали, Николай Васильевич, до чего мне надоедает эта бесконечная светская суетня! Приемы, один пышней другого, притворное любезничанье с людьми, по велению этикета, может быть, с теми самыми, которые плетут против тебя низкие интриги. Бр-р! Тошнотворно! В Иерусалиме я чуждаюсь всякой светской жизни. Да и какая тут светская жизнь! — Она пренебрежительно махнула рукой.

Я не очень-то поверил во внезапное отвращение Ирины Александровны к светской жизни. Мне всегда казалось, что это ее родная стихия, что редко кто лучше нее разбирается в запутанных глубинных течениях этой жизни и с такой страстью предается придворной и политической игре. Возможно, что и гостьей патриарха она стала не без дальнего прицела, не из одной благочестивой привязанности к «его святейшеству». В таком случае вся эта ее «домашность», так гармонирующая с тишиной и спокойствием патриаршей обители, доказывает лишь ее умение сообразовываться с обстоятельствами.

Беседовали мы о многом, но на первом плане у нас все время маячили Сирия и Ливан.

— Вам, конечно, небезызвестно,— с жаром говорила Ирина Александровна,— что французы просто в бешенстве от того, что Москва протянула свою руку сирийцам и ливанцам. На месте французов я тоже бесилась бы. Вы вставили им палки в колеса, и их телега теперь окончательно застрянет.

— Не вижу необходимости смотреть на события под таким углом зрения,— возразил я.— Правительство де Голля признало независимость Сирии и Ливана, а стало быть, их суверенное право выступать самостоятельно на международной арене.

— Ну, ну, ну,— засмеялась Ирина Александровна, и из-под ее «домашности» внезапно проглянула свойственная ей проницательность.— Не играйте со мной в политические жмурки. Все мы отлично понимаем, что это их признание не стоило и ломаного гроша.

— А как теперь?

— А теперь, когда рядом с ним стоит признание Советского Союза, от него не так-то легко отмахнуться. Да и англичанам ваша миссия в Дамаске и Бейруте пришлась не по нутру.

Я улыбнулся:

— В Бейруте генерал Спирс и его присные дружески жали мне руку и горячо поздравляли с важным шагом в укреплении фронта демократических держав.

— Это значит только то, что генерал стал дипломатом и, как все дипломаты, умеет делать хорошую мину при плохой игре.

— Выходит, в конечном счете выгоднее вести честную игру,— заключил я.— Что наша дипломатия и делает.

Ирина Александровна передала мне приглашение патриарха на завтрак, который он предполагал дать в мою честь на следующий день. Я попросил ее сообщить патриарху, что с благодарностью принимаю приглашение.

На следующий день мы с Днепровым осматривали Старый город. Роль наших гидов добровольно вызвались исполнить принцесса Ирина и принц Петр, освободив он нее чиновников Верховного комиссариата.

Пройдясь по всем кварталам Старого города и осмотрев немало старинных и не очень старинных зданий, в том числе церковь Александра Невского в районе «русских раскопок», мы направляемся в здание греческой патриархии.

Завтрак у патриарха Тимофея изобиловал скоромной пищей — не в пример постным трапезам в ресторане «Царя Давида». Дал он и кое-какую пищу для ума. В тихой патриаршей обители слышались приглушенные тревожные голоса. В Палестине неспокойно. Время от времени поднимали голову сторонники иерусалимского муфтия, чья деятельность доставила немало забот английским властям. Подпольные сионистские организации вступили на путь безудержного террора.

Воздали мы дань туризму и во второй половине этого дня, и на следующий день утром, совершив поездку к Мертвому морю. Этот природный феномен с таким зловещим наименованием заслуживал того, чтобы проехать 30 километров.

К побережью Мертвого моря мы приближаемся со стороны ветхозаветного Иерихона. На пустующем песчаном пляже виднеются несколько пустующих же кафе и ресторанов. Мы с Днепровым решаем искупаться в свинцово-матовом, отвратительно пахнущем рассоле. Ирину Александровну и водителя Ахмеда Хафеза такая перспектива ничуть не прельщает. Они устраиваются под тентом ресторана, в отдалении друг от друга — ближе не разрешает этикет. А мы раздеваемся в купальных кабинках с душами из пресной воды и входим в воду. Входить до пояса довольно легко, но едва вы войдете поглубже, как коварный рассол отрывает ваши ноги от дна и опрокидывает вас. Хорошо еще, если при этом вы не наглотаетесь воды и она не проникнет вам в нос, так как последствия для носоглотки

будут самыми неприятными. Но мы предупреждены об этом Ириной Александровной. Сопротивляясь козням воды, мы осторожно ложимся на ее поверхность. Удобнее всего спиной. Тогда можно плыть «на спинке», вернее, скользить. С легкостью и быстротою необыкновенной, точно на коньках по льду. Топиться в этом море — безнадежное дело, разве что с помощью жернова на шее. Иначе плотный рассол вытеснит тело на поверхность, как пробку.

Вдоволь испытав необычные купальные ощущения и надышавшись «ароматными» испарениями моря, мы с Днепровым подплываем к берегу. Чтобы прочно стать ногами на дно, надо проделать серию поистине эквилибристских упражнений. В конце концов это нам удается, притом благополучно: рассола мы не глотнули. Теперь — в кабинки под пресноводный душ, чтобы смыть с себя налет минеральных солей, пока они не успели разъесть кожу.

В ресторане мы залпом выпиваем по бутылке ледяного лимонада. Обуявшая нас страшная жажда, видимо, также вызвана злокозненным влиянием Мертвого моря.

Все это время Ирина Александровна скучает с вязаньем в руках. Для нее в нашей экскурсии нет ни малейшего интереса — она бывала здесь раньше и все испытала сама. Даже как гид она здесь бесполезна. И, зная все это, все же поехала с нами. Вероятно, она все-таки здорово томится от безделья в богоспасаемом граде Иерусалиме.

У здания патриархии прощаемся с нашей спутницей.

После завтрака в отеле мы с Днепровым отправляемся в управление британского Верховного комиссара, получаем запрошенные нами материалы и тем самым кончаем с делами, ради которых остановились в Иерусалиме. Затем я звоню в Каир, предупреждаю советника Д. С. Солода о том, что в субботу 19 августа приеду в Александрию, и прошу его вместе с двумя другими сотрудниками быть в это время там, чтобы ввести меня в курс дел посольства.

Утром 18-го, позавтракав приевшейся овсянкой, бросаем последний взгляд на отель — импозантный, целый и невредимый. Пока! Через год «Царь Давид» будет взорван сионистскими террористами. В отеле погибнет министр-резидент на Ближнем Востоке лорд Мойн.

Из Иерусалима едем через Вифлеем, Хеврон и Газу. В Газе, небольшом арабском городке, делаем остановку, поглощаем в местной харчевне, громко именуемой рестораном, скудный ланч — и снова в путь. Теперь уже по Синайскому полуострову, а стало быть, по территории Египта, откуда почти 40 дней назад предприняли свое путешествие.

Ночуем в небольшом приморском селении Эль-Ариш — местопребывании главной английской военной базы на Синайском полуострове.

Утром поднимаемся с рассветом и, слегка перекусив, покидаем Эль-Ариш. До Александрии, куда должны сегодня добраться, около 400 километров. Нашими этапами на этом пути были Исмаилия, на западном берегу Суэцкого канала, и городки Нильской дельты Танта и Даманхур.

И вот наконец мы в александрийском предместье Сиди-Бишре, где расположена дача посольства. Машина тормозит перед виллой-пароходом. Нас здесь ждут: первыми опрометью сбегают к машине мои малыши, за ними спускается жена. На верандах-палубах показываются и другие «пассажиры парохода», как живущие здесь летом, так и вызванные мною из Каира.

Предлагаю водителям отдохнуть у нас на даче, поесть и выпить кофе. Но они благодарят и отказываются: еще из Иерусалима они заказали для себя номер в гостинице и теперь торопятся туда для более основательного отдыха. Мы с признательностью пожимаем им руки и расстаемся. Я решаю послать в ливанский МИД отзыв о том, как образцово они справились со своими нелегкими обязанностями.

Отдохнуть требуется и нам. Да где там! Нас засыпают вопросами, расспрашиваем и мы — о делах семейных, о делах посольства, о политических новостях.

А потом спешим к морю. Для этого надо только пересечь мостовую и пройти десятка два метров по пляжу. Именно так и поступаем. В спокойную погоду море напротив дачи по колено — даже для закоренелых трезвенников,— и чтобы окунуться, надо немало прошагать по дну.

Вечер мы проводим в широком товарищеском кругу — в гостиной у нас собираются все «пассажиры» дачи-парохода. Без конца заводится патефон, слушаем новые советские пластинки, недавно привезенные из Москвы. Среди них одна особенно приходится всем по душе — и своей удивительно лирической мелодией, и волнующими словами песни. Слушаем ее, затаив дыхание, переносясь мыслью на родину, в ближний тыл фронта... «С берез — неслышен, невесом,— слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и, словно в забытьи, сидят и слушают бойцы, товарищи мои».

В течение вечера эту пластинку ставят много раз. Расходимся по своим комнатам поздней ночью.

В понедельник утром я с сотрудниками посольства выехал в Каир. В это лето Александрия лишь частично функциониро-

вала — как летняя столица Египта. Все основные государственные деятели находились в Каире, и наше место было там.

Кратчайшая и удобнейшая дорога из Александрии в Каир вела через Западную (или Ливийскую) пустыню, окраину великой Сахары. Чтобы попасть от дачи посольства на автостраду, надо было пересечь весь город, протянувшийся вдоль морского побережья почти на 20 километров, а затем еще обогнуть соленое озеро Марьют.

Монотонно течет час за часом, приближая нас к столице Египта. Вдали показываются контуры ее бессменных стражей, величественных пирамид. Мы оставляем их вправо от себя и мчимся по окраине Гизы, параллельно Нилу. А вот и тенистая улица Рефаа, с нашим опустевшим на лето домом. Не заезжая туда, направляюсь прямо в посольство. Там меня ждут дела. И, едва войдя в свой кабинет, я с головою погружаюсь в них.

Почти всю следующую неделю кружился я в водовороте накопившихся и вновь возникавших, больших и малых дел, работая с раннего утра до поздней ночи, а нередко и ночью, благо дома меня никто не поджидал и не укорял за то, что пренебрегаю здоровьем.

В один из первых дней этой суматошной недели я встретился с Наххас-пашой по его просьбе. В его кабинете в МИД мы были вдвоем — статс-секретарь Салахэддин-бей, обычно участвовавший в наших беседах, на этот раз почему-то отсутствовал. Дружески тряся мою руку, премьер-министр говорил:

— Мы так давно не виделись, господин посол, что, едва узнав о вашем возвращении в Каир, я тотчас же захотел побеседовать с вами. В дипкорпусе на вас сейчас, наверно, огромный спрос. Ведь вы неиссякаемый источник сенсационных вестей.

— Ну, каирские газеты давно опередили меня с моими вестями,— отклонил я от себя чрезмерный комплимент.— Если, конечно, вы, господин премьер, имеете в виду мою миссию в Сирию и Ливан.

— Именно ее. И я спешу одним из первых в Египте поздравить вас с ее результатами. Какой благоприятный поворот произошел в странах Леванта за последние недели! Я должен с твердым убеждением засвидетельствовать, что принципы советской дипломатии не расходятся с ее практическими делами. Египетское правительство горячо приветствует ваши акты признания Сирии и Ливана независимыми государствами. Эти акты блестяще подтверждают последовательность внешнеполитической линии Советского Союза в отношении арабского мира. Ничто так не ободряет нас, арабов, как эта поддержка нашего

стремления к самостоятельному государственному существованию. Она вселяет в нас уверенность, что наши национальные цели будут достигнуты, какие бы препятствия ни вставали на нашем пути.

Отвечая премьеру, я сказал, что очень хорошо понимаю его чувства и что с большим удовлетворением выслушал столь высокую оценку внешней политике Советского правительства. Слова премьера — красноречивое доказательство доверия к ней, а взаимное доверие — самый прочный цемент, скрепляющий подлинно дружественные отношения между странами.

Оптимистические нотки звучали и в других высказываниях Наххас-паши в ходе нашей беседы. Так, когда мы коснулись неизбежной темы скорого окончания войны, он утверждал, хотя и в довольно расплывчатой форме, что мир должен принести с собою перемены к лучшему в государственном статусе Египта, что приближается момент осуществления его заветных национальных чаяний. С энтузиазмом говорил он о перспективе объединения арабских стран, которое позволит им эффективно противостоять любым враждебным проискам.

Я впервые видел Наххас-пашу в таком приподнятом настроении. Вызвано оно было, несомненно, общим политическим подъемом в арабских странах, в особенности в Египте, где с каждым днем набирало силу национально-освободительное движение, развертывавшееся в то время под знаменами Вафда. Расставаясь с премьером, я, не кривя душой, пожелал ему и египетскому правительству успеха в осуществлении национальных целей Египта.

Несколько дней спустя я прочел опубликованную в газете речь Наххас-паши по случаю восьмой годовщины подписания англо-египетского договора о «союзе». Я нашел в нем те же радужные мотивы, которые прозвучали в его недавних конфиденциальных высказываниях. Лидер Вафда, в 1942 году согласившегося, не отказываясь от конечных целей партии, сотрудничать с Англией в период войны, теперь напоминал стране о том, что эти цели по-прежнему указывают ей путь к свободному, независимому будущему. Ликвидация неравноправного договора 1936 года, эвакуация после окончания войны английских вооруженных сил с египетской территории — таковы были главные мотивы в выступлении Наххас-паши. С откровенными надеждами воспринял его египетский народ и с плохо скрытым недовольством — англичане. В глазах последних Наххас-паша стал, пользуясь дипломатическим выражением, персона нон грата, и дни его правления были сочтены.

О его внезапной отставке я расскажу дальше.

А сейчас пора обратиться к событиям в Румынии, которые в последнюю декаду августа властно выступили на первый план, отдалив меня на время от ближневосточных дел.

9. Переговоры в Каире

12 сентября 1944 года в Москве было подписано соглашение о перемирии с Румынией. А 13 сентября каирские газеты, комментируя сообщение об этом, подавали под крупными заголовками новость о том, что в московских переговорах наряду с другими членами советской делегации участвовал и посол СССР в Египте. Новость вызвала у непосвященных законное недоумение. В самом деле, почему советский посол, только что вернувшись из длительной поездки в Сирию, Ливан и Палестину, вдруг оказывается в Москве и ведет там переговоры о перемирии с Румынией?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с некоторых военных и политических событий конца 1943 года.

Разгром румынской армии на Дону и под Сталинградом, назревающий в стране острый политический кризис, широкое распространение в армии духа пораженчества, охватившего и офицерский корпус, вынудили правящие круги Румынии еще осенью 1943 года всерьез задуматься о способах прекращения бесперспективной войны. Фашистская клика маршала Антонеску, а заодно с нею и оппозиционные буржуазно-помещичьи партии национал-царанистов и национал-либералов надеялись, что им удастся заключить сепаратное соглашение с Англией и США, которое позволит последним высадить в Румынии военно-воздушный десант и тем самым предотвратить оккупацию Балкан Красной Армией.

С этой целью румынский посланник в Анкаре А. Крецяну вступил в контакт с англичанами. Однако наши западные союзники, готовившиеся тогда к Тегеранской конференции, сочли это предложение нереальным и посоветовали румынской стороне вести переговоры о мире со всеми тремя главными державами антигитлеровской коалиции.

Ранней весной 1944 года румынские правящие круги предприняли новую попытку выйти из войны путем сепаратного сговора с западными союзниками. Переговоры теперь поручались не официальным дипломатам, а эмиссарам оппозиционных партий — князю Барбу Штирбею (от партии национал-царанистов, возглавляемой Юлиу Маниу) и Константину Вишояну (от национал-либералов). В начале марта Штирбей прибыл в Анкару. Центральный пункт его предложений англичанам

предусматривал высадку на румынской территории английских и американских авиадесантных дивизий. Но теперь, после Тегеранской конференции, и в особенности после того, как Красная Армия вплотную подошла к румынской границе, эта перспектива была дальше от реализации, чем когда-либо. Английское и американское правительства не могли не считаться с этим фактом, и их дипломатические представители в Анкаре порекомендовали князю Штирбею ехать в Каир для ведения переговоров с представителями трех держав.

От имени Советского правительства участие в этих переговорах было поручено мне.

Заседания представителей трех держав по вопросу о перемирии — в присутствии румынского эмиссара или без него — проходили в здании английского посольства.

За день до первого заседания глава делегации князь Штирбей выразил — через англичан — пожелание предварительно представиться мне и побеседовать в частном порядке. Я дал на это согласие.

Доставил его в наше посольство офицер английской разведки, а в гостиную ввел один из наших секретарей. Еще не видя его, я уже заранее проникся к нему глухой неприязнью. Как-никак, а он олицетворял собою воюющую против нас клику, которая направила своих солдат на нашу территорию. И хотя сам Штирбей не проливал ничьей крови, все же, как видный политический деятель, поддержавший вначале разбойничью войну, он также нес большую долю вины за нее. Умеряла мою неприязнь только мысль, что ныне князь Штирбей относится к числу тех сил во враждебном стане, которые, отрезвившись от шовинистического угара, решились выйти из войны. Все же принял я его с подчеркнутой холодностью.

Продержав его несколько минут одного в гостиной, я открыл дверь своего кабинета. Князь Штирбей — пожилой, сухощавый, аристократически лощеный — стоял посреди комнаты, с напряженно выжидающим выражением на лице, явно смущенный. Он поклонился мне и после моего ответного поклона торопливо заговорил по-французски:

— Ваше превосходительство, я почитаю за великую честь для себя, что мы с вами будем совместно трудиться во имя благородной цели примирения наших стран.

Я не был расположен отвечать ему в таком же выспреннем тоне и сухо промолвил:

— Я удовлетворил вашу просьбу о свидании, считая, что оно послужит на пользу делу. Я готов вас выслушать.

Жестом я предложил Штирбею сесть в кресло и уселся сам. Постепенно оправляясь от смущения, Штирбей изложил мне цели своей миссии.

— В Каир я направлен теми общественными силами нашей страны, которые пришли к твердому решению покончить с войной,— начал он.— Учитывая присутствие на румынской территории крупных вооруженных сил Германии, сделать это будет нелегко, что, однако, не умаляет нашей решимости идти по новому пути. Сейчас для нас очень важно уяснить себе, каков будет военно-политический статус Румынии, когда она прекратит военные действия против России. В Анкаре я вел на этот счет предварительные беседы с английскими дипломатами. Здесь, в Каире, я намерен узнать согласованное мнение трех держав, после чего руководство Румынии примет свое решение.

Я задал Штирбею ряд вопросов. Для начала я попросил его уточнить, кого, собственно, румынская делегация представляет? По одной из циркулирующих версий, она послана двумя оппозиционными партиями и в таком случае выступать от имени румынского правительства не уполномочена. По другой версии, ее поездка санкционирована королем Михаем, но не ясно, с ведома ли правительства, возглавляемого маршалом Антонеску?

Штирбей ответил, что инициативу в посылке делегации проявили руководители национал-царанистской и национал-либеральной партий, но что король Михай, придворные круги и часть генералитета также одобрили ее.

— А как к ней отнесся маршал Антонеску? Не отдав себе отчета в том, как он поступит в решающий момент, невозможно строить планы выхода из войны.

После короткой паузы Штирбей сказал:

— По моему мнению, Антонеску еще не убежден в неизбежности поражения Гитлера и потому колеблется. Однако,— уверенно продолжал он,— в случае противодействия Антонеску, король Михай и оппозиция могут опереться на генералитет и большинство офицерского корпуса.

В этой же плоскости предварительного зондажа протекала беседа с румынским эмиссаром и на первом официальном заседании представителей трех держав — 17 марта. Инициативу в уточнении румынской позиции наши американские и английские коллеги целиком предоставили мне. Формально мотивировалось это тем, что я представляю единственную из трех союзных держав, которая ведет военные действия крупного масштаба против Румынии и, следовательно, наиболее заинтересована в благоприятном исходе переговоров. Фактически же дело было в другом. Я не сомневался, что мои коллеги уже получили от Штирбея все необходимые для них сведения, заверения и поже-

лания — то ли еще в Анкаре, то ли в Каире, сразу же по его прибытии сюда. Можно было даже с некоторым основанием предполагать, что за кулисами наших официальных заседаний со Штирбеем ведутся какие-то параллельные переговоры.

На этом первом заседании князь Штирбей в своем пространном выступлении, сделанном от имени «оппозиционных» партий, разъяснил союзным представителям нынешнюю позицию этих партий в вопросе о войне.

Самым важным в его заявлении был вопрос о румынских условиях выхода из войны. Основное из них сводилось к тому, что Румыния не намерена воевать против фашистской Германии и что на ее территорию должны быть введены войска западных союзников. Нетрудно было видеть, что подобные условия в завуалированной форме преследовали цель осложнить военные действия Красной Армии против вермахта и послужили бы сильнейшим тормозом освобождения Балканских стран из гитлеровской неволи, в силу чего не могли быть приемлемы для Советского Союза.

В тот же день я информировал Наркоминдел о румынских предложениях, охарактеризовав их как неудовлетворительные. В Москве вообще выразили сомнение в том, что румынская «оппозиция» способна на какие-либо действия против Антонеску. Следствием этого явилась нота Советского правительства от 22 марта, адресованная английскому правительству, в которой, в частности, говорилось:

«Что касается самого Маниу, то теперь стало ясно, что он не принадлежит к числу таких лидеров, которые могут вести борьбу против Антонеску, а скорее следует считать, что то, что он делает, он делает с разрешения Антонеску, являясь лишь орудием в его руках. С другой стороны, ни из сообщений Штирбея, ни из других данных сейчас не видно, чтобы Антонеску проявлял интерес или стремился к переговорам с союзниками по поводу выхода Румынии из войны и перехода на сторону союзников против Германии. Ввиду такого положения приходится сделать вывод, что, судя по имеющейся информации, нет оснований придавать значение сообщению Штирбея и следует выразить сомнение в том, что переговоры, которые велись с князем Штирбеем в последние дни в Каире, могут привести к положительным результатам».

Несмотря на обоснованность аргументации советской ноты от 22 марта, правительства Англии и США настаивали на продолжении переговоров в Каире, с чем Советское правительство не без колебаний согласилось.

К этому времени военное положение Румынии стало критическим. Соединения Красной Армии, преследуя отступающего

врага, отбросили его за Прут и Днестр и подступили к Яссам, крупному административному центру Восточной Румынии. В связи со вступлением советских войск на румынскую территорию вечером 2 апреля Советское правительство сделало очень важное заявление, в котором, в частности, говорилось, что Советский Союз «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии» и что «вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника». Таким образом, Советский Союз гарантировал целостность румынской территории и невмешательство во внутренние дела Румынии, не покушался на ее государственный суверенитет.

Почти одновременно с заявлением Советского правительства Верховное Главнокомандование Красной Армии приостановило наступательные операции на румынском участке фронта. Решение это было связано с тем, что в Каире в тот момент велись переговоры о выходе Румынии из гитлеровского блока. Военно-политическое руководство Румынии получило дополнительную возможность предпринять необходимые шаги для перехода на сторону союзников.

Той же цели способствовали и разработанные Советским правительством великодушные условия перемирия. Их текст я получил из Наркоминдела 10 апреля вместе с указанием согласовать их с представителями союзников, что я безотлагательно и сделал, не встретив со стороны последних никаких возражений или пожеланий.

На официальном заседании 12 апреля я вручил князю Штирбею текст условий перемирия, которые ввиду их важности процитирую дословно:

«1. Разрыв с немцами и совместная борьба румынских войск и войск союзников, в том числе и Красной Армии, против немцев в целях восстановления независимости и суверенитета Румынии.

2. Восстановление советско-румынской границы по договору 1940 г.

3. Возмещение убытков, причиненных Советскому Союзу военными действиями и оккупацией Румынией советской территории.

4. Возвращение всех советских и союзных военнопленных и интернированных.

5. Обеспечение возможности советским войскам, так же как и другим союзным войскам, свободно передвигаться по Румынской территории в любом направлении, если этого потребует военная обстановка, причем румынское правительство

должно оказать этому всемерное содействие своими средствами сообщения, как по суше и воде, так и по воздуху.

6. Согласие Советского Правительства на аннулирование решения венского арбитража о Трансильвании и оказание помощи в освобождении Трансильвании».

Казалось бы, подобные условия наряду с приостановкой наступления Красной Армии на румынском фронте должны были послужить стимулом для оживления переговоров в Каире и для быстрого достижения перемирия. Однако этого не случилось. Советские условия, широко признанные на Западе правительственными и общественными кругами как «великодушные», «разумные», «умеренные» и т. д., не устраивали ни Антонеску, ни румынскую «оппозицию», потому что в их намерения не входило воевать против Германии еще и потому, что перед их мысленным взором все еще маячил мираж массированного англо-американского воздушного десанта.

21 апреля через князя Штирбея маршалу Антонеску и «оппозиционному блоку» было предъявлено категорическое совместное требование трех держав дать недвусмысленный ответ по поводу условий перемирия и предпринять шаги, которые свидетельствовали бы о готовности Румынии выйти из войны. В ответ Антонеску дал понять, что от дальнейшего участия в переговорах он отстраняется.

26 мая в Каир прибыл еще один эмиссар «оппозиционного блока» — Константин Вишояну, бывший румынский посланник в Гааге и Варшаве. С его ожидавшимся приездом у меня связывались смутные надежды на более трезвый подход «оппозиции» к вопросу о перемирии. Однако ближайшее знакомство с Вишояну и его «дипломатическим багажом», состоявшееся на заседании 27 мая, развеяло эти надежды. Правда, он туманно говорил о создании в ближайшем будущем национально-демократического блока (национал-царанисты, национал-либералы, коммунисты и социал-демократы), целью которого будет свержение диктатуры Антонеску, но при этом добавлял, что основой переворота должна быть высадка в Румынии англо-американского десанта.

Получалась, по пословице, старая погудка на новый лад. Вывод в сложившейся ситуации напрашивался сам собой: при нынешней стратегии «оппозиции» ни о каком перемирии не могло быть и речи и, следовательно, продолжать переговоры не имело смысла. Учитывая это, Наркоминдел дал мне указание добиться от союзников совместного решения о прекращении переговоров. Поставленные перед фактом саботажа со стороны Маниу, союзные представители согласились с нашей инициативой. Принятое 1 июня решение гласило:

«Ввиду положения, создавшегося в связи с последними телеграммами Маниу, представители трех держав считают необходимым заявить румынским делегатам, что дальнейшие переговоры бесполезны, и они считают их законченными».

На этом каирский этап переговоров о выходе Румынии из войны практически завершился. Правда, в середине июня Маниу с согласия короля Михая сообщил, будто бы он принимает советские условия. Но он и на этот раз выдвинул в качестве своего непременного условия требование воздушного десанта. Естественно, что представители трех держав не нашли основания для пересмотра своего решения.

В июле, как известно, я совершил поездку в Сирию, а затем в Ливан и Палестину. В мое отсутствие советник посольства Д. С. Солод еще продолжал в редких встречах поддерживать контакт с румынскими эмиссарами, но никакого результата это не давало. Решение вопроса о выходе Румынии из гитлеровского блока, оказавшееся не по плечу буржуазно-помещичьим партиям, пришло иным путем.

В Румынии в описанный период развертывались события, значительно укрепившие антивоенное и антифашистское движение. 1 мая 1944 года румынская компартия договорилась с социал-демократами о создании Единого рабочего фронта. Вскоре после этого руководимый компартией Патриотический антигитлеровский фронт достиг соглашения с буржуазной политической группировкой Татареску о совместных антифашистских действиях. Расширяя фронт антивоенных организаций, компартия начала также переговоры с дворцовыми кругами и лидерами национал-либеральной и национал-царанистской партий. В ночь с 13 на 14 июня состоялось совещание, на котором присутствовали несогласные с политикой Антонеску генералы и старшие офицеры. Совещание рассмотрело план вооруженного восстания, разработанный компартией. Тогда же был назначен Военный комитет. 20 июня было подписано соглашение о создании Национально-демократического блока, в который вошли коммунисты, социал-демократы, национал-либералы и национал-царанисты. Создание Национально-демократического блока способствовало изоляции правительства и повышало шансы на успех восстания.

Из своей сорокадневной поездки в страны Леванта я вернулся в Египет к самому началу решающих событий на советско-румынском фронте и в самой Румынии. Утром 20 августа развернулось гигантское наступление войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, вошедшее в историю Великой Отечественной

войны под названием Ясско-Кишиневской операции. В течение 10 дней была наголову разгромлена одна из крупнейших вражеских группировок, преграждавшая дорогу на Балканы, освобождена вся территория Молдавской ССР, заняты все восточные и часть центральных районов Румынии, включая районы нефтяных промыслов.

21 августа, приехав из Александрии в Каир, я первым же делом связался с «каирскими румынами», как мы в посольстве иногда именовали Б. Штирбея и К. Вишояну. Оба были очень растеряны, даже напуганы; им, видимо, мерещилось, что Румыния уже погибла. Новых указаний из Бухареста в последние дни они не имели, если не считать телеграммы Маниу от 20 августа с очередным стереотипным требованием добиваться направления в Румынию англо-американского десанта.

Тем временем мощные удары Красной Армии по немецкой группе армий «Южная Украина» воодушевили патриотические силы Румынии, готовившие свержение режима Антонеску. 24 августа Каирское радио сообщило волнующую новость о том, что вечером 23 августа в Бухаресте произошло вооруженное восстание, что правительство Антонеску свергнуто и сам он содержится под стражей. А в ночь с 24 на 25 августа Московское радио передало Заявление Наркоминдела СССР в связи с событиями в Румынии, в основном повторявшее правительственное заявление от 2 апреля и условия перемирия от 12 апреля.

Получил я наконец важные известия и от «каирских румын». Утром 24 августа князь Штирбей посетил меня в посольстве и взволнованным голосом сообщил, что новое румынское правительство во главе с генералом К. Санатеску решило заключить перемирие с Советским Союзом и изгнать германские войска с румынской территории. Правительство Санатеску рассматривает его, Штирбея, и Вишояну как своих официальных уполномоченных и поручает им как можно скорее заключить перемирие, приняв советские условия. Позднее, в этот же день, он получил инструкцию правительства, предлагавшую румынским уполномоченным добиваться, чтобы в советские условия перемирия был включен пункт о некой «свободной зоне» вокруг Бухареста, куда наступавшие войска Красной Армии не имели бы доступа. Но обсуждать с румынскими делегатами эти вопросы в Каире мне уже не пришлось.

25 августа вечером я получил из НКИД предписание срочно вылететь в Москву в связи с возобновлением переговоров о перемирии — теперь уже на правительственном уровне, в Москве. Мне также поручалось предложить Штирбею и Вишояну вылететь вместе со мной для участия в новом туре переговоров, о чем я и сообщил им в субботу 26 августа.

Суббота и воскресенье были не самыми удачными днями для срочного согласования вопросов о визах, о воздушном транспорте и т. д. Однако в конце концов все утряслось, правда не без серьезного нарушения жестких официальных правил и инструкций как со стороны нашего посольства, так и английских властей. Чего не сделаешь во имя военной необходимости!

В понедельник 28 августа английский бомбардировщик, превращенный на один рейс в пассажирский самолет, доставил меня и моих румынских спутников в Тегеран. Здесь нам не повезло: Эльбурсский хребет был окутан низкой облачностью и самолеты на Баку не летали. Пришлось в Тегеране задержаться. Работники советского посольства устроили меня в загородном отеле «Дербенд», расположенном в живописном горном ущелье, а заботу о Штирбее и Вишояну взяли на себя англичане. Не улетели мы и на следующий день. До чего же томительно было торчать целый день в отеле, с минуты на минуту ожидая сигнала к выезду на аэродром! И это в момент, когда спешишь по неотложному делу!

Вылетели из Тегерана лишь 30 августа в полшестого утра советским самолетом. В пути от Баку до Москвы мои румынские спутники не проявляли особого любопытства. Только над Сталинградом несколько оживились и пристально вглядывались в развалины еще не восстановленного города. Вообще по преимуществу они пребывали в состоянии подавленности, да еще испытывали беспокойство из-за того, что перед отъездом из Каира не успели получить от нового правительства детальных инструкций для переговоров. Я заверил, что в Москве их обеспечат связью с Бухарестом. Ведь, судя по сообщениям радио, советские части уже должны были вступить в румынскую столицу.

В Москву мы прибыли в 17 часов 20 минут. В Центральном аэропорту я передал своих румынских спутников на попечение сотрудников Протокольного отдела НКИД и Отдела внешних сношений Наркомата обороны. От них же узнал, что накануне из Бухареста прилетела еще одна группа румынских представителей во главе с министром юстиции Л. Патрашкану и вице-министром внутренних дел генералом Д. Дэмэчану. На другой день в газетах было напечатано сообщение под заголовком «Румынские дела», в котором извещалось о прибытии в Москву румынской правительственной делегации и перечислялись все делегаты, без уточнения, кто откуда приехал. При этом фамилии Штирбея и Вишояну фигурировали в самом начале перечня — за ними, как за делегатами со стажем, признавался приоритет.

Из аэропорта я буквально на две минуты заехал на свою московскую квартиру, только для того, чтобы оставить там вещи,— в наркомате меня ждали. «Едва бросив вещи дома,— записывал я вечером 1 сентября в дневнике,— я примчался, небритый и неумытый, в наркомат, где меня уже повсюду разыскивали, чтобы отвести к наркому. Приниматься за работу пришлось немедленно. Хорошо еще, что в полете я чувствовал себя прилично. Сегодня я уже третий день без передышки занимаюсь делами, ради которых был вызван сюда. Дважды был у наркома. Через десять минут еду в Кремль на свидание с ним в третий раз».

Вовсю шла работа над проектом соглашения о перемирии. Первоначальные, апрельские условия перемирия, изложенные в тезисной форме, теперь надлежало сформулировать в виде конкретных пунктов дипломатического документа, с учетом новых военных и политических обстоятельств.

Для его подготовки и согласования с представителями союзных держав, а также для переговоров с румынами была назначена делегация во главе с В. М. Молотовым. От НКИД СССР в нее вошли А. Я. Вышинский, И. М. Майский и я, от НКИД УССР — Д. З. Мануильский. Советские Вооруженные Силы были представлены генерал-майором В. П. Виноградовым и контр-адмиралом В. Л. Богденко. Участие военных в разработке проекта было абсолютно необходимо: ведь из 20 пунктов соглашения добрая половина предусматривала мероприятия военного и военно-административного порядка.

Помимо вопросов военного и политического характера в проекте затрагивались и финансово-экономические вопросы, требовавшие консультаций с соответствующими ведомствами. Вся эта подготовительная работа выливалась в многочисленные совещания, встречи, телефонные разговоры. А когда проект был в основном разработан, начались совещания советской делегации с представителями США и Англии. От США на этих заседаниях присутствовали американский посол в Москве, всегда хмурый Аверелл Гарриман и советник-посланник Джордж Кеннан, хмурый не менее своего шефа. Англию представлял посол Арчибальд Джон Кларк Керр. Союзники были настроены в общем очень уступчиво, благодаря чему текст проекта был согласован с ними почти без трений.

Пока шла внутренняя и межсоюзническая подготовка проекта, румынская делегация, размещенная в особняке в переулке Островского, привлекалась к участию в работе лишь эпизодически и не в полном составе. Деловая связь с нею осуществлялась главным образом через Л. Патрашкану, представлявшего в новом правительстве Румынии коммунистическую партию.

Только на заключительном этапе к переговорам подключились и другие румынские делегаты — генерал Д. Дэмэчану, Б. Штирбей и Г. Поп. Румынские представители помогли уточнить отдельные детали соглашения. Что касается его основных условий, то их принятие румынской стороной было предопределено общим ходом событий.

Преамбула Соглашения четко характеризовала это обстоятельство в следующей формуле: «Правительство и Главное Командование Румынии, признавая факт поражения Румынии в войне против Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и других Объединенных Наций, принимают условия перемирия, предъявленные Правительствами упомянутых трех Союзных держав, действующих в интересах всех Объединенных Наций».

Подписание Соглашения о перемирии состоялось 12 сентября 1944 года в присутствии всех делегаций. По уполномочию правительств СССР, Великобритании и США его подписал командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, войска которого совместно с войсками 3-го Украинского фронта провели грандиозную Ясско-Кишиневскую операцию. С румынской стороны Соглашение о перемирии подписали Л. Патрашкану, Д. Дэмэчану, Б. Штирбей и Г. Поп.

Этот официальный акт знаменовал собою событие выдающегося значения — начало быстрого распада гитлеровского агрессивного блока. «Румыния с 4 часов 24 августа 1944 г. полностью прекратила военные действия против СССР на всех театрах войны, вышла из войны против Объединенных Наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами, вступила в войну и будет вести войну на стороне Союзных держав против Германии и Венгрии в целях восстановления своей независимости и суверенитета, для чего она выставляет не менее 12 пехотных дивизий со средствами усиления» — такова была формулировка пункта 1 Соглашения о перемирии. Немного позднее с некоторыми вариантами она фигурировала в ряде других аналогичных соглашений. Ведь Румыния была лишь первым из гитлеровских сателлитов, разбитых Красной Армией и подписавших Соглашения о перемирии. Уже в сентябре ее примеру последовали Болгария и Финляндия, а в январе 1945 года — и Венгрия.

Для румынского народа военное сотрудничество с великой социалистической державой открыло перспективы глубокой демократизации, что было обусловлено в Соглашении. Процесс этот не был ни кратковременным, ни легким; он проходил в ожесточенной борьбе сил прогресса с силами реакции. Но

реальные возможности реакции были ограниченны. Защитников и покровителей в лице англо-американских десантников они так и не дождались. А присутствие в стране советских войск не позволило им прибегнуть к столь обычному для буржуазного государства средству подавления народных масс, как полицейский террор. Трон короля Михая зашатался и через три с лишним года окончательно рухнул, увлекая за собой и буржуазно-помещичий строй Румынии.

Путь для утверждения в стране народно-демократического, а в дальнейшем и социалистического строя был расчищен.

10. Снова на распутье

Подготовка Соглашения о перемирии и подписание его проходили на фоне больших изменений в международной обстановке. Вот лишь несколько беглых штрихов, характеризующих эти изменения,— заимствую их из моего дневника за 20 сентября:

«Прошло только три недели с момента последней записи. Сколько событий за это время произошло! Почти вся Франция и Бельгия освобождены, их правительства водворились в своих столицах. Румыния почти целиком занята Красной Армией. 12 сентября с нею заключено перемирие. За это время началась и закончилась трехдневная бескровная война с Болгарией. Теперь Красная Армия в Болгарии, а болгарские войска сражаются против германской армии. Красная Армия освободила Прагу (варшавскую), ведет широким фронтом наступление в Прибалтике. С Финляндией вчера было подписано перемирие... Да разве перечислишь все события?»

Далее, говоря о себе, я прибавил, что «в моей жизни тоже нет застоя». Для такого утверждения имелись веские основания.

Румынские дела, ради которых меня вызвали в Москву, были уже позади. Соглашение о перемирии претворялось в жизнь. Для наблюдения за ходом его осуществления была создана Союзная контрольная комиссия под председательством маршала Малиновского. В качестве политического советника при маршале Малиновском в Бухарест вылетел бывший советский посланник в Софии Лаврищев.

Казалось бы, мне оставалось только упаковать чемодан и вернуться в Каир для исполнения своих прямых обязанностей. Однако у меня был достаточный опыт дипломата военного времени, чтобы ожидать какой-нибудь новой превратности судьбы. Мое предчувствие и некоторые сопоставления подска-

зывали мне, что она назревает и вот-вот превратится в действительность. Наибольшие шансы были за то, что дорога теперь мне предстоит не в Каир, а в Бухарест.

На чем основывалось такое предположение? Во-первых, на том, что я — «старый румын», ведавший в 1940—1941 годах румынскими делами в НКИД, побывавший осенью 1940 года в Румынии. Во-вторых, на том, что я вел в Каире, а потом в Москве переговоры о перемирии с Румынией. Все это логически подводило к выводу о том, что моя кандидатура может быть выдвинута на пост, связанный с румынскими делами,— скажем, в комиссии по контролю за выполнением перемирия. Отъезд в Бухарест Лаврищева именно в этом амплуа поначалу развеял мое предположение. Но уже несколько дней спустя нарком объявил мне, что меня намерены послать в Бухарест. Я не очень удивился его словам, так как психологически был подготовлен к ним, и лишь спросил: «А как же товарищ Лаврищев?» Ответ наркома гласил, что Лаврищев отзывается. Немного позже все стало на свои места: Лаврищев был назначен на аналогичный пост при Союзной контрольной комиссии в Болгарии.

Несколько дней я чувствовал себя уже в новой роли политического советника Контрольной комиссии и, выполняя указание наркома, тщательно знакомился с донесениями из Бухареста и с другими материалами по Румынии. По словам Молотова, мой отъезд в Бухарест был делом ближайших дней. Лично для меня серьезной проблемы в этом не было. Я только попросил у наркома разрешения съездить за семьей в Каир, где заодно, следуя общепринятому обычаю, мог бы официально проститься с представителями египетского правительства. Нарком ответил отказом.

Но вечером 20 сентября мои «румынские» планы неожиданно повисли в воздухе. Будучи вызван в Кремль к наркому, я полагал, что это мое последнее свидание с ним перед отлетом в Бухарест и что сейчас я получу от него соответствующие напутствия. Вместо этого я услышал нечто совсем иное. Молотов заявил, что, дополнительно рассмотрев вопрос о моей дальнейшей работе, руководство наркомата решило направить меня... в Вашингтон. Речь шла о новой тогда для наших посольств должности советника-посланника, с сохранением за мной ранга посла. В качестве мотива такого решения Молотов привел большую загруженность нашего посла в США А. А. Громыко вопросами, связанными с созданием ООН, вследствие чего ему требовалась квалифицированная помощь в повседневной работе посольства.

На этот раз я был чрезвычайно удивлен. Такого поворота

судьбы я никак не предвидел. И хотя на вопрос наркома о моем согласии, в сущности чисто формальный, я дал положительный ответ, мне понадобилась решительная психологическая перестройка, чтобы свыкнуться с мыслью о своем новом назначении, о совершенно ином характере и масштабе работы в такой стране, как Соединенные Штаты.

В тот же день вечером я позвонил наркому и сказал, что, поскольку оформление в Вашингтон во всех инстанциях потребует немало времени, я не вижу смысла задерживаться дольше в Москве без определенного дела. Окончательного решения мне лучше дождаться в Каире, где с работниками сейчас очень туго. Советник посольства Д. С. Солод, в мое отсутствие исполнявший обязанности поверенного в делах, сейчас из Каира отзывается, так как 14 сентября назначен посланником в Сирии и Ливане одновременно. Выслушав мои доводы, Молотов согласился, правда не без колебаний. Не ожидая, пока он передумает, я договорился с управляющим делами НКИД М. С. Христофоровым о том, чтобы он обеспечил мой отлет в Тегеран на следующий день. А самому мне собираться в дорогу было незачем. Чемодан мой давно стоял упакованный, оставалось только неясным, куда его везти.

22 сентября я вылетел из Москвы и к вечеру прибыл в Тегеран. Прожил я в нем почти четверо суток, так как с воздушным сообщением, как всегда, произошла какая-то заминка.

Но нет худа без добра. Во время моих двух предыдущих остановок в иранской столице мне было не до осмотра города. Теперь же, наоборот, времени у меня хватало, и я пользовался им, как заядлый турист. В моих туристских вылазках меня иногда сопровождал один из сотрудников советского посольства.

Мой вынужденный досуг кончился, когда американцы предоставили мне место в военно-транспортном самолете, отправляющемся 26 сентября в Каир.

В Каире, едва я появился в посольстве, мне показали только что полученную из Москвы телеграмму. В ней сообщалось, что мое назначение советником-посланником в Вашингтон официально утверждено, и мне предлагалось вылететь вместе с семьей в Москву для дальнейшего следования к месту новой работы. Никакого сюрприза для меня в шифровке не содержалось — разве что в ней недоставало сакраментального словечка «немедленно», к которому я так привык в годы войны. Его отсутствие я воспринял как молчаливое согласие Наркоминдела на то, чтобы выехать из Египта с соблюдением традиционных протокольных норм, о чем я говорил наркому еще в Москве.

Но было в телеграмме и нечто такое, что вызывало у меня недоумение. Зачем, спрашивается, мне лететь с семьей в Вашингтон по длиннейшему маршруту — через Москву, всю Сибирь, Аляску, Канаду и значительную часть территории США? Намного короче и легче, особенно для семьи, был воздушный маршрут от Каира через Северную Африку до Касабланки (в Марокко) и оттуда, через Азорские острова, на Вашингтон.

Я изложил эти соображения в ответной телеграмме и просил согласия на более короткий маршрут. К этому я добавил, что если мне нужно быть в Москве для получения инструкций в связи с новой работой, то я могу еще раз съездить туда один, без семьи.

Ожидая указаний, я занялся протокольными делами. В первую очередь я в самом конце сентября нанес визит Наххас-паше, известил его, что в связи с моим новым назначением в ближайшее время должен покинуть Египет. Известил я его также о том, что в начале октября уезжает из Каира и советник посольства Д. С. Солод, назначенный посланником в Сирию и Ливан, вследствие чего поверенным в делах после моего отъезда временно остается секретарь посольства П. М. Днепров. Наххас-паша, принявший меня в присутствии статс-секретаря Салахэддин-бея, не поскупился на сожаления по поводу отъезда сразу двух советских дипломатов и на комплименты в связи с нашей деятельностью по развитию дружественных отношений между Египтом и СССР.

В течение первой недели октября я встречался со многими коллегами по дипкорпусу и с теми лицами, официальное прощание с которыми предписывалось египетским протоколом. В целях экономии времени прощался я не только персонально, но и коллективно. 7 октября посольство устроило пятичасовой прием в моей квартире, где присутствовали члены правительства, общественные деятели, дипломаты.

Принимал я и сам некоторые приглашения. Напоследок не обошли меня своим вниманием король Фарук и Наххас-паша. Первый пригласил меня с женой посетить перед отъездом Луксор (в Верхнем Египте), а второй — на прощальный обед в МИД, наметив его на 12 октября — день нашего возвращения из Луксора. Оба приглашения были мною, разумеется, приняты.

Трехдневная поездка в Луксор, истинный заповедник бесчисленных памятников далекой старины, была незабываемым событием. К сожалению, мои приятные впечатления о нем были сильно омрачены теми новостями, которыми меня встретил Каир по возвращении.

Вернее, узнал я о них еще на обратном пути, в поезде, ознакомившись по газетам с текстом королевского рескрипта от

8 октября об отставке правительства Наххас-паши. Выходит, подумал я, что Фарук чувствует себя очень уверенно, если решил свергнуть вафдистское правительство и, таким образом, свести счеты со своим главным политическим врагом. Но этот решительный шаг короля означает по меньшей мере согласие со стороны Форин офис, который в последние годы делал ставку на Вафд. А может быть, даже не просто согласие, а прямой сговор с ним? По всей вероятности, Форин офис не простил Наххас-паше его смелой августовской речи и «посоветовал» Фаруку поставить во главе правительства деятеля с недвусмысленно проанглийской ориентацией.

Формирование нового кабинета король Фарук поручил лидеру проанглийской партии Саад Ахмеду Махиру, коллегами которого стали злейшие политические враги Наххас-паши. Министром иностранных дел был назначен другой лидер саадистов — Махмуд Нукраши-паша.

12 октября, явившись с поезда прямо в посольство, я нашел у себя на столе пригласительный билет-напоминание об обеде в МИД — о том самом прощальном обеде, который собирался мне дать в этот же день Наххас-паша. Только приглашение исходило уже от Махмуда Нукраши и его супруги.

Обед прошел не в такой дружественной атмосфере, к какой я привык в бытность Наххас-паши министром иностранных дел. Однако с формальной стороны все было в порядке.

Это был последний день моего пребывания в Египте. Еще утром в посольстве мне показали телеграмму, лаконично предписывавшую мне немедленно вылететь в Москву. Одному, без семьи. Немудрено, что я принял эту шифровку за согласие Наркоминдела на мое предложение, сделанное с декаду назад. Поэтому в дневнике за 12 октября я записал: «Завтра в 6 час. 30 мин. утра вылетаю в Тегеран для дальнейшего следования в Москву. Там должен получить указания по своей новой работе, после чего через Каир полечу в Вашингтон».

Я сильно заблуждался: вернуться в Каир мне было не суждено. И лететь предстояло не в Вашингтон...

В заключение коротко остановлюсь на политической ситуации в Египте в момент, когда я покидал его.

Король Фарук беспечно торжествовал победу, одержанную им с помощью англичан, и, видимо, воображал, что дело идет к укреплению его самодержавной власти. В действительности же он сидел на пороховой бочке. Его усилившиеся деспотические замашки, крайняя нравственная распущенность подрывали устои и без того шатавшегося феодально-помещичьего строя

Египта. «Сам образ жизни Фарука,— отмечает египетский историк Абдрахман ар-Рафии в своей книге «Предыстория революции 1952 г.»,— был сигналом к окончанию его эпохи; он соединял в себе все пороки, которыми обладали предшествовавшие ему правители». Бурный подъем национально-освободительного движения в первые послевоенные годы перерос вскоре в антимонархическую июльскую революцию 1952 года, возглавленную организацией «Свободные офицеры».

Исход ее всем известен. 26 июля король Фарук отрекся от престола и был изгнан из пределов страны. Египет — нынешняя Арабская Республика Египет — вступил на путь самостоятельного национального существования.

В предрассветных сумерках 13 октября я вышел к машине, которая уже сигналила, готовая отвезти меня на аэродром. Самолет поднялся в воздух точно по расписанию и к исходу дня исправно доставил меня в Тегеран, где я, как обычно, бесцельно проторчал несколько дней.

Двинулся я в дальнейший путь лишь 16-го, прилетев в тот же день вечером в дышавшую ранним, почти зимним холодом Москву. Поселился в гостинице «Националь».

На другой день после приезда в Москву я был принят наркомом. Он предложил мне энергично знакомиться с американскими делами, говорил о важности задач нашего посольства в Вашингтоне, о некоторых проблемах советско-американских отношений. В сущности, ничего нового об этом я не услышал и справедливо усомнился, что именно ради такого «инструктажа» был вызван в Москву. Нарком как будто чего-то недоговаривал.

Вечер 18-го каким-то чудом выдался для меня свободным, и я, раздобыв через Протокольный отдел билет в филиал МХАТа, отправился туда, чтобы насладиться остроумной «Школой злословия». Но... подойдя к своему месту в зрительном зале, я увидел, что там меня поджидает сотрудник Протокольного отдела. Оказывается, ему поручено было разыскать меня и доставить в Кремль на банкет у Председателя Совнаркома И. В. Сталина.

Банкет давался в честь находившихся тогда в Москве руководителей британского правительства У. Черчилля и А. Идена, которые вели с Советским правительством переговоры о будущем Германии, о польских делах, о политике в отношении балканских государств и по ряду других крупных проблем. Я не имел к этим переговорам касательства, но был в курсе их и знал, что в целом их можно было считать успешными. В день

их окончания — 18 октября — Советское правительство продемонстрировало по отношению к британским гостям сердечность и гостеприимство. Обед прошел, как отмечалось в официальном коммюнике, «в дружеской атмосфере и в оживленных беседах советских деятелей с гостями», и это соответствовало действительности. И. В. Сталин неоднократно выступал с пространными тостами, поднимал свой бокал, но сам почти не пил. Отвечал ему пышными тостами Черчилль, но в отличие от него регулярно осушал свой бокал.

Помимо У. Черчилля и А. Идена на обеде были послы Великобритании, Канады, Австралии и посланник Новой Зеландии, начальник британского имперского генштаба фельдмаршал А. Брук и несколько генералов. Американская сторона была представлена послом А. Гарриманом и несколькими генералами. С советской стороны присутствовали все заместители И. В. Сталина по Совнаркому, наркомы, почти все заместители В. М. Молотова по Наркоминделу, блестящая плеяда военачальников — Главный маршал авиации А. А. Новиков, Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, маршал бронетанковых войск Я. Н. Федоренко, маршал инженерных войск М. П. Воробьев, генерал армии А. И. Антонов. Никогда еще я не был в обществе с таким большим числом советских и иностранных государственных деятелей, военачальников и дипломатов.

По окончании обеда, когда большинство советских и иностранных гостей разъехалось, И. В. Сталин пригласил оставшихся в кинозал, чтобы показать им кинокартину «Антон Иванович сердится». Во время сеанса он сидел рядом с Черчиллем и Иденом и громко комментировал им происходящее на экране — через переводчика, конечно. Розовощекий толстяк и его стройный, лощеный сосед с деланным вниманием слушали перевод комментариев И. В. Сталина и диалога на экране, время от времени благодушно улыбаясь. По окончании фильма они попрощались с радушными хозяевами.

19 октября я узнал наконец то, что не было досказано раньше. Вечером в этот день я был вызван к наркому, который заявил мне, что возникли новые обстоятельства, мешающие выполнению моего варианта поездки в Америку через Каир и Северную Африку. Дело в том, что меня включили в состав делегации, которая на днях отправляется в Чикаго для участия в международной конференции по вопросам гражданской авиации. Для рассмотрения вопросов технического и экономического порядка в делегацию входят компетентные специалисты авиационного дела, а посол Громыко, назначенный ее главой, и я

должны обеспечить дипломатическую сторону соглашения. В связи с этим мне необходимо, не теряя времени, связаться с Главным управлением Гражданского воздушного флота, ознакомиться с соответствующими материалами и приготовиться к отлету. Вопрос об отправке в Америку моей семьи будет решен позднее, «в зависимости от обстоятельств».

Ох уж эти обстоятельства! Чего только не вытворяют они со мной и с моей семьей!

В те дни я записал в дневнике:

«Конференция открывается 1 ноября. После ее окончания я, по-видимому, отправлюсь в Вашингтон. Но кто может теперь предугадать мое местонахождение в ближайшие месяцы? Моя судьба полна превратностей. Ведь собирался же я вскоре вернуться в Каир, чтобы оттуда с семьей лететь в Вашингтон. А вместо этого лечу «холостяком» в очередную командировку».

Добавлю, что лететь предстояло через всю Сибирь, Аляску и Канаду. Для такого сугубо северного маршрута, в условиях уже царившей там зимы, у меня не было теплой одежды, а запасаться ею у меня уже не хватало времени, не до того было: вылет намечался на 22 октября...

Часть третья

НА ЗАПАДЕ



Посольство в Вашингтоне
Поверенный в делах СССР
Последние месяцы войны
Испытание на прочность
Испытание на прочность (окончание)
Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза
Парижская мирная конференция
Генеральная Ассамблея ООН
В эпицентре экспансии
На последнем этапе

1. Посольство в Вашингтоне

Из Москвы наша делегация, как и намечалось, вылетела 22 октября 1944 года — с большим запасом времени до открытия конференции в Чикаго.

Этапами нашего перелета над советской территорией стали Свердловск, Красноярск, Киренск, Якутск и Марково (на реке Анадырь), над Аляской — Фэрбенкс, над Канадой — Эдмонтон и Виннипег.

В Виннипег мы прибыли 27 октября и могли бы в тот же день добраться до Чикаго, но спешить нам было незачем — до открытия конференции оставалось еще четверо суток. Поэтому последний перелет мы отложили на 28 октября. А утром 28-го в номере гостиницы, который я делил с генерал-майором авиации А. Р. Перминовым, неожиданно раздался телефонный звонок из Вашингтона. Вызывали меня. Бесстрастный женский голос, осведомившись о том, кто у телефона, сказал по-русски, что сейчас со мною будет говорить посол Громыко.

Легко представить мое удивление, когда посол в крайне лаконичной форме передал только что полученное из Москвы распоряжение НКИД: делегации задержаться в Виннипеге впредь до новых указаний. От каких бы то ни было разъяснений Громыко уклонился, а я на них не настаивал — не обо всем удобно беседовать по международному телефону.

О своем разговоре с послом я тотчас сообщил членам делегации и экипажа. Все мы крайне недоумевали и строили всяческие предположения о причине задержки, но ни на одном из них так и не остановились.

Новое указание последовало только через два дня. Во вторичном телефонном разговоре Громыко передал нам новое ошеломляющее распоряжение НКИД: всему составу делегации, кроме меня, незамедлительно возвратиться в Москву прежним маршрутом, а мне — направиться в Вашингтон для постоянной работы в посольстве. Нужно ли распространяться о том, какие новые недоумения оно породило у членов делегации? И не только недоумения, но и законные сожаления о потерянном впустую времени на скрупулезную подготовку к конференции, на оказавшийся бесплодным столь дальний перелет и вынужденное безделье столь многих специалистов в условиях военного времени. Но приказ есть приказ, и спустя несколько часов делегация отбыла в обратном направлении.

Кое-что о подоплеке сенсационного происшествия я узнал

из местной газеты, цитировавшей сообщение Московского радио. Текст сообщения гласил, что СССР отказался участвовать в Чикагской конференции, так как для участия в ней приглашены также Швейцария, Португалия и Испания, которые в течение многих лет проводили профашистскую, враждебную Советскому Союзу политику. Трудно было предположить, что состав участников конференции не был известен Советскому правительству в момент, когда решался вопрос о посылке в Чикаго нашей делегации. Тогда, стало быть, причина крылась в чем-то другом? Но в Виннипеге, отрезанном от советских официальных источников информации, гадать об этом не имело смысла.

Так или иначе, а с моей «карьерой» делегата-авиационника было покончено. Теперь, в связи с предстоявшей мне поездкой в Вашингтон, на первый план вышли сугубо практические вопросы. В частности, вопрос о дальнейшем маршруте и о способе передвижения. Второй из них я решил сразу: по железной дороге. Что касается маршрута, то ехать в Вашингтон можно было и через Чикаго, и через канадскую столицу Оттаву. Пораздумав немного, я предпочел оттавский вариант. Во-первых, потому, что после отказа Советского правительства участвовать в конференции мое появление в Чикаго, хотя бы в качестве транзитного пассажира, могло дать повод для досужих репортерских вымыслов. Во-вторых, потому, что в Оттаве я мог связаться через наше посольство с Наркоминделом: мне не терпелось согласовать с ним немаловажный вопрос о «воссоединении» моей семьи.

Ведь в середине октября, срочно вызванный из Египта в Москву, я оставил в Каире жену с двумя малолетними детьми. Оставил, будучи убежден, что вскоре вернусь в Каир, чтобы вылететь с ними в Вашингтон через Северную Африку и Атлантику. Ныне, когда конференция больше не связывала мне рук, в дальнейшей моей разлуке с семьей не было никакой необходимости. Я надеялся, что нарком разрешит мне слетать в Каир и привезти оттуда в Вашингтон семью.

В Оттаве, куда я прибыл 1 ноября, соответствующая телеграмма наркому была отправлена. О его решении я просил сообщить в Вашингтон или в генконсульство в Нью-Йорке, где собирался провести пару дней.

Утром 3 ноября я выехал в машине посольства в Монреаль, а вечерним поездом отправился оттуда в Соединенные Штаты. Утро застало меня уже в окрестностях Нью-Йорка. На перроне вокзала меня встретил генеральный консул Е. Д. Киселев, которому я накануне сообщил по телефону о своем приезде. Следующие два дня я почти целиком провел в обществе этого деятельного, компетентного и жизнерадостного человека.

Вместе с Евгением Дмитриевичем я основательно поездил и побродил пешком по главным проспектам, площадям и паркам Нью-Йорка, знакомясь с характерными чертами этого гигантского города — средоточия миллионов тружеников, крупного центра культуры и в то же время основной цитадели американских империалистических монополий. А в понедельник 6 ноября я двинулся в дальнейший путь.

Четыре часа пути в скором поезде, и я на перроне вашингтонского вокзала, где меня ждет первый секретарь посольства Ф. Т. Орехов. Вместе с ним еду на такси в отель «Статлер», что на 16-й улице, в нескольких минутах ходьбы от посольства Советского Союза, расположенного на этой же улице. В «Статлере» Федор Терентьевич провожает меня в небольшой, заранее забронированный номер и предусмотрительно просвещает меня насчет здешних порядков в гостиницах, а затем спрашивает, не показать ли мне дорогу к зданию посольства? От его любезной услуги я отказываюсь, с улыбкой поясняя, что, благополучно добравшись до 16-й улицы через три континента, я постараюсь на этой улице не заблудиться.

После его ухода я за полчаса привожу себя в должный вид и пешком направляюсь в посольство: там до 17.00, как высказал предположение Ф. Т. Орехов, я, возможно, еще сумею застать на работе А. А. Громыко.

Что я знал об Андрее Андреевиче Громыко до того, как встретился с ним в Вашингтоне? Очень мало.

В 1939 году мы оба работали в центральном аппарате Наркоминдела, оба в роли заведующих отделами: он — Отделом американских стран, я — Ближневосточным. Несколько замкнутый по характеру, он избегал тесного общения со своими коллегами — «директорами департаментов», как мы в шутку именовали друг друга. А в конце 1939 года он был направлен в советское посольство в США на должность советника. В течение почти четырех лет он состоял в этой должности при послах К. А. Уманском и М. М. Литвинове. В октябре 1943 года он был утвержден послом.

Этими скудными сведениями, пожалуй, и ограничивались мои представления о после, с которым мне предстояло работать.

Моя первая встреча с послом была весьма непродолжительной.

Еще по дороге из вестибюля на второй этаж, где помещался кабинет Громыко, сопровождавшая меня секретарша Нина Ивановна Матвеева сообщила мне, что он только что кончил

писать доклад для предпраздничного собрания сотрудников посольства и собирался перед началом его отдохнуть у себя в квартире — этажом выше. Вероятно, это отчасти и сказалось в том, что принял меня Громыко как бы на ходу и с официальной сухостью.

Пытаясь как-то изменить атмосферу встречи, я тепло поздравил посла с награждением его орденом Трудового Красного Знамени, о чем я знал со слов Киселева. После краткой паузы Громыко лаконично произнес:

— Спасибо, вас тоже наградили. Таким же орденом.

Разговор у нас явно не вязался. Поэтому, обменявшись еще двумя-тремя фразами, я поднялся:

— Не стану сейчас больше задерживать вас, Андрей Андреевич. А в ближайшее время, полагаю, мы подробно поговорим о делах посольства и по поводу моих обязанностей.

— Да, да, после праздника,— с явным облегчением произнес Громыко, в свою очередь поднимаясь со своего кресла-вертушки.— Я дам указание советнику Капустину, чтобы он предварительно познакомил вас с нашим персоналом и работой отделов.

На этом мы расстались.

Немного позже я отправился в зал, где началось торжественное собрание. Уселся я там в последнем ряду, немного на отшибе от остальных присутствующих. Здесь ко мне присоединился Ф. Т. Орехов. Время от времени я ловил устремленные на меня украдкой любопытные взгляды сотрудников. В этой многочисленной аудитории у меня не было ни одного знакомого, если не считать посла да еще Орехова, впервые увиденного мною часа два назад.

На другой день — 7 ноября — в посольстве состоялся грандиозный праздничный прием, на котором присутствовало более тысячи человек — американских официальных лиц разных рангов, членов дипкорпуса, представителей прессы и общественности, а также советских граждан — работников Советской закупочной комиссии и других советских учреждений в Вашингтоне.

Я на этот прием не пошел. Для меня, как вновь прибывшего и еще не приступившего к работе дипломата, никакой роли на приеме предназначено не было.

9 ноября я приступил к знакомству с работниками и текущими делами посольства, явившись с самого утра в кабинет немолодого уже советника Александра Николаевича Капустина. От моего нью-йоркского информатора Е. Д. Киселева мне было

известно, что это очень добродушный и деловитый человек, по образованию инженер-станкостроитель. До Вашингтона он несколько лет работал в Тегеране в должности секретаря тамошнего посольства.

Александр Николаевич с непритворным радушием приветствовал меня, усадил рядом с собой на диван и завел неспешную беседу. Рассказал мне кое-что о себе и расспросил меня о моей предыдущей работе в НКИД и на Ближнем Востоке. После продолжительной беседы он повел меня знакомиться с сотрудниками по рабочим кабинетам, расположенным на всех этажах особняка, кроме третьего, отведенного под квартиру посла.

Штат посольства был не чета каирскому: одних лишь работников дипломатического ранга (помимо сотрудников военного и военно-морского атташе, чьи резиденции помещались в других частях города) здесь насчитывалось значительно более десятка, а общее число всех сотрудников составляло около полусотни.

Наши хождения по этажам завершились только перед перерывом на обед, точнее, на второй завтрак — «ланч», как здесь предпочитали говорить. По завершении обхода мы с Александром Николаевичем возвратились в его кабинет на первом этаже, который он тут же с благодушными шутками предоставил в мое постоянное пользование, пообещав за время обеденного перерыва «эвакуировать» все свои служебные материалы и личные вещи. Расставаясь с ним, я ощущал известную неловкость. Ведь я вынудил его, хотя и невольно, покинуть удобное, насиженное рабочее место. Кстати сказать, до него этот же кабинет четыре года занимал А. А. Громыко в бытность свою советником.

Вторая моя встреча с Громыко состоялась несколько дней спустя после первой.

На этот раз беседа протекала непринужденно. Разговор свелся по преимуществу к текущим задачам посольства.

Затем я попросил посла уточнить круг моих обязанностей как его заместителя. Громыко предложил мне взять на себя руководство отделом прессы. Я охотно согласился, но заметил, что одно это будет для меня, пожалуй, слишком узким участком работы. Подумав, посол прибавил, что по мере надобности будет давать мне оперативные поручения, в частности использует для связи с государственным департаментом, чем до сих пор занимался советник Капустин.

— Кстати,— вставил я,— я уже почти неделю в Вашингтоне, а все еще не представлен никому в госдепартаменте.

— Это поправимо,— заверил меня Громыко.— На днях я познакомлю вас с помощником государственного секретаря Ачесоном.

Беседа с послом принесла свои плоды. Три дня спустя Громыко, выполняя обещание, познакомил меня с помощником государственного секретаря Кордэлла Хэлла Дином Ачесоном и начальником Восточноевропейского отдела госдепартамента Чарльзом Боленом — на завтраке у нас в посольстве.

Помощники государственного секретаря, в сущности, его заместители, первым из которых является тот, что и официально именуется заместителем. Среди помощников-заместителей Дин Ачесон был видной фигурой. Юрист по образованию, он в течение 12 лет занимался адвокатской практикой в крупной юридической фирме, сделавшись в 1934 году ее совладельцем. Началу долгой дипломатической карьеры Ачесона в решающей мере способствовал тот многозначительный факт, что фирма эта вела юридические дела монополий Рокфеллеров и Дюпонов. Именно сила и влияние их миллиардов выдвинули его в 1941 году на пост помощника Кордэлла Хэлла.

Эти краткие биографические данные о высоком госте посольства, высоком в прямом и переносном смысле слова, я почерпнул у Ф. Т. Орехова. Более всесторонне и глубже мне довелось изучать личность этого американского дипломата на протяжении почти трехлетнего делового и личного контакта с ним.

Коренастый и широкоплечий Чарльз Болен был, в отличие от своего старшего коллеги, профессиональным дипломатом, с соответствующей подготовкой. Он хорошо владел русским языком, разговаривая на нем почти без акцента. Штудировал он его в начале 30-х годов в Париже, а совершенствовал в Москве во время двукратного пребывания там в качестве секретаря посольства США. По служебной лестнице он поднимался довольно успешно и в 1944 году занял должность начальника одного из важнейших отделов госдепартамента.

Впятером мы — Громыко, Капустин, я и оба гостя посольства — сидели за обеденным столом в парадной столовой, отделанной и обставленной, по-видимому, еще прежними хозяевами особняка во вкусе, царившем в начале века.

Беседа за столом велась по-английски, по-русски и отчасти по-французски. К французскому языку по временам прибегал я, когда не чувствовал полной уверенности в своем английском. В таких случаях и гости отвечали мне по-французски. Это трехъязычие не служило помехой чинной застольной беседе.

Никаких деловых вопросов мы не обсуждали. Разговор легко переходил с одной темы на другую, с последних сообщений с фронтов в Европе и на Тихоокеанском театре военных действий на злободневные американские новости. На минуту с подобающим соболезнующим выражением на лицах было

выслушано сообщение Ачесона о затянувшейся серьезной болезни престарелого Кордэлла Хэлла, что отражалось на работе госдепартамента. В словах Ачесона, казалось, скрывается некий подтекст, намекавший на возможную отставку государственного секретаря.

Эту встречу с двумя высокопоставленными чиновниками из госдепартамента я, по предварительному уговору с А. А. Громыко, использовал для того, чтобы заручиться их содействием в решении осложнившегося вопроса о приезде моей семьи из Каира.

Дело в том, что на мою телеграмму из Оттавы о поездке за семьей в Каир В. М. Молотов ответил отказом. Мотивировал он его тем, что нашей миссии в Египте дано указание договориться с американскими военными властями о доставке моей семьи в Вашингтон воздушным путем через Северную Африку и Атлантику. Отказ наркома не только огорчил меня, но и чрезвычайно обеспокоил. Ведь я отчетливо представлял себе, с какими трудностями столкнется в столь дальнем путешествии моя жена с двумя маленькими детьми на руках. Но решение наркома обжалованию не подлежало, и мне предстояло лишь рассчитывать на внимательное отношение американских властей. Однако дни шли за днями, а ни из Каира, ни из Москвы вестей об отправке семьи не поступало. Стремясь внести в этот вопрос ясность, я и решил обратиться за содействием в госдепартамент.

Выслушав меня с демонстративно сочувственным видом, Ачесон тотчас дал Болену соответствующее поручение, а мне сказал:

— Я понимаю ваше беспокойство, мистер Новиков. Мы с Чарльзом сделаем все необходимое, чтобы ускорить отправку вашей семьи. На него можете всецело положиться. У военных он пользуется большим авторитетом, и я не сомневаюсь, что он быстро все уладит.

В таком же духе заверил меня о своем содействии и сам Болен, пообещав информировать в ближайшие дни о результате своих шагов.

После этих заверений моя надежда на скорое «воссоединение» семьи окрепла. Но прошло пять долгих-предолгих дней, прежде чем я услышал от него по телефону о том, что случилось в Каире. Оказывается, задержка с отъездом семьи вызвана болезнью одного из моих сыновей. Которого из них — Болен не знал.

Продолжая оставаться в неведении, я со стесненным сердцем ждал выздоровления сына, после чего семья, по заверению Болена, будет доставлена в Вашингтон.

С середины ноября, как мы условились с послом, я вплотную занялся отделом прессы. Собственно говоря, название «отдел» казалось слишком громким для группы из двух работников — первого секретаря Ф. Т. Орехова и атташе Г. М. Касаткиной.

Вместе с Ореховым и Касаткиной мы критически проштудировали подборку информационных бюллетеней за продолжительный срок, выявляя конкретные недостатки в работе отдела, уточняя критерии актуальности отбираемых материалов. Наметили провести и реорганизацию отдела. Задача отбора была возложена на Орехова, а резюмирование наиболее важных газетных статей — на Касаткину. Для перевода других статей и заметок я решил привлечь в отдел двух достаточно подготовленных стажеров.

Намеченные, таким образом, меры мы с Ореховым доложили послу, и он одобрил все наши предложения, включая постоянное использование в отделе двух стажеров. Все это принесло заметные результаты: бюллетень стал более оперативным и актуальным.

Кроме того, реорганизацией мы достигли и другой полезной цели. У Орехова высвободилось больше времени для живой связи с видными, хорошо осведомленными журналистами, что служило для посольства одним из немаловажных источников политической информации. В дальнейшем мое руководство отделом, в сущности, ограничивалось только общим контролем над его работой.

Конец ноября и начало декабря ознаменовались крупными перестановками в верхушке госдепартамента. На исходе ноября ушел в давно ожидавшуюся отставку по болезни Кордэлл Хэлл, а государственным секретарем был назначен Эдвард Стеттиниус, бывший с сентября 1943 года его заместителем. Новым заместителем государственного секретаря стал Джозеф Грю, до декабря работавший специальным помощником. На моего знакомца Дина Ачесона была возложена дополнительная обязанность — по связи госдепартамента с конгрессом. И, наконец, новое назначение — помощника государственного секретаря по связи с Белым домом — получил Чарльз Болен, передав заведование Восточноевропейским отделом своему заместителю Элбриджу Дарброу.

Декабрь принес долгожданные перемены и в моей одинокой жизни: в Вашингтон прибыла из Каира моя семья. Не имея возможности задерживаться на деталях этого радостного события, отмечу лишь кратко его практические последствия.

В «Статлере» мы прожили с неделю. Еще задолго до приезда семьи я начал подыскивать квартиру. Однако найти более или менее подходящую в перенаселенной американской столице

оказалось делом весьма трудным. Помогал мне в этом деле А. Н. Капустин, действовавший через посреднические агентства, но тут и он спасовал. По счастью, на северной окраине города освободилась квартира, занимавшаяся до того первым секретарем В. И. Базыкиным, который был отозван на родину. Квартира в доме-блоке, в общем, отвечала нашим пожеланиям, но не удовлетворяла требованиям протокола, с которыми следовало считаться. Впрочем, выбора у меня не было. Поэтому я снял ее — только на полгода, рассчитывая за этот срок подыскать более благоустроенное жилище, пригодное не только для обитания семьи, но и для представительских целей — пусть и в будущем,— которых я не упускал из виду.

2. Поверенный в делах СССР

15 января 1945 года примерно за час до обеденного перерыва Нина Ивановна пригласила меня в кабинет посла.

— Послезавтра я вылетаю в Москву,— без предисловий начал свое незаурядное сообщение Громыко.— На время моего отсутствия вы по указанию Вячеслава Михайловича назначаетесь поверенным в делах. Начиная с завтрашнего дня. Приказ об этом мною уже подписан, соответствующая нота госдепартаменту послана. Сегодня в три часа я вас представлю Стеттиниусу. Вопросы ко мне у вас есть?

— В данную минуту нет, Андрей Андреевич,— сказал я, еще не вполне освоившись с новостью,— но до конца рабочего дня, по всей вероятности, их возникнет немало, и тогда я обращусь к вам.

— Это отпадает,— возразил посол.— После нашего визита к Стеттиниусу я отключаюсь от работы в посольстве и целиком переключаюсь на дела, ради которых меня вызывают в Москву.

— Ради каких, если не секрет?

— Очень большой секрет. Но не для вас. С завтрашнего утра, а если хотите, то и с сегодняшнего вечера в вашем распоряжении будет вся секретная переписка с Наркоминделом — и не только с Наркоминделом,— из которой для вас многое прояснится.

В приемной государственного секретаря нам не пришлось ждать ни минуты. Явились мы в точно условленное время, и точно в это время нас приняли. При нашем появлении в кабинете из-за письменного стола поднялся и с широкой улыбкой дви-

нулся нам навстречу рослый, средних лет, но совсем уже седой мужчина. Эдварда Стеттиниуса я узнал бы и без представления, по одним лишь его (часто публикуемым в прессе) портретам.

Он не принадлежал к числу профессиональных дипломатов, а скорее, подобно Дину Ачесону, к числу эмиссаров «большого бизнеса», своекорыстно заинтересованного во внешней политике США. В 20-х годах он занимал видные посты в правлении монополии «Дженерал моторз», сделавшись в 1931 году вице-президентом этой компании. В 1938 году он возглавил правление крупнейшей металлургической корпорации «Юнайтед Стейтс стил». С осени 1941 года правительство Соединенных Штатов возложило на него руководство вновь созданным Управлением по осуществлению закона о ленд-лизе. Назначенный государственным секретарем, он тем самым стал наиболее влиятельным среди представителей этого бизнеса в администрации США.

Он пригласил нас сесть, и мы втроем разместились в кожаных креслах в отдалении от письменного стола.

В разговоре, касавшемся в основном некоторых сторон международной ситуации, под занавес был мимоходом задет вопрос и о предстоящем отъезде Громыко. Стеттиниус не расспрашивал его ни о целях поездки, ни о сроках отсутствия, будучи, как я вскоре узнал, достаточно информирован о них. Прощаясь с нами, он проводил нас до двери, сердечно пожелал Громыко счастливого пути и со скрытым значением произнес:

— До скорой встречи! — Затем с какой-то хитрецой добавил: — Там.

О том, на какую «скорую встречу» намекал Стеттиниус, я выяснил на следующий день. Но точное местоположение загадочного «там» так и оставалось для меня неведомым до официального коммюнике о состоявшейся в начале февраля Крымской конференции трех союзных держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

На рассвете 17 января Громыко улетел. Без официальных проводов, почти конспиративно. Во всяком случае, без ведома корреспондентов, благодаря чему его отъезд не вызвал суетных газетных гаданий о его причинах и возможных следствиях.

Накануне, при возвращении из госдепартамента, Громыко рекомендовал мне занять его кабинет, если я сочту это для себя удобным. Тогда я отозвался неопределенным: «Хорошо, учту».

А 16-го я прошел туда через секретариат посла, где нашел на своих местах Нину Ивановну и Леонида Павловича Павло-

ва, третьего секретаря посольства. Он был вполне дельным работником, хорошо владел английским и умело вел (вместе с Ниной Ивановной) переписку на английском языке с многочисленными лицами, обращавшимися в посольство по различным вопросам.

Поздоровавшись с ними, я вошел в кабинет и дотошно осмотрел его. Предыдущие мои появления здесь не располагали к такого рода осмотру. Моему взору представились: огромная комната — чуть ли не зал; высокие, зашторенные «французские» окна; громоздкий письменный стол возле одной из стен, заставленной вместительными книжными шкафами; широченный обитый кожей диван с высокой спинкой едва не в человеческий рост; исполинского размера текинский ковер на полу. Я спросил себя: а зачем мне, собственно, покидать свой кабинет на первом этаже — достаточно просторный, целесообразно оборудованный и уже «обжитый» мною? Зачем переселяться сюда на время, вероятно весьма короткое, в роли этакого калифа на час?

Решив, что не вижу в этом никакой надобности, я сообщил Нине Ивановне и Леониду Павловичу, что предпочитаю работать у себя внизу, куда и прошу доставлять мне почту и другие документы.

— А где вы будете принимать сотрудников и посетителей? — озабоченно спросила Нина Ивановна.

— Там же,— ответил я.— За исключением официальных случаев, когда протокол потребует соответствующих аксессуаров.

С этого дня у меня начался прием посетителей. Поначалу это были сотрудники посольства, а затем я встречался и с работниками других советских учреждений в Вашингтоне. В их число входили и. о. военного атташе полковник Сараев и и. о. военно-морского атташе капитан Скрягин. Оба они формально числились при посольстве, представляя в нем свои высшие инстанции. Практически же они работали самостоятельно. Виделся я с ними, конечно, не впервые, но до сих пор наше знакомство было, можно сказать, шапочным. Теперь между нами установились и деловые отношения. Забегая вперед, отмечу, что я без малейшего труда нашел с ними общий язык.

Но особенно тесные и вполне дружеские отношения завязались у меня с генерал-лейтенантом авиации Л. Г. Руденко, председателем Советской закупочной комиссии, ведавшей заказами на поставки по ленд-лизу. Наш тесный контакт во многом помог посольству и комиссии преодолевать по окончании войны серьезные трудности политического порядка, порожденные новыми неблагоприятными веяниями во внешней политике США.

Обилие обрушившейся на меня деловой информации, подготовка к ежедневным встречам со многими людьми, редакторская работа над документами, отправляемыми в различные американские официальные учреждения или организации, с которыми у посольства имелись деловые связи, а также по адресу частных лиц, проявлявших к посольству настойчивое внимание по самым разнообразным поводам,— все это потребовало дополнительного усидчивого труда. Разумеется, в вечерние часы.

В первый день работы в качестве поверенного в делах свои вечерние часы я посвятил ознакомлению с ключевыми делами посольства по материалам секретной переписки с Наркоминделом, о которой знал преимущественно понаслышке.

Но с еще большим интересом и с пользой для себя, как официального представителя в США, прочел я папку с телеграфными посланиями И. В. Сталина президенту Ф. Рузвельту. Послания касались принципиальных вопросов советско-американских отношений, стратегических и частных проблем ведения войны и ряда важных международных проблем, как уже поставленных ходом событий в повестку дня, так и подлежащих урегулированию в послевоенный период. Среди актуальных международных проблем я обнаружил и те, которыми довелось заниматься мне самому еще в бытность заведующим Четвертым Европейским отделом.

Эти строго секретные телеграфные послания И. В. Сталина обычно направлялись из Москвы в посольство, откуда после немедленного (неофициального) перевода на английский передавались в находившуюся в Белом доме штаб-квартиру Рузвельта, как Верховного Главнокомандующего вооруженными силами США. Послания в обратном направлении — от Ф. Рузвельта И. В. Сталину — передавались, как правило, через американское посольство в Москве, а иногда через специальных представителей президента. В 1957 году переписка И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом и Г. Трумэном, а также У. Черчиллем и К. Эттли была опубликована Госполитиздатом и достаточно широко известна.

В местной корреспонденции, полученной в эти первые дни посольством, оказалось несколько приглашений послу на приемы у его коллег по дипкорпусу. В таких случаях Павлов, ведавший протоколом, извещал соответствующие посольства, что из-за отъезда посла из Вашингтона приглашение, к сожалению, принято быть не может. На мое имя подобные приглашения посыпались в изобилии тогда, когда весть об отсутствии в Вашингтоне Громыко сделалась достоянием гласности. Но самое

первое приглашение я получил не от коллег по дипкорпусу, а от президента Соединенных Штатов Ф. Д. Рузвельта и его супруги.

Отпечатанное изысканным курсивом на твердом белом картоне, с тисненым золотым гербом США, оно гласило:

«Президент и миссис Рузвельт просят Временного Поверенного в делах Союза Советских Социалистических Республик и мадам Новикову доставить им удовольствие присутствием на легком завтраке в Белом доме в субботу 20 января 1945 года сразу же после церемонии вступления в должность».

К этому лестному приглашению был приложен именной пропуск в Белый дом.

Одновременно я получил приглашение объединенного оргкомитета конгресса по проведению торжественной церемонии. Оно было короче и суше первого и выглядело так:

«Просим оказать честь Вашим присутствием на церемонии вступления в должность Президента Соединенных Штатов 20 января 1945 года».

Об этой церемонии мне хочется рассказать подробнее.

В намеченное программой время я находился в отведенном для дипкорпуса месте перед южным портиком Белого дома.

Церемония введения в должность, официально именуемая «инаугурацией», прежде совершалась под центральным портиком Капитолия. Но ввиду слабого здоровья Рузвельта (его ноги были разбиты параличом) в данном случае инаугурация происходила в самом Белом доме, на балконе южного портика, перед которым сейчас, пасмурным зимним утром, я ожидал начала церемонии.

Но вот на площадке возле портика начинается оживление. Оркестр морской пехоты играет приветственный туш, и под тентом балкона показывается Рузвельт в сопровождении вновь избранного вице-президента Гарри Трумэна, уходящего в отставку вице-президента Генри Уоллеса, капелланов и председателя Верховного суда. Президента ведут под руки двое телохранителей. Вид у него болезненный, но он сохраняет полное присутствие духа на протяжении всей церемонии.

После вступительной молитвы капеллана — преподобного Энгаса Дана — Рузвельт приносит присягу. Он с трудом стоит перед кафедрой, поддерживаемый теми же телохранителями. Присягу от него принимает председатель Верховного суда. Рузвельт кладет ладонь левой руки на Библию, а правую поднимает вверх в традиционном жесте клянущегося. Он напрягает голос, чтобы говорить громко и внятно, и вслед за председателем Верховного суда произносит слова присяги, сформулированные для этой цели в конституции: «Я торжественно клянусь, что буду

честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов».

После произнесения присяги Рузвельт садится перед столом, уставленным микрофонами радиовещательных станций, и слегка дрожащим голосом, в котором чувствуется только что испытанное физическое напряжение, зачитывает традиционное обращение к американскому народу. Исполнение оркестром государственного гимна завершает инаугурацию.

После того как вновь «коронованный» президент и его свита с вынужденной медлительностью покинули балкон южного портика, сотни привилегированных зрителей, с пригласительными билетами в карманах, устремились в гардероб южного входа, в «особняк исполнительной власти». Устремились с шумом и необыкновенной прытью, нимало не заботясь о соблюдении внешнего достоинства.

Набравшись терпения и выждав момент, когда напор стихии в гардеробной ослаб, я кое-как пристроил свое пальто на крючок поверх четырех-пяти чужих и прошел в обширный холл, откуда открывался доступ в так называемую Восточную комнату — великолепный парадный зал — и в парадную столовую, предназначенную для государственных банкетов. В холле я стал в длиннейшую очередь гостей, выстроившихся для того, чтобы приветствовать «первую леди страны» миссис Элеонору Рузвельт. Вопреки законам гостеприимства, хозяйка дома принимала гостей одна, ибо хозяин дома, утомленный церемонией, выступать в этой роли не мог.

Он сидел в кресле, в некотором отдалении от входа в холл, полуокруженный заслоном из телохранителей и ближайших помощников. К нему никого не подпускали — об этом каждого из нас предупредили заранее. По временам он приветственно взмахивал рукой, считая нужным особо выделить кого-либо из стоявших в очереди.

«Первая леди», не по годам статная, энергичная дама, самоотверженно несла вахту гостеприимства, пожимая сотни рук, бегло отвечая на приветствия и иногда ухитряясь даже обменяться с кем-нибудь парой реплик. Когда подошла моя очередь и стоявший рядом с миссис Рузвельт дворецкий, вполголоса спросив у меня о моей фамилии и дипломатическом статусе, представил меня ей, она экспансивно воскликнула: «О, новое лицо в Вашингтоне! Счастлива встретиться с вами, мистер Новиков!» Разумеется, ее возглас был не более чем аффектированной данью светскому этикету, расточаемой ею и всем остальным гостям. Данью, которую в порядке взаимности уплатил и я сам, правда согрев ее нелицемерной теплотой тона: ведь я был доста-

точно осведомлен об общественной и публицистической деятельности миссис Рузвельт, отмеченной печатью демократичности и дружественного отношения к нашей стране.

Отойдя от миссис Рузвельт, я, в отличие от большинства приглашенных, не ринулся к буфетным столам, а решил воспользоваться предоставившимся мне удобным случаем осмотреть Белый дом изнутри. С этой целью двинулся в неторопливый поход по роскошным парадным комнатам первого этажа — Восточной, Красной, Зеленой и Синей.

Возвратившись в Восточную комнату и осторожно лавируя между группками уже позавтракавших и оживленно беседовавших гостей, я неожиданно наткнулся на помощника государственного секретаря Дина Ачесона, разговаривавшего с пожилым, седоватым мужчиной.

— Вы очень кстати появились, мистер Новиков,— поздоровавшись со мной, промолвил Ачесон.— Разрешите познакомить вас с вашим коллегой по дипкорпусу мистером Урбаном, с которым у вас, наверное, найдутся общие темы.

Седоватый мужчина был чехословацким послом. На первых порах мы втроем обменивались оптимистическими комментариями о мощном январском наступлении Красной Армии. Затем Ачесон оставил нас вдвоем, и тогда мы с Урбаном коснулись действительно общих для нас актуальных чехословацких тем.

Вскоре к нам присоединился мексиканский посол — он же дуайен дипкорпуса — Франсиско Нахера. Урбан отрекомендовал нас друг другу. Узнав о том, что перед ним представитель советского посольства, мексиканец не мог не коснуться тогдашних сенсационных новостей с советско-германского фронта. «Ваша армия буквально спасла англичан от разгрома! В дипкорпусе подсчитывают недели, остающиеся до падения Берлина» — так заключил свои комплименты дуайен. Я слушал его с естественным чувством гордости за свою великую Родину и ее победоносную армию.

Покинул я Белый дом, приобретя трех новых знакомых — миссис Рузвельт и двух членов дипкорпуса. А что касается «легкого завтрака», то я его все-таки отведал, когда толчея у буфетных столов поубавилась.

В своем дневнике за 24 января я отметил факт посещения Белого дома такой краткой записью:

«20 января присутствовал на инаугурации президента Рузвельта. Это редкостный случай. Во-первых, она бывает раз в четыре года; во-вторых, это четвертое «коронование» Рузвельта, причем наверняка последнее. После инаугурации в Белом доме состоялся завтрак, пожалуй самый скромный из всех

званых завтраков, на которых мне приходилось бывать: цыплячий салат, чашка кофе и кусочек кекса. Но все же это был «президентский» завтрак».

С течением времени сотрудники посольства свыклись с тем, что во главе его стоит новое лицо. Сам я, повседневно общаясь с коллективом, все более и более сближался с ним, постепенно завоевывая его доверие. Между прочим, несмотря на окончание Крымской конференции, Громыко в феврале так и не возвратился в Вашингтон.

Во второй половине января и в феврале мне довольно часто приходилось встречаться с американскими официальными лицами, представителями общественности и с аккредитованными в Вашингтоне иностранными дипломатами, от которых я начал получать приглашения на приемы.

В феврале я нанес еще один визит в Белый дом — на этот раз юридическому советнику президента судье Розенману. В его более чем скромном кабинете, в личной канцелярии президента, я обсуждал с ним (по поручению наркома) ряд вопросов, связанных с предстоящим вскоре созывом конференции Объединенных Наций, которая должна была учредить Международный военный трибунал для суда над германскими военными преступниками и разработать его Устав.

В конце этого же месяца я встретился (по новому заданию НКИД) с министром финансов США Генри Моргентау, крупным банкиром и давним сотрудником Рузвельта по осуществлению «нового курса». Он был из числа тех членов кабинета, деятельность которых не замыкалась в узковедомственные рамки и которые принимали активное участие в формировании как внутренней, так и внешней политики правительства. Он принял меня в импозантном здании казначейства (так в США именуется министерство финансов), расположенном в непосредственном соседстве с Белым домом. Чисто деловая часть моего визита заняла минут 10—15, но после этого мы еще столько же времени посвятили обмену мнениями по поводу опубликованных 13 февраля решений Крымской конференции.

Должен сказать, что эти решения по актуальнейшим проблемам того периода были, наряду с фронтовыми сводками, как бы лейтмотивом и других моих бесед с иностранными собеседниками. Теперь их было у меня немало и среди членов дипкорпуса, и среди членов конгресса, с которыми меня знакомили на приемах, и среди представителей прогрессивной общественности.

Приближалась XXVII годовщина Красной Армии, и посольство готовилось достойно отпраздновать ее. В 1945 году эта годовщина совпадала с продолжающимся с 12 января победоносным наступлением наших Вооруженных Сил.

Приглашения на традиционный прием по случаю годовщины Красной Армии рассылались не только от имени поверенного в делах, но и от имени военного атташе полковника Сараева и военно-морского атташе капитана Скрягина.

В подготовке к приему были заняты на протяжении нескольких дней многие сотрудники посольства, но основная тяжесть ответственности за нее ложилась на А. Н. Капустина.

За четверть часа до начала приема все наши сотрудники были на своих местах в вестибюле и парадных залах посольства. На своих местах в холле второго этажа находились и шестеро хозяев приема — я, оба атташе и рядом с нами наши супруги. Я стоял первым в ряду встречающих, а возле меня, слева, чуть позади, находился дворецкий — специально нанимаемый служитель, неизменно присутствующий на всех больших приемах в столице и потому знающий «весь Вашингтон». Он тихонько подсказывает хозяину приема фамилию и общественное положение или звание приближающегося гостя, после чего того можно приветствовать уже по фамилии и званию. Взаимные приветствия на таких массовых приемах неизбежно крайне лаконичны, а разговоры между хозяином и гостем в этот момент вообще невозможны.

И вот по широкой парадной лестнице поднялись первые двое гостей, а за ними просматривалась реденькая цепочка других. Дворецкий представлял их нам, мы поочередно пожимали им руки, произносили не блещущие разнообразием слова приветствий и тут же обращались к вновь подходящим посетителям. Их реденькая цепочка очень быстро превратилась в сплошной поток, непрерывно текущий вверх из вестибюля. Теперь мы едва успевали здороваться, чтобы не задерживать нарастающий поток. Он был густо прослоен военными, многие из них красовались в генеральских и адмиральских мундирах. Когда дворецкий называл мне фамилии членов правительства, «трехзвездных» генералов и послов, процедура обмена приветствиями несколько удлинялась и становилась изощренней, что неизбежно вело к тому, что ждущие своей очереди нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

Из холла гости направлялись в залы, где заботу о них брали на себя советник Капустин, секретари посольства Орехов, Кудрявцев, Павлов и Хомянин и пятеро младших дипломатических сотрудников, владевших английским языком. Они приглашали гостей к столам, занимали беседой тех, кто еще не нашел собе-

седников по собственному выбору. А нам, шестерым, полагалось стоять на вахте до тех пор, пока мы не пожмем руки всей тысяче с лишним приглашенных.

Тысяча гостей — это множество, но не бесконечное. Настала наконец минута, когда поток посетителей начал оскудевать, а затем по опустевшей лестнице поднимались уже только запоздалые одиночки. Для нас это был как бы сигнал к окончанию довольно-таки нудной вахты. Оставив в холле на дежурстве одного из секретарей, мы двинулись в гудящие, словно пчелиный улей, залы.

Нас с женой заприметили с первых же наших шагов. Некоторые из гостей пытались компенсировать вынужденно скупые приветствия в холле пространными поздравлениями в связи с успехами Красной Армии. Настоящим панегириком на эту тему разразился коренастый и неулыбчивый министр внутренних дел Гарольд Икес. Нашлось немало охотников произносить тосты за скорую победу в Европе, предлагая нам выпить с ними. В двух случаях я выпил по рюмке коктейля, но в дальнейшем позволял себе только пригубить бокал с шампанским — слишком уж много было тостов.

Неторопливо, с остановками, мы с женой передвигались по гостиной, то обмениваясь с гостями парой реплик, то вступая в беглый разговор. Сравнительно надолго мы задержались возле группы из трех человек, знакомых мне по встречам на приемах у коллег по дипкорпусу.

Один из них — пожилой, низкорослый, почти карлик, с длинным мясистым носом, увенчанным старомодным пенсне в металлической оправе,— был председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса профессор Соломон Блум. Рядом с ним стояла его дочь — дама неопределенного возраста, крикливо одетая. Отец и дочь были популярны в столице и за ее пределами: он — как один из влиятельных деятелей демократической партии и палаты представителей, а она — как журналистка. Широко известна она была и как пламенная почитательница Бенито Муссолини.

Знал я и третьего собеседника. Это был твердолобый английский консерватор лорд Ирвин, более известный как Эдвард Галифакс, в недавнем прошлом министр иностранных дел его британского величества и один из творцов зловещей «мюнхенской» политики, а ныне посол в Вашингтоне. Куря сигарету, он рассеянно стряхивал пепел с нее на пиджак и брюки. Вообще, вид у него был — для сиятельного лорда — очень непрезентабельный. Галстук-бабочка торчал на воротничке криво, на рукаве виднелось пятно от пролитого вина, к которому прилипли крошки торта.

Подойдя к группе, я шутливо спросил:

— Надеюсь, мы с женой не нарушим гармонии вашего трио?

— Наоборот, мистер Новиков, вместе с вами и миссис Новиков, квинтетом, мы сделаем ее еще богаче,— шуткой же ответил конгрессмен, а его дочь не без лукавства добавила:

— Мистер Галифакс только что начал описывать свою одиссею по нашей стране. Кажется, для него это был очень увлекательный опыт.

— Уж куда увлекательнее,— хмуро пробормотал флегматичный лорд и возобновил прерванный рассказ.

Речь в нем шла о его турне в декабре 1943 года по городам Среднего Запада. Турне носило пропагандистский характер и должно было по замыслу английского посольства скрепить узы союзнической солидарности между Великобританией и США. Но, подумалось мне в этом месте рассказа, вряд ли можно было сыскать для этой цели более неподходящего оратора, чем Эдвард Галифакс, чья «мюнхенская» репутация не была закрытой книгой для среднего американца. Это обстоятельство полностью подтвердили ламентации посла о холодности и даже неприязненности, проявленных слушателями на митингах, где он выступал.

— У ваших соотечественников,— говорил он, обращаясь к Блумам,— я далеко не всегда обнаруживал понимание того фундаментального факта, что мы, ваши британские кузены, уже два года подряд воевали бок о бок с вами против нашего общего врага.— В тоне его голоса ощущались обида и возмущение.— Многие из моих слушателей не скрывали своего убеждения, что мы, британцы, чуть ли не вставляем палки в колеса союзнической военной машины.

— Но чего вы хотите от провинциальной публики,— примирительно произнес Соломон Блум.— Мудрость тамошних доморощенных политиков не идет далее того, что они вычитывают из газет. А некоторые наши газетенки, не буду этого отрицать, зачастую разжигали враждебность к Англии.

— Вы абсолютно правы,— согласился посол.— И это сказалось не только в отношении страны, которую я представляю, но и меня лично. Да, да, лично. Во время выступлений я неоднократно слышал выкрики о себе весьма... да, весьма неприятного свойства. Точнее, даже совсем неприличные. А в Детройте мне устроили форменную обструкцию. Мало того, что в зале поднялся шум, так еще, представьте, меня забросали помидорами и яйцами.

— Какой скандал! — потрясенно воскликнула мисс Блум.— И вы, конечно, тут же демонстративно покинули митинг?

— Нет, не сразу,— с кислой улыбкой возразил незадачли-

вый оратор.— У меня хватило присутствия духа парировать эти безобразные выходки. Я указал на разбитые яйца — одно из них угодило мне в грудь, а другое в коленную чашечку — и заметил: «Завидую американцам, которые могут позволить себе роскошь швыряться столь важными продуктами. У нас в Англии их ценят на вес золота и весьма скупо распределяют по карточкам».

Признаюсь, что, слушая повествование бывшего министра иностранных дел, я не испытывал к нему сочувствия — слишком уж одиозной фигурой выглядел в моих глазах этот человек. Но я не мог остаться равнодушным к самому факту хулиганских выходок по отношению к представителю другой страны, обладавшему дипломатическим иммунитетом. Я высказал соответствующие соображения на этот счет, адресуя их председателю комитета по иностранным делам. Но Соломон Блум с невозмутимым видом взглянул на Галифакса.

— Насколько мне помнится, ваше превосходительство, государственный департамент принес вам тогда свои извинения.

— Да, конечно,— флегматично кивнул Галифакс.— Только это не значит, что инциденты подобного порядка тем самым исчерпываются.

На это конгрессмен лишь пожал плечами.

Нашему «квинтету» не суждено было существовать дольше. К нам подошло несколько гостей, чтобы распрощаться со мной и моей женой. Тотчас же распрощалось и все «трио». Мы поспешили на свой пост в холле, где уже снова несли вахту Сараевы и Скрягины. Наша заключительная хозяйская обязанность была облегчена тем, что многие гости ушли «по-английски», не прощаясь. Тем не менее на пожимание рук задержавшихся ушло еще добрых полчаса.

Это был второй массовый прием, устроенный мною. Первый состоялся в Каире в XXVI годовщину Красной Армии, собрав тогда около 300 гостей. Теперь их было более тысячи. Но как выяснилось позже, уже в мае, «более тысячи» — это тоже еще не предел, когда для такого грандиозного приема имеются достаточно веские поводы.

3. Последние месяцы войны

8 марта в Вашингтон после длительного отсутствия вернулся Громыко.

На беседу о наиболее существенных вопросах, решенных посольством в его отсутствие, мне и Громыко понадобилось около часа и примерно столько же на мои расспросы о ходе

конференции в Ялте, о московских и наркоминдельских новостях и т. п. Против обыкновения на сей раз посол не прибегал к своему жесткому лаконизму. Вообще его отношение ко мне изменилось к лучшему, не потеряв, правда, официального характера.

В первых числах апреля Громыко дал завтрак в честь трех представителей госдепартамента, вместе с которыми ему предстояло участвовать в конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. С одним из них — государственным секретарем Эдвардом Стеттиниусом я свел знакомство еще в январе, с двумя другими — Уильямом Клейтоном и Олджером Хиссом встретился впервые.

Помощник государственного секретаря У. Клейтон был довольно значительной фигурой, представляя в госдепартаменте монополистические группы южных штатов.

В отличие от Клейтона Олджер Хисс был профессиональным дипломатом. В госдепартаменте он работал с 1936 года, занимая в последние годы должность заместителя директора канцелярии по специальным делам. Он участвовал в переговорах в Думбартон-Оксе, как эксперт присутствовал на Крымской конференции.

Во время завтраков Хисс держался очень непринужденно, остроумно рассказывал занятные истории из дипломатического фольклора и оставил бы о себе впечатление как о приятном собеседнике, если бы не допустил промаха, непростительного для опытного дипломата. Так, в разговоре о предстоящей конференции в Сан-Франциско он неожиданно позволил себе несколько критических замечаний о советской дипломатии, основываясь на собственных наблюдениях, в том числе во время переговоров в Думбартон-Оксе. Свои замечания он резюмировал так:

— В общем, странные дипломаты эти русские. Они выкладывают напрямик свои максималистские предложения и потом упорно цепляются за них как за единственный и возможный выход. Им определенно не хватает гибкости и маневренности.

Явная бестактность гостя вызвала за столом некоторое замешательство. Громыко нахмурился, приняв, судя по всему, слова Хисса на свой счет. Я же понял их шире, как суждение о советской дипломатии в целом и решил не оставлять их без отпора.

— Прелюбопытные откровения преподнесли вы нам, мистер Хисс,— сказал я.— С такими дипломатами, как вы их изобразили, наверняка никогда каши не сваришь. А как, по-вашему, эти странные русские и в Ялте придерживались такой же странной тактики?

— Боже упаси! — с осуждением в голосе опередил ответ Хисса Стеттиниус.— Ялта стала высшей академией дипломатии и продемонстрировала нам лучшие образцы разумных компромиссов по самым трудным проблемам. Я не могу не восхищаться широтой взглядов Сталина и его дипломатической гибкостью.

Досадный инцидент был этим закрыт. А сконфузившийся Хисс до самого ухода так и не обрел вновь своей живости и непринужденности.

Я не мог понять, что толкнуло его в тот день на столь, мягко выражаясь, легковесное суждение о советской дипломатии, не говоря уже об его неуместности за столом советского посольства. Ведь в других случаях — а я встречался с ним и впоследствии — он был примером корректности и благожелательности, и так считал не только я. Но еще более непонятное было впереди...

В начале 1947 года преуспевающий дипломат Олджер Хисс добровольно оставил службу в госдепартаменте и занял пост президента Фонда Карноги, должность не столько почетную, сколько высокооплачиваемую. А в 1948 году, когда в США свирепствовал маккартизм, он, к всеобщему недоумению, пал одной из первых ее жертв. Пресловутая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности обвинила его ни много ни мало в шпионаже в период работы в госдепартаменте. Несмотря на всю голословность подобного обвинения, несмотря на то, что сфабрикованные Федеральным бюро расследования «документы» были на суде признаны фальшивками, после длительной судебной волокиты Олджер Хисс был выпущен только в 1954 году с опороченной репутацией, что навсегда закрыло для него двери правительственных учреждений и деловых организаций.

9 апреля в Вашингтоне открылась сессия Комитета юристов Объединенных Наций, в компетенцию которого входила разработка проекта статуса будущего Международного суда ООН для последующего рассмотрения его в Сан-Франциско. В работе комитета приняла участие советская делегация в составе двух специалистов по вопросам международного права профессоров С. А. Голунского и С. Б. Крылова и представителя посольства в моем лице. Возглавлять делегацию В. М. Молотов поручил мне, поставив тем самым передо мною нелегкую задачу, ибо интересоваться проблемой Международного суда мне до сих пор не приходилось. За несколько дней до открытия сессии пришлось тщательно проштудировать вместе с обоими экспертами предварительные наметки проекта статута и всю относящуюся к ним документацию. От Наркоминдела я полу-

чил официальные указания о советской позиции по отдельным вопросам сессии и продолжал получать их в ходе сессии. Протекала она без особых осложнений и закончилась 17 апреля выработкой проекта, который был окончательно обсужден в Сан-Франциско и 24 октября 1945 года вступил в силу.

На меня возлагалось все более и более заданий по связи с госдепартаментом, дипкорпусом и общественностью и по внутренним вопросам посольства. Фактически я выполнял, за небольшим исключением, те же обязанности, что лежали на мне, как Поверенном в делах. Новый порядок, естественно, предопределял не только полное и своевременное ознакомление со всей перепиской посольства с НКИД, но и мое личное участие в ней.

Знакомился я неукоснительно и с совершенно секретными посланиями И. В. Сталина президенту Ф. Рузвельту.

В апреле 1945 года в этой переписке наряду с согласием по многим актуальным вопросам наметились и крупные разногласия по некоторым другим. Важнейшим среди них был вопрос о составе будущего Польского правительства национального единства.

Британский премьер-министр и поддерживающий его позицию Рузвельт добивались, в обход решений Крымской конференции, создания такого правительства, в котором большую или даже ведущую роль играли бы представители реакционных сил, исконно враждебных Советскому Союзу. Отвергая эти неблаговидные поползновения, Сталин решительно настаивал на том, чтобы Правительство национального единства было создано на основе уже существующего в Варшаве Временного правительства с включением в него нескольких деятелей из числа находящихся в Польше и Лондоне. Такой состав правительства обеспечивал бы дружественную политику Польши в отношении СССР, что имело бы громадное значение в условиях продолжающихся военных действий. Однако ни Рузвельт, ни Черчилль не считались с веско аргументированной позицией Советского правительства, и согласие в этом вопросе весной 1945 года так и не было достигнуто, вследствие чего он еще в течение долгого времени отравлял отношения между союзниками.

В тот же период возник и другой серьезный повод для трений — в виде начавшихся в Берне сепаратных переговоров между представителями западных союзников и командованием вермахта в Северной Италии. Отказ союзников допустить к участию в этих переговорах представителей советского командования, естественно, не мог не вызвать у советской стороны подозрений в нарушении союзнической солидарности, и Сталин в недвусмысленной форме их высказал. Неубедительные заве-

рения Рузвельта в том, что никаких сепаратных переговоров в Берне не велось, не смогли рассеять этих подозрений. В переписке явственно зазвучала нота недоверия. В пылу этой полемики Сталин привел в послании от 7 апреля факт провокационной дезинформации американской военной разведки, сообщившей в феврале 1945 года советскому командованию дезориентирующие сведения о готовящемся немецком наступлении в районе Моравска Острава (в Чехословакии). В действительности же, как показали события, крупная группировка вермахта в составе 35 дивизий, в том числе 11 танковых, была сконцентрирована в Венгрии в районе озера Балатон. Именно здесь вермахт и нанес, по выражению Сталина, «один из самых серьезных ударов за время войны, с такой большой концентрацией танковых сил». Не прими тогда советское командование должных мер к отражению угрозы, этот удар вполне мог бы привести к прорыву советской обороны, с далеко идущими последствиями.

Затянувшаяся и бросавшая тень на правительства США и Великобритании горячая полемика вокруг сепаратных переговоров в Швейцарии основательно осложняла отношения между державами коалиции, и без того испорченные из-за разногласий по польскому вопросу. Поэтому, поставленный перед лицом упрямых фактов и неопровержимых доводов, Рузвельт счел благоразумным свернуть ее. В послании, полученном в Москве 13 апреля, он, дипломатично уклонившись от новых бездоказательных заверений, в примирительном духе ответил:

«Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.

Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».

Это было последним посланием президента: 12 апреля Рузвельт умер.

Высказывая в связи с его кончиной соболезнование, адресованное новому президенту США Гарри Трумэну, И. В. Сталин высоко оценил личность покойного, сделавшего так много для успеха антигитлеровской коалиции.

«От имени Советского Правительства и от себя лично,— писал он 13 апреля,— выражаю глубокое соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины Президента Рузвельта. Американский народ и

Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности после войны.

Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь».

Это послание не было просто выражением сочувствия. Еще большее значение оно имело как призыв к новому президенту продолжать оправдавший себя курс своего предшественника на плодотворное сотрудничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

О кончине Рузвельта я узнал из экстренного сообщения по радио. Нетрудно представить, какой вихрь мыслей и чувств вызвал у меня факт смерти выдающегося американца, столько лет стоявшего у штурвала американского государственного корабля.

В этот день и в последующие дни в посольстве у нас только и разговоров было что о вероятных последствиях смены власти в США, оказавшейся в руках Гарри Трумэна, политического деятеля совершенно иного склада и масштаба, чем его предшественник на посту президента.

На первом плане эта тема фигурировала в прессе и радиовещании. В лавине сообщений и комментариев можно было встретить наряду с искренним выражением печали и сочувствия плохо завуалированные, а то и вовсе откровенные нотки радости и злорадства. Это напоминала о своих заветных чаяниях злейшая американская реакция, до поры до времени сдерживаемая твердой рукой Рузвельта.

15 апреля тело покойного президента было с подобающими почестями предано земле в фамильной усадьбе Рузвельтов в штате Нью-Йорк. А на следующий день со своей первой речью в качестве президента на совместном заседании обеих палат конгресса выступил Гарри Трумэн. В этой речи, в изобилии начиненной ханжеским баптистским благочестием, он остановился на ключевых моментах своей будущей внутренней и внешней политики, которая, по его словам, будет следовать политическим принципам Рузвельта. Но в то же время в программе богобоязненного президента прозвучала и претензия на мировое господство США, слегка прикрытая фиговым листком «руководства»:

«Мы добились ведущей роли в мире, которая зависит не

только от нашей военной и морской мощи...— вещал он с трибуны конгресса.— Америка вполне сможет вести человечество к миру и процветанию».

Так была сделана первая заявка на мировое господство, предопределявшая на годы вперед внешнюю политику США.

Сигнал, раздавшийся с высокой трибуны, был услышан во всем мире. Не осталось к нему глухим и Советское правительство. Требовалось без промедления уточнить, в какой мере и в каком направлении политика нового президента может отразиться на советско-американских отношениях и на решении задач дальнейшего ведения войны и мирного урегулирования.

В воскресенье 22 апреля в Вашингтоне, по дороге в Сан-Франциско, остановился В. М. Молотов, глава советской делегации на конференции Объединенных Наций.

Первоначально главой делегации был назначен Громыко. Однако Рузвельт в своем послании от 25 марта выразил «глубокое разочарование» в связи с тем, что г-н Молотов, по-видимому, не предполагает присутствовать на конференции». В конце послания он высказал еще и опасение, что «отсутствие г-на Молотова будет истолковано во всем мире как признак отсутствия должного интереса со стороны Советского Правительства к великим задачам этой конференции».

Отвечая в то время Рузвельту, И. В. Сталин заверил его, что Советское правительство придает важное значение конференции в Сан-Франциско, но что Молотов, к сожалению, не сможет принять в ней участие, ибо в апреле состоится сессия Верховного Совета СССР, где его присутствие совершенно необходимо.

В новой ситуации, сложившейся в результате смерти Рузвельта и прихода к власти Трумэна, вопрос этот был Советским правительством пересмотрен и решен в пользу поездки в Сан-Франциско В. М. Молотова с заездом в Вашингтон для переговоров с Трумэном.

Краткое пребывание В. М. Молотова в Вашингтоне было целиком посвящено двум его встречам с президентом Г. Трумэном и совещанию 23 апреля с Э. Стеттиниусом и английским министром иностранных дел А. Иденом, также заехавшим в американскую столицу по дороге в Сан-Франциско.

Беседы Молотова с Трумэном касались коренных вопросов советско-американских отношений и ряда других проблем, в том числе злополучной проблемы о составе Польского правительства национального единства. Важная сама по себе, она

11 Н. В. Новиков

играла как бы роль барометра в отношениях между Советским Союзом и союзными западными державами. И в ходе переговоров Молотова с Трумэном, как и в предшествующем обмене посланиями между Рузвельтом и Сталиным, этот барометр показал, что польский вопрос становится подлинным камнем преткновения для сотрудничества держав антигитлеровской коалиции. Памятная записка, которую при второй встрече Трумэн передал Молотову для Сталина, по своему тону носила почти ультимативный характер. «Советское Правительство,— говорилось в ней,— должно понять, что если дело с осуществлением крымского решения о Польше теперь не двинется вперед, то это серьезно подорвет веру в единство трех Правительств и в их решимость продолжать сотрудничество в будущем, как они это делали в прошлом».

Советское правительство приняло к сведению прозрачный намек Трумэна на перспективу подрыва «сотрудничества в будущем» и сделало из него надлежащие выводы. Но своей, оправданной всеми обстоятельствами, позиции не изменило.

В ночь на 24 апреля я проводил Молотова и Громыко в аэропорт, откуда они вылетели в Сан-Франциско. 25-го там открылась конференция Объединенных Наций, продолжавшаяся два месяца.

С 24-го я снова руководил посольством в качестве Поверенного в делах СССР. На этот раз в течение весьма долгого срока — вплоть до утверждения меня в апреле следующего года Чрезвычайным и Полномочным Послом вместо Громыко, переведенного в Нью-Йорк на пост постоянного представителя СССР при ООН.

Интенсивная дипломатическая активность в Москве, Лондоне и Вашингтоне была закономерным отражением нарастающих темпов и масштабов военных событий в Центральной Европе. 16 апреля с плацдармов на Одере и Нейсе развернулась грандиозная завершающая операция Красной Армии, уже к 25 апреля приведшая к полному окружению берлинской группировки немецко-фашистских войск. Одновременно с этим советские соединения с боями продвинулись к Эльбе, где был установлен непосредственный оперативный контакт с наступающими американскими частями.

В повестке дня стоял неминуемый военный и государственный крах нацистской Германии. Однако и в этих безнадежных условиях некоторые из нацистских главарей, рассчитывая на сочувствие реакции в странах Запада, не прекращали закулисных маневров с целью заключить сепаратное соглашение с Англией и США и тем самым расколоть единство антигитлеровской коалиции.

Расскажу о последней отчаянной попытке этого рода, поскольку косвенно мне и самому пришлось соприкоснуться с нею.

В ночь на 24 апреля, когда В. М. Молотов вылетел из Вашингтона в Сан-Франциско, в германском порту Любеке тайно встретились Гиммлер и близкий к правительственным кругам Швеции граф Бернадотт. В ходе беседы Гиммлер заявил, что Гитлер не в состоянии больше руководить страной, вследствие чего он, Гиммлер, как его первый заместитель, взял на себя всю полноту власти. Он просил о дипломатическом посредничестве шведского правительства в организации его встречи с Главнокомандующим западных союзников генералом Эйзенхауэром. Замысел нацистского главаря состоял в том, чтобы договориться о капитуляции германских войск на всем Западном фронте. Как это явствует из опубликованного госдепартаментом официального сообщения от 2 мая, Гиммлер заверял Бернадотта, что еще надеется продолжать вооруженную борьбу против Советского Союза. Таким образом, предлагалось совершенно недвусмысленное сепаратное соглашение о капитуляции на Западе и о продолжении военных действий на Востоке, с невысказанной напрямик мыслью вести их совместно с английскими и американскими войсками.

Наступил момент серьезнейшего испытания союзнической лояльности западных держав.

Согласно упомянутому коммюнике госдепартамента, дальнейшие события развивались так.

Утром 24 апреля предложение Гиммлера было передано шведским министром иностранных дел американскому и английскому посланникам в Стокгольме, которые уведомили о нем свои правительства.

Информацию посланника Гершела Джонсона президент Трумэн получил утром 25 апреля. Ознакомившись с нею, он поспешил в военное министерство, чтобы обсудить предложение, способное перевернуть весь ход войны, вместе с комитетом начальников штабов и исполняющим обязанности государственного секретаря Джозефом Грю (Стеттиниус был в Сан-Франциско). Результатом этого обсуждения явилось решение отклонить предложение Гиммлера и держаться прежнего курса антигитлеровской коалиции на безоговорочную капитуляцию Германии перед тремя державами.

В соответствии с решением совещания в военном министерстве Трумэн в тот же день направил И. В. Сталину послание, извещающее о предложении Гиммлера и о намерении США придерживаться соглашения с Советским Союзом и Великобританией о безоговорочной капитуляции на всех фронтах.

В Москве это послание было получено в ночь на 26 апреля.

Ответ Сталина не заставил себя долго ждать. Утром того же дня наше посольство получило следующий документ на имя Трумэна:

«Получил Ваше послание от 26 апреля. Благодарю Вас за Ваше сообщение о намерении Гиммлера капитулировать на Западном фронте. Считаю Ваш предполагаемый ответ Гиммлеру в духе безоговорочной капитуляции на всех фронтах, в том числе и на советском фронте, совершенно правильным. Прошу Вас действовать в духе Вашего предложения, а мы, русские, обязуемся продолжать свои атаки против немцев.

Сообщаю к Вашему сведению, что аналогичный ответ я дал Премьеру Черчиллю, который также обратился ко мне по тому же вопросу».

Ввиду крайней срочности и важности документа я на сей раз отступил от обычной процедуры передачи посланий через офицеров связи в штаб-квартиру президента в Белом доме и тотчас договорился по телефону о немедленной встрече с Грю.

В полдень он меня принял. Передав ему русский текст послания и неофициальный перевод, я обратил внимание Грю на желательность срочной передачи документа президенту. Убеждать его не понадобилось. Грю заверил меня, что считает договоренность между союзниками по столь серьезному вопросу делом первостепенной важности и что послание Сталина он передаст безотлагательно.

В час дня из Белого дома посланнику США в Стокгольме пошло указание уведомить шведское министерство иностранных дел о согласованной позиции трех держав. Встретившись вновь с Гиммлером (на сей раз во Фленсбурге близ датско-германской границы), Бернадотт срочно передал ему это обескураживающее известие о необходимости безоговорочной капитуляции на всех фронтах, прозвучавшее для него звоном похоронного колокола.

Все перипетии этой дипломатической интермедии были подробно освещены в специальных правительственных заявлениях 28 апреля в Лондоне и 2 мая в Вашингтоне. Соответствующий резонанс она имела и в Советском Союзе, где 29 апреля было опубликовано такое заявление ТАСС:

«28 апреля с. г. агентство Рейтер передало опубликованное канцелярией премьер-министра Великобритании заявление, в котором говорится, что Гиммлер сделал предложение, согласно которому Германия готова безоговорочно капитулировать перед Англией и Соединенными Штатами. В этом заявлении сообщается, что правительства Англии и Соединенных Штатов ответили, что они примут безоговорочную капитуляцию только перед всеми союзниками, включая Советский Союз.

ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение подтверждается ответственными советскими кругами».

Наступление союзных армий на Восточном и Западном фронтах продолжалось неослабевающими темпами и в начале мая. После падения Берлина до полного военного краха Германии оставались считанные дни. И настал наконец день, когда новоявленный «фюрер» Германии гросс-адмирал Дениц решил прекратить бесполезное сопротивление. 8 мая в Берлине состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции. С германской стороны его подписали фельдмаршал Кейтель и генералы Фриденбург и Штумпф. Своими подписями его скрепили: от имени Советского Верховного Главнокомандования — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, от имени генерала Д. Эйзенхауэра — его заместитель, британский Главный маршал авиации А. Теддер.

Широко, почти по всему миру, пронеслась волна народного ликования. Захлестнула она и наше посольство. Я имею в виду не только ликование всех нас, работающих в посольстве. День за днем шли к нам восторженные поздравления — письменные, телеграфные, по телефону. Шли от членов дипкорпуса, от общественных организаций, от частных лиц — американцев и находящихся в США политических эмигрантов из разных стран. Сотрудники посольства едва успевали готовить ответы на письма.

Величайшее событие тех лет было советским посольством достойно отпраздновано традиционным способом — большим приемом, устроенным нами 17 мая. От других официальных приемов он отличался своей особой, неповторимой праздничностью, ибо устраивался, как нетрадиционно было указано в пригласительных билетах, «в ознаменование полной Победы над нацистской Германией». И присутствовало на нем около 2 тысяч гостей.

26 июня в Сан-Франциско завершила работу конференция Объединенных Наций, одобрив Устав ООН и Статут Международного Суда. На заключительном заседании с большой речью выступил президент Трумэн, заверявший между прочим своих слушателей в том, что останется верным политическим принципам своего предшественника. Но у фальши оказались короткие ноги.

Едва вернувшись в Вашингтон, Трумэн принялся за реорганизацию кабинета, начав как раз с того, чего от него ожидала злейшая реакция,— изгнания с министерских постов сторонников «нового курса». Уже 2 июня вышел в отставку государст-

венный секретарь Эдвард Стеттиниус, назначенный на пост представителя США при ООН. 3 июля Трумэн принял отставку специального помощника президента Гарри Гопкинса, наиболее деятельного и влиятельного из соратников покойного президента. 5 июля та же участь постигла министра финансов Генри Моргентау, а в последующие месяцы и некоторых других членов кабинета. На пост государственного секретаря 30 июня был назначен Джеймс Бирнс, бывший до того руководителем Управления по мобилизации военных ресурсов, активнейший проводник «двухпартийной» политики, подразумевавший под нею защиту интересов монополий внутри страны и экспансию американского империализма за рубежом.

Теперь больше незачем было гадать, в какую сторону поворачивается государственный корабль. Очень откровенно высказался на этот счет официальный орган Национальной ассоциации промышленников, заявив 7 июля:

«Новый президент без излишнего шума отстраняет от высшей власти сторонников «нового курса» и заменяет их людьми, которые считаются демократами в том смысле слова, какой был в ходу до 1932 года. Для деловых кругов это означает ощутительную разрядку крайне неприятной атмосферы последних двенадцати лет».

Атмосфера для большого бизнеса имела все шансы стать благоприятной.

Окончание войны в Европе и переход освобожденных европейских стран и побежденной Германии на рельсы мирного существования влекли за собой множество сложных международных проблем. Для их рассмотрения и принятия соответствующих решений в Потсдаме была созвана конференция руководителей СССР, США и Великобритании, заседавшая с 17 июля по 2 августа.

Готовясь к этой конференции, Советский Союз ставил своей задачей добиться договоренности по коренным политическим вопросам, прежде всего по таким, как устранение навсегда угрозы германской агрессии, предотвращение возможности возрождения германского империализма, обеспечение мира между народами и всеобщей безопасности. Гарантией осуществления этих кардинальных целей должно было служить лояльное сотрудничество союзных великих держав.

Иные, своекорыстные интересы преобладали в этот период в замыслах правящих кругов западных союзников. Выше я упоминал о стремлении американских лидеров к мировому господству США под гримом «мирового руководства». Не уга-

сло, а еще больше разгорелось оно после окончания войны в Европе. Но даже самые рьяные поборники мирового господства США вынуждены были считаться с упрямыми фактами, которые делали открытую постановку этой цели по меньшей мере преждевременной. Затянувшаяся война с Японией еще продолжалась, и было неясно, как долго она протянется. Не завершена была еще работа над атомной бомбой. Эти, а также ряд других, серьезных обстоятельств не могли не умерять воинственного пыла «мировых руководителей» и заставляли их искать договоренности с союзными державами, в первую очередь с Советским Союзом, с учетом взаимных интересов.

Именно этот трезвый подход к задачам Потсдамской конференции предопределил ее успешную работу, несмотря на все вставшие на ее пути трудности. В совместном Сообщении о Потсдамской конференции трех держав ее результаты резюмировались следующим образом:

«Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-Министр Эттли покидают эту Конференцию, которая укрепила связи между тремя Правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их Правительства и народы, вместе с другими Объединенными Нациями, обеспечат создание справедливого и прочного мира».

Успешные результаты Потсдамской конференции были с одобрением встречены всеми людьми доброй воли. Великая задача создания справедливого и прочного мира требовала добросовестного выполнения всех решений конференции и, главное, искреннего сотрудничества трех держав антигитлеровской коалиции.

Утром 9 августа Советский Союз в соответствии с секретным решением Крымской конференции вступил в войну с Японией, развернув военные действия против Квантунской армии, главной ударной силы японских милитаристов, десятилетиями угрожавшей нашей стране. Испытанные в боях с германскими захватчиками войска Красной Армии прорвали мощные укрепления противника и начали успешное наступление в глубь Маньчжурии. Оно явилось сильнейшим ударом по надеждам японских правящих кругов добиться почетного мира путем затягивания войны. Видя бессмысленность дальнейшего сопротивления, японское правительство заявило 14 августа о капитуляции Японии перед союзными державами. Но, странное дело, командование Квантунской армии не получило из Токио приказа о капитуляции, и японские войска продолжали вести

военные действия. Только 19 августа, после разгрома основных японских соединений, командование Квантунской армии согласилось капитулировать.

С завершением военных действий в Маньчжурии вторая мировая война, начавшаяся в 1939 году, закончилась.

Здесь уместно отметить, что война против Японии закончилась намного раньше, чем это планировалось командованием западных союзников. Не подлежит сомнению, что факт этот объясняется вступлением в войну Вооруженных Сил Советского Союза. Анализируя военный крах Японии, генерал Ченнолт, один из высших американских военных руководителей, справедливо писал осенью того же 1945 года в «Нью-Йорк таймс»:

«Вступление России в войну с Японией явилось тем решающим фактором, который привел к окончанию военных действий. Если бы атомная бомба и не была сброшена, результат был бы тот же... Благодаря быстрому продвижению советских войск Япония была окончательно сокрушена и победа достигнута».

Очень многозначительно здесь признание Ченнолта, что решающим фактором в победе над Японией была вовсе не атомная бомба, как это впоследствии утверждали западные публицисты и историки. Зачем же в таком случае была предпринята варварская атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, жертвами которой пали более 400 тысяч жителей? Ныне ответ на этот вопрос ясен для всех. Но он напрашивался уже и в то последнее военное лето. Демонстрация громадной разрушительной силы нового оружия служила предостережением Советскому Союзу. Ему молчаливо, но твердо предлагалось признать руководящую роль Америки в мировых делах и проявлять уступчивость всякий раз, как она этого потребует. Именно таков был скрытый политический смысл атомной бомбардировки.

Таким образом, вместо провозглашенного в Потсдаме расширения рамок сотрудничества и понимания трех держав вдохновители американской внешней политики уже в августе 1945 года положили начало атомному шантажу и «атомной дипломатии», лихо гарцевавшей на международной арене в течение четырех лет, пока весь мир не узнал, что с 1949 года США больше не являются монопольными обладателями секрета атомной бомбы.

Не могу не рассказать здесь о том, как капитуляция Японии косвенно отразилась на деятельности посольства, вылившись в одном случае в острый дипломатический инцидент.

18 августа столичная газета «Вашингтон пост» разразилась сенсационным сообщением о «вражде», якобы существующей между мексиканским и советским посольствами. Под жирным заголовком «Раскрылась длительная вражда между советским и мексиканским посольствами», с не менее броским подзаголовком «Русский дипломат отказывается присоединиться к латиноамериканскому послу с целью поздравления Трумэна».

Никакой вражды между советским и мексиканским посольствами в действительности и в помине не было, что, кстати, ясно констатировал в официальном опровержении посол Нахера, опубликованном на следующий день в той же «Вашингтон пост» — к ее великому посрамлению. Но дыма без огня не бывает.

Истинным в корреспонденции было только утверждение о моем отказе от визита в Белый дом.

Предыстория моего «почти невероятного шага», по выражению газеты, такова.

14 августа советское посольство было извещено дуайеном дипкорпуса о том, что в дипкорпусе возникла идея нанести визит президенту Трумэну и поздравить его с победоносным окончанием войны против Японии. Идея эта с самого начала показалась мне сомнительной, прежде всего вследствие того, что заявление японского правительства от 14 августа еще не привело к фактическому окончанию войны. Как я отмечал выше, Квантунская армия продолжала сражаться против Красной Армии, и было неясно, получила ли она вообще приказ сложить оружие. Поздравлять в таких условиях Трумэна было равнозначно игнорированию того факта, что Красная Армия вынуждена вести военные действия, или же — изображению этих военных действий, как носящих локальный характер.

Я не знаю, кто именно в дипкорпусе выдвинул идею визита, не исключаю и того, что она была инспирирована госдепартаментом. Во всяком случае, ее объективный политический смысл заключался в том, чтобы выпятить на первый план роль США в войне с Японией и одновременно принизить успехи Красной Армии в разгроме японской армии.

Рождались у меня и другие поводы для сомнений в приемлемости затеи с визитом. Направленный мною в мексиканское посольство за соответствующими разъяснениями Ф. Т. Орехов принес неутешительные вести. Он ознакомился с текстом поздравления, которое дуайен собирался огласить от имени всего дипкорпуса. Текст в общих чертах подтверждал мои предположения. Мало того, Орехов выявил и другое непригляд-

ное обстоятельство, на первый взгляд чисто протокольного порядка, а при ближайшем рассмотрении являвшееся политическим.

В качестве дуайена Франсиско Нахера должен был представлять президенту поочередно всех членов дипкорпуса. В каком порядке? Формально — по правилам протокола, учитывая ранги дипломатических представителей и даты их аккредитования при Белом доме. Но в данных обстоятельствах формальный подход был для нашего посольства абсолютно неприемлем. Дело в том, что мое положение Поверенного в делах автоматически ставило меня в иерархии дипкорпуса ниже послов и посланников, а совсем недавняя дата назначения переносила меня в самый конец протокольного списка.

Руководствовался я в данном случае отнюдь не мотивами личного престижа. Но о престиже своей Родины я обязан был заботиться. Допустимо ли было, чтобы представитель Советской державы, решающего фактора в победе над Японией, стал последним — последним!— в дипломатической очереди к «победоносному» президенту Трумэну? Согласиться на это значило бы сыграть на руку авторам хитроумной операции «Выпятить и принизить».

Но это еще не все. В списке дипкорпуса официально числились и «дипломатические представители» Латвии, Эстонии и Литвы. Фиктивные представители давно отсутствующих, однако признаваемых Соединенными Штатами буржуазных «правительств». И формально эти представители тоже обладали дипломатическим приоритетом над представителем Советского Союза! Немыслимая, абсурдная ситуация! Но как она ни была абсурдна, ни о каком отступлении от правил протокола и о том, чтобы пойти навстречу пожеланиям советского посольства о неформальном, политическом подходе, дуайен и слышать не хотел.

Вывод из всего этого вытекал только один: от визита в Белый дом следует уклониться, хотя такой шаг, бесспорно, чреват громким политическим резонансом. Сделать этот шаг я по собственной инициативе не мог. Поэтому в тот же день я телеграфно сообщил Молотову свои соображения на этот счет и внес предложение отказаться от визита. Мотивом для отказа мог послужить вполне основательный довод о преждевременности подобных протокольных мероприятий, поскольку военные действия в Маньчжурии еще продолжаются.

До 13 часов на следующий день ответная депеша наркома еще не поступила. А немного спустя, когда все дипломатические сотрудники посольства ушли завтракать, из мексиканского посольства неожиданно позвонили привратнику — за отсутст-

вием более компетентных лиц. Представитель дуайена очень торопился. Дело в том, что госдепартамент с неуместной в данном случае оперативностью согласовал с Белым домом вопрос о визите дипкорпуса: он был намечен на 15 часов 30 минут в тот же день. Привратник сообщил мне об этом после моего возвращения в посольство, и я понял, что из-за наводящей на размышления поспешности госдепартамента и Белого дома я очутился в дипломатическом цейтноте. До времени сбора дипкорпуса в условленном месте оставалось всего полтора часа, а указаний из НКИД все еще не было. И тогда я решил действовать на свой страх и риск в духе своего предложения наркому, то есть не присоединяться к делегации, не давая пока — под предлогом моего отсутствия — никакого ответа дуайену.

Так я его и не дал в тот день. Телеграмма наркома, одобряющая мое предложение, пришла уже после того, как дипкорпус во главе с дуайеном почтительно принес Трумэну поздравление с окончанием неоконченной войны и успел покинуть Белый дом. В душе у меня воцарилось спокойствие. Приятно было сознавать, что посольство нашло правильный выход из весьма щекотливого положения и что его действия хотя и с опозданием, но одобрены.

На другой день мексиканскому посольству сообщили, что его извещение о часе визита к президенту мне своевременно не доложили из-за моего отсутствия. А что касается самого визита, добавлял звонивший туда Орехов, то, независимо от этого обстоятельства, весьма сомнительно, чтобы Поверенный в делах принял приглашение, ибо Советский Союз продолжает находиться в состоянии войны с Японией. Эта версия о позиции советского посольства была позднее отражена средствами массовой информации, в отдельных случаях, как это показано выше, с серьезными искажениями.

Ни госдепартамент, ни Белый дом не реагировали открыто на этот демонстративный жест посольства. Им пришлось молчаливо принять его к сведению. При этом они, должно быть, пришли к выводу о том, что скоропалительный демарш дипкорпуса так и не дал ожидавшегося от него пропагандистского эффекта.

Отрицательное отношение советского посольства к неуклюжему политическому маневру с поздравлением Трумэна ни в малейшей степени не означало, что оно уклоняется от нормальных связей и контактов с Белым домом. Наоборот, мы постоянно стремились поддерживать и развивать их. Да и как могло быть иначе? Разве такая задача не являлась для нас первоочередной?

Поэтому уже 21 августа, когда еще не совсем утихла газетная шумиха насчет моего отказа от визита в Белый дом, я охотно принял приглашение на прием у президента Трумэна, исходившее от него самого. Пригласительный билет личной канцелярии президента — с тисненым на плотном картоне золотым орлом и каллиграфически выведенным жирным курсивом — гласил: «Президент просит Поверенного в делах Союза Советских Социалистических Республик доставить ему удовольствие своим присутствием на обеде в среду 22 августа в восемь часов вечера». Поводом для государственного банкета в Белом доме послужил приезд в Вашингтон для переговоров по ряду вопросов председателя Временного правительства Франции генерала Шарля де Голля.

Летом в Вашингтоне стоит чрезвычайная жара при очень большой влажности воздуха. Работать в таком климате тяжко. Жить тоже. Но если для меня жизнь в Вашингтоне и работа при любых условиях были неизбежными, то иначе обстояло дело с семьей. Жену с маленькими детьми следовало во что бы то ни стало избавить от неблагоприятных последствий вашингтонской жары и духоты.

Выход из положения, к счастью, нашелся. Молодая супружеская чета — третий секретарь Александр Георгиевич Хомянин и его жена Нина Ивановна Матвеева — уже не первый год снимали на лето пустующую благоустроенную фермерскую усадьбу вблизи Аннаполиса. Они предложили нам с женой разделить с ними арендную плату за усадьбу, и мы обеими руками ухватились за это предложение. Оно не только решало существенную житейскую проблему, но и открывало перспективу приятного соседства. К тому времени мы с женой уже близко познакомились и сдружились с молодыми ленинградцами. Их трехлетний сын мог составить хорошую компанию для наших малышей.

Для взрослых членов обоих семейств (исключая мою жену) дача в будние дни была недоступным райским уголком — из-за нашей перегруженности работой и изрядной его отдаленности. Но по выходным дням, начиная с субботнего вечера, на ней отдыхали — после трудной рабочей недели — и взрослые.

Попутно отмечу, что осенью решился вопрос о нашей городской квартире, которая мало подходила нам по ряду соображений и которую я рассматривал как сугубо временное пристанище. В сентябре наша семья поселилась в «респектабельном» особняке в «респектабельном» квартале на Коло-

радо-авеню. Сменили мы его уже на квартиру в здании посольства в мае 1946 года, когда ее освободила после переезда в Нью-Йорк семья А. А. Громыко.

4. Испытание на прочность

С момента капитуляции Японии вторая мировая война закончилась и народы земного шара вступили в эпоху мирного сосуществования. Что она несла человечеству?

Решать порожденные войною проблемы надлежало в первую очередь трем главным державам антигитлеровской коалиции — для нее это было в полном смысле слова испытанием на прочность. Успех в этом ответственнейшем деле зависел от степени их сплоченности и готовности соблюдать решения, принятые в 1945 году в Крыму и Потсдаме. К сожалению, внешняя политика западных держав уже в первые послевоенные месяцы продемонстрировала, что она далеко не всегда следует этим основополагающим решениям.

Выше я уже кратко отмечал некоторые тревожные тенденции, обнаружившиеся в американской внешней политике с приходом к власти президента Трумэна. Его тезис о руководящей роли Америки во всем мире назойливо подчеркивался как в прессе, так и в официальных заявлениях.

Одной из попыток претворения в жизнь этого тезиса явился политический нажим американской делегации — при поддержке английской делегации — на Советский Союз в ходе лондонской сессии созданного в Потсдаме Совета министров иностранных дел в сентябре — октябре 1945 года. Речь, по существу, шла о том, чтобы отодвинуть Советский Союз на задний план международной арены. Эта позиция западных держав основывалась на ложной предпосылке о том, что Советская страна настолько ослаблена небывало тяжелой войной, что не выдержит совместного напора и уступит их домогательствам. Однако они жестоко просчитались. Советская делегация оказала должный отпор нажиму, а сама сессия прекратила работу вследствие невозможности достигнуть согласия.

Характерным для новой фазы советско-американских отношений можно считать также решение американского правительства от 21 августа 1945 года о прекращении операций по ленд-лизу, в том числе и прекращении поставок Советскому Союзу.

Для Советского Союза поставки по ленд-лизу военных материалов, оборудования и продовольствия играли вспомо-

гательную роль в ведении Отечественной войны. Достаточно сказать, что удельный вес промышленной продукции, полученной нами по ленд-лизу, составил менее 4 процентов от собственной промышленной продукции СССР за соответствующий период. Однако важность отдельных видов американского оборудования для нашей промышленности нельзя было недооценивать. Особенно неприятным было то, что этим решением не только отменялись заказы последнего времени, но и поставки по давним заказам, почти уже завершенным производством.

Понадобились длительные и упорные переговоры в Москве и Вашингтоне в течение августа — октября, чтобы склонить американские власти на отмену решения хотя бы в отношении части оборудования, уже изготовленного или находившегося в стадии изготовления. В конце концов 15 ноября соглашение на этот счет было достигнуто: касалось оно оборудования на сумму в 244 миллиона долларов, поставляемого, однако, уже не в счет ленд-лиза, а в порядке долгосрочного кредита.

Мы радовались этому, пусть и скромному дипломатическому успеху. Но радовались недолго. Пойдя в ноябре в этом вопросе на уступку, американское правительство уже в январе 1947 года эти поставки односторонним решением прекратило. К прежним актам давления на Советский Союз прибавился, таким образом, еще один, правда почти ничего не меняющий в общей картине.

Ограниченный объем книги не позволяет мне описать свое участие в волнующем митинге солидарности с испанскими республиканцами, организованном в крупнейшем зале Нью-Йорка «Мэдисон-сквер-гарден» 24 сентября Объединенным комитетом содействия эмигрантам-антифашистам. Но я расскажу о ходе другого митинга в этом же зале, состоявшегося 14 ноября.

На митинге, судя по сообщению корреспондента ТАСС, присутствовала 21 тысяча человек. Кроме того, в нем «заочно» участвовало около 10 тысяч человек, собравшихся на площади перед зрительным залом, откуда транслировались выступления ораторов.

Митинг по давней традиции был устроен Национальным Советом американо-советской дружбы по случаю двух хронологически близких годовщин — Великой Октябрьской революции и установления дипломатических отношений между СССР и США.

В том же первом ряду кресел возле платформы для ораторов,

в котором полтора месяца назад я сидел на митинге солидарности с испанскими республиканцами, сидел я и теперь. Но — в соответствии с иными целями и задачами митинга — рядом с коллегами иного рода. Справа моим соседом был знаменитый негритянский певец Поль Робсон, а соседями слева — заместитель государственного секретаря Дин Ачесон, настоятель Кентерберийского собора в Англии Хьюлетт Джонсон, бывший американский посол в СССР Джозеф Дэвис и председатель объединенного союза рабочих электро- и радиопромышленности Альберт Фитцджералд. Исключая Дина Ачесона, всех ораторов можно было с достаточным основанием считать истинными поборниками дружбы с советским народом. Что же касается Ачесона, то он присутствовал здесь по долгу службы.

Ни одному из ораторов нельзя было отказать в широкой известности, хотя и по различным причинам. Весьма известным был заместитель государственного секретаря, постоянно находившийся в поле зрения прессы и радио. Огромной популярностью в США, а позднее и в Советском Союзе пользовался знаменитый певец Поль Робсон. Большой авторитет в американском профсоюзном движении приобрел А. Фитцджералд, вожак прогрессивного профсоюза.

Особого упоминания заслуживает выдающаяся личность Х. Джонсона, которого злопыхательская буржуазная печать во всем мире презрительно именовала «красным настоятелем». Это прозвище, которое его ничуть не задевало, было дано за его прогрессивные убеждения и за деятельность в пользу мира и дружбы с Советским Союзом. Реакционерам было за что ненавидеть «красного настоятеля». В духе стойких своих убеждений выступал он — после ряда других ораторов — и сейчас. В заключение своей речи он пылко восклицает:

— Россия добивается дружбы и мира! Россия нуждается в мире, а не в войне, ей необходим мир для того, чтобы развивать свои неисчерпаемые ресурсы и строить жизнь на основе собственной политической системы.

Долгие аплодисменты и приветственные возгласы, которыми награждается речь Джонсона, показывают, как высоко здесь ценится всякое правдивое слово о Советском Союзе и об истинных причинах международных осложнений.

Еще не стихли аплодисменты Х. Джонсону, как председатель митинга объявил о моем выступлении. Я уже поднимался по ступенькам на подмостки для ораторов, а мой предшественник все еще не намеревался их покинуть. Оказывается, он ждал меня, чтобы позволить фотографам запечатлеть наше дружеское рукопожатие перед всем залом. Редко кому я так охотно жал руку, как «красному настоятелю», под магниевые вспышки

фотоаппаратов. Только после этого Х. Джонсон оставил платформу, а я начал свое выступление.

Я говорил о достижениях советского народа в деле восстановления разрушенных немецко-фашистскими ордами сел и городов, фабрик и заводов, о мирных созидательных целях, намечаемых в первой послевоенной пятилетке. Но центр тяжести выступления состоял в том, чтобы оттенить важность для международного мира и безопасности сотрудничества между двумя сильнейшими державами — СССР и США. «Сейчас,— продолжал я,— мы должны подчеркнуть те задачи, которые стоят перед нашими странами после разгрома общего врага. Нам надо создать во всем мире такие условия, при которых люди были бы уверены, что над ними не нависает угроза новой войны — войны, которая будет еще более ужасной и разрушительной для человеческой цивилизации, чем та, что недавно закончилась. Нам надо во что бы то ни стало обуздать силы агрессии во всем мире».

Закончил я свою речь так:

«Нет никакого сомнения, что коренные интересы народов Советского Союза и Соединенных Штатов — союзников и друзей во время войны — требуют, чтобы наши великие страны и в послевоенный период жили в добром мире и тесной дружбе и сотрудничали в экономической области. И хотя на пути к укреплению дружбы между Соединенными Штатами и Советским Союзом стоят некоторые трудности и разногласия, их все же можно устранить, если обе стороны проявят необходимую для этого добрую волю. Будем же, не покладая рук, работать над устранением этих трудностей».

Прочувствованную, теплую речь о необходимости для американского народа дружить с Советской страной произнес Джозеф Дэвис. В ином ключе выступил Дин Ачесон. Он также говорил о желательности дружественных отношений с Советским Союзом, но свои велеречивые высказывания мимоходом дополнял едва завуалированными призывами к Советскому правительству быть поуступчивее к требованиям западных держав. Это был сдержанный вариант тогдашних безудержных антисоветских выпадов в прессе и по радио. Но необходимый для данного случая дипломатический декорум был госдепартаментом соблюден. Частью этого декорума явилось также оглашение официальных приветствий, направленных участникам митинга президентом Трумэном, военным министром Паттерсоном, генералом Эйзенхауэром. Пришло по адресу митинга и множество приветствий от неофициальных лиц. В том числе от Альберта Эйнштейна, Элеоноры Рузвельт, председателя Конгресса производственных профсоюзов Филипа Мэррея.

В конце митинга собравшиеся приняли тексты двух приветствий. Одно из них было адресовано И. В. Сталину и советскому народу. В другом, адресованном президенту Трумэну, выражалось стремление участников митинга поддерживать политику дружественных отношений с Советским Союзом. В искренности такого стремления сомневаться не приходилось.

Помимо занятости текущими делами посольства, сношениями с госдепартаментом и выступлениями на различных форумах в ту осеннюю пору у меня существовала значительная нагрузка в виде частых приемов в дипкорпусе и встреч в посольстве.

Рассказывать о них я не имею возможности, хотя некоторые из них были не лишены политической значительности и послужили основой для информации в НКИД. Единственное исключение я сделаю только для состоявшегося 21 ноября приема в посольстве в честь Джозефа Дэвиса в связи с вручением ему ордена Ленина, только что доставленного из Москвы.

В 1945 году ему было уже 69 лет. В 1936—1938 годах он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом США в СССР, где активно содействовал сближению между Советским Союзом и Соединенными Штатами. В 1942 году он опубликовал книгу «Миссия в Москву», в которой описал свою деятельность там и с необычной для американского дипломата объективностью рассказал о Советском Союзе и миролюбивой внешней политике Советского правительства.

Джозеф Дэвис был одним из организаторов Национального Совета американо-советской дружбы. В своих публичных выступлениях он показал себя нелицемерным сторонником дружбы между нашими странами. Поэтому награждение его высшим орденом Советского Союза было не просто протокольной формальностью, а заслуженной наградой. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1945 года с полным основанием говорилось, что награждается он «за успешную деятельность, способствовавшую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействовавшую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран...»

Церемония вручения протекала в исключительно дружелюбной атмосфере, не обремененной протокольными формальностями. Ни я, ни Дэвис не произносили высокопарных речей, на какие так легко сбиться при подобной оказии. Я просто с искренним, дружеским чувством поздравил Дэвиса и приколол к его груди орден. В своем ответном слове он не уступил мне ни в теплоте тона, ни в искренности чувств, заверив в том, что

гордится своей наградой, и попросив уведомить Советское правительство о своей огромной признательности, о чем он и сам собирался телеграфировать в Москву. Затем его поздравляли все присутствовавшие родственники Дэвиса и сотрудники посольства. Последовавший за этим обед прошел в оживленной дружеской обстановке.

Этот день послужил началом моих частых контактов с Дэвисом и членами его семьи в виде встреч по различным поводам в посольстве и в доме Дэвисов.

Принципиальная и твердая позиция Советского правительства, продемонстрированная на лондонской сессии Совета министров иностранных дел и в других случаях, заставила западные державы отказаться от тактики лобового нажима и искать взаимоприемлемые решения по важнейшим вопросам послевоенного периода. Эта новая тактика не замедлила сказаться в успешном ходе и исходе совещания министров иностранных дел СССР, США и Англии, происходившего с 16 по 26 декабря 1945 года в Москве; здесь было принято решение об учреждении в Вашингтоне Дальневосточной комиссии, а в Токио — Союзного Совета для Японии, достигнуто соглашение о подготовке мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, решен ряд других вопросов. В послании президенту Трумэну от 23 декабря, то есть еще до окончания совещания, И. В. Сталин с удовлетворением отмечал:

«Происходящее в Москве совещание трех министров уже дало свои положительные результаты. Предпринятые Вами и г-ном Бирнсом шаги как по вопросу о Японии, так и по вопросу о мирных договорах во многом облегчили дело... Уже теперь я считаю возможным сказать, что смотрю, в общем, оптимистически на результаты происходящего сейчас между нами обмена мнениями по актуальным международным проблемам и надеюсь, что это откроет дальнейшие возможности в деле согласования политики наших стран по другим вопросам».

Мимоходом замечу также, что послание И. В. Сталина от 23 декабря было одним из последних актов «дипломатии на высшем уровне», сыгравшим важную роль в объединении военных усилий в борьбе против общего врага. В новой обстановке она постепенно уступала место традиционной дипломатии внешнеполитических ведомств в лице их руководителей и дипломатических представителей на местах.

Коренные перемены в международной обстановке, вызванные окончанием второй мировой войны, настоятельно требова-

ли политической ориентировки посольства со стороны Наркоминдела. Я и до этого считал необходимым, чтобы подобная ориентировка давалась нам более или менее регулярно, но практически она не проводилась. Теперь же потребность в таком инструктаже неизмеримо возросла.

Эти соображения побудили меня обратиться в первой декаде декабря к В. М. Молотову с просьбой о своей поездке в Москву, с тем чтобы лично доложить о делах посольства и получить от руководства наркомата указания для деятельности в новых условиях.

Ответ наркома был обескураживающим: из-за отсутствия в Вашингтоне Громыко отлучаться мне в данный момент из посольства нельзя. Правда, доводу об отсутствии Громыко явно не хватало убедительности. О сроке его возвращения в посольство не было сказано ни слова, как и о том, возвратится ли он в Вашингтон вообще. В самом деле, с 24 апреля 1945 года он заезжал в Вашингтон один раз на два дня и один раз на полдня. В то же время не являлось секретом, что он всецело занят делами постоянного представительства СССР при ООН и подготовкой к предстоящему открытию в Лондоне первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но формально он продолжал числиться послом, что делало мое положение в посольстве неопределенным.

Потребность проконсультироваться с руководством наркомата я ощутил с новой силой в конце декабря после решения московского совещания трех министров об учреждении в Вашингтоне Дальневосточной комиссии. Последняя наделялась весьма широкими полномочиями для выработки политической линии союзных держав по демократизации и демилитаризации Японии. В начале января 1946 года решением Совнаркома СССР А. А. Громыко был назначен главой советской делегации в этой комиссии, а я — его заместителем. Однако могла сложиться и такая ситуация, при которой ответственность легла бы на меня. Но мог ли я без основательной ориентировки заниматься важнейшими японскими проблемами, с которыми никогда практически не сталкивался?

Отзвуки моих сетований на эту тему можно найти в моей записи в дневнике от 8 января 1946 года. Но уже 15-го очередная запись начиналась мажорным сообщением о том, что накануне я получил от В. М. Молотова телеграмму с вызовом в Москву. Наконец-то! Кстати сказать, отпал и надуманный предлог об отсутствии А. А. Громыко: восторжествовала деловая необходимость, высказанная мною еще в декабре.

18 января, обстоятельно посвятив Ф. Т. Орехова во все текущие дела посольства, я тронулся в дальний путь.

Вылетел я из Нью-Йорка утром на военно-транспортном самолете — трансокеанские гражданские авиалинии к тому времени еще не действовали. Первую посадку самолет совершил в аэропорту Гандер на Ньюфаундленде, вторую — на острове Санту-Мария (Азорские острова), где пассажиры промаялись несколько томительных ночных часов в зале ожидания. Последняя посадка должна была произойти в Париже, но из-за низкой облачности аэропорт Орли нас не принял, и самолет часа через три приземлился... в Марселе, на американской авиабазе. Улетели мы с нее только на следующий день и без каких-либо дальнейших осложнений высадились в аэропорту Орли.

Многое показалось мне здесь странным. Все тут было американское: и самолеты, и летный и наземный персонал, и рослые военные полицейские, и барачного типа служебные помещения с английскими указателями на каждом шагу. Впечатление от всего этого создавалось такое, словно я попал на оккупированную американскими войсками территорию.

Покончив с необходимыми формальностями, я отыскал справочное бюро, назвал себя молодой девушке в форме сержанта и попросил ее соединить меня по телефону с советским посольством, что она с готовностью сделала. Из посольства мне ответили, что телеграмма из Вашингтона о моем приезде получена заблаговременно, но что точное его время из-за нерегулярности рейсов установить не удалось, в силу чего машину за мной не смогли прислать. Обещали выслать немедленно, но я от этой запоздалой услуги отказался, прикинув, что до гостиницы, где для меня забронирован номер, доберусь гораздо быстрее на такси.

У въезда в аэропорт я сел в первую попавшуюся машину, которая и доставила меня в отель. Там портье без задержки вписал меня в какой-то реестр, выдал ключ от номера и продовольственные карточки на питание в ресторане при отеле. Воспользовался я ими сразу же, как только привел себя в порядок.

После обеда я первым долгом направился в советское посольство, где повидался с послом А. Е. Богомоловым, моим давним коллегой по НКИД. Мы бегло обменялись наиболее интересными новостями по «своим» странам, обсудили некоторые из животрепещущих проблем того периода. В конце беседы Александр Ефремович с недоумевающим видом спросил:

— Послушай, Николай Васильевич, а что, собственно, произошло с твоим новым назначением? С год назад, когда я

узнал о том, что тебя направили в Вашингтон, у меня не было и тени сомнения, что едешь ты на смену Громыко. Да и многие так думали.

— Прибавь к этим многим и меня,— рассмеялся я.— А заодно и Вячеслава Михайловича, который дал мне это понять еще в октябре позапрошлого года.— Я рассказал Богомолову о длительном междуцарствии в вашингтонском посольстве и о дополнительных сложностях в его работе, которые из этого вытекают.

Богомолов посочувствовал мне и выразил надежду, что в Москве «этой волынке» будет положен конец.

Вылетел я из Парижа в Берлин также американским военно-транспортным самолетом. В полете я коротал время, читая парижские и американские газеты. Они были полны комментариями о демонстративном уходе в отставку 20 января главы правительства Шарля де Голля и гаданиями о составе будущего кабинета.

Посадку наш двухмоторный «дуглас» совершил в аэропорту Темпельгоф в американской зоне оккупированного Берлина. О гражданском транспорте в разрушенной и опустошенной столице «тысячелетнего рейха», конечно, и мечтать не приходилось. Добраться до Карлсхорста в восточной части Берлина, где находилась Советская военная администрация, помогла комендатура аэропорта, без всякой волокиты выделившая для этой цели армейский «джип».

Его разбитной водитель охотно согласился ехать не по кратчайшему, а по указанному мною маршруту — через центральные районы города. В предрождественские дни 1940 года я исходил их вдоль и поперек, видел много достопримечательностей. Теперь я опять увидел — в их новом, жалком обличье — и Унтер-ден-Линден, и Бранденбургские ворота, и здание рейхстага. Зрелище разрушений в центре Берлина производило жуткое впечатление, хотя за минувшие со дня капитуляции девять месяцев кое-что уже было сделано для расчистки от развалин.

В советской комендатуре меня приняли с должным уважением, пообещали на другой же день отправить самолетом в Москву, а пока что поставили на довольствие в офицерской столовой и дали комнату в общежитии для сотрудников военной администрации.

Из знакомых я обнаружил в военной администрации лишь одного бывшего коллегу по НКИД В. С. Семенова, ныне политического советника маршала Г. К. Жукова, главы Советской военной администрации и члена Союзного Контрольного Совета по Германии. Повидаться с ним я сумел лишь поздно вече-

ром, и разговор наш происходил накоротке. Выглядел Владимир Семенович крайне усталым, вследствие чего затягивать беседу с ним я не пытался. Свелась она, в общем, к перспективам решения сложнейшей германской проблемы. Его высказывания по этому поводу можно было бы шутливо резюмировать так: «Ох и тяжелая это работа — из болота тащить бегемота!» Но в тот момент нам было не до шуток.

24-го я вылетел с аэродрома в Шёнефельде и после кратковременной остановки в Минске прибыл во второй половине дня на Внуковский аэродром. Здесь моя шестидневная одиссея подошла к концу.

Кстати сказать, вернувшись в Москву с запада, я тем самым завершил кругосветное путешествие, начатое вылетом из Москвы в Америку в октябре 1944 года.

В Москве я пробыл ровно три недели. Ночевал — фактически только ночевал в своей квартире на Большой Калужской улице, где в ту пору проживала вместе с вдовой моего покойного брата Петра и моя мать. Виделся я с ними лишь по утрам, перед отправлением в наркомат, и поздней ночью, когда, утомленный донельзя, возвращался оттуда. Встречаться с родными днем, за редким исключением, не удавалось.

Пребывание в Москве оказалось весьма результативным во многих отношениях. От руководства Наркоминдела, прежде всего от В. М. Молотова, с которым встречался по два-три раза в неделю, а иногда и дважды в день, я получил необходимую общеполитическую ориентацию для дальнейшей работы в посольстве; активно участвовал в подготовке к началу деятельности (с конца февраля) вашингтонской Дальневосточной комиссии; в отделах НКИД и по депешам из Токио получал актуальную информацию о положении дел в Японии, Китае и Корее; выполнил ряд специальных заданий наркома в связи с советско-американскими отношениями; поддерживал телеграфную связь с посольством, помогая Поверенному в делах Ф. Т. Орехову решать вновь возникающие задачи и т. п. Всего не перечислишь. Тем более невозможно, да и незачем вдаваться в подробности обо всем, чем я в эти три недели занимался.

Остановлюсь более или менее обстоятельно только на том, что относилось к Дальневосточной комиссии.

Информацией о нынешнем положении дел в оккупированной американцами Японии меня, как я уже отметил, снабдили в достатке. Но такая информация отнюдь не делала меня компетентным в многогранных проблемах этого еще вчера милитаристского государства, огнем и мечом стремившегося установить свое господство над всей Азией и Тихим океаном. А ведь

союзным державам в лице их органов — Дальневосточной комиссии, Союзного Совета для Японии и штаба Главнокомандующего союзных держав — требовалось преобразовать это агрессивное государство в мирную демократическую страну. Такая задача официально предусматривалась Потсдамской декларацией США, Англии и Китая от 26 июля 1945 года, к которой в начале августа присоединился и Советский Союз. Вполне естественно поэтому, что советским представителям в ДВК для полноценного участия в ее деятельности требовались квалифицированные советники — специалисты по Японии. Подысканием кандидатов на роль советников я — по указанию наркома — и занялся сразу же по приезде.

Дело это было не таким-то легким — на японистов тогда предъявлялся большой спрос. Наркоминдел смог выделить в качестве советника делегации только одного своего сотрудника — старшего референта Коробочкина.

В конце концов в состав делегации все же были включены еще два советника: Долбин и адмирал Рамишвили. С ними и работниками из посольства уже можно было бы приступать к делу, если бы в штате посольства к тому времени не произошли изменения, как в дипломатическом составе, так и среди другого персонала. Особенно чувствительную потерю понесло посольство в связи с отъездом А. Н. Капустина, недавно направленного посланником в Мексику. А в январе вернулись на родину А. Г. Хомянин и Н. И. Матвеева, с которыми я хорошо сработался и сдружился.

Я не преминул обратить внимание наркома на это обстоятельство и попросил пополнить штат, что он и пообещал сделать при нашем последнем свидании.

Его «напутствие» мало что добавило к тем принципиальным и практическим указаниям, которые он давал мне во время предыдущих встреч. В сущности, оно было лишь их обобщенным повторением, в котором не было особой необходимости. Но оно пригодилось как вступление к давно назревшему разговору о моем статусе в посольстве. Я ждал его и со своей стороны был готов к нему.

Исчерпав свои наставления, нарком спросил, когда я вылетаю в Вашингтон. Я ответил, что 14 февраля. Новый его вопрос касался даты первого заседания ДВК. Я назвал ее: 26 февраля.

— Двадцать шестого?— как бы размышляя вслух, произнес он.— К этому времени Громыко еще не сумеет вырваться из Лондона. Так что представлять Советский Союз в Дальневосточной комиссии вам придется одному. Пока,— добавил он не вполне уверенно.

— Пока?— переспросил я, усмешкой подчеркивая скептический смысл вопроса.

— Я понял, что вы имеете в виду,— улыбнулся и Молотов.— Вы хотите, чтобы я раскрыл свои карты раньше времени. Но что с вами поделаешь?— Он с напускной беспомощностью развел руки.— Так и быть, раскрою их. Мы еще в прошлом году решили назначить вас послом вместо Громыко, но дело до конца так и не довели. Никак руки не доходят. Да и обстоятельства с Громыко так сложились. Сколько времени вы его уже заменяете?

— Больше года, если не считать двух-трех его кратких наездов?

— Но, как мне кажется, с делом вы справлялись. Ладно, обещаю вам, что ваш фактический статус посла будет приведен в соответствие с юридическим. И очень скоро. Как только Громыко разделается с сессией Генеральной Ассамблеи в Лондоне, я поручу ему запросить на вас агреман. Остальное будет зависеть уже от Белого дома. Между прочим, как мне помнится, вы здорово насолили Трумэну, отказавшись поздравить его с победой над Японией.

— Верно. Немножко насолил. Но лишь потому, что в своей бесцеремонности сам Белый дом слишком пересолил.

— А не злопамятен ли Трумэн? Вдруг да не захочет дать агреман такому непочтительному дипломату?

— Что ж, тогда возвращусь в Москву. Откровенно говоря, меня очень тянет домой. Ведь я уже два с половиной года нахожусь за границей.

— Ну нет, товарищ Новиков! Так быстро мы вас домой не отпустим. А пока счастливого вам пути и успеха в делах, недостатка в которых у вас, похоже, нет и не предвидится.

Он с улыбкой пожал мне руку, и мы расстались. До отъезда я его больше не видел.

5. Испытание на прочность (окончание)

Утром 14 февраля я вылетел из Москвы в Берлин с кратковременной промежуточной остановкой в Риге. В берлинской комендатуре, куда я обратился за содействием в получении места на американском самолете до Парижа, меня огорошили сообщением, что такого рейса на следующий день не предвидится. Задерживаться в Карлсхорсте на сутки или еще того более мне вовсе не улыбалось, и я согласился лететь с утра «дугласом» до

Франкфурта-на-Майне. «Оттуда доберетесь за ночь до Парижа поездом,— заверили меня работники комендатуры.— А в аэропорту во Франкфурте вас встретят наши люди из миссии по репатриации. Мы известим их. Они же устроят вас на парижский поезд».

Я не раскаялся в том, что принял их совет. На другой день «дуглас» за полтора-два часа доставил меня во Франкфурт. Там я был радушно встречен капитаном Завьяловым. Вечером он проводил меня на вокзал, а днем 16-го скорый поезд Франкфурт — Париж прибыл на запущенный Восточный вокзал французской столицы.

На этот раз я не искал встречи с А. Е. Богомоловым, не желая вторично отрывать его от дел. А оказавшееся у меня свободное время во второй половине 16-го и в первой половине 17-го посвятил Парижу: поколесил по городу на такси, походил пешком, даже наспех забежал в Луврский музей.

17-го я получил в посольстве пачку американских проездных документов и через час был в Орли. Самолет, в котором я после выполнения всех формальностей занял место, был большой и комфортабельный. Первую посадку он совершил в аэропорту Санту-Мария на Азорах, где нам пришлось заночевать. Из-за отсутствия запасного экипажа машина должна была отправиться дальше с тем же экипажем, которому давалось на отдых 12 часов.

Посадка в самолет для дальнейшего полета состоялась вскоре после второго завтрака.

После одиннадцатичасового перелета наш самолет приземлился на острове Сент-Дейвидс, одном из островов Бермудского архипелага. Здесь, как и на Санту-Марии, запасного экипажа не было, что означало для пассажиров ночевку в огромном полупустом зале ожидания на голых скамейках. Стартовал наш самолет только в семь часов вечера. В ожидании близкого финиша в Нью-Йорке я решил вздремнуть в откинутом кресле. Разбудило меня чье-то легкое прикосновение к моему плечу. Стоявший рядом бортмеханик молча указал мне на светящееся сигнальное табло, призывавшее пассажиров пристегнуть ремни и не курить. Значит, идем на посадку.

— Нью-Йорк?— обрадованно спросил я.

Он отрицательно помотал головой.

— Нет, Спрингфилд. Ла-Гуардия не принимает.

Спрингфилд... Только этого еще недоставало! В январе меня по пути с Азоров вместо Парижа завезли на сутки в Марсель, теперь опять черт знает куда. От Спрингфилда, что в штате Массачусетс, до Нью-Йорка еще добрых 200 километров. И раз аэропорт Ла-Гуардия не принимает, то добираться туда надо поездом.

Оставшаяся часть пути прошла так. Часа через три с половиной, в середине ночи, я прибыл в Нью-Йорк. На Центральном вокзале меня взял под свою опеку секретарь генконсульства Федосеев, отвезший в забронированный для меня номер гостиницы, где я промаялся в полусне последние часы ночи. В Вашингтон я выехал 20 февраля ранним экспрессом и уже в полдень был встречен на перроне вашингтонского вокзала женой и обоими мальчиками.

Этим приятным финалом и завершилась моя более чем месячная командировка в Москву.

По возвращении в Вашингтон я сразу же ощутил большую перемену в политическом климате, наметившуюся в Соединенных Штатах еще в январе 1946 года. В феврале там уже вовсю бушевала новая антисоветская истерия, по своей накаленности превосходившая осеннюю.

В Москве я, разумеется, кое-что знал о ней по сообщениям ТАСС, но в Вашингтоне ее истинный характер и масштабы выявились гораздо рельефнее. Эта кампания более, чем все другие антисоветские кампании послевоенного периода, была, судя по всему, хорошо продумана и проводилась систематически, с дальним прицелом.

Своеобразным прологом к ней были январские нападки в прессе на государственного секретаря Бирнса. Ссылаясь на результаты Московского совещания министров иностранных дел, реакционные комментаторы вменяли ему в вину «политику умиротворения России», утверждали, что достижение согласия в вопросе о Дальневосточной комиссии и о процедуре разработки мирных договоров со странами-сателлитами гитлеровской Германии — это «игра в поддавки», проводимая госдепартаментом в ущерб интересам США и всего «христианского мира».

Косвенно, а иногда и прямо эта критика направлялась по адресу президента Трумэна, санкционировавшего «соглашательство» Бирнса. От президента требовали сменить «мягкую» политику в отношении СССР на «жесткую», намекая при этом на то, что Бирнс вряд ли сумеет осуществить ее. А одновременно с отдельными нападками на Бирнса и Трумэна в монополистической прессе мутным потоком лилась злопыхательская «информация» о Советском Союзе и его внешней политике.

До предела раздраженный успешным исходом декабрьского Московского совещания и опасаясь дальнейшей уступчивости со стороны американского правительства, в Соединенные Штаты поспешил давний ненавистник Советского Союза и всех

сил прогресса Уинстон Черчилль. Приехал как частное лицо — после провала на выборах в июле 1945 года он был не у дел,— чтобы «провести зимний отдых» в благословенной Флориде. Однако «отдых» свой он начал уже в Вашингтоне, нанеся 14 января визит президенту Трумэну. Встретился он с ним в присутствии яростного антисоветчика сенатора Артура Ванденберга, представителя США в Комиссии ООН по контролю над атомной энергией, убежденного проводника «атомной политики» Бернарда Баруха и адмирала Леги.

Уже по одному подбору участников этой встречи можно было судить, что визит Черчилля в Белый дом был отнюдь не светским. Практически он вылился в совещание по злободневным проблемам, о характере которых оставалось только догадываться. Правда, немного спустя выяснилось, что в число обсуждавшихся вопросов входил и первоначальный набросок печально знаменитой поджигательской речи, которую 5 марта Черчилль произнес в Фултоне в присутствии президента Трумэна. В окончательном варианте этой речи главными были две темы: об «экспансионизме» СССР и о военном союзе между Британской империей и Соединенными Штатами.

Преградой «советскому экспансионизму», по мнению Черчилля, должна была служить «братская ассоциация англоязычных народов», которая практически выглядела как военный союз Британской империи и США. В рассуждениях об этой «ассоциации» он был вполне конкретен: речь шла о тесном сотрудничестве генеральных штабов, о совместном использовании всех военно-морских и авиационных баз обеих стран, унификации вооружения и обо всех прочих атрибутах военного союза.

А что осталось бы в этом случае от сложившейся во время войны коалиции трех держав? Ничего. А от созданной год назад Организации Объединенных Наций? Тоже ничего. Вместо этого в контурах намечаемой Черчиллем «братской ассоциации» явственно вырисовывался механизм установления англо-американского господства над миром.

Такова была суть основных тезисов фултонской речи. Она внесла весомый вклад в эстафету разжигания ненависти к Советскому Союзу и фактического призыва к войне против него. Что же касается предложения о создании «братской ассоциации англоязычных народов», а попросту говоря — англо-американского военного союза против СССР, то в этом случае намерения Черчилля несколько разошлись с намерениями американских претендентов на «руководство миром». В их планах Британская империя фигурировала не как равный, а как младший партнер.

В свете этих соображений было только логичным, что чрезвычайная инициатива экс-премьера о военном союзе против СССР и для совместного господства над миром была в тот момент встречена довольно прохладно даже теми американскими реакционерами, которые разделяли его ненависть к Советскому Союзу.

Не брезгуя никакими средствами в достижении своих целей, организаторы антисоветской кампании пошли и на грубые провокационные акты. Об одном из них я расскажу подробно.

26 марта поздно вечером из Сан-Франциско мне позвонил тамошний советский консул М. С. Вавилов. С большой тревогой в голосе он сообщил мне, что в Сиэтле, входящем в его консульский округ, арестован сотрудник Советской закупочной миссии лейтенант Н. Г. Редин. Арестован агентами ФБР по подозрению в шпионаже. Выслушав Вавилова, я дал ему указание срочно отправиться в Сиэтл, добиться свидания с Рединым и поставить перед местными властями вопрос о его освобождении под залог.

Прибыв в Сиэтл, Вавилов действовал энергично и деловито. Он встретился с Рединым и получил согласие прокурора на его освобождение под залог в 10 тысяч долларов.

Но освобождение под залог еще не решало проблемы. 6 апреля я, по согласованию с Министерством иностранных дел СССР (как с середины марта стал именоваться Народный комиссариат иностранных дел), посетил заместителя государственного секретаря Дина Ачесона, заявил ему протест против необоснованного ареста Редина и потребовал прекращения его дела в суде. Выслушав меня, Ачесон сказал, что без предварительной консультации с департаментом юстиции он не может ничего ответить по существу моего демарша. В ответ на мои настояния ускорить решение вопроса он заявил, что сделает это с максимально возможной быстротой.

Пригласил он меня к себе только 9 апреля — в тот день, когда Редину в Сиэтле было вручено обвинительное заключение. Сославшись на существующую в США юридическую процедуру, Ачесон принялся разъяснять мне, что прерогатива решения о предании или непредании суду принадлежит исключительно департаменту юстиции и Большому жюри (коллегии присяжных). По мнению департамента юстиции, продолжал он, обвинения, выдвинутые против Редина, явились результатом «добросовестного расследования». Имеющихся улик вполне достаточно для предания его суду, вследствие чего госдепартамент не вправе вмешиваться в нормальный ход правосудия.

Я подверг сомнению утверждение департамента юстиции в добросовестности расследования и вновь поставил вопрос о прекращении его дела, но Ачесон продолжал придерживаться своей формальной позиции. Он лишь добавил:

— Я могу вас заверить, господин Новиков, что Редину будут предоставлены — в соответствии с американскими законами — все возможности защищаться и что процесс будет вестись честно и справедливо.

Провожал он меня до дверей с постной ханжеской миной, как бы говорившей: «Видит бог, я от всей души помог бы, но, увы, бессилен».

Таким образом, мои демарши в госдепартамент оказались бесплодными. Информируя об этом, пресса со злорадством писала, что «Соединенные Штаты отвергают советское требование о прекращении шпионского дела».

В пяти пунктах обвинительного заключения Редину инкриминировалось собирание разведывательных данных о вооружении и техническом оборудовании миноносца «Йеллоустоун».

Федеральный суд в Сиэтле рассмотрел дело Редина только три месяца спустя после его ареста. Закончился судебный процесс полным фиаско гнусной провокации. Как ни усердствовала в ходе судебного разбирательства прокуратура, как ни выжимали из лжесвидетелей заранее вызубренные показания, а ни один из пяти пунктов обвинения не подтвердился. Полностью оправданный, Редин ушел с процесса с гордо поднятой головой.

В один из своих визитов к Ачесону после окончания процесса я, не теряя чувства меры, позволил себе поиронизировать над напыщенным утверждением департамента юстиции о том, что обвинения против Редина являются «результатом добросовестного расследования». Он не без смущения улыбнулся и промолвил: «Да, ошибки бывают». Тогда я, уже со всей серьезностью, заявил: «Ошибка ошибке рознь, мистер Ачесон. Данная «ошибка» ФБР не только вылила ушат клеветы на доброе имя лейтенанта Редина, но и позволила прессе почти три месяца бросать тень на Советский Союз». В ответ на это он только развел руками: сказать ему было нечего.

Время от времени перед нашим посольством ставились задачи, выходившие за рамки непосредственно советско-американских отношений. Примером задач этого рода был мой демарш в госдепартаменте по вопросу о формировании в Болгарии правительства на основе решения Московского совещания министров иностранных дел СССР, США и Англии.

Причиной демарша послужили попытки правительства США нарушить указанное решение, навязывая Болгарии свои условия формирования правительства. По указанию госдепартамента американский представитель в Болгарии Барнс систематически подстрекал болгарскую оппозицию к срыву московского решения. Аналогичные шаги предпринял и сам госдепартамент, вручив 22 февраля болгарскому представителю в Вашингтоне генералу Стойчеву памятную записку с собственной интерпретацией условий московского решения, противоречившей достигнутой в Москве договоренности. В связи с этим Советское правительство поручило мне сделать в госдепартаменте соответствующее заявление.

Сделал я его 7 марта, посетив Ачесона и вручив ему ноту, содержание которой сводилось к следующим положениям:

1. Заявление правительства США болгарскому представителю не соответствует принятому в Москве решению относительно Болгарии.

2. Указанное заявление является нарушением московского решения, поскольку в этом решении выдвинуто новое условие для участия представителей оппозиции в болгарском правительстве.

3. Советское правительство уже ранее обращало внимание правительства США на то, что представитель Соединенных Штатов в Болгарии г-н Барнс систематически подстрекает болгарских оппозиционеров к тому, чтобы они действовали не на основании решения трех министров, а выдвигали бы новые условия для вхождения в болгарское правительство. Заявление госдепартамента от 22 февраля проникнуто тем же стремлением, что и действия г-на Барнса, и может только поощрять представителей болгарской оппозиции к сопротивлению решению совещания трех министров.

4. Таким образом, правительство Соединенных Штатов своим заявлением от 22 февраля толкает оппозицию на срыв московского решения.

В последовавшей затем беседе Ачесон пытался отстаивать позицию американского правительства, но я отклонил его доводы, как противоречившие московскому решению. В заключение беседы Ачесон обещал внимательно рассмотреть ноту Советского правительства.

Дальнейшие переговоры по этому вопросу велись в Москве между МИД СССР и американским посольством. В конечном итоге верх одержала советская точка зрения, основанная на московском решении трех министров.

26 февраля в Вашингтоне начала свою деятельность Дальневосточная комиссия.

Как я уже упоминал выше, решение о создании ДВК было принято на Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Англии в декабре 1945 года. Создавалась она взамен мертворожденного детища англо-американской дипломатии — почти бесправной Дальневосточной консультативной комиссии, от участия в которой Советское правительство отказалось осенью 1945 года. В противовес ей ДВК была наделена существенными правами «формулировать политическую линию, принципы и общие основания, в соответствии с которыми может осуществляться выполнение Японией ее обязательств по условиям капитуляции».

В ДВК были представлены 11 стран — СССР, США, Великобритания, Китай, Франция, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия и Филиппины.

Решения комиссии должны были приниматься большинством голосов при непременном согласии представителей четырех держав — СССР, США, Великобритании и Китая. «Единственной исполнительной властью союзных держав в Японии», как было установлено на Московском совещании, являлся американский главнокомандующий генерал Макартур, руководствующийся директивами американского правительства, которые должны соответствовать политической линии ДВК. Последняя обладала правом «пересматривать по требованию любого члена любую директиву, данную Главнокомандующему Союзных Держав, или любые решения, принятые Главнокомандующим, относящиеся к политической линии, проведение которой подпадает под юрисдикцию Комиссии». Вместе с тем совещанием предусматривалось, что «любые директивы, касающиеся существенных изменений в японской конституционной структуре, или изменений в режиме контроля, или касающиеся смены всего японского правительства в целом, будут даваться лишь только после консультации и достижения соглашения в Дальневосточной Комиссии».

Таков был объем полномочий ДВК.

Ее заседания происходили в парадном зале бывшего японского посольства на Коннектикут-авеню. Первое заседание, которому предшествовала моя встреча с государственным секретарем Бирнсом для обсуждения некоторых процедурных вопросов, имело чисто организационный характер. Открылось оно приветственной речью Бирнса, подчеркнувшего важность сохранения мира в бассейне Тихого океана и выразившего надежду, что союзные государства — участники комиссии будут поддерживать «такое же единство действий и целей, какое поз-

волило выиграть войну», с тем чтобы «искоренить семена потенциальных войн, где бы они ни обнаружились».

Затем были обсуждены организационные вопросы. Представитель Китая Вэй Даомин выдвинул кандидатуру американского представителя генерал-майора Фрэнка Маккоя на пост постоянного председателя комиссии. Эту кандидатуру в кратких выступлениях поддержали представитель Нидерландов Лоудон и я. Маккой был единодушно избран председателем. Также единодушно был избран генеральным секретарем Нелсон Джонсон, бывший американский посол в Китае. В заключение был избран руководящий комитет с целью подготовки повестки дня для ближайших заседаний. В него вошли представители всех 11 членов ДВК.

На пленарном заседании ДВК 14 марта были также созданы шесть рабочих комитетов. Я был избран председателем комитета по укреплению демократических тенденций. В круг его ведения входили вопросы установления свободы слова, религии и мышления, уважения основных человеческих прав, позитивной политики по переориентации японцев и другие мероприятия по демократизации.

Назначение меня председателем этого комитета не означало, что мои функции в комиссии ограничивались только поставленными перед ними задачами. Из-за отсутствия Громыко, одного из трех вице-председателей ДВК, его функции выполнял я. Поэтому в круг моей компетенции входили все вопросы, которыми занималась комиссия. Рассматривая их, я, конечно, в полной мере использовал опыт и знания советников делегации Коробочкина и Долбина. В дальнейшем к делегации присоединился и адмирал Рамишвили. Перед каждым заседанием мы тщательно изучали документы по Японии, представляемые секретариатом, а также разрабатывали собственные предложения для ДВК, вносимые по указанию МИД или по инициативе самой делегации, но по согласованию с Москвой.

Деловая обстановка в ДВК была, в общем, удовлетворительной, хотя по временам на заседаниях и возникали серьезные трения. Главное противодействие подлинной демократизации Японии исходило от архиреакционного генерала Макартура, видевшего в деятельности ДВК помеху своей практически неограниченной власти.

Ярким примером консервативного подхода к перестройке политической жизни Японии могут служить энергичные усилия Макартура во что бы то ни стало сохранить в Японии монархию во главе с императором Хирохито, придав ей и самому императору формальные «демократические» атрибуты. По мнению советской стороны, подобное отношение к Хирохито противоре-

чило принципам Потсдамской декларации, пункт 6 которой гласил: «Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний...» По этой причине советская делегация возражала против покровительства Макартура Хирохито. Наша позиция была сформулирована в документе, представленном мною в ДВК в мае. Однако американская делегация не согласилась с ним и склонила на свою сторону большинство членов комиссии.

Приводя этот пример, я вовсе не хочу утверждать, что ДВК вообще игнорировала советские предложения. Наоборот, многие из них вошли составной частью в решения ДВК и придали им положительный характер.

ДВК просуществовала до 1952 года. Лично я, в качестве представителя СССР, участвовал в ее деятельности на ее наиболее активном этапе — до осени 1947 года — и, естественно, мог бы поведать о многих, весьма существенных перипетиях этой деятельности. Однако я вынужден ограничиться уже сказанным выше. А что касается итоговой оценки последней и ее значения в послевоенной истории Японии, то я сошлюсь на статью «Дальневосточная комиссия» в 13-м томе Большой Советской Энциклопедии, в которой говорится:

«Благодаря усилиям советской дипломатии, неуклонно отстаивающей принципы Потсдамской (Берлинской) декларации 1945 г. о демократизации и демилитаризации Японии, Дальневосточной комиссией в 1946—1947 гг. были приняты решения, соответствующие духу этой декларации: «Основная политика в отношении Японии после капитуляции» (19 июня 1947 г.), «Сокращение военно-промышленного потенциала Японии» (14 августа 1947 г.), «Принципы организации японских профсоюзов» (6 декабря 1946 г.). Однако правительство США, игнорируя принципы Потсдамской декларации и решения Дальневосточной комиссии, с самого начала оккупации установило свой монопольный политический, экономический и военный контроль над Японией и повело в Японии политику, полностью противоречащую международным соглашениям об оккупации Японии».

Со своей стороны добавлю, что приведенный выше перечень положительных решений ДВК можно было бы намного удлинить, но и их также постигла общая участь — быть осуществленными только частично или вовсе преданными забвению. По мере того как правящие круги США все явственнее вставали на путь агрессивной политики, тем меньше американское правительство считалось с деятельностью ДВК. К 1950 году она была практически парализована. А после заключения в

сентябре 1951 года американо-английским блоком сепаратного мирного договора с Японией правительство США в апреле 1952 года односторонне заявило о прекращении деятельности ДВК, тем самым вновь нарушив международные соглашения о Японии.

6. Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза

После февральской беседы с В. М. Молотовым, когда он заявил мне, что вопрос о моем назначении вместо Громыко в принципе решен, неясным оставалось только время его практического осуществления.

16 марта 1946 года в Вашингтон приехал А. А. Громыко. 23-го он окончательно расстался с посольством, подписав приказ о сдаче мне дел в связи со своим освобождением от должности посла. Впрочем, одно дело — еще в качестве посла — он все-таки совершил, посетив на прощание Бирнса и запросив агреман на назначение меня Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР. Теперь дело было за ответом Белого дома. Но это, казалось бы, чисто формальное дело, которое, как правило, решается в течение нескольких дней, по каким-то причинам надолго затормозилось.

По прошествии трех недель после запроса Громыко МИД попросил американское посольство в Москве напомнить госдепартаменту о желательности решения затянувшегося вопроса об агремане. И тут вдруг выяснилось, что американское посольство не имело понятия об этом запросе. Тотчас связавшись с госдепартаментом, оно через день информировало МИД, что задержка произошла из-за досадного «технического» недоразумения. Что касается агремана, то правительство США с удовлетворением дает согласие на мое назначение послом.

10 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР назначил меня Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Соединенных Штатах Америки.

Новая остановка возникла из-за верительных грамот, которые были доставлены диппочтой только во второй половине мая.

Выше мне уже приходилось отмечать, что множественное число в выражении «верительные грамоты» является данью склонному к архаизмам языку дипломатического протокола. В действительности это была всего лишь одна «грамота», а именно послание Председателя Президиума Верховного Совета

СССР Н. М. Шверника от 25 апреля 1946 года на имя президента США Гарри Трумэна.

Оно было очень краткое и завершалось таким абзацем:

«Аккредитуя гражданина Николая Васильевича Новикова настоящей грамотой, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик просит ВАС, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, принять его с благосклонностью и верить всему тому, что он будет иметь честь излагать ВАМ от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик».

По общепринятым протокольным правилам акту вручения верительных грамот предшествует встреча аккредитуемого посла с министром иностранных дел соответствующей страны — для первого его знакомства с главным контрагентом по дипломатическим сношениям. И хотя я в Вашингтоне новичком не был и с государственным секретарем Дж. Бирнсом имел дело многократно, тем не менее протокольную процедуру полагалось соблюсти и в данном случае.

Визит Бирнсу я нанес 31 мая. Встретил он меня чрезвычайно любезно: с жаром пожал мне руку, поздравил с новым назначением, затем усадил на диван рядом с собою. Здесь, продолжая разговор о моем назначении, он в извиняющемся тоне поведал мне нелепую историю с задержкой агремана. Я добродушно принял его извинения: чего, мол, не бывает.

Бирнс сообщил мне дату церемонии в Белом доме — 3 июня. Я передал ему неофициальный перевод текста моего обращения к президенту. Требовалось это для предварительного ознакомления последнего. В порядке взаимности предусматривалось и мое предварительное ознакомление с текстом ответной речи президента. Подобная процедура исключала какие-либо недоразумения в ходе церемонии.

Вот текст моего обращения:

«Господин Президент,

Я имею честь вручить Вам верительные грамоты, которыми Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик аккредитует меня при Вашем Превосходительстве в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР, а также отзывные грамоты моего предшественника.

Для меня является большой честью представлять Советский Союз в Соединенных Штатах Америки, с которыми моя страна связана узами боевого содружества в борьбе против общего врага.

Как в период войны, когда боевое содружество между нашими странами сыграло большую роль в освобождении всего

человечества от ига фашизма, так и в настоящее время взаимоотношения между СССР и США имеют важное значение для дела всеобщего мира и безопасности. Сознание этого факта не может не привести каждого искреннего сторонника мира к выводу о необходимости дальнейшего укрепления тесного сотрудничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

Сознавая возложенные на меня ответственные задачи, я приложу все усилия к тому, чтобы способствовать развитию и укреплению политических, экономических и культурных взаимоотношений между нашими странами.

Позвольте мне, Господин Президент, выразить уверенность, что при выполнении своей высокой миссии я встречу с Вашей стороны и со стороны Правительства Соединенных Штатов Америки всемерную поддержку и содействие».

Бирнс пробежал глазами перевод и не без напыщенности произнес:

— Очень хорошо! Вполне достойно представителя великой союзной державы, сыгравшей столь важную роль в достижении победы над агрессорами и готовой самоотверженно трудиться для дела мира.

Вслед за этим он протянул мне текст довольно пространного ответного обращения президента, приводить которое я не стану.

Прочтя этот документ, подготовленный госдепартаментом для президента, я не остался в долгу у Бирнса и в свою очередь не поскупился на аналогичный комплимент.

Были произнесены еще две-три любезные фразы, и мой протокольный визит приблизился к окончанию. Ведь затрагивать деловые вопросы в ходе его не полагалось. Но я, вопреки обычаю, решил все-таки вскользь задеть один из них, чрезвычайно затянувшийся, благо проект речи президента давал мне для этого косвенный повод.

Держа в руках президентское обращение, я повторно прочел — на сей раз вслух — тот пассаж из него, где говорилось о «быстром и сочувственном рассмотрении» любых советских предложений по улучшению и укреплению политических, экономических и культурных отношений между нашими странами. Прочел достаточно выразительно, сделав особое ударение на словах «быстрое и сочувственное рассмотрение» и при этом многозначительно взглянув на собеседника. Тот, конечно, сразу же догадался, что я имел в виду.

— О, я отлично вижу, что вы подразумеваете,— натянуто усмехнулся он.— Ваш взгляд красноречивей всякой ноты укоряет меня за проволочку с ответом о займе.

— Ваша проницательность делает вам честь, мистер Бирнс,— не стал я отрицать его догадку.— На память мне действительно пришел наш последний разговор на эту тему.

В нескольких словах поясню, в чем суть дела.

С просьбой о займе в 6 миллиардов долларов Советское правительство обратилось к правительству США осенью 1945 года. Последнее согласилось «благожелательно рассмотреть» просьбу о займе, но лишь в размере одного миллиарда долларов. С тех пор на протяжении семи месяцев оно так и не удосужилось сделать это. Советская сторона не раз напоминала о необходимости ускорить ответ. Напомнил об этом Бирнсу и я при свидании с ним 15 марта, но ответа по существу дела не получил.

Не получил его я и сейчас.

С вымученной улыбкой на своей лисьей физиономии Бирнс промолвил:

— К сожалению, я и сегодня еще не готов сообщить вам что-либо определенное.

Я молча пожал плечами. Теперь можно было не задерживаться дольше в кабинете государственного секретаря. Расстался я с ним, как легко понять, не в мажорном настроении.

Уклончивый ответ Бирнса лучше всех благожелательных фраз президента о всестороннем укреплении советско-американских отношений раскрывал смысл оттяжки с вопросом о займе: ее целью было просто-напросто оказать экономическое давление на Советский Союз.

Но спекуляция на послевоенных экономических трудностях Советского Союза, говорил я себе по дороге в посольство, не принесет дивидендов Вашингтону. В случае необходимости Советская страна идет на те или иные компромиссы, не поступаясь, конечно, принципиальными соображениями. Но на капитуляцию она не пойдет никогда!

Во второй части данной книги я описал необычайно пышную церемонию вручения верительных грамот египетскому королю Фаруку. Менее парадно, как это и подобает дворам монархов в изгнании, происходила моя аккредитация при югославском короле Петре и греческом — Георге, хотя и в этих случаях было сделано все возможное, чтобы придать этому акту должный декорум. Не лишен был некоторой парадности и соответствующий церемониал в Московском Кремле, где я неоднократно присутствовал при вручении грамот М. И. Калинину моими «подшефными» послами и посланниками. Но в Вашингтоне про-

токольная сторона этого акта была сведена до такого минимума, что следовало бы говорить уже не о церемонии, а о простой встрече, хотя и на весьма высоком уровне.

В соответствии с этой упрощенной процедурой 3 июня я в полном одиночестве приехал в начале первого в госдепартамент, где встретился с Джеймсом Бирнсом. После краткой беседы мы с ним направились пешком к расположенному по соседству западному крылу Белого дома, где в пристройке помещались канцелярия и рабочий кабинет президента Гарри Трумэна. На втором этаже здания, в скудно меблированной приемной нас приветствовал личный секретарь Трумэна — высокий молодой человек с идеально прямым пробором напомаженных волос. Он распахнул дверь президентского кабинета и сказал: «Господин президент ждет вас, господин посол», жестом пригласил нас войти. Было 12 часов 20 минут — время, точно указанное в расписании деловых приемов Трумэна на 3 июня.

В кабинете из-за большого письменного стола проворно поднялся и пошел нам навстречу президент. Лицо его было сморщено в улыбку, которая плохо ему удавалась, голос его, когда он заговорил, слегка дрожал, как будто от волнения, а в действительности от какого-то дефекта голосовых связок. Несмотря на то что мое знакомство с Трумэном состоялось еще с год назад, Бирнс представил ему меня по всей форме, и мы пожали друг другу руки. После обмена приветственными фразами я передал президенту свои верительные грамоты, отзывные грамоты Громыко и свою «речь», взамен которой получил от него его «речь».

Теперь настал черед аудиенции, по обычаю предоставляемой главами государств вновь аккредитованным дипломатическим представителям. Состоялась она за рабочим столом президента в присутствии государственного секретаря. Должен сказать, что, хотя ни одна из наших «речей» и не произносилась, их содержание не осталось втуне. Они послужили неплохой основой для нашей беседы, в ходе которой часто вставлял реплики и Бирнс. Таким образом, когда на следующий день пресса опубликовала тексты обеих «речей», можно было без особой натяжки считать, что они были произнесены.

Аудиенция продолжалась минут пятнадцать. По ее окончании Бирнс проводил меня до приемной, где препоручил заботам личного секретаря, а сам вернулся в кабинет президента для аудиенции по текущим делам своего ведомства. Заключительный штрих в этой несложной протокольной процедуре принадлежал личному секретарю президента, проводившему меня до подъезда Белого дома, где меня ждала машина посольства.

На другой день после вручения верительных грамот пресса широко откликнулась на этот факт. Почти все крупные газеты поместили целиком тексты обеих «речей», некоторые комментировали их более или менее объективно. Печатались также распространенные госдепартаментом сведения личного порядка обо мне, о моей семье, образовании и т. д.

В конце июня вашингтонское бюро агентства Ассошиэйтед Пресс обратилось ко мне с письменной просьбой принять представителя агентства для интервью «по ниже обозначенным темам». Это были шесть весьма актуальных вопросов о советско-американских отношениях, с подтекстом, характерным для политической атмосферы того периода.

Я решил использовать представившуюся мне, таким образом, удобную возможность высказать советскую точку зрения по этим вопросам, которая, как я предполагал, найдет отражение на страницах многих газет, черпающих информацию в Ассошиэйтед Пресс. Через пару дней я принял корреспондента агентства. Вручив ему шесть письменных (чтобы не допустить искажений) ответов, я затем ответил на дополнительно поставленные им вопросы.

Мое предположение об интересе прессы к интервью оправдалось. Отчет о нем был помещен во всех крупных газетах, как столичных, так и периферийных. Ниже я привожу этот отчет в том виде, как он был опубликован газетой «Нью-Йорк геральд трибюн» за 3 июля, с сокращением более чем наполовину. Заголовок жирным шрифтом гласил: «Посланец России уверен, что противоречия могут быть устранены». Подзаголовок был дан более скромным шрифтом: «Новиков говорит, что для войны «нет никаких оснований», призывает к терпеливости и расширению торговли». Под ними такой текст:

«Вашингтон. 2 июля. Сегодня советский посол Николай В. Новиков выразил убеждение в том, что «нет никаких оснований для войны» между его страной и Соединенными Штатами, и заявил, что он уверен, что все разногласия между ними могут быть «улажены».

В интервью одному американскому корреспонденту, первом с момента вручения верительных грамот президенту Трумэну месяц назад, господин Новиков с чувством сказал: «Я знаю, что народ Соединенных Штатов не желает воевать против Советского Союза или какой-либо иной страны. Я знаю, что Советский Союз никогда не начнет войны против Соединенных Штатов или еще какой-нибудь страны. Таким образом, любые разногласия между ними могут быть улажены». «В этом смысле вы можете считать меня оптимистом»,— добавил господин Новиков с улыбкой, будучи спрошен, питает ли он оп-

тимизм по поводу международной ситуации и, в частности, по поводу советско-американских отношений».

Однако посол подчеркнул свое убеждение, что решить быстро все существующие мировые проблемы невозможно. Многие из них потребуют времени и терпения. «Европа находится сейчас в наиболее трудном периоде — в переходном периоде от войны к миру,— сказал он.— Проблемы неизбежно будут трудными».

В течение получаса посол, который воздерживался от бесед с репортерами во время своих визитов в государственный департамент, непринужденно разговаривал на различные темы. Казалось, он готов полностью ответить на все вопросы и сделать свою позицию абсолютно ясной.

Господин Новиков высмеял мысль о том, что серьезные конфликты между Россией и Соединенными Штатами «неизбежны» или «необходимы»— эти два слова содержались в одном из письменных вопросов. Доверие с обеих сторон, сказал он,— вот лучший способ избегнуть экономических или политических конфликтов. Добиться этого доверия, добавил г-н Новиков, можно лучше всего «практическими делами», выполнением согласованных взаимных обязательств.

Посол заявил, что, по его мнению, «правильно понятые национальные интересы России и Соединенных Штатов создают скорее здоровую основу для «плодотворного сотрудничества к взаимной выгоде обеих сторон», чем для «конфликтов на экономической, политической или какой-либо иной почве».

«Вряд ли надо упоминать, что правительство и народы Советского Союза не желают и не ищут конфликтов с кем бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, нашего вчерашнего союзника в борьбе против общего врага»,— добавил он в заключение.

Что ж, можно считать, что интервью свое дело сделало. И, критически перечитывая его теперь, десятки лет спустя, я думаю, что проверку временем оно выдержало.

Это было мое первое интервью в США. Потом их было много. Упоминаю об этом здесь только для того, чтобы сказать, что обращаться к ним в дальнейшем не буду.

Вступив на пост посла официально, я уступил Ф. Т. Орехову свой кабинет на первом этаже, где проработал более полутора лет, и перебрался в посольский кабинет, которым до сих пор пользовался лишь для приема коллег по дипкорпусу и других иностранных посетителей. В моем переселении туда имелись

определенные практические преимущества, правда не столько для меня, сколько для работников секретариата. Теперь деловая связь с ними становилась непосредственной.

Незадолго до вручения мною верительных грамот я принял в посольстве председателя «Американского общества помощи России» мистера Эдварда Картера, который пригласил меня выступить 12 июня на митинге этого общества в Детройте.

Деятельность этой массовой организации, большинство членов которой составляли простые люди Америки, была хорошо известна посольству. За годы войны общество оказывало населению пострадавших от войны районов СССР материальную помощь, направив для них медикаменты, одежду и продовольствие на общую сумму 90 миллионов долларов. Советское правительство должным образом оценило это проявление доброй воли американского народа и наградило орденами трех главных руководителей общества — председателя Эдварда Картера, исполнительного директора Фреда Майерса и администратора по поставкам Дэвида Уэйнгарда.

По окончании войны общество продолжало свою гуманную деятельность, которая, однако, вызывала недовольство правящих кругов. Обществу было рекомендовано «самораспуститься», как исчерпавшему свои задачи. Митинг в Детройте служил как бы заключительным актом прежней деятельности общества и вместе с тем началом широкой общественной кампании по сбору средств в сумме 200 тысяч долларов на оборудование в Москве детской больницы имени профессора Филатова. Руководство кампанией взял на себя популярный в Детройте доктор медицины Альфред Уиттекер.

Поддержать подобную инициативу друзей Советского Союза авторитетом посольства представлялось мне вполне целесообразным политическим шагом, и я охотно принял приглашение мистера Картера. Оно было кстати и в другом отношении, содействуя моим собственным планам — по возможности шире знакомиться со страной. Детройт как раз входил в число крупных американских городов, интересовавших меня в первую очередь. И, как вскоре же выяснилось, Детройт — в лице видных представителей делового мира — также интересовался мною, как официальным представителем Советского Союза. Об этом свидетельствовал чуть ли не десяток приглашений от крупных промышленных компаний посетить их предприятия в дни моего пребывания там. Свой выбор я остановил на автомобильных предприятиях Форда и компании «Крайслер» и на фармацевтическом заводе компании «Парк и Дэвис», во время войны поставивших нам немало своей продукции.

Не скрою, что некоторые из сотрудников посольства, узнав о моем намерении, предупреждали меня о рискованности такой поездки. Причиной их беспокойства служила дурная слава Детройта. Эта вотчина автомобильных королей Америки была в те годы гнездом фашистских банд, существовавших на субсидии местных магнатов. Здесь открыто орудовали ку-клукс-клан, «Христианские националисты»— подручные реакционнейшего радиопопа Чарльза Кофлина,—«Черный легион» и партия «Америка прежде всего» во главе с фанатичным поклонником Гитлера Джералдом Смитом. Весь этот разношерстный сброд нагло терроризировал профсоюзных активистов и прогрессивно настроенных общественных деятелей Детройта. От их дерзких выходок не были застрахованы даже приезжавшие сюда члены американского правительства и дипломатические представители иностранных государств. В своем месте я уже рассказывал, со слов посла Галифакса, о той дикой обструкции, которой он подвергся со стороны разнузданных хулиганов на митинге в Детройте.

Очевидно, памятуя об этом скандальном инциденте, определенную озабоченность в связи с моей поездкой проявил и государственный департамент, приняв через местную детройтскую администрацию надлежащие меры охраны.

11 июня утром я вылетел вместе с женой в Детройт. В аэропорту нас подстерегал сюрприз — встречала нас целая делегация, образовавшая так называемый «приветственный комитет». В него входили упомянутые выше Э. Картер и доктор А. Уиттекер и еще несколько человек, в том числе вице-президент Детройтского банка Уэнделл Годдард и один из директоров «Крайслер корпорейшн»— Джордж Истмен.

Мистер Картер представил нам с женой всех встречавших. После обряда рукопожатий и взаимных поклонов мистер Истмен с витиеватой любезностью попросил нас оказать ему и представляемой им корпорации честь пользоваться на все время нашего пребывания в Детройте машиной ее производства. В роскошный лимузин последнего выпуска вместе с нами сели Картер, Уиттекер и сам Истмен.

Остановились мы в забронированном для нас номере в отеле «Бук-Кадиллак», где на следующий день должен был состояться митинг. Для отдыха с дороги и приведения себя в порядок наши любезные хозяева — Картер и Уиттекер — отвели нам час, а на вилле доктора, что на берегу озера Сент-Клер, нас ожидал завтрак и более комфортабельный отдых на прибрежной лужайке под освежающим дуновением ветерка с озера. Затем нам показали город, покатав по главным улицам.

Прогулка по пышущему зноем Детройту завершилась обедом в «Экономическом клубе», имевшем, как нам сказали, полупочтительно-полупрезрительное прозвище «Клуб стареющих миллионеров». Но обедали мы в преимущественно демократическом обществе: за нашим столом сидел всего лишь один миллионер — президент «Экономического клуба» банкир Аллен Кроу.

В первой половине следующего дня мы побывали в административном и проектно-конструкторском корпусах фирмы «Крайслер», а во второй — с большим интересом посетили крупнейшее в США фармацевтическое предприятие фирмы «Парк и Дэвис».

В отель мы вернулись часа за полтора до открытия митинга.

Торжественное собрание «Американского общества помощи России» проходило в большом бальном зале отеля «Бук-Кадиллак». По американскому обычаю, это был митинг-банкет. Сотни участников митинга разместились за столиками в зале и на галерее, опоясывавшей зал. Ораторы сидели лицом к публике за длинным столом на возвышении у одной из стен. В список ораторов входили Э. Картер, А. Уиттекер, А. Кроу, мэр Детройта Эдвард Джеффрис и еще два-три человека. Моя фамилия стояла в самом конце списка — почетный гость в силу того же обычая выступает последним.

Председателем митинга был наш вчерашний сотрапезник в «Экономическом клубе» мистер Кроу, оставивший по себе впечатление как о человеке, питающем по отношению к нам глухую неприязнь. Но его поведение накануне было только цветочками — ягодки он, оказывается, припас на сегодня.

Открывая митинг, мистер Кроу произнес речь, которая сразу же насторожила меня, а в дальнейшем глубоко возмутила. Поначалу он, правда, выжал из себя несколько натянутых комплиментов по адресу Советского Союза, как союзника Соединенных Штатов в войне против общего врага. Но в дальнейшем его речь изобиловала двусмысленными рассуждениями, представляющими собою плохо завуалированные нападки на послевоенную внешнюю политику СССР и косвенное осуждение советского строя и всего советского образа жизни.

После первых же инсинуаций мистера Кроу, отдававших провокацией, передо мной встал вопрос, как на них реагировать. В порыве негодования я на мгновение даже подумал о том, чтобы демонстративно покинуть зал, но тотчас отбросил эту мысль. Вполне возможно, что именно подобной реакции с моей

стороны и добивался банкир-антисоветчик, неведомо почему выдвинутый в председатели собрания друзей Советского Союза. Незачем было играть ему на руку. И к концу его речи я принял решение реагировать сдержанно и в то же время с достоинством.

Я положил перед собою подготовленный заранее текст своей речи, переведенный на английский язык, и перечел вступительные фразы. По-русски они выглядели так:

«Господин председатель, леди и джентльмены!

Прежде всего я хочу выразить вам свою искреннюю признательность за теплый дружественный прием, который вы оказали мне и моей жене в связи с нашим приездом в Детройт».

Разумеется, это выражение признательности охватывало все проявления дружественных настроений, начиная со встречи в аэропорту и включая предполагавшееся дружеское единодушие участников митинга. Но гнусные намеки детройтского плутократа, безусловно, шли вразрез с этим единодушием, и оставить мое обращение в неизменном виде значило бы пропустить их мимо ушей. Поэтому к вступительной фразе я добавил на полях рукописи следующее продолжение:

«Я говорю «теплый дружественный прием», несмотря на некоторые имевшие здесь место негативные демонстрации, каковые — я в этом уверен — не характерны для ваших чувств и настроений».

Таким я наметил ответ мистеру Кроу. Но, как показали дальнейшие события, он явился одновременно и ответом на другие попытки отравить атмосферу митинга или вовсе сорвать его.

Надо отдать должное ораторам, выступавшим вслед за Кроу: ни один из них не последовал его дурному примеру. Своими содержательными, полными искренней симпатии к Советскому Союзу высказываниями они, не адресуясь прямо к мистеру Кроу, отмежевались от его позиции. О настроениях же аудитории в целом можно было судить по тому, какими щедрыми аплодисментами она встречала каждое упоминание о великом вкладе советского народа в борьбу против гитлеровской агрессии и о необходимости крепить дружбу с Советским Союзом.

Но за стенами зала у мистера Кроу нашлись единомышленники и подражатели. В отличие от него они не были стеснены рамками этикета и поэтому могли действовать с предельной наглостью. Во время выступления мэра Детройта Эдварда Джеффриса с галереи вдруг раздались какие-то громкие выкрики, после чего в зал полетел ворох листовок. В наступившей суматохе я не сразу разобрал, в чем дело, успев лишь заметить,

как участники митинга окружили наверху двух вопивших субъектов и, вопреки их яростному сопротивлению, выволокли с галереи.

— Что там произошло? — тихо спросил я доктора Уиттекера.

— Эти типы кричали мэру, что он, сидя за одним столом с русским послом, изменяет «американизму». Грозились, что даром это ему не пройдет. Ну и многое другое, чего я вчуже стыжусь.— Доктор с презрительной гримасой махнул рукой.

Порядок на галерее был восстановлен. Во избежание новых хулиганских выходок у дверей зала был выставлен пикет из участников митинга. Мэр Джеффрис продолжал свою речь, предварительно извинясь передо мной за выходки своих «неразумных сограждан». Остаток речи он скомкал. Было заметно, что он очень расстроен. Очевидно, в Детройте было не принято с легким сердцем относиться к угрозам «стопроцентных американцев».

В конце митинга к микрофону подошел я. Мое выступление, с дополнением, адресованным в равной мере распоясавшимся фашистским хулиганам и респектабельному президенту «Экономического клуба», было с энтузиазмом встречено собравшимися. Аплодисментами награждались и та часть речи, в которой я давал высокую оценку полезной — практически и политически — деятельности «Американского общества помощи России», и та, в которой я приветствовал открывающуюся кампанию за сбор средств для детской больницы, и многое другое. Но особенно горячие аплодисменты и приветственные возгласы раздались, когда я, упомянув о «воинствующих деятелях в некоторых странах, призывающих к новой войне», далее заявил:

«Я верю, что выражу не только свое, но и ваше мнение, если скажу, что сторонники мира несравненно более многочисленны, чем проповедники новой войны. Миролюбивые устремления народов сумеют сдержать агрессоров, где бы они ни обнаруживались и под какой бы этикеткой ни выступали, и таким образом предотвратить новую бойню».

Митинг завершился в атмосфере всеобщей приподнятости, которой недоставало вначале из-за провокационных инсинуаций Кроу, а потом из-за хулиганской вылазки на галерее.

Провожаемые аплодисментами и крепкими рукопожатиями, мы с женой покинули зал, направляясь через холл к лифтам. И тут разразился третий за этот вечер инцидент, наиболее серьезный. Группка из нескольких мужчин, сидевших в холле неподалеку от выхода из зала, одновременно, будто по команде,

вскочила с кресел и поспешно направилась в нашу сторону. Но тотчас же из разных концов холла наперерез им с еще большей поспешностью двинулось трое или четверо атлетически сложенных людей, преградив первым путь к лифтам, куда уже подошли мы с женой. Между обеими группами мгновенно завязалась рукопашная, исхода которой мы не успели увидеть. Не успели потому, что возле нас нервно засуетился здоровяк лет пятидесяти, с умоляющим видом твердя: «Скорее в кабину, господа, скорее в кабину!» При этом он своей массивной фигурой отгораживал нас от холла и чуть ли не силой заставил войти в кабину, после чего вскочил в нее и сам. Когда лифт пришел в движение, он облегченно вздохнул, вытер носовым платком свою взмокшую от пота физиономию и скороговоркой промолвил:

— Прошу прощения, господа, за мою напористость, но этого потребовали обстоятельства. Иначе вы рисковали попасть в переделку, которая неизвестно чем бы кончилась. Позвольте представиться: старший инспектор Снайдер, к вашим услугам.

Так мы неожиданно столкнулись в буквальном смысле слова вплотную с нашим главным «ангелом-хранителем». Когда лифт остановился на нашем этаже, инспектор вышел вместе с нами. На мой вопрос, что за переделку он имеет в виду, Снайдер возбужденно ответил:

— Там эти проклятые... Ну, те, что вопили с галереи. Только сейчас их набралось еще больше, и кто знает, что у них на уме? К счастью, мои ребята хорошо знают свое дело. Они давно наблюдали за ними и вовремя их перехватили. Ручаюсь вам, что их ноги больше не будет в окрестностях отеля.

Гарантия инспектора звучала обнадеживающе, но из его объяснений оставалось непонятным, где же были его бдительные «ребята» до сих пор и почему они вообще не помешали хулиганам проникнуть в отель. Но вдаваться в расспросы я не стал, и, признавая, что своими действиями, как начальника охраны, он все же избавил нас, по-видимому, от оскорблений личности в детройтской манере, если не от чего-либо худшего, я поблагодарил его за своевременные меры. Он проводил нас до дверей нашего номера и только тогда откланялся, заверив на прощание:

— Все будет в порядке, господин посол. Отдыхайте спокойно.

Но до спокойствия нам было далеко. Инциденты в ходе митинга и в холле основательно растревожили наши нервы.

Через четверть часа в номер позвонил мистер Картер и попросил разрешения зайти на несколько минут вместе с доктором Уиттекером. Вскоре я беседовал с ними в гостиной. Мистер Картер начал было с извинений за причиненное нам беспокойство, но я остановил его, заявив, что меньше всего склонен винить в чем-либо организаторов митинга, сделавших все для его успеха. Затем, говоря об истинных виновниках, я спросил, известно ли, кто они?

— А вот посмотрите сами.— Мистер Картер протянул мне одну из сброшенных в зал листовок.— Они открыто признаются в своих гнусных выходках.

В самом деле, под текстом листовки жирным шрифтом значились три фашистские организации: «Христианские социалисты», «Антикоммунистический комитет Западного полушария» и «Америка прежде всего». Листовка содержала грязные антисоветские измышления и злобные нападки на «Американское общество помощи России»—«эту русскую подрывную группу». Авторы листовки не оставляли сомнения в том, что она приурочена именно к данному митингу.

Обсуждая затем перипетии митинга, я высказал удивление тем, что в Обществе, созданном сторонниками американо-советской дружбы, подвизается, играя при этом немалую роль, такой завзятый недруг нашей страны, как «стареющий миллионер» Кроу.

— К нашему Обществу он примазался во время войны,— с сожалеющим видом ответил мистер Картер.— Видите ли, господин посол, все дело в том, что в Детройте это очень влиятельная фигура. И когда он выразил желание сотрудничать с нами, разве мы могли не согласиться на это? Ведь на словах он тогда был вполне лоялен по отношению к советскому союзнику. Ну а на практике — что закрывать глаза?— он и ему подобные не столько содействовали сбору пожертвований, сколько тормозили его.

После их ухода мне еще долго пришлось успокаивать жену. Она была настолько взволнована вечерними передрягами, что готова была уже на следующее утро улететь из «этого ужасного Детройта». В конце концов я убедил ее, что больше никакая опасность нам не грозит и что отказываться от завтрашней программы нет резона. В эту программу входила экскурсия на завод Форда и завтрак, который нам давала дирекция «Форд моторз компани».

Утром 13-го мы вместе с доктором Уиттекером выехали в пригород Детройта, где находится сердце автомобильной им-

перии Форда — гигантский завод «Ривер-руж». И хотя последний, как и все американские автомобильные предприятия в эти дни, из-за стачки бездействовал, знакомство с ним, на мой взгляд, все же представляло большой интерес.

Я не буду останавливаться на подробностях нашей длительной экскурсии по корпусам завода, включая замерший главный сборочный конвейер, в обществе немолодого инженера-конструктора, прикомандированного к нам администрацией компании. Странная это была экскурсия по неработающему заводу...

Мрачная картина обезлюдевших цехов, неподвижных конвейеров, застывших на рельсах электровозов и выстроившихся перед воротами завода рабочих пикетов с необыкновенной наглядностью раскрывала острейшее противоречие капиталистической системы: с одной стороны, стремление капитала к безудержной интенсификации производства за счет увеличения эксплуатации рабочего, а с другой — борьба рабочего класса за свои экономические интересы.

Как я впоследствии узнал, эта стачка закончилась частичной победой рабочих.

Приближалось время завтрака. Доктор Уиттекер расстался с нами — у него были свои дела в Дирборне,— а мы с женой отправились в заводоуправление, где в банкетном зале нас ждали генеральный директор компании мистер Армстронг и его заместители, также именовавшиеся директорами.

Компания «Форд моторз» еще в довоенное время установила деловые связи с советскими экономическими организациями. В годы войны значительная часть поставок по ленд-лизу поступала в СССР с фордовских предприятий. Завязывались контакты между фирмой и нашими внешнеторговыми организациями и после войны, хотя пока и не приносили ощутимых результатов из-за неблагоприятной политической конъюнктуры в США. Тень последней в какой-то мере пала и на банкет в дирекции.

За завтраком не было недостатка ни в хлебосольстве хозяев, ни в их любезных тостах, ни в добродушных застольных шутках. Но чем ближе трапеза подходила к концу, тем чаще легкий застольный разговор соскальзывал на политическую злобу дня, в центре которой стояла «неуступчивая» внешняя политика Советского Союза. В обмене мнениями участвовали почти все директора, но ведущую роль в нем играл генеральный директор. Если резюмировать замечания моих собеседников, то сводились они в основном к мотивам давно ведущейся

в США антисоветской кампании. С той, однако, разницей, что доводы фордовских директоров не выглядели непреложными утверждениями, а носили скорее черты зондажа и проверки крикливых сообщений прессы. Поэтому у меня складывалось впечатление, что вызывались они отчасти незнанием или непониманием действительных фактов, и в этих случаях я давал необходимые разъяснения.

Типичным в этом деле был такой диалог между мистером Армстронгом и мною.

— Поверьте, господин посол,— сказал генеральный директор,— сам я не очень-то прислушиваюсь к паническим воплям политиканов вроде Черчилля, с его «железным занавесом». Я, например, не принимаю на веру открытие газетных писак, что Россия готовится к третьей мировой войне, чтобы покорить всю Европу, если не весь мир. Я с должным вниманием и уважением прочел в газетах ваши вчерашние заверения в миролюбии советской политики. Но не стану отрицать, что у меня вызывают недоумения отдельные заявления русских лидеров, которые, по-моему, как раз и дают пищу для далеко идущих подозрений.

— Какие именно заявления вы подразумеваете?— спросил я.

— Ну хотя бы недавние сенсационные обещания мистера Сталина поднять в ближайшие годы уровень промышленного производства втрое. Я подчеркиваю — втрое! В частности, выплавлять около ста миллионов тонн стали. Соответственно развивать машиностроение и так далее. Не означает ли все это, что в России взят курс на ускоренную милитаризацию?

— Вывод совершенно необоснованный, мистер Армстронг!— ответил я.— Вы, конечно, ссылаетесь на февральское предвыборное выступление Сталина. Но он, насколько мне помнится, говорил не о ста миллионах тонн, а о шестидесяти. Это во-первых. А во-вторых, речь шла о том, чтобы решить подобные задачи в течение трех пятилетий. Но разве же эти планы развития нашей экономики дают какие-либо основания для вывода об ускоренной милитаризации? Конечно, мы не пренебрегаем и задачами обороны, памятуя об уроках минувшей войны, но у нас никогда не было и нет агрессивных замыслов. Если в Штатах сейчас и шумят о них, то делается это или в силу заблуждения, или из желания представить нашу внешнюю политику в ложном освещении.

— У меня такого желания и в помине нет. Но, мистер Новиков, ведь у вас в стране открыто пропагандируется лозунг «Догнать и перегнать главные капиталистические страны». Спросите любого экономиста, и он вам скажет, что этот лозунг — синоним овладения внешними рынками. Другими сло-

вами, налицо план широкой экономической экспансии. Империалистической экспансии, как это у вас именуется.

— Ни в коем случае, мистер Армстронг! В действительности это лозунг, призывающий к подъему нашей экономики и к подъему на этой основе жизненного уровня нашего народа.

— Однако разве для такой мирной цели требуются столь амбициозные планы? Ее можно достигнуть и путем торговли. Скажем, у нас, в Штатах, вы можете закупить любые потребные вам товары и тем самым поднять благосостояние народа, не перенапрягая хозяйственного потенциала страны.

— Торговать с вами мы готовы и уже внесли свои предложения. Теперь дело не за нами. Вам, как видному бизнесмену, конечно, отлично известно, что крупномасштабные торговые и экономические связи обычно осуществляются с помощью долгосрочных кредитов...

— Само собой.

— Вот видите, как легко мы с вами пришли к согласию. Но известно ли вам, что произошло с советским предложением о займе в один миллиард долларов для закупки американских товаров? Внесли мы его еще в прошлом году.

— Кому об этом не известно?— усмехнулся генеральный директор.— Наши бюрократы из государственного департамента умудрились затерять вашу ноту, не так ли?

— Затеряли, как бы не так,— иронически ухмыльнулся один из директоров.

Все понимающе заулыбались. Точку над «i» в этом вопросе поставил мистер Армстронг.

— Во всяком случае,— сказал он,— государственный департамент так сообщил представителям печати.

Благопристойный обмен противоречивыми мнениями завершился просьбой генерального директора снабдить его — если это меня не затруднит — цифровыми и иными материалами по затронутым за завтраком экономическим темам. Я не был уверен, что они в самом деле так уж интересуют его, но пообещал выполнить его просьбу, что и сделал по возвращении в Вашингтон. Я послал ему письмо с приложением подготовленных отделом печати данных, почерпнутых из речи И. В. Сталина от 9 февраля 1946 года и из доклада председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского от 15 марта 1946 года на сессии Верховного Совета СССР о Плане восстановления и развития народного хозяйства страны на 1946—1950 годы.

7. Парижская мирная конференция

Одной из основных задач созданного на Потсдамской конференции Совета министров иностранных дел являлась подготовительная работа по мирному урегулированию. Как уже отмечалось выше, его первая сессия, состоявшаяся в Лондоне в сентябре — октябре 1945 года, окончилась безрезультатно — из-за стремления американской делегации, вкупе с английской, действовать в обход потсдамских решений, на выполнении которых настаивала советская делегация. Не оставили западные державы попыток продиктовать свою волю Советскому Союзу и при подготовке первых мирных договоров на второй сессии Совета в Париже в апреле—мае и в июне—июле 1946 года.

Однако благодаря твердой и последовательной позиции советской делегации Совет на своей второй сессии все же смог подготовить проекты мирных договоров для Италии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Финляндии. Была также определена дата открытия Парижской мирной конференции, которой предстояло рассмотреть эти проекты.

История двух последних столетий отмечена тремя важнейшими дипломатическими форумами, завершавшими периоды длительных войн, которые в конце XVIII и начале XIX века свирепствовали во всей Европе, а в XX веке — на всем земном шаре.

Первый из этих форумов — Венский конгресс 1814—1815 годов — подвел итоговую черту под завоевательными войнами Наполеона, пытавшегося подчинить своей гегемонии все европейские народы.

Вторым из упомянутых форумов была Парижская мирная конференция 1919—1920 годов. Победившие в первой мировой войне страны, прежде всего пятерка империалистических держав — Франция, Англия, Италия, Соединенные Штаты и Япония,— продиктовали жестокий грабительский мир побежденной Германии и ее союзникам — Австрии, Болгарии, Венгрии и Турции. Подписанные в парижских пригородах Версале, Сен-Жермене, Нейи, Трианоне и Севре мирные договоры составили в целом новую международную систему, обобщенно называемую «версальской» по одноименному договору с Германией. По словам В. И. Ленина, Версальский договор — это «договор хищников и разбойников», а созданная Парижской конференцией система — это «международный строй, порядок,

который держится Версальским миром, держится на вулкане...»

Немного потребовалось времени, чтобы история подтвердила взрывчато-вулканический характер этой системы.

Молодая Советская страна, боровшаяся в 1918—1920 годах против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, не была представлена на Парижской конференции. Но «русский вопрос» фигурировал на ней чуть ли не в качестве самого главного, и многие ее решения клонились к тому, чтобы поставить Советскую Россию на колени.

В совершенно иных международных условиях подготавливалась Парижская мирная конференция 1946 года. Ее организационный статут и состав стран-участников был согласован на парижской сессии Совета министров иностранных дел, на которой веско и авторитетно звучал голос Советского Союза. Проводя последовательную миролюбивую политику, Советский Союз добивался того, чтобы перед Парижской мирной конференцией была поставлена благородная цель установления в Европе справедливого демократического мира. Широкое обсуждение всеми ее участниками проектов мирных договоров придавало ей большое политическое значение, способное благоприятно повлиять на международную обстановку в послевоенной Европе.

Вскоре после окончания парижской сессии Совета министров иностранных дел В. М. Молотов известил меня о том, что я включен в состав делегации Советского Союза на мирной конференции в Париже, и предложил заблаговременно прибыть в Москву, с тем чтобы оттуда вместе со всей делегацией отправиться в Париж.

В путь я отправился 18 июля и до Москвы добрался несколькими самолетами за шесть суток — через Нью-Йорк — Гандер (на Ньюфаундленде) — Шаннон (Ирландия) — Лондон — Гамбург и Берлин.

В МИД я заявился 24-го, в день приезда, повидав предварительно сгоравшую от нетерпения мать, которая ради свидания со мною вновь приехала из Запорожья в Москву. Около полуночи я встретился с В. М. Молотовым. Настроен он был весьма благодушно, подробно расспросил меня о политической обстановке в США и о некоторых вопросах деятельности посольства, после чего сказал:

— А теперь насчет конференции. Мы тут наметили для вас

очень перспективное амплуа. Вы будете представлять нашу делегацию в комиссии по Болгарии. Поэтому знакомьтесь с соответствующими материалами, а попутно утрясайте в министерстве ваши посольские дела.

В обоих этих направлениях я до отъезда в Париж и действовал.

В конце июля ТАСС передал по радио сообщение о составе делегации. Ее председателем был заместитель Председателя Совета Министров и министр иностранных дел СССР В. М. Молотов.

В число других членов делегации входили:

А. Я. Вышинский, заместитель министра иностранных дел СССР,

Ф. Т. Гусев, посол СССР в Великобритании,

А. Е. Богомолов, посол СССР во Франции,

Н. В. Новиков, посол СССР в Соединенных Штатах Америки,

П. И. Ротомскис, министр иностранных дел Литовской ССР,

П. И. Валескалн, министр иностранных дел Латвийской ССР,

Г. Г. Круус, министр иностранных дел Эстонской ССР,

К. В. Новиков, член коллегии МИД СССР.

Кроме всесоюзной делегации для участия в Мирной конференции направлялись еще две делегации — белорусская во главе с министром иностранных дел БССР К. В. Киселевым и украинская — во главе с министром иностранных дел УССР Д. З. Мануильским.

Вся всесоюзная делегация, кроме меня, вылетела в Париж 27 июля, я же, с согласия министра, задержался на день в Москве и присоединился к ней 28 июля.

В своем портфеле вместе с документами я увозил в Париж только что полученные мною в Отделе кадров МИД новые правительственные награды: орден Отечественной войны I степени и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Поселился я в гостинице «Плаза-Атене» (на проспекте Монтеня), в которой разместились и члены всех трех советских делегаций. В. М. Молотов вместе с А. Я. Вышинским и их ближайшими сотрудниками заняли часть помещений советского посольства на улице Гренель. Номер люкс в «Плаза-Атене» на два месяца с лишним стал моим жилищем, откуда я по утрам отправлялся в «штаб» наших делегаций в посольстве и в Люксембургский дворец, где происходила конференция. Расстояние

от гостиницы до обеих этих точек было порядочное, но проблемы транспорта для меня не существовало. Французское министерство иностранных дел предупредительно выделило для членов делегаций персональные машины. В моем распоряжении был не новый, но отлично сохранившийся черный лимузин и умелый, почтительный водитель мсье Аргуд.

Открылась Мирная конференция 29 июля. В ней участвовали пять держав, представленных в Совете министров иностранных дел,— СССР, США, Англия, Франция и Китай, страны Восточной Европы — Польша, Чехословакия и Югославия, страны Британской империи — Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и Индия, а также ряд других стран Восточного и Западного полушарий. С правом решающего голоса в конференции участвовали Белорусская ССР и Украинская ССР.

Продолжалась конференция 79 дней и протекала не всегда мирно — на ней сказывалась тогдашняя нездоровая международная обстановка, порожденная в значительной мере «жестким курсом» англо-американской дипломатии по отношению к Советскому Союзу.

Я не ставлю перед собой задачу подробно прослеживать все перипетии конференции — это тема специальных исторических исследований. Коснусь я по преимуществу лишь отдельных ее проблем, к которым был так или иначе лично причастен, а также некоторых сопутствующих ей эпизодов.

В течение первых недель на пленарных заседаниях и в процедурной комиссии проходила острая дискуссия по вопросам процедуры, особенно по вопросу о принятии рекомендаций. Вопрос этот был четко определен на парижской сессии Совета министров иностранных дел, предусмотревшей принятие рекомендаций большинством в две трети голосов. Тем не менее на конференции американская и английская делегации отказались от этой согласованной позиции и выступили за простое большинство. С помощью такого куцего большинства они рассчитывали протащить рекомендации, способные нанести ощутительный политический ущерб странам Восточной Европы — Болгарии, Румынии и Венгрии, вставшим на путь народной демократии, и воспрепятствовать их тесному сотрудничеству с Советским Союзом. В конце концов было принято компромиссное решение о том, что на рассмотрение будущей сессии Совета министров иностранных дел будут передаваться как рекомендации, принятые большинством в две трети голосов, так и простым большинством.

Об этом малопродуктивном периоде я писал в дневнике за 12 августа:

«Прошли две недели пребывания в Париже. К делу, в собственном смысле слова, конференция еще не приступила. Пока только приняты в процедурной комиссии и утверждены на пленуме некоторые правила процедуры. 10/VIII выступала первая делегация побежденных стран — итальянская, а сегодня начались прения. Возможно, что большая часть и этой недели уйдет на общие прения по вопросам, затронутым делегациями сателлитов, и что в лучшем случае только в конце недели комиссии по странам сумеют приступить к рассмотрению договоров».

Комиссии по странам были сформированы в первой декаде августа. Председателем комиссии по политическим и территориальным вопросам для Болгарии был назначен глава белорусской делегации К. В. Киселев. От украинской делегации в нее входил ее глава Д. З. Мануильский. Всесоюзную делегацию представляли в комиссии я и П. И. Ротомскис. Последний лишь незадолго до конференции возглавил Министерство иностранных дел Литвы, и для него это было первое боевое крещение на дипломатическом поприще.

Помимо трех советских делегаций в комиссии были представлены делегации двух народно-демократических стран — Чехословакии и Югославии, действовавших солидарно с нами, и семи буржуазных стран, в большинстве случаев являвшихся нашими оппонентами. Наиболее активной среди них была греческая делегация, возглавленная отъявленным реакционером премьер-министром и министром иностранных дел Греции Константином Цалдарисом.

К своей основной работе — обсуждению политических и территориальных положений мирного договора с Болгарией — комиссия приступила только в последней декаде августа.

Официальные поправки к проекту договора с Болгарией были получены в комиссии 21 августа. Но позиции ряда стран по наиболее важным статьям проекта выявились задолго до этого. Так, например, греческие претензии к Болгарии по территориальным вопросам были изложены в речи К. Цалдариса на пленарном заседании 3 августа. Премьер-министр Греции открыто потребовал аннексии болгарской Северной Фракии. Для Болгарии это означало бы потерю 10 процентов национальной территории с населением в 300 тысяч человек. Позднее Цалдарис эту позицию изо дня в день отстаивал в комиссии. Для советских делегаций в этих требованиях не было ничего неожиданного, и мы заранее готовились к тому,

чтобы доказать их беспочвенность и в результате отвергнуть.

Первым греческие аннексионистские претензии подверг критике Д. З. Мануильский, выступая на пленарном заседании 14 августа. В самой комиссии на заседании 6 сентября с развернутым заявлением по территориальным вопросам выступил и я.

Начал я с аргументации о необоснованности греческого тезиса об «исправлении границы» по «стратегическим соображениям». Удовлетворение греческих притязаний, отмечал я, привело бы к существенной передвижке границы Греции на север, в результате чего она оказалась бы в 95 километрах от болгарской столицы Софии и всего в 35 километрах от Пловдива — второго по величине города Болгарии. Таким образом, «стратегические соображения» греческой делегации сводятся, по существу, к тому, чтобы сделать основные экономические и политические центры Болгарии стратегически уязвимыми. Свои доводы по этому вопросу я завершил следующим заявлением: «По мнению советской делегации, такие претензии греческого правительства совершенно не соответствуют целям и задачам Мирной конференции, ибо они не только не способствуют созданию устойчивого мира на Балканах, но, наоборот, подрывают его основы и потому не могут подлежать удовлетворению. Советская делегация, исходя из вышесказанного, будет возражать против принятия предложений греческой делегации».

Перейдя затем к рассмотрению болгарской поправки к этой же статье проекта договора, я сказал:

«Советская делегация считает эту поправку заслуживающей серьезного внимания. Вместе с этой поправкой болгарской делегации статья первая имеет следующий текст: «Греческие границы, как они показаны на прилагаемой к договору карте (приложение № 1), будут границами, которые существовали на 1 января 1941 года, за исключением греко-болгарской границы, которая будет границей, установленной Бухарестским договором от 10 августа 1913 года». Принятие этой поправки болгарской делегации устранило бы историческую несправедливость, допущенную в отношении болгарского народа».

Я имел в виду вот что.

Во время Балканской войны 1912—1913 годов болгарская армия продолжала дело освобождения болгарской территории, которое было успешно начато в 1877—1878 годах русскими войсками, действовавшими совместно с болгарским ополчением. Освобожденная ценой огромных усилий, Западная Фракия

была включена в состав Болгарии, что было закреплено Бухарестским мирным договором, под которым наряду с подписями представителей Сербии, Румынии и Болгарии стоит также и подпись представителя Греции. Этот исторический акт давал Болгарии жизненно важный для нее естественный выход к Эгейскому морю.

Напомнив комиссии эти факты, я не преминул подчеркнуть, что исторические права Болгарии на Западную Фракию были настолько бесспорны, что даже греческие правящие круги перед Бухарестской мирной конференцией были готовы идти на дополнительные территориальные уступки Болгарии. Тогдашний премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос, например, предлагал, по собственной инициативе, установить границу Греции поблизости от Салоник, предоставляя тем самым Болгарии не только Западную Фракию, но также районы городов Драма, Кавала и Сере, расположенные к западу от нее.

В 1919 году страны Антанты по договору в Нейи отторгли от Болгарии Западную Фракию. Советский Союз не участвовал ни в Мирной конференции в Нейи, ни в последующих конференциях, принимавших решения по поводу этой важной области. В связи с этим я заявил:

«Советский Союз никогда не одобрял этих решений и не присоединялся к ним, в силу чего Советское Правительство не считает себя связанным этими решениями, которые оно рассматривает как несправедливые в отношении Болгарии. В определении своей позиции на данной конференции Советское Правительство руководствуется соображениями восстановления исторической справедливости и с сочувствием относится к стремлению Болгарии возвратить отнятую у нее область, столь важную для нее по своему значению, как естественный выход к Эгейскому морю».

Процитировал я здесь не все, а только некоторые из фактов и доводов, приведенных в моей речи.

Территориальный вопрос был центральным в работе комиссии, ему была отдана львиная доля всех дискуссий, подчас очень пылких. Представители трех советских делегаций при содействии делегаций Югославии и Чехословакии последовательно и настойчиво вскрывали аннексионистскую сущность греческих претензий и добивались их отклонения. Делегации же Англии и США, к которым присоединились три делегации британских доминионов, наоборот, всецело их поддерживали. Что касалось болгарской поправки о Западной Фракии, то указанная пятерка делегаций, не говоря уже о греческой, с самого начала приняла ее в штыки. Привлекши на свою сторону Францию,

они в конце концов большинством голосов отклонили предложение Болгарии.

Тем же большинством они протащили решение передать греческую поправку о «стратегическом исправлении границы» на рассмотрение военной комиссии, рассчитывая на то, что последняя сумеет как-то обосновать ее. В наказе, данном военной комиссии, выражалось пожелание рассмотреть греческую поправку «с чисто военной стороны с особым учетом степени безопасности, которая явилась бы результатом передачи Греции естественных укреплений, главных оборонительных позиций, необходимой глубины для оборонительных стратегических передвижений, коммуникационных линий». Это была форменная подсказка для действий военной комиссии. Однако последняя отказалась заниматься несвойственным ей делом, резонно заявив, что территориальные вопросы в ее компетенцию не входят.

Возвращенная без замечаний в комиссию по Болгарии, греческая поправка была подвергнута дополнительному обсуждению и 2 октября поставлена на голосование. Результаты его были таковы: за — Греция и Южно-Африканский Союз, против — СССР, Украина, Белоруссия, Югославия, США, Франция, Австралия, воздержались — Индия, Англия, Новая Зеландия. Затем комиссия подавляющим большинством голосов, включавшим голоса представителей Англии и США, одобрила статью первую в редакции Совета министров иностранных дел, предусматривавшей сохранение нынешней греко-болгарской границы.

При тогдашней международной обстановке и при сложившемся на конференции соотношении сил на иной исход было мало надежд. Однако постановка вопроса о возвращении Западной Фракии Болгарии все же сыграла определенную положительную роль, послужив действенным противовесом аннексионистским поползновениям греческих представителей.

Из других вопросов, обсуждавшихся в комиссии, следует упомянуть об австралийской и английской поправках к статье второй проекта, предусматривавшей гарантии прав человека и основных свобод. Австралийская поправка клонилась к тому, чтобы создать некую зацепку для внешнего контроля за выполнением этой статьи, что вело к ущемлению государственного суверенитета Болгарии. В том же направлении вела и английская поправка об охране прав представителей национальных меньшинств. 17 сентября в выступлениях П. И. Ротомскиса по австралийской поправке и в моем — по английской было достаточно убедительно доказано, что обе эти поправки, фактически ничего не добавляя к проекту, в то же время давали

повод для вмешательства во внутренние дела Болгарии. Нашу аргументацию поддержало еще несколько делегаций, после чего обе поправки были большинством голосов отвергнуты.

Принятием 2 октября решения по статье первой работа комиссии практически завершилась, а одобренные ею статьи проекта были представлены в президиум конференции для их утверждения на пленарном заседании. И тут произошел казус, характерный для злокозненной процедурной тактики западных делегаций. На пленарном заседании, обсуждавшем договор с Болгарией, английская делегация, голосовавшая в комиссии за одобрение статьи первой проекта, неожиданно изменила позицию и воздержалась от одобрения статьи. Ее примеру последовали еще 11 делегаций, также воздержавшихся. В результате конференция так и не приняла никакого решения по этому вопросу.

Касаясь этого неблаговидного трюка, В. М. Молотов в своей заключительной речи 14 октября заявил:

«Эта комбинация с голосованием бросила тень на всю практику голосований на этой конференции. Однако не может быть сомнения в том, что Совет министров иностранных дел вновь одобрит свое прежнее решение о стабильности болгаро-греческой границы, что явится осуждением искусственной комбинации в 12 голосов, воздержавшихся на пленуме конференции. Политическая игра с голосованием по вопросу о болгаро-греческой границе отнюдь не будет одобрена и общественным мнением демократических стран. Просчет, сделанный в этой политической игре, очевиден. Вот почему мы с уверенностью говорим болгарам — нашим друзьям: «Болгары, будьте спокойны, ваша граница останется непоколебимой».

Это важное обещание было выполнено. В декабре 1946 года советская делегация на сессии Совета министров иностранных дел в Нью-Йорке добилась подтверждения нерушимости нынешней границы Болгарии.

Я рассказал только об одном участке дипломатического фронта, на котором советские делегации вели упорную борьбу за установление демократического мира в Европе. Более или менее аналогичные баталии с разной степенью накала шли и на других участках — в остальных четырех комиссиях по политическим и территориальным вопросам, а также в генеральной, военной, экономической и юридической комиссиях. И, само собой разумеется, на пленумах конференции.

Пользуясь военной терминологией, можно было бы сказать, что советским делегатам, действовавшим на передовых позициях, оказывали поддержку и солидные резервы, и крепкие тыловые службы. Достаточно назвать группу из 13 экспертов,

включавшую профессоров международного права, экономистов и военных, группу дипломатических сотрудников из 15 человек и многочисленный — более полусотни человек — штат сотрудников, обеспечивавших протокольное и канцелярское обслуживание делегаций.

Действия этого большого, сложившегося на временной основе коллектива координировались «главным штабом» во главе с В. М. Молотовым и его первым заместителем А. Я. Вышинским. Распределение делегатов, экспертов и советников по комиссиям, постановка перед ними общих задач и конкретных заданий, контроль за их выполнением, указания по подготовленным формулировкам поправок и текстам речей — таковы были основные функции штаба. Осуществлялись они не только в кабинетах министра и его заместителя, не только на специальных совещаниях, но и в посольской столовой — в обеденный перерыв или за ужином, когда за длинным столом собирались в обязательном порядке все члены делегации. В этой непринужденной обстановке заслушивалась краткая информация о ходе заседаний, ставились перед руководством и обсуждались вновь возникавшие вопросы. Таким способом достигалась немалая экономия времени, которое у всех нас было в дефиците. Иногда среди наших сотрудников появлялись и неофициальные лица из числа тех, кто по какой-либо причине находились в тот момент в Париже. Назову хотя бы писателей Илью Эренбурга и Константина Симонова...

Велика была роль «главного штаба» и на пленумах. В общих дискуссиях выступали по преимуществу В. М. Молотов и А. Я. Вышинский, значительно реже Д. З. Мануильский и К. В. Киселев.

Если принять во внимание царившую на конференции нездоровую атмосферу грубого нажима со стороны западных держав, то легко себе представить все бремя политической ответственности, которое падало на советских представителей. Но они с честью выполнили свои задачи. Правда, в Париже советской дипломатии не удалось достигнуть всех стоявших перед нею целей, и это заставило Молотова заявить на заключительном заседании, что «результаты работы конференции нельзя признать удовлетворительными».

Нельзя, однако, при этом упускать из виду и положительные стороны парижского форума. Мирная конференция тщательнейшим образом обсудила и одобрила подавляющее большинство статей в договорах с Болгарией, Венгрией, Румынией, Финляндией и Италией — статей, закладывавших основу справедливого демократического мира в Европе. Из развернувшейся в Люксембургском дворце длительной и трудной борьбы

советская дипломатия вышла с укрепившимся международным авторитетом.

Что касается вопросов, не разрешенных на Парижской мирной конференции, то они были вновь обсуждены на очередной сессии Совета министров иностранных дел в Нью-Йорке в ноябре — декабре 1946 года. На сей раз западные державы, убедившись в невозможности продиктовать Советскому Союзу неприемлемые для него положения мирных договоров, были вынуждены пойти на уступки, что и позволило решить все спорные вопросы. Таким образом, Совет выполнил возложенную на него задачу подготовки договоров с бывшими сателлитами Германии. 10 февраля 1947 года в Париже все пять договоров были подписаны, а позднее в разные сроки ратифицированы соответствующими правительствами.

Парижская мирная конференция организована была таким образом, что в ее повседневной работе участвовали, как правило, и главы и члены всех делегаций. Их напряженная деятельность в стенах Люксембургского дворца довольно часто перемежалась встречами на протокольных приемах, банкетах и торжественных церемониях, которые фактически были разновидностями дипломатической активности. Подобная деловая занятость, разумеется, не означала, что делегаты трудились, не ведая ни отдыха, ни развлечений. Следует только иметь в виду, что неизбежные в дипломатическом обиходе протокольные мероприятия обычно проводились, с общего согласия, в нерабочее время.

Широкое гостеприимство в отношении приезжих дипломатов проявило французское правительство. Уже на третий день работы конференции его председатель — он же министр иностранных дел и глава делегации — Жорж Бидо пригласил все делегации на вечер балета, устроенный в их честь в Опере. Начинался вечер — в соответствии со сказанным выше — в 21.00. Четыре одноактных хореографических произведения, поставленные с высоким уровнем мастерства, могли бы доставить любителям балета огромное удовольствие, если бы... Если бы не удушливая июльская жара и духота, превратившие зрительный зал в некое подобие турецкой бани. Сам я, во всяком случае, истекал потом и готов был в любую минуту сбежать из театра задолго до конца представления. Не сделал я этого из нежелания нарушить этикет и обидеть любезных хозяев.

Некоторое время спустя мы были приглашены на музыкальный вечер в Бурбонском дворце, устроенный на сей раз председателем Консультативной ассамблеи (временный парламент).

Начался вечер в еще более позднее время, чем первый, что, однако, не избавляло нас от прежних климатических бед. Поэтому, когда мы получили вторичное приглашение от мсье Бидо на вечер балета в театре на Елисейских полях, я мысленно поблагодарил премьер-министра за честь и занялся никогда не иссякавшими у меня делами.

Не обходило нас французское министерство иностранных дел своим вниманием и по части других протокольных мероприятий. Дважды — 3 и 10 сентября — мы были приглашены на прием в Версальском дворце. В первом случае я воспользовался поездкой в Версаль не только для того, чтобы потолкаться на приеме в толпе гостей, но и для дотошного осмотра великолепного ансамбля версальских дворцов, парков и исторических памятников. Не преминул я при этом побывать и в знаменитом Зеркальном зале дворца, где в январе 1871 года «железный канцлер» Бисмарк торжественно провозгласил создание Германской империи и где в июне 1919 года был подписан Версальский мирный договор с побежденной Германией.

От второго приема в Версале я за неимением времени отказался.

Наряду с устройством выездных приемов французское министерство иностранных дел организовало несколько больших приемов и в своей резиденции на набережной Орсэ, самым многолюдным из которых был банкет 8 августа. Начинался он в 22.30, когда даже самые неутомимые труженики от дипломатии могли позволить себе передышку. Прием затянулся далеко за полночь — обстоятельство, несомненно сказавшееся на работе делегатов на следующий день.

Проводили приемы и другие делегации, в том числе, конечно, и советская. 9 августа большой прием состоялся в советском посольстве, где в качестве хозяина выступал В. М. Молотов. Все парадные залы посольства были заполнены приглашенными до отказа. Среди гостей находились главы всех делегаций и их члены, а также чуть ли не половина французского кабинета министров во главе с премьер-министром Ж. Бидо и вице-премьером М. Торезом.

Морис Торез, генеральный секретарь Французской компартии,— вице-премьер! Каким многозначительным был этот факт для Франции, каким истинным знамением необычайно возросшего авторитета партии французского рабочего класса. С каким горячим дружеским чувством пожимал я Торезу руку, знакомясь с ним, а затем ведя беседу в сторонке от многоголосой толпы. Я расспрашивал его о животрепещущих проблемах Франции, о тенденциях ее политического развития в ближайшее время. Его ответы характеризовались уверенностью в даль-

нейшем полевении трудящихся масс во Франции и в ряде других европейских стран, что открывало перед миром радужные перспективы. Это благоприятное развитие международной обстановки — несмотря на ожесточенное противодействие мировой реакции — он приписывал прежде всего громадному прогрессивному воздействию внешней политики Советского Союза.

За три часа, в течение которых происходил прием, я познакомился с многими видными государственными деятелями, возглавлявшими делегации на мирной конференции. В составе американской делегации, помимо ее главы Джеймса Бирнса, тоже нашлось несколько знакомых, как, например, престарелый сенатор-демократ Томас Коннолли, помощник государственного секретаря Уильям Клейтон, бывший посол в Москве Аверелл Гарриман и новый посол в Москве генерал Беделл Смит, который нанес мне в Вашингтоне визит перед отъездом к месту своей новой службы. С этими американскими делегатами я при встречах охотно беседовал и вообще поддерживал вполне корректные отношения. Исключение я делал лишь для сенатора-республиканца Артура Ванденберга, личности настолько одиозной, что мне было трудно преодолеть свою антипатию к нему. Перечень встреч на этом приеме с давними и вновь приобретенными знакомыми я мог бы многократно удлинить, от чего, конечно, благоразумно воздержусь.

Говоря в записи в дневнике от 19 августа о медленной поступи конференции, я добавлял, что, несмотря на это, работы у меня по горло, так как я получаю задания не только по вопросам мирных договоров. Что же это были за задания?

О, весьма разнообразные! В том числе и такие, что их не отнесешь к дипломатическим, хотя они и носили политический характер. Примеры трех заданий этого рода я приведу.

Так, в начале августа В. М. Молотов предложил мне и еще двум-трем членам наших делегаций отправиться на кладбище Пер-Лашез, к «Стене Коммунаров», возле которой после падения Парижской коммуны были расстреляны версальцами последние из оборонявшихся здесь революционеров. У этой Стены, почитаемой, как священный памятник Коммуны, мы приняли участие во встрече братской солидарности с представителями Французской компартии — встрече, завершившейся непродолжительным, но исполненным энтузиазма митингом.

Второе поручение, на этот раз возложенное на меня одного, тоже имело характер дружеского контакта с представителями парижского пролетариата. Внешним поводом для него явился

традиционный праздник газеты «Юманите», организованный в сентябре в Венсеннском лесу — обширном парке на юго-восточной окраине Парижа. Спортивные состязания на стадионе, местами летучие митинги с продажей партийных изданий, массовые гулянья и танцы под музыку самодеятельных оркестров — не перечесть всех мероприятий, оживлявших и разнообразивших это празднество парижских трудящихся.

Я прибыл в парк задолго до полудня и был проведен встретившими меня французскими товарищами на центральную трибуну стадиона, где меня представили двум пожилым людям и усадили между ними. Одним из них был секретарь Центрального Комитета Французской компартии Жак Дюкло, очень подвижный и остроумный человек, другим — популярнейший ветеран революционного движения Франции Марсель Кашен, один из основателей компартии в 1920 году. Ему было уже 77 лет, и хотя держался он довольно бодро и с интересом следил за состязаниями по бегу, нельзя было не заметить, что возраст, долгая, полная труднейших испытаний революционная деятельность наложили на его организм свой отпечаток. Но в его теле не угас дух бойца, и Марсель Кашен до самой смерти не оставлял своего партийного поста.

На трибуне стадиона, в ресторанчике летнего типа под тентом, и в аллеях парка я провел с обоими руководителями компартии около трех часов. Время от времени к моим спутникам присоединялись другие участники праздника, и меня с ними знакомили. Нетрудно себе представить, какое множество тем и вопросов было за эти часы затронуто со столькими собеседниками.

Вечером, за ужином у В. М. Молотова, мне было о чем порассказать своим сотрапезникам из советских делегаций.

Остановлюсь также на задании В. М. Молотова сделать для членов советской делегации доклад о тенденциях внешней политики США в послевоенный период. Получил я его во второй декаде сентября, иначе говоря, в самый разгар дебатов в комиссии по Болгарии. Тема доклада, который предварительно следовало изложить письменно, естественно, не была для меня новой. Однако она представлялась мне слишком ответственной, чтобы ее можно было глубоко разработать в отпущенный декадный срок при многих других обязанностях, выполняемых подчас в горячечной спешке. Для подготовки доклада мне были необходимы официальные документы и материалы прессы, которыми наше посольство в Париже по понятным причинам не располагало. Все это объясняет, почему я, выслушав министра, сказал, что считаю целесообразным перенести его с конца сентября, скажем, на конец октября или начало ноября и сделать его в

Нью-Йорке, где будет проходить сессия Генеральной Ассамблеи ООН и где, вероятно, соберутся члены всех трех делегаций, то есть практически предполагавшаяся ныне аудитория.

Но министра мой протест ничуть не убедил. По его мнению, необходимые материалы можно было найти и в Париже. А мою ссылку на крайнюю занятость он отмел шутливым замечанием:

— А вы между делом, между делом... Так, смотришь, и выкроите часок-другой в день.

— Тут часом-двумя не обойтись,— возражал я.— Насколько я понимаю, тут пахнет не одним днем. Я имею в виду полные рабочие дни.

— При желании можно и несколько дней наскрести,— сердито проворчал Молотов.— Хотя бы за счет снижения числа возражений.

Словом, настояния мои успехом не увенчались. Я принялся за доклад. Когда я уже приступил к наброску чернового варианта доклада, ходом моей работы поинтересовался министр. Он предложил мне изложить тезисы доклада и вырисовывающиеся выводы. И тут же, не считаясь с тем, что речь идет о моем докладе и о моих выводах, какими бы они ни были, начал давать мне руководящие указания директивным тоном. Ища выход из положения, я предложил:

— Вячеслав Михайлович, а не лучше ли было бы довести работу до конца и лишь тогда подвергнуть ее обсуждению?

Мое предложение почему-то очень задело министра и без того уже разгоряченного. Дав волю своему раздражению, он пробурчал:

— Без указки пишите свои доклады в Вашингтоне. А здесь будьте любезны учесть мои замечания.— Уже несколько мягче он добавил: — Я же высказал их для пользы дела, а вы, как всегда, упрямитесь.

Расстались мы с ним после этой беседы более чем холодно.

В указанный министром день я сделал доклад, который лишь условно мог считать своим. Не мудрено, что мое выступление было принято довольно равнодушно и прений не вызвало, если не считать двух-трех умеренно положительных замечаний министра, моего безымянного соавтора. Тем самым «злосчастный инцидент», как я мысленно именовал этот эпизод своего парижского бытия, был исчерпан.

Он не отразился заметно на моих отношениях с В. М. Молотовым. Но посеял у меня в душе еще одно зерно недовольства и разочарования. С годами их накапливалось все больше и больше.

Имея в своем распоряжении машину, я пользовался ею не только для деловых, но и для своих личных нужд, когда в моем расписании появлялись «окна» между заседаниями и обязательными вечерними приемами. Воскресенья для нашей делегации оказывались, как правило, рабочими днями, но время от времени выдавались и свободные от дел дни. В такие «окна» и тем более в дни отдыха я не терял время попусту, а приносил его в жертву своей ненасытной любознательности. Здесь-то персональная машина с толковым водителем мсье Аргудом оказали мне большие услуги, не оставшиеся — для мсье Аргуда — без должного вознаграждения.

Понадобились они мне прежде всего для дальних экскурсий.

Первой из них была интереснейшая для меня поездка в Реймс, второй — в Компьень — на северо-восток от Парижа. На полдороге к Компьеню мы остановились в старинном городишке Шантийи, где я осмотрел великолепный замок, принадлежавший некогда княжеской фамилии Конде, неторопливо прошелся по залам художественного музея Конде.

Напоследок упомяну, что в течение августа и в первой половине сентября я сумел заполнить некоторые пробелы в своем эстетическом образовании, познакомившись с неисчерпаемыми достопримечательностями французской столицы. И венцом своих экскурсий я считаю посещение — в один из выходных дней — Большого дворца, одного из крупнейших музеев Европы, в котором я в течение нескольких часов осматривал шедевры мировой живописи и скульптуры.

2 октября, когда комиссия по Болгарии, одобрив статью первую мирного договора и передав свои решения в президиум конференции, тем самым практически завершила свою работу, подошли к логическому концу и мои функции члена комиссии от Советского Союза.

В тот же день вечером я поставил перед В. М. Молотовым вопрос о возвращении в Вашингтон и получил его согласие. Не теряя времени, я 3 октября вылетел из Парижа и 4 октября, после короткой остановки в Нью-Йорке, прибыл в Вашингтон.

8. Генеральная Ассамблея ООН

Осень 1946 года в США была богата значительными политическими событиями, об одном из которых, на мой взгляд, уместно кратко рассказать.

Этим событиям предшествовало письмо министра торговли Генри Уоллеса президенту Трумэну. Г. Уоллес — последний из остававшихся еще в кабинете членов «рузвельтовской команды»— отправил свое письмо 23 июля, отразив в нем нараставшее в стране сопротивление миролюбивых сил воинственной политике Белого дома, направленной своим острием против Советского Союза. Приведу здесь несколько красноречивых выдержек из этого письма.

«Меня,— так начинается письмо,— все сильнее беспокоит направление развития международных отношений с конца войны и еще больше тревожит, что среди американского народа явно растет чувство, что надвигается новая война и что отвести ее от себя мы можем только одним путем — вооружаясь до зубов. Однако вся история показывает, что гонка вооружений ведет не к миру, а к войне».

Далее Г. Уоллес рисует убедительную картину гонки вооружений и подготовки к войне:

«...Весь объем федеральных ассигнований на 1947 год, предусмотренных в представленном конгрессу официальном бюджете, составляет 36 миллиардов долларов. Из всего бюджета около 13 миллиардов предназначено только для военного и морского министерств. Дополнительно 5 миллиардов предназначено для деятельности, связанной с ликвидацией войны... Эти ассигнования в настоящее время более чем в 10 раз превышают ассигнования 30-х годов.

Как же выглядят американские действия в глазах других наций со времени дня победы над Японией? Я подразумеваю под действиями конкретные факты, как, например, 13 миллиардов долларов, предназначенных для военного и морского министерств, испытания атомных бомб у атолла Бикини и продолжающееся производство атомных бомб, план вооружения Латинской Америки нашим оружием, производство самолетов Б-29 и запроектированное производство самолетов Б-36, а также стремление сохранить охватывающие половину земного шара воздушные базы, с которых можно подвергать бомбежке другую половину...»

«Существуют,— пишет далее Уоллес,— две общие точки зрения, на которые можно встать при подходе к проблеме отношений между США и Россией. Первая состоит в том, что иметь дело с русскими невозможно и что поэтому война является неизбежной. Вторая состоит в том, что война с Россией принесет катастрофу всему человечеству и что поэтому мы должны найти путь, чтобы жить в мире. Ясно, что наше собственное благополучие и благополучие всего мира требуют, чтобы мы поддерживали вторую точку зрения...»

Как же реагировал президент Трумэн на эти разумные предложения министра торговли, способные повести к разрешению спорных вопросов путем переговоров и создать прочную основу для мирного сосуществования?

Практическая реакция Белого дома отлично просматривалась в недружественной Советскому Союзу позиции американской делегации на Парижской мирной конференции, в позиции, которую руководство профсоюза электриков охарактеризовало как «агрессивный империализм Ванденберга и Бирнса».

Оказавшись перед фактом такой реакции, Г. Уоллес решил отстаивать свои позиции публично. 12 сентября он выступил с речью на массовом митинге в «Мэдисон-сквер-гарден», созванном Независимым гражданским комитетом работников искусства и науки и Национальным гражданским комитетом политических действий. Выступил целиком в духе своего письма от 23 июля. И тогда к сенсации, которую вызвала радикальная речь Уоллеса, прибавилась новая сенсация: на пресс-конференции в Белом доме президент Трумэн, к всеобщему удивлению, полностью одобрил выступление министра торговли. Полностью!

На вопрос одного из корреспондентов, не противоречит ли речь Уоллеса политике, проводимой Бирнсом, он ответил, что никакого противоречия между ними нет. Но уже 14 сентября он пошел на попятную, заявив, что поначалу его неверно поняли. «Моим намерением,— неуклюже изворачивался он,— было выразить ту мысль, что я одобрил право министра торговли произнести речь. Я не хотел указать на то, что я одобрил речь, как конституирующее заявление о внешней политике Соединенных Штатов. В установленной внешней политике нашего правительства не произошло никакого изменения. В этой политике не произойдет никакого изменения без обсуждения и совещания между президентом, государственным секретарем и лидерами конгресса».

Этот неловкий зигзаг был справедливо расценен всеми как победа реакционных сил над Уоллесом и его миролюбивой линией. В то же время было несомненно, что престиж президента от него серьезно пострадал.

В развернувшейся, таким образом, борьбе двух внешнеполитических тенденций Генри Уоллес сделал новый шаг, опубликовав 17 сентября цитированное выше письмо от 23 июля. Как его речь 12 сентября, так и письмо президенту вызвали настоящее половодье противоречивых откликов. Реакция всех оттенков и мастей обрушилась на него с нападками в прессе, по радио и входившему в быт телевидению, торжествовала победу над Уоллесом и скорбела из-за подрыва престижа Белого дома. Под

ее неослабевающим нажимом президент Трумэн предложил министру торговли подать в отставку.

Торжество империалистической реакции в США предопределило характер той политической линии, которую с последней декады октября проводила американская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В числе организационных мероприятий, обеспечивавших участие советских делегаций в работе сессии Генеральной Ассамблеи, самым важным был вопрос о постоянной резиденции этих делегаций. Решен он был путем приобретения двух загородных особняков неподалеку от городка Глен-Кова, что на северном побережье Лонг-Айленда («Длинного острова»).

Один из особняков предназначался для размещения «штаба» во главе с В. М. Молотовым и А. Я. Вышинским и их ближайших сотрудников из числа тех, что обслуживали всесоюзную делегацию на Парижской мирной конференции. Имея в виду, что членам делегаций предстояло заседать не только на пленумах Ассамблеи во Флашинг-Мэдоу и в комитетах в Лейк-Саксессе (в том и другом случае на Лонг-Айленде), но и участвовать в политических встречах и протокольных мероприятиях, которые намечалось проводить в Нью-Йорке, для них резервировались номера в отелях центральной части Манхэттена на все время пребывания в Штатах.

Вся необходимая подготовка к сессии была завершена за несколько дней до прибытия делегаций на океанском лайнере «Куин Элизабет».

Состав всесоюзной делегации был определен решением Совета Министров СССР от 12 октября. Возглавлял ее В. М. Молотов, а в число членов входили: А. Я. Вышинский, постоянный представитель в Совете Безопасности А. А. Громыко, заместитель министра иностранных дел СССР Ф. Т. Гусев и я. Кроме того, были назначены пять заместителей членов делегации: член коллегии МИД СССР К. В. Новиков, посол по особым поручениям Б. Е. Штейн, член коллегии МИД СССР В. С. Геращенко, посланник А. А. Лаврищев и советник А. А. Арутюнян.

Делегации БССР и УССР прибывали в том же составе, что и на Парижской конференции.

21 октября я и Громыко (в качестве членов всесоюзной делегации с постоянным местопребыванием в Соединенных Штатах) встречали остальных членов делегации. Встречали не на 90-м причале нью-йоркского порта, где должен был пришвартоваться лайнер «Куин Элизабет», а на рейде, для чего в наше распоряжение был выделен катер береговой охраны, который ранним утром доставил нас на борт лайнера.

Наша встреча с коллегами, еще только поднимавшимися с коек, а затем с министром была по-дружески теплой и начисто лишена формальности. Ее подробности, так же как и подробности рейса до нью-йоркского порта, я опускаю, с тем чтобы сразу перейти к описанию той встречи, которая ожидала нас на берегу.

Когда гигантский лайнер пришвартовался к причалу, советские пассажиры вышли первыми. На причале делегацию приветствовал специальный комитет нью-йоркской мэрии во главе с Гровером Уэлленом. Вокруг суетилась толпа газетных корреспондентов, через которых В. М. Молотов передал от имени Советского правительства и народов Советского Союза приветствие правительству и народу США. Он также поблагодарил представителей американских властей за радушный прием и выразил уверенность в успешной работе Генеральной Ассамблеи и Совета министров иностранных дел в интересах укрепления мира и благополучия народов.

Причал был оцеплен моторизованной и пешей полицией, чтобы сдержать напор громадной толпы, встречавшей советскую делегацию. Никогда еще прибытие «Куин Элизабет» не вызывало такого наплыва встречающих, как на этот раз.

Мы медленно продвигались в узком коридоре среди толпы, который был оставлен для нас усилиями полиции. Наконец нам удалось сесть в машины и покинуть набережную.

Горячий прием, оказанный делегации, продемонстрировал, что, несмотря на злобную пропаганду, симпатии простых американцев к Советскому Союзу, выраженные в данном случае по отношению к его официальным представителям, широки и искренни.

Через два дня состоялось торжественное открытие сессии Генеральной Ассамблеи, сопровождавшееся всевозможными церемониями. Начались они с парадной процессии Объединенных Наций, совершенной по городу в автомобилях.

Стояла та прекрасная пора года, которая в Америке почему-то именуется «индейским летом», что соответствует нашему понятию «бабьего лета», с той, однако, разницей, что там оно значительно теплее и продолжительнее. В этот ясный солнечный день от отеля «Уолдорф-Астория», что на Парк-авеню, по городу двинулась длиннейшая автоколонна из 96 машин, в которых ехали прибывшие на сессию делегации. В голове процессии шла машина с председателем Ассамблеи Поль-Анри Спааком, генеральным секретарем ООН Трюгве Ли, А. А. Громыко и Гровером Уэлленом, представителем мэрии, организовавшей эту

процессию. Непосредственно за нею следовал открытый «паккард», на заднем сиденье которого сидели В. М. Молотов, А. Я. Вышинский и я.

Очевидно, из опасения новой стихийной демонстрации в честь советской делегации организаторы церемонии разработали такой маршрут, при котором процессия была бы по возможности изолирована от широких кругов населения. От «Уолдорф-Астории» дипломатическая автоколонна, предшествуемая эскортом полиции на мотоциклах с пронзительно ревущими сиренами, сразу свернула на 46-ю улицу и направилась к Ист-Ривер, где понеслась по скоростной автостраде имени Франклина Рузвельта. Широкая автострада была пустынна — движение городского транспорта по ней было на некоторое время закрыто. Автоколонну здесь могли поэтому наблюдать только полисмены, выстроившиеся вдоль всего пути.

Покинув автостраду и очутившись на идущей вдоль доков Ист-Сайда Южной улице, процессия несколько замедлила ход. Здесь иностранные дипломаты оказались свидетелями зрелища, безусловно не предусмотренного протокольным отделом мэрии и госдепартамента: доки Ист-Ривер были осаждены пикетами бастующих моряков. Стачку проводил профсоюз капитанов, судовых помощников и штурманов торгового флота.

От Южной улицы мотоколонна через Уайтхолл-стрит выехала на Бродвей. Собственно говоря, только отсюда и начиналось церемониальное шествие машин. Теперь они двигались медленно, словно для того, чтобы теснившаяся на тротуарах публика из уолл-стритовских и банковских дельцов могла пообстоятельнее рассмотреть, что за гости пожаловали в Нью-Йорк.

Промежуточным этапом церемонии был прием в мэрии и краткий митинг на площади перед старинной ратушей. После этого делегации отправились обратно в «Уолдорф-Асторию», где мэрия Нью-Йорка давала в их честь завтрак.

Это был роскошный завтрак. Изысканные блюда и напитки поглощались делегатами под аккомпанемент речей парадных ораторов — представителя мэрии Герберта Лимэна, губернатора штата Нью-Йорк Томаса Дьюи и государственного секретаря Джеймса Бирнса, а также ответного выступления Поль-Анри Спаака.

Но делегатам не хватало времени, чтобы эпикурейски насладиться банкетом. Из «Уолдорф-Астории» им необходимо было во весь дух мчаться во Флашинг-Мэдоу, чтобы присутствовать на открытии Ассамблеи, на которой с речами выступили исполняющий обязанности мэра Винсент Импеллетери, Поль-Анри Спаак и президент США Гарри Трумэн. А отсюда вновь с головокружительной быстротой вернуться в этот же отель, где

вечером президент Трумэн устраивал массовый прием для всех делегаций.

Отель «Уолдорф-Астория» был местом заседаний Совета министров иностранных дел и центром протокольных мероприятий, связанных с Генеральной Ассамблеей.

Основная же работа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций происходила на Лонг-Айленде — в зданиях довоенной международной выставки в парке Флашинг-Мэдоу и в зданиях бывшего военного завода фирмы «Сперри-жироскоп» в Лейк-Саксессе.

Зал пленарных заседаний Ассамблеи, бывший некогда главным выставочным залом, походил, несмотря на изрядную подмалевку, не то на колоссальный ангар, не то на крытый вокзал.

Перед залом помещалось обширное фойе, где всегда толпились делегаты, журналисты, публика из нью-йоркцев, которым посчастливилось получить пропуска на любопытное «шоу». Здесь обсуждались последние новости Ассамблеи, здесь газетные корреспонденты получали от американских делегатов установку, как освещать ход дебатов. За таким инструктажем особенно часто можно было видеть председателя американской делегации, приземистого человека с апоплексической шеей, сенатора Уоррена Остина и человека, стоявшего в списке делегации США на последнем месте, но игравшего в ней одну из первых ролей — Джона Ф. Даллеса, главу адвокатской фирмы «Салливен и Кромвелл». Здесь же часто бродил, важно выпятив грудь, крохотный человечек, привлекавший внимание Ассамблеи своими кричаще демагогическими речами. Это был филиппинский делегат, генерал Карлос Ромуло, один из тех, через кого американская делегация распространяла свою точку зрения, выдавая ее за мировое общественное мнение.

В дни пленарных заседаний Ассамблеи Флашинг-Мэдоу напоминал собою потревоженный пчелиный улей и внутри и снаружи, где сотни автомобилей окружали со всех сторон выставочный павильон. Но повседневная работа Ассамблеи протекала в ее комитетах, заседавших в Лейк-Саксессе.

В цехах завода, которым при помощи фанерных перегородок, сухой штукатурки и краски был придан мало-мальски благообразный вид, изо дня в день шла напряженная работа комитетов — политического, юридического, по социально-экономическим вопросам, по вопросам международной опеки, финансово-административного. Вместо гула машин в них теперь слышались голоса ораторов, усиленные микрофонами. Речи произносились на одном из трех «рабочих» языков Ассамблеи — рус-

ском, английском и французском — плюс китайский и испанский. Делегату было достаточно надеть наушники и нажать соответствующую кнопку прибора на столе, чтобы слушать речи на языке, который он предпочитал.

Так в сутолоке комитетских и пленарных заседаний, в постоянных метаниях делегатов между Флашинг-Мэдоу, Лейк-Саксессом и «Уолдорф-Асторией», протекала сессия Генеральной Ассамблеи.

Члены всесоюзной делегации были прикреплены к определенным комитетам Ассамблеи. Распределялись они по комитетам так: в политическом — В. М. Молотов, юридическом — А. Я. Вышинский, по социально-экономическим вопросам — Ф. Т. Гусев, по вопросам международной опеки — Н. В. Новиков, по финансово-административным вопросам — А. А. Громыко. В дни, когда Молотов заседал в Совете министров иностранных дел, в политическом комитете его заменял Вышинский.

На пленарных заседаниях Ассамблеи в большинстве случаев выступали с речами В. М. Молотов и А. Я. Вышинский и эпизодически другие делегаты — по вопросам, обсуждавшимся в соответствующих комитетах. Активную роль на сессии играли главы делегаций БССР и УССР — К. В. Киселев и Д. З. Мануильский.

Повестка дня сессии содержала десятки вопросов, среди которых были и те, что имели поистине мировое значение, и менее важные, но заслуживавшие внимания международной общественности. Рассматривались они в два приема — сначала в комитетах, а затем на пленумах, причем обсуждение многих из них зачастую очень затягивалось из-за большого числа желавших высказаться.

Наиболее существенный вклад в деятельность сессии внесла делегация СССР. Ее главные предложения — о всеобщем сокращении вооружений, включая запрет атомного оружия, и о пребывании вооруженных сил Объединенных Наций на иностранных территориях — находились в центре внимания политического комитета и пленума. Они убедительно продемонстрировали искреннюю политику мира, неуклонно проводимую Советским Союзом.

В то же время сессия стала ареной ожесточенных атак на принцип единогласия великих держав, преподносимый противниками мира и международного сотрудничества как некое злонамеренное вето Советского Союза. Инициатива этих атак исходила от делегаций США и Англии и была услужливо поддержана рядом других делегаций, покорно тащившихся у них на поводу. В длительных дискуссиях о вето четко выявились две основные внешнеполитические тенденции того периода.

В конечном итоге атаки на принцип единогласия великих держав были отбиты, что, однако, не помешало поборникам мирового господства вернуться к этому вопросу на последующих сессиях Генеральной Ассамблеи.

Детальная картина хода сессии на протяжении почти двух месяцев, разумеется, не умещается в рамках моих воспоминаний. Поэтому я расскажу лишь о работе 4-го комитета — по вопросам международной опеки,— в котором я представлял делегацию СССР.

Моим заместителем в 4-м комитете был Борис Ефимович Штейн — один из ветеранов советской дипломатии, начавший работать в НКИД в 1920 году. В 1945 году он был назначен советником НКИД СССР в ранге посла. За время совместной работы в 4-м комитете у нас с ним сложились добрые товарищеские отношения, которые продолжались и тогда, когда мы оба уже расстались с министерством.

Проблема международной опеки относилась к числу важнейших в повестке дня сессии. Речь шла об учреждении в соответствии с Уставом ООН государств-опекунов над бывшими подмандатными территориями, которыми управляли по мандатам ныне «покойной» Лиги Наций Англия, Франция, Бельгия, Австралия, Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз. Среди этих территорий были Того, Камерун, Танганьика, Руанда-Урунди, Новая Гвинея и Юго-Западная Африка. Уместно здесь упомянуть, что в 60-х годах почти все они — за исключением Юго-Западной Африки (Намибии) — добились государственной самостоятельности.

Дело с учреждением опеки над этими странами, провозглашенное в Уставе ООН еще полтора года назад, шло недопустимо медленными темпами. Выступая в 4-м комитете 11 ноября, я отметил это обстоятельство, особо подчеркнув, что до сих пор еще не создан Совет по опеке. «Ответственность за это,— сказал я,— ложится на государства, управляющие бывшими мандатными территориями, поскольку они своевременно не представили проектов соглашений об опеке. Советская делегация считает необходимым создать Совет уже на настоящей сессии».

Далее я отметил, что не все государства, управляющие бывшими мандатными территориями, представили проекты соглашений, а некоторые, дав проекты по одним территориям, не дали проектов по другим.

Весьма существенным недостатком этих проектов являлось то, что они были составлены с нарушением основных принципов Устава ООН. Они явственно отражали тенденцию превратить подопечные территории в составную часть государства-опекуна.

и притом на началах неравенства с метрополией — фактически на началах колониального управления. Я обратил внимание членов комитета на то, что указанные проекты были шагом назад даже по сравнению с мандатной системой, и доказал это на ряде примеров в отношении проектов соглашений об опеке над Того, Камеруном, Танганьикой и Руанда-Урунди.

Совершенно неудовлетворительным был проект Южно-Африканского Союза, предусматривавший аннексию Юго-Западной Африки (Намибии). Касаясь этого требования, я от имени делегации СССР выразил уверенность, что оно не будет одобрено Объединенными Нациями, как грубо противоречащее основным принципам Устава Организации, и заявил, что советская делегация настаивает на представлении нового проекта соглашения по опеке над Юго-Западной Африкой.

Корреспондент «Правды» В. Полторацкий, освещавший деятельность 4-го комитета, писал в своем обзоре от 13 ноября:

«Обращает на себя внимание, что за последнее время представители некоторых делегаций избрали, мягко выражаясь, своеобразный метод реагирования на выступления советских делегатов. После таких выступлений они поспешно созывают пресс-конференции с целью ослабить впечатление, произведенное ими, и соответствующим образом «обработать» журналистов до того, как они начали писать отчеты для своих газет... Так произошло и сегодня. Во время перевода речи Н. Новикова на французский язык Даллес собрал в коридоре английских журналистов и сделал им заявление, рассчитанное на то, чтобы ослабить эффект, произведенный [его выступлением] относительно опеки. Несколько минут спустя корреспондентам были розданы в измененном виде аналогичные заявления делегаций Великобритании и Южно-Африканского Союза...»

От себя добавлю, что результат подобного «инструктажа» не замедлил сказаться. На следующий день вся американская пресса, кроме прогрессивной, разразилась нападками на позицию советской делегации, изображаемую как чисто негативную, якобы препятствующую установлению системы опеки. Пожалуй, только «Нью-Йорк таймс» приблизилась к объективности, поместив сравнительно полный текст моей речи и сдержанно критический комментарий к ней. Подобная же ситуация складывалась и в дальнейшем, когда советской делегации приходилось подвергать критике обструкционистскую линию стран-мандатариев.

В острых принципиальных разногласиях, не утихавших с первого дня работы 4-го комитета, в полной мере отразились два противоположных подхода к делу национального раскрепощения народов подмандатных стран, к их стремлению пойти по пу-

ти экономического и социального прогресса. В своей активности в комитете мы не ограничивались одной лишь критикой негодных проектов. В ходе дебатов мы вносили конкретные поправки к отдельным их статьям. Одни из них были нацелены на исключение из проектов положений, создававших условия для аннексии странами-опекунами подопечных территорий. Другие — на то, чтобы воспрепятствовать опекунам распоряжаться этими территориями, как своими собственными.

Советские позиции обычно поддерживали делегации Польши, Югославии и Чехословакии, нередко — Индии и Чили. Но в целом борьба шла с неравными силами. Против наших предложений выступал сплоченный блок стран-мандатариев, меньше всего заботившийся о соблюдении высоких принципов ООН. Этот блок встречал почти безоговорочную поддержку со стороны США, имевших собственные своекорыстные интересы, и некоторых государств, шедших в фарватере их внешней политики. Таким образом, в момент голосования советских предложений большинство оставалось чаще всего за этой коалицией, и наши поправки, как правило, отвергались. А когда они все-таки принимались, то мандатарии заявляли, что отказываются их признавать. Незначительные же уступки в формулировках, которые коалиция делала, сути соглашений нисколько не меняли.

По одному из серьезных спорных вопросов — об определении «непосредственно заинтересованных государств»,— по которому главными оппонентами были советская и американская делегации, 4-й комитет предложил представителям этих двух делегаций встретиться вне рамок комитета, чтобы попытаться сформулировать приемлемое для всех решение. Переговоры эти состоялись. С советской стороны в них приняли участие А. А. Громыко и я, с американской — Ч. Болен и Дж. Ф. Даллес. Но наши трехдневные попытки найти приемлемую для обеих делегаций формулу так и не привели к согласию, лишний раз подтвердив, что при нынешнем положении вещей подлинного прогресса в делах международной опеки не достигнуть.

После трехнедельной дискуссии советская делегация пришла к выводу о полной неприемлемости проектов соглашений об опеке. По поручению В. М. Молотова я выступил на пленуме 4-го комитета с развернутым заявлением, в котором проанализировал факты, свидетельствовавшие о неудовлетворительных результатах работы комитета, и в заключение сказал:

«Ввиду этого советская делегация не может считать представленные соглашения отвечающими положениям Устава и целям международной системы опеки. Поэтому советская делегация будет голосовать против их утверждения».

Тем не менее проекты соглашений были утверждены 35 го-

лосами против восьми, поданных тремя советскими делегатами, а также делегатами Польши, Чехословакии, Югославии, Индии и Чили.

13 декабря доклад 4-го комитета обсуждался на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи. От имени делегации СССР с критическими замечаниями о работе комитета и с проектом резолюции выступил я. Моя речь представляла собою в дополненном и углубленном виде ту, что я произнес в комитете. Ниже я цитирую несколько выдержек из ее текста, опубликованного в «Правде» от 16 декабря.

«Господин председатель, господа делегаты!

В начале работы Генеральной Ассамблеи бывшие страны-мандатарии — Англия, Франция, Бельгия, Новая Зеландия и Австралия представили на рассмотрение Ассамблеи проекты соглашений об опеке над восемью подмандатными территориями Лиги Наций. Эти проекты, более или менее аналогичные по содержанию, обладали существенными недостатками.

Главным недостатком этих соглашений было то, что их основные положения находились в противоречии с принципами опеки, содержащимися в главе 12 Устава Организации Объединенных Наций.

Как известно, эти принципы предусматривают прогрессивное развитие народов подопечных территорий в направлении к самоуправлению или независимости. В представленных же нам проектах мы наблюдаем прямо противоположную тенденцию, выражавшуюся в стремлении стран-мандатариев создать такие условия опеки, которые фактически превратили бы подопечные территории в составную часть страны-опекуна. Осуществление такой тенденции было бы равносильно аннексии подопечных территорий странами-мандатариями, что явилось бы нарушением Устава».

Далее я остановился на усилиях советской делегации в 4-м комитете устранить эти недостатки. Подчеркнул, что в тех случаях, когда большинство членов комитета разделяло точку зрения советской делегации и принимало ее поправки, страны-мандатарии отвергали их, оставив, таким образом, в проектах положения, противоречащие Уставу.

Заключая все сказанное, я внес от имени советской делегации проект резолюции, в котором после мотивирующей части следовала резолютивная часть из двух пунктов:

«Ввиду изложенного Генеральная Ассамблея постановляет:

1) Отклонить представленные проекты соглашений по перечисленным выше подмандатным территориям, как несоответствующие Уставу.

2) Рекомендовать правительствам Великобритании, Фран-

ции, Бельгии, Австралии и Новой Зеландии представить на рассмотрение Ассамблеи новые проекты соглашений по опеке по указанным выше подмандатным территориям, составленные в соответствии с Уставом».

Пленум Ассамблеи, как и следовало предвидеть из всего хода дискуссии об опеке, большинством голосов отверг советский проект резолюции, а соглашения об опеке утвердил. Правое дело, отстаиваемое советской делегацией, в тогдашних международных условиях не восторжествовало. Но история судила иначе. Она сказала свое веское слово в пользу национального раскрепощения не только народов подопечных территорий, но и колониальных народов, добившихся независимости и играющих ныне на мировой арене большую положительную роль.

Помимо вопросов опеки 4-й комитет много занимался также информацией о несамоуправляющихся территориях (колониях), которую колониальные державы в соответствии с Уставом ООН должны были представлять генеральному секретарю ООН, и предложением Южно-Африканского Союза об аннексии подмандатной Юго-Западной Африки.

Не вдаваясь в перипетии дискуссий по этим вопросам, состоявшихся во 2-м подкомитете, отмечу лишь, что по первому из них 4-й комитет принял резолюцию, одобренную 14 декабря пленумом Ассамблеи, о создании специального комитета экспертов, который бы занимался изучением и обобщением информации о несамоуправляющихся территориях и представления рекомендаций Генеральной Ассамблее. Что касается предложения об аннексии Юго-Западной Африки (Намибии), то, несмотря на все ухищрения и напористость южноафриканских расистов, оно было отвергнуто и в комитете, и на пленуме Ассамблеи. Впрочем, это не охладило их колонизаторского пыла, и Южно-Африканский Союз (нынешняя Южно-Африканская Республика), игнорируя многократные решения международного форума, продолжал варварски угнетать народ Намибии.

В период сессии Генеральной Ассамблеи советским делегатам довольно часто — хотя и не столь часто, как в Париже,— приходилось платить неизбежную дань дипломатическому протоколу, посещая званые завтраки и пятичасовые коктейли, вечерние обеды и широкие приемы. Проводились они, как правило, в банкетных залах «Уолдорф-Астории». Само собой разумеется, что в меру необходимости проводила подобные мероприятия и советская делегация.

Я не намерен задерживаться на приемах этого рода и коснусь лишь обеда, данного в конце ноября В. М. Молотовым для английской делегации. А точнее, лишь одного, но характерного эпизода этого вечера.

Обед давался в «Уолдорф-Астории» в день очередного заседания Совета министров иностранных дел. Заседание прошло сравнительно гладко, и это положительно сказалось на течении трапезы. Время от времени произносились тосты за скорое и успешное завершение сессии Совета, через стол оживленно перепархивали шутливые реплики, то добродушные, то сдержанно колкие. Последними перебрасывались с помощью переводчика В. Н. Павлова — главным образом заядлый острослов А. Я. Вышинский и английский дипломат, генеральный атторней Хартли Шоукросс.

Коснулась застольная беседа и обсуждавшегося в 4-м комитете щекотливого вопроса о колониях. Затронул его В. М. Молотов, обронивший пару замечаний о «непостижимом упрямстве» колониальных держав, которые упорно цепляются за свои колонии и, таким образом, идут не в ногу с веком. Главный адресат намеков, английский министр иностранных дел Эрнест Бевин, так же как и его английские коллеги, невозмутимо пропустили их мимо ушей. Но они, конечно, хорошо расслышали их.

По окончании обеда, когда все поднялись из-за стола, я неторопливо пошел к выходу в гостиную, ведя незатейливую беседу со статс-секретарем Мак-Нейлом, моим соседом по столу. Следом за нами двигалась троица английских делегатов во главе с ораторствовавшим о чем-то Бевином. Он был изрядно под хмельком. Настолько под хмельком, что, поравнявшись с нами, разглядел только Мак-Нейла и не отдал себе отчета в том, кто его собеседник. Продолжая начатый ранее разговор и желая втянуть в него статс-секретаря, он возмущенным тоном бросил ему:

— Дались этим русским наши колонии! Просто с языка у них не сходят. Только и слышишь — колонии, колонии...

Мак-Нейл предостерегающе показал ему глазами на меня, но министр знака не заметил или не понял его. Неожиданно хохотнув, он уже с чванливой ноткой продолжал:

— Впрочем, пусть себе болтают о них. А мы тем временем будем владеть ими. Не так ли, Гектор?

Вместо ответа сконфуженный Мак-Нейл сделал новый предостерегающий знак, который наконец дошел до сознания министра. Но в отличие от статс-секретаря он нимало не смутился и широко улыбнулся мне с таким видом, словно только что одарил меня приятным комплиментом.

Что ж, иногда и так выпутываются из неловкого положения. Я тоже улыбнулся Бевину, про себя посмеиваясь над тем, как он попал впросак.

Вся троица молча зашагала дальше и с ними Мак-Нейл,

слегка кивнув мне на прощание. А я, глядя им вслед, задавался вопросом, долго ли еще такие самодовольные люди, живущие ветхими имперскими традициями, будут мнить себя вечными господами сотен миллионов колониальных рабов?

Считаю нелишним рассказать здесь о неофициальном визите двух представителей советской делегации — в лице В. М. Молотова и меня — в Гайд-парк, бывшее фамильное имение Рузвельтов в центральной части штата Нью-Йорк, которое по завещанию перешло государству.

Идея этой поездки была высказана В. М. Молотовым в беседе с миссис Элеонорой Рузвельт в кулуарах Генеральной Ассамблеи, делегатом которой она состояла. Молотов упомянул о своем намерении воздать дань уважения памяти великого президента в его родных местах, где он похоронен. Миссис Рузвельт с горячностью одобрила его намерение и вызвалась принять в Гайд-парке главу советской делегации и других делегатов по его усмотрению. Договорились о ближайшем воскресенье.

В качестве спутников в этой поездке министр выбрал меня и переводчика Павлова. Мы привезли с собой цветы и в почтительном молчании возложили их к подножию монумента, воздвигнутого вблизи могилы — посреди лужайки, обрамленной живой изгородью из кустарника. Монументом служила массивная полированная плита из белого мрамора без каких-либо декоративных ухищрений. Она покоилась на белом же мраморном постаменте, едва приподнятом над землей.

Во время этой непритязательной церемонии нас сопровождала бывшая хозяйка дома. Затем она повела нас в увитый плющом двухэтажный особняк с портиком из четырех колонн. Мы обошли внутренние покои, оставленные в том виде, в каком они были при жизни президента.

В расположенной по соседству с особняком пристройке — рабочем кабинете, являвшемся также и библиотекой,— нас ждал личный друг президента Рузвельта Генри Моргентау, крупный банкир, в 1934—1945 годах занимавший пост министра финансов. После представления Моргентау Молотову (я встречался с ним еще в его бытность министром) между двумя американцами и нами завязалась беседа. Касалась она, естественно, политической злобы дня.

Все четверо собеседников были единодушны во мнении, что начиная с осени прошлого года советско-американские отношения все более и более осложняются. Причина — в отходе внешней политики правительства Трумэна от того курса на со-

трудничество, который проводил Рузвельт. В своих высказываниях на эту тему Моргентау проявил умеренный оптимизм, ссылаясь на энергичное противодействие трумэновскому курсу, оказываемое с июля 1946 года Генри Уоллесом и его политическими сторонниками. Позицию последних в тот момент поддерживал и сам Моргентау, принимавший в сентябре активное участие в чикагской конференции прогрессивных организаций, объединившихся в декабре в организацию «Прогрессивные граждане Америки». По его мнению, главным камнем преткновения на пути к единству и сотрудничеству трех великих держав антигитлеровской коалиции являлась атомная бомба, которую необходимо объявить вне закона.

Молотов, в общем, разделял точку зрения экс-министра и, кратко остановившись на насущных задачах советско-американских отношений, конкретизировал их в духе советского предложения о всеобщем сокращении вооружений, внесенного им на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

Миссис Рузвельт, обычно очень словоохотливая, в беседе участвовала мало, лишь изредка вторя словам Моргентау. Должен заметить, что, издавна следя за ее публицистической деятельностью, я всегда видел в ней эклектическую шаткость убеждений, правда по преимуществу склонявшихся к либеральным. В данный момент ее сдержанность, по-видимому, в значительной мере объяснялась ее официальным положением члена правительственной делегации, обязанного ex officio придерживаться официального курса, оказавшегося в этой беседе под огнем критики.

На обратном пути в Нью-Йорк Молотов был задумчив и почти все время молчал, если не считать нескольких реплик, отпущенных в начале пути. Две из них касались наших собеседников. О миссис Рузвельт он сказал: «Насколько же она ниже Рузвельта политически. Совсем не чета ему». А о Генри Моргентау он выразился так: «Этот банкир почему-то рядится в одежды либерала, даже на конференциях радикально разглагольствует. Не иначе как нащупывает трамплин для нового прыжка к власти. Но похоже, что ставит он на ненадежную лошадку».

Его мнение — в обоих случаях — я разделял.

К власти Моргентау так и не вернулся. Движение прогрессивных кругов США не набрало достаточно сил для серьезной борьбы за власть. Да и сам Моргентау мало подходил для роли лидера прогрессистов. А посему в скором времени он сбросил с себя «прогрессивную» маскировку и выступил в облике откровенного апологета империалистической политики, каковым, по существу, всегда и был.

Мои рабочие часы во время сессии Ассамблеи, как практически и всех сотрудников нашей делегации, были долгими — никакая охрана труда не допустила бы их. В пять часов утра вахтер особняка приносил мне в комнату кипу только что доставленных утренних газет, и это было требовательным сигналом к подъему. За час-полтора я расправлялся с основными международными и внутренними новостями. В семь утра ко мне являлся мой заместитель Б. Е. Штейн. Мы с ним советовались о повестке дня в комитете или подкомитете, готовили формулировки советских поправок к соглашению об опеке, намечали тезисы своих выступлений. С восьми до девяти я завтракал в обычном обществе у В. М. Молотова, а в самом начале десятого уже мчался по автострадам Лонг-Айленда в Лейк-Саксесс или Флашинг-Мэдоу.

В восемь-девять часов вечера я возвращался «домой», где детально знакомился с полученными в течение дня рабочими документами — текстами поправок и проектами резолюций различных делегаций, официальными отчетами предыдущих заседаний и т. д. и т. п. Часам к одиннадцати я заканчивал эту работу и прослушивал последние известия по радио, после чего «отдыхал» в постели с вечерними газетами в руках. Во время «отдыха» меня чаще всего и одолевал сон. А в пять утра меня снова будил вахтер. И так изо дня в день, за редкими исключениями.

По воскресеньям, правда, дипломаты получали передышку, которую каждый использовал по-своему. Одни из нас часами предавались игре в волейбол, другие, в том числе и я, предпочитали теннис. Но по временам для некоторых делегатов передышка сильно укорачивалась, а то и вовсе отменялась, когда кого-то из играющих вызывали в «главный штаб» на совещание или для выполнения срочного задания.

Систематически по воскресеньям приходилось бывать в «штабе» мне — помимо присутствия на завтраках и обедах у министра. Иногда это были не общие совещания, а беседа с Молотовым с глазу на глаз. В хорошую погоду он любил беседовать в саду, ссылаясь при этом не на гигиенические соображения, а на отдаленность от подслушивающих устройств ФБР, наличие которых в стенах особняка можно было подозревать.

Одной из таких бесед в саду я воспользовался для того, чтобы рекомендовать на вакантный пост советника посольства Ф. Т. Орехова, который по своей дипломатической подготовке и опыту вполне отвечал требованиям, предъявляемым к советнику.

— Пожалуй, над этим стоит подумать,— сказал Молотов.—

Мне он тоже кажется дельным работником. Пишите представление, двинем это дело в ход.

В тот же день я так и поступил, а через некоторое время с удовольствием поздравил Федора Терентьевича с назначением на пост советника. Увы, долго работать в посольстве моему протеже было не суждено. Но об этом позже.

Поскольку мимоходом я уже коснулся дел посольства, то заодно расскажу о том, в каких условиях мне приходилось совмещать руководство его коллективом и нашей делегацией в Дальневосточной комиссии с обязанностями члена делегации на Генеральной Ассамблее.

Признаюсь откровенно: выполнять одновременно эти три задачи — в двух далеко отстоящих друг от друга городах! — было чрезвычайно трудно. Связь с посольством, поддерживавшаяся по телефону, если речь шла о второстепенных практических вопросах, или шифром, когда требовалось дать более серьезные указания, не создавала отчетливой картины того, как эти указания осуществлялись и как посольство плюс ДВК работают вообще. Правда, в течение ноября и декабря я лично трижды наведывался в Вашингтон, но каждый раз не долее чем на один-два дня, вследствие чего эти мои вылазки были малоэффективны.

Положение осложнялось еще и тем, что дипломатический состав посольства был очень ослаблен. Вскоре после открытия сессии Генеральной Ассамблеи Молотов предложил мне вызвать в Нью-Йорк Орехова. Ему было поручено организовать для советских делегаций информационную группу из нескольких сотрудников делегации СССР и канцелярских работников посольства. Теперь за старшего там остался первый секретарь М. С. Вавилов.

Первый мой приезд в Вашингтон состоялся в самом начале ноября. Свое основное внимание в этот раз я уделил подготовке к празднованию XXIX годовщины Октября. Покончив с этим делом, я выехал в Нью-Йорк.

Вторично я приехал в Вашингтон 6 ноября вечерним поездом. А утром 7-го я в компании заместителя государственного секретаря Д. Ачесона встречал на Пенсильванском вокзале В. М. Молотова, который изъявил желание присутствовать на праздничном приеме в посольстве.

Поселился он в Блэр-хаузе, местопребывании всех почетных гостей официального Вашингтона. Оттуда он направился вместе со мною сначала в госдепартамент, где нанес визит вежливости Д. Ачесону, исполнявшему обязанности государственного сек-

ретаря, а затем в его сопровождении — в Белый дом для встречи с президентом Трумэном. Во время обоих этих визитов беседы министра переводил я, так как брать с собой переводчика В. Н. Павлова он не счел нужным. В обоих случаях беседы длились минут по десять и не задевали существенных политических вопросов. Отвечая на вопросы аккредитованных при Белом доме корреспондентов, министр лаконично ответил: «Мы с господином президентом очень приятно побеседовали».

Днем министр был моим гостем на обеде в посольстве. Не в парадной столовой, а по-домашнему, у меня в квартире. За столом он был начисто лишен налета официальности, который обычно всюду сопутствовал ему — даже тогда, когда он, как казалось, стремился избавиться от него.

Около пяти часов Молотов и я с супругой спустились в парадный холл второго этажа. Приглашения гостям, разумеется, были разосланы от моего имени и от имени супруги, но принимал гостей, стоя рядом с нами, и министр. Это придало приему дополнительную торжественность, но его традиционного течения не изменило. Непрерывным потоком сначала приходили, а затем уходили представители правительства, парламентских кругов, дипкорпуса, прессы и общественности.

Это был, в общем, обычный контингент приглашенных. Новым лицом среди завсегдатаев наших приемов был министр торговли Аверелл Гарриман, недавно заменивший уволенного в отставку Генри Уоллеса. Мой давний знакомец был в этот вечер таким же угрюмым, каким я его всегда видел во время переговоров о перемирии с Румынией осенью 1944 года. Правда, здороваясь с нами, он сделал безуспешную попытку улыбнуться, а с Молотовым даже обменялся несколькими фразами, после чего его оттеснили от нас вновь пришедшие гости.

На следующее утро трое «нью-йоркцев» — Молотов, я и Павлов,— провожаемые Ачесоном и сотрудниками посольства, покинули Вашингтон и в тот же день опять включились в привычную рутину Генеральной Ассамблеи.

Только изредка она нарушалась происшествиями, более или менее выходившими за рамки повседневности. А однажды даже случилось дипломатическое ЧП, «виновником» которого стал я.

Развивалось оно так.

В самом начале декабря из Вашингтона мне позвонил Вавилов и сообщил, что из Протокольного отдела Белого дома в посольство доставлен пригласительный билет (для меня и для моей жены) на обед, устраиваемый 3 декабря президентом Трумэном для дипломатического корпуса. Это был особо торжественный, так называемый государственный обед, возобновляющий давнюю традицию, которая в военные годы была

упразднена. Для большинства моих коллег по дипкорпусу такое приглашение было, несомненно, лестным знаком внимания президента. А для меня оно — как это ни парадоксально — явилось сигналом к настороженности. Но парадоксально лишь на первый взгляд.

Памятуя о политических подвохах в отношении посольства, какие таили в себе предыдущие встречи президента с дипкорпусом, я поручил секретарю В. Бурдину связаться с госдепартаментом и уточнить состав приглашенных на обед. Моя предосторожность оказалась отнюдь не лишней. Обед устраивался примерно для половины глав посольств и миссий, среди которых, как я и предполагал, фигурировали марионетки госдепартамента — «посол» Латвии Альфред Бильманис и «посол» Литвы Повилас Задейкис. Выражаясь мягко, открытие это было не из приятных. Мало того, что правительство США продолжало упорствовать в официальном признании дипломатов несуществующих правительств, так оно еще в ущерб престижу Советского Союза намеревалось усадить их в Белом доме за один стол с представителем Советской страны. К тому же в силу протокольного приоритета, о котором мне уже приходилось упоминать раньше, на более почетных местах, чем предназначенное для советского посла. А ведь такого неприличного соседства можно было при желании легко избежать, пригласив Бильманиса и Задейкиса — или же меня — на обед для другой половины дипкорпуса, намеченный на более позднюю дату. Словом, тут, по всей вероятности, имел место определенный расчет, отдававший душком дипломатической провокации.

Раздумывая над всем этим, я пришел к нехитрому решению, подсказанному аналогичным прецедентом в 1945 году. Сводилось оно к тому, чтобы под благовидным предлогом уклониться от визита в Белый дом и тем самым косвенно осудить некрасивый акт американского правительства. Конечно, в этом решении заключалось то неудобство, что я уже не впервые отказываюсь от встречи с президентом, но этот демонстративный жест, как и предыдущий, был вынужден самим Белым домом.

Я изложил свои соображения на этот счет В. М. Молотову, который всецело одобрил их.

Прозрачным предлогом для отказа послужила испытанная веками ссылка на болезнь. Накануне государственного обеда посольство сообщило госдепартаменту о внезапно поразившей меня хвори, которая помешает мне воспользоваться гостеприимством президента.

Горькую пилюлю Белый дом и госдепартамент проглотили молча, не предав инцидент гласности. Но четыре дня спустя он стал достоянием массовых средств информации. 8 декабря я

с понятным интересом читал в газетах обильные корреспонденции о нем, подаваемые под крикливыми «шапками».

Приведу в виде примера отклики в либеральной «ПМ». Заголовок в ней гласил: «Соединенные Штаты получили от Советов взбучку на государственном обеде». Ниже — часть этой корреспонденции:

«Ударом по самолюбию Трумэна Советская Россия дала знать США о своем недовольстве тем, что эта страна продолжает признавать три балтийских государства, поглощенные СССР.

Политический удар, нанесенный советским послом в Вашингтоне Николаем В. Новиковым, являлся одной из самых сокровенных тайн Белого дома и государственного департамента. Нанесен он был в прошлый вторник во время официального обеда, данного президентом США половине дипломатического корпуса. Новиков, высший представитель СССР в дипломатическом корпусе, на обед не явился.

Вчера в русском посольстве сообщили только то, что Новиков вследствие болезни находится в номере отеля в Нью-Йорке, где он занимается проблемами Ассамблеи Объединенных Наций, и добавили, что государственный департамент был уведомлен о его болезни и о том, что он не сможет присутствовать на государственном обеде.

...Но источники, близкие к советскому посольству, откровенно признали, что болезнь Новикова дипломатическая. А другой хорошо информированный источник заявил, что явиться на обед советскому послу помешал «острый приступ латвийской лихорадки».

При всей своей однобокости подобные корреспонденции делали на этот раз, в общем, полезное дело, разоблачая лицемерие американских государственных деятелей, не гнушающихся политической игрой фальшивыми картами. А заодно они показывали и нашу готовность дать достойный отпор всякому выпаду против престижа Советского Союза.

В первой декаде декабря сессия Совета министров иностранных дел успешно завершила работу над мирными договорами с Болгарией, Румынией, Венгрией, Финляндией и Италией. Приближалась к концу и сессия Генеральной Ассамблеи.

13 декабря В. М. Молотов произнес свою заключительную речь на пленуме Ассамблеи, посвященном обсуждению резолюции о всеобщем сокращении вооружений. А 14-го утром он и А. Я. Вышинский покинули США на том же пароходе «Куин Элизабет», на котором прибыли туда. Покинули вместе с основ-

ным дипломатическим и обслуживающим персоналом. Представлять Советский Союз до конца сессии было поручено А. А. Громыко, Ф. Т. Гусеву и мне.

Выступив 14 декабря на пленуме с цитировавшейся выше речью по докладу 4-го комитета и дождавшись результатов голосования, я выполнил последнюю из порученных мне на Ассамблее задач. С нескрываемым чувством облегчения я выехал вечером 15-го в Вашингтон.

Кажется, еще никогда в жизни — пожалуй, даже и в военные годы — я не был так переутомлен чрезмерной нагрузкой, как в минувшие осенне-зимние месяцы. Вернувшись в Вашингтон, я не счел зазорным позволить себе и трудившимся вместе со мною работникам посольства трехдневный отдых. Провели мы его вместе с семьями в скромном пансионате в горах на западе Вирджинии.

9. В эпицентре экспансии

20 января 1947 года вышел в отставку государственный секретарь Джеймс Бирнс.

Недолго пробыл на своем посту этот честолюбивый политический деятель, многие годы тянувшийся к высшим государственным постам и в 1944 году метивший в вице-президенты с расчетом заменить в близком будущем больного Рузвельта. Однако изменчивая игра политических сил вынудила его довольствоваться только ролью члена кабинета Трумэна, его политического соперника, которого он никогда не уважал, считая выскочкой и тупицей. Правда, это не помешало ему активно проводить совместно с президентом «двухпартийную политику», нацеленную на установление мирового «руководства» Соединенных Штатов.

Отставка Дж. Бирнса не знаменовала собою изменения внешнеполитического курса американского правительства. Новый глава госдепартамента, генерал Джордж Маршалл, на первой же своей пресс-конференции 7 февраля без всяких экивоков заявил, что будет следовать политике, сформулированной президентом Трумэном и Джеймсом Бирнсом. Своего отношения к Советскому Союзу Маршалл на пресс-конференции открыто не высказал, но несколько дней спустя за него это сделал его заместитель Дин Ачесон, назвавший в сенате советскую внешнюю политику «агрессивной и экспансионистской». Столь откровенно враждебный выпад госдепартамента, естественно, повлек за собою решительный протест Советского правительства в виде ноты В. М. Молотова правительству США.

Таков был весьма симптоматичный дебют Маршалла на новом посту.

Этот шестидесятисемилетний генерал был испытанным служакой американского империализма. Профессиональный военный, он дослужился в армии до очень высоких чинов. С 1939-го до осени 1945 года Маршалл стоял во главе штаба армии США. Обосновавшись теперь в кабинете государственного секретаря, он оставил на своих местах основных творцов «двухпартийной политики» — эмиссаров большого бизнеса, начиная с незаменимого Дина Ачесона. В то же время он основательно «военизировал» руководство важнейшими звеньями аппарата.

Первое серьезное испытание генерала Маршалла на дипломатическом поприще предстояло на открывавшейся 10 марта в Москве очередной сессии Совета министров иностранных дел, в повестке дня которой стояли главным образом вопросы мирного урегулирования для Германии. Но, готовясь к сессии с помощью команды спецов госдепартамента, усиленной «золотыми галунами», Дж. Маршалл параллельно разрабатывал и новые планы американской экспансии. Одним из них, получившим громкую и незавидную славу, был план еще большего ужесточения и без того жесткой антисоветской политики США. Сомнительная честь обнародования этого плана была предоставлена президенту Трумэну, в силу чего в дальнейшем он именовался в политическом обиходе «доктриной Трумэна».

Выступил он 12 марта на совместном заседании сената и палаты представителей с речью о финансовой помощи Греции и Турции в сумме 400 миллионов долларов. Вопрос этот явился лишь предлогом для провозглашения нового этапа «жесткой внешней политики». Можно не сомневаться, что провозглашение «доктрины Трумэна» отнюдь не случайно совпало с началом сессии Совета министров иностранных дел в Москве. Видимо, по мнению авторов доктрины — Маршалла, Ачесона и иже с ними,— ее явная антисоветская заостренность и демонстративно подчеркнутая готовность США идти на решительные меры для ее осуществления должны были произвести серьезное впечатление на Советское правительство и склонить его к уступчивости при рассмотрении вопросов мирного договора с Германией.

Большая часть речи Трумэна была отведена совершенно несоответствующей действительности характеристике положения в Греции и Турции и лицемерной мотивировке необходимости оказания им помощи. Но, пожалуй, более важное, принципиальное значение, чем вопросы оказания помощи Греции и Тур-

ции — в обход ООН,— имели широкие принципы послания, определяющие политику США в отношении многих других стран.

Вот как они сформулированы в речи:

«Организация Объединенных Наций создана для того, чтобы обеспечить прочность свободы и независимости всех наций, входящих в ее состав. Однако мы не достигнем наших целей, если мы не готовы помочь свободным народам в сохранении их свободных установлений и их государственной неприкосновенности против агрессивных движений, цель которых — навязать этим народам тоталитарный режим. Это не более как откровенное признание того факта, что тоталитарный строй, навязанный свободным народам путем прямой или косвенной агрессии, подтачивает основы международного мира и, следовательно, безопасности США... Правительство США часто протестовало против принуждения и устрашения в нарушение Крымского соглашения в Польше, Румынии и Югославии. Я должен также заявить, что в ряде других стран произошли такого же рода события».

Намечая далее политику США, Трумэн заявил:

«Я верю в то, что политика США должна заключаться в поддержании свободных народов, которые оказывают сопротивление попыткам порабощения их со стороны вооруженного меньшинства или путем давления извне. Я верю в то, что мы должны помочь свободным народам в решении их собственных судеб путями, им самим свойственными».

Если очистить эти высказывания от демагогической шелухи, то станет ясно, что речь в них шла о поддержке реакционных режимов в тех странах, где они уже существовали, и о борьбе против якобы навязанных извне прогрессивных режимов в Восточной Европе для насаждения и там реакционных режимов. Само собой разумеется, что оказание помощи реакционным группам или режимам должно было попутно открывать двери для бесконтрольного хозяйничанья американских монополий в этих странах.

С предельной откровенностью агрессивную сущность «доктрины Трумэна» вскрыл маститый глашатай интересов американских монополий Уолтер Липпман. В своей статье в «Нью-Йорк геральд трибюн» от 1 апреля он писал:

«Мы выбрали Грецию и Турцию не потому, что они особенно нуждаются в помощи, и не потому, что они являются блестящими образцами демократии, а потому, что представляют собою стратегические ворота, ведущие в Черное море и к сердцу Советского Союза».

Яснее и — добавлю — циничнее о «доктрине Трумэна» не скажешь.

Новый акт «жесткого курса» Белого дома вызвал в широких кругах общественности США нескрываемое беспокойство и недовольство.

Прямую оппозицию он встретил в конгрессе, где сенаторы-демократы либерального толка Пеппер и Тэйлор внесли в конце марта совместную резолюцию, в которой протестовали против намеченной президентом программы. В своем заявлении на пресс-конференции они резко осудили «доктрину Трумэна», подчеркнув, что она, по сути дела, представляет собою «борьбу за власть на Балканах, в Турции и на Среднем Востоке», попытку закрепить за собою стратегические подступы к нефтяным месторождениям на Среднем Востоке.

Решительная оппозиция сенаторов Пеппера и Тэйлора была поддержана представителями общественности на массовом митинге, созванном 2 апреля по инициативе организации «Прогрессивные граждане Америки» в «Мэдисон-сквер-гарден». В ходе митинга с речами выступили Генри Уоллес, Эллиот Рузвельт и другие видные общественные деятели. В единодушно принятой резолюции участники митинга осудили агрессивную внешнюю политику Белого дома и выдвинули перед конгрессом требование одобрить резолюцию, внесенную Пеппером и Тэйлором.

Однако усилия либеральных сенаторов и их единомышленников не увенчались успехом. После длительных дебатов конгресс высказался в пользу «доктрины Трумэна».

Почти одновременно с ее провозглашением президент издал в марте пресловутый приказ «о проверке лояльности» государственных служащих. Политический смысл проверки заключался в том, чтобы изгнать из центральных и местных органов власти всех несогласных с реакционным курсом правительства внутри страны и с агрессивным курсом на международной арене.

Во исполнение приказа президента правительственные органы составили список 78 «подрывных» организаций, принадлежность к которым автоматически становилась основанием для увольнения государственных служащих, как «нелояльных». На первых местах в этом списке стояли Коммунистическая партия США и связанные с нею прогрессивные организации. Попал в число «подрывных» и Национальный Совет американо-советской дружбы, ненавистный всем недругам Советского Союза. Публикуя этот список, министр юстиции Кларк довел до всеобщего сведения, что он не считает его окончательным и что в скором времени дополнит его. Свое слово он сдержал.

Так была подготовлена юридическая почва для «охоты на

ведьм», для крупнейшего в истории Соединенных Штатов разгула реакции.

10 марта в Москве открылась очередная сессия Совета министров иностранных дел. За несколько дней до ее открытия я получил от В. М. Молотова указание вылететь в Москву для участия в сессии. Но по ряду причин покинуть Вашингтон я смог только 12-го, выехав в этот день в Нью-Йорк поездом.

На следующее утро началось мое первое в этом году путешествие за океан.

Маршрут моего путешествия предусматривал первую посадку в Гандере (на Ньюфаундленде), вторую — в Прествике (в Шотландии) и третью — в Копенгагене. Но погодные условия многое изменили; вторая посадка произошла не в Шотландии, а в Лондоне. Из-за непогоды же не удалась посадка в Копенгагене, и поэтому самолет направился в Стокгольм, куда я прибыл 14 марта к вечеру. В Стокгольме пришлось ждать советского самолета на Хельсинки до понедельника 17 марта. Из Хельсинки летел с одной посадкой вблизи Ленинграда, а 17 марта вечером я уже был у себя в квартире на Большой Калужской.

На другой день меня принял министр. Он задал мне несколько вопросов о делах посольства и Дальневосточной комиссии, спросил о том, как я расцениваю «доктрину Трумэна». Выслушав мое мнение, он с усмешкой заметил:

— Президент пытается запугать нас, одним махом превратить в послушных пай-мальчиков. А мы и в ус себе не дуем. На сессии Совета мы твердо гнем свою принципиальную линию. Включайтесь и вы в работу.

По окончании беседы, когда я уже поднялся, чтобы уйти, Молотов неожиданно добавил:

— На днях я сообщил Маршаллу, что мы согласны вести переговоры об урегулировании расчетов по ленд-лизу, на которых, как вы знаете, американцы давно настаивают. Вести их придется, по всей вероятности, вам. Так что основательно разберитесь в этом вопросе и познакомьтесь с материалами Внешторга — там их сейчас готовят. Более конкретно поговорим об этом позже.

Итак, опасность остаться в ближайшие месяцы без дела мне явно не грозила. К двум моим прежним обязанностям — по руководству посольством и делегацией в Дальневосточной комиссии — в перспективе присоединялись переговоры с госдепартаментом по ленд-лизу.

18 марта я уже присутствовал на заседании Совета министров иностранных дел, рассматривавшего вопросы Германии. Его главные участники — В. М. Молотов, государственный секретарь Дж. Маршалл, французский министр иностранных дел Ж. Бидо, английский министр иностранных дел Э. Бевин и их заместители — восседали за огромным круглым столом, а советники и эксперты располагались позади них с пухлыми папками, готовые в любой момент прийти на помощь своим шефам.

В состав советской делегации помимо В. М. Молотова входили его заместители А. Я. Вышинский и Ф. Т. Гусев, политические, экономические и военные эксперты. Мое амплуа в делегации, так же как амплуа вызванных из Лондона и Парижа послов Г. Н. Зарубина и А. Е. Богомолова, формально не было определено, фактически мы были дипломатическими советниками делегации.

Не ставя перед собою задачу нарисовать целостную картину хода и исхода московской сессии Совета, скажу о ней лишь в немногих словах.

В повестке дня стояли вопросы, имевшие огромную важность не только для судеб Германии, но и для всей Европы. Таковы были прежде всего вопросы подготовки мирного договора с Германией, призванного — как это указывалось в решениях Ялтинской конференции — создать «гарантии в том, что она никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира». Что же дала работа сессии на протяжении полутора месяцев?

Проходила она в обстановке серьезных разногласий. Советская делегация добивалась последовательного претворения в жизнь решений, согласованных в Ялте и Потсдаме, но встретилась на этом пути с противодействием западных держав, в первую очередь США и Англии. Последние упорно стремились к пересмотру этих решений и выдвигали новые, противоречившие им предложения, что не могло не затруднить переговоров и не отразиться на результатах сессии.

Нельзя сказать, что эта сессия не принесла никаких практических результатов. Но рассмотрение основных проблем так и не было завершено. К их числу относились, например, экономические принципы в отношении Германии, вопрос об уровне германской экономики в послевоенный период. В этом заключался большой минус сессии. Правда, на первый взгляд оставалась еще надежда на то, что спорные вопросы удастся разрешить на летней сессии в Париже. В действительности же надежда эта была довольно шаткой, ибо уже московская сессия выявила определенную тенденцию западных держав решать

германские проблемы сепаратно — в оккупированных ими западных зонах Германии.

В начале апреля я принял участие в работе специальной комиссии, подготавливавшей проект директив для советской делегации на переговорах по ленд-лизу в Вашингтоне. Руководство делегацией было возложено на меня, подбор состава делегации также лежал на мне — разумеется, при содействии Отделов кадров МИД и Минвнешторга. Основным экспертом делегации из семи человек намечался экономист-международник профессор А. А. Арутюнян.

Несколько дней спустя проект директив был подготовлен, рассмотрен коллегией МИД и направлен на утверждение правительства. 9 апреля меня вызвал к себе министр и предложил вернуться к месту работы в Вашингтоне.

— Значит, директивы уже утверждены? — спросил я.

— Не сегодня завтра будут утверждены,— заверил меня Молотов.

Билет я заказал на 13 апреля, однако в тот день не улетел, потому что директивы по ленд-лизу еще не были утверждены. Не вылетел я также и на другой день — как выяснилось, мне предстояло участвовать во встрече Дж. Маршалла с И. В. Сталиным.

16 апреля в газетах было опубликовано сообщение под заголовком: «Прием И. В. Сталиным г-на Маршалла». Краткий текст сообщения гласил:

«15 апреля Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин принял Государственного Секретаря Соединенных Штатов Америки г-на Маршалла.

На приеме присутствовали Министр Иностранных дел СССР В. М. Молотов, Советский Посол в США Н. В. Новиков, Американский Посол в СССР г. Б. Смит и специальный помощник Государственного Секретаря США г. Ч. Болен».

О ходе приема не было сказано ни слова, так же как и о том, что на приеме присутствовал еще переводчик В. Н. Павлов.

Я не стану воспроизводить по памяти все перипетии этого свидания и расскажу лишь о тех моментах, которые запомнились мне прочнее других.

Вначале Маршалл коснулся трудностей, с какими столкнулся Совет министров иностранных дел из-за различного подхода делегаций к германскому урегулированию. Например, в вопросах о центральной германской администрации, об экономическом единстве Германии, о репарациях. Он дал ясно понять, что причиной этих трудностей считает несговорчивость советской делегации.

Сталин немногословно, но убедительно отвел это обвинение, указав на то, что при обсуждении германских проблем Советское правительство руководствуется решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, которые оно рассматривает как обязательные для всех четырех делегаций.

После этого обмена мнениями, подтвердившего различный подход сторон, Маршалл затронул вопрос о ленд-лизе. Он выразил удовлетворение тем, что Советское правительство согласилось на проведение в ближайшее время переговоров, и высказал надежду, что они пройдут успешно. Сталин заметил, что если принципы закона о ленд-лизе и советско-американского Соглашения о взаимной помощи 1942 года будут применены в духе союзнической солидарности, существовавшей в период войны, то можно не сомневаться в благополучном исходе переговоров.

Отталкиваясь от тезиса о союзнической солидарности, Сталин заговорил далее о том, что в послевоенные годы США предали ее забвению. Примеров этому немало. В частности, в вопросе о займе Советскому Союзу. Чем иначе объяснить, что американское правительство до сих пор воздерживается от предоставления давно обещанного займа в 6 миллиардов долларов?

Слова Сталина о 6 миллиардах долларов поразили меня — подобного обещания, насколько мне было известно, правительство США не давало. Я знал лишь об обещании предоставить заем в один миллиард, выполнение которого США затягивали с явным расчетом оказать на Советский Союз экономический нажим.

Но резкий упрек Сталина поразил не только меня, а и других участников встречи. Пока Сталин развивал свою аргументацию, Маршалл наклонился к Смиту и что-то шепнул ему на ухо. Посол сразу же набросал в своем блокноте несколько слов по-английски и, вырвав листок, протянул его через стол мне. В нем значилось:

«Г-н Новиков! Вы ведь хорошо знаете, что это не так. Обещания о 6 миллиардах никогда не давалось. Разъясните это, пожалуйста, господину Сталину».

На этом же листке я быстро сделал перевод и пододвинул записку к сидевшему рядом Молотову. Он прочел перевод и невозмутимо сунул листок в свою рабочую папку. Я ожидал, что Молотов выскажется и прояснит недоразумение или же напишет записку Сталину, но он не сделал ни того, ни другого. И, пожалуй, поступил правильно.

Видимо, догадавшись, что слова Сталина явились результатом какой-то путаницы, Маршалл в своем ответе из обтекаемых

фраз замял вопрос и поспешно начал прощаться, а за ним и его два спутника.

Я был несколько смущен, хотя и не показывал виду. Я думал, что после ухода американцев Молотов разъяснит недоразумение, однако при мне он об этом и слова не вымолвил.

Уходя, я не заметил никаких признаков того, что до Сталина дошло, какой промах он допустил. Прощаясь со мной, он с дружелюбной иронией пожелал мне успеха «в единоборстве с американскими заимодавцами».

Потом я не раз размышлял о странном затмении памяти у человека, почти каждое слово которого у нас в стране — да и не только у нас — считалось истиной в последней инстанции.

На мои размышления ощутимо накладывалось общее впечатление, произведенное на меня в этот раз И. В. Сталиным. Это был не тот собранный, нимало не угнетенный возрастом руководитель партии и страны, которого я видел в апреле 1941 года, накануне нападения Германии на Югославию. И не тот Сталин, с которым я неоднократно встречался в военные 40-е годы. 15 апреля 1947 года я видел перед собою пожилого, очень пожилого, усталого человека, который, видимо, с большой натугой несет на себе тяжкое бремя величайшей ответственности.

17 апреля я вылетел в Вашингтон через Берлин и Париж.

Переговоры о ленд-лизе начались в мае 1947 года, а закончились соглашением только в 1972 году, спустя 25 лет после того, как я навсегда покинул Вашингтон и Америку.

Расскажу я поэтому только о начале долгих переговоров.

В чем заключалась суть обсуждавшейся на них трудной проблемы?

Лаконичный термин «ленд-лиз» в переводе с английского означает «заем-аренда». В принятом конгрессом США в 1941 году законе о ленд-лизе говорилось о предоставлении Соединенными Штатами взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других материальных ресурсов странам, участвовавшим в войне против гитлеровской агрессии. В соглашениях США с этими странами предусматривалось, что материальные ресурсы, уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, оплате не подлежат. Те же, что останутся после войны и могут быть использованы для гражданских нужд, должны быть оплачены полностью или частично в порядке долгосрочного кредита, с учетом взаимных интересов сторон.

Подобное же соглашение — Соглашение о принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии — было заключено между США и СССР 11 июня 1942 года. Мотивы, побудившие США заключить это соглашение, выражены в нем следующим образом: «...Президент Соединенных Штатов Америки решил, в развитие Акта Конгресса от 11 марта 1941 года, что оборона Союза Советских Социалистических Республик против агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов Америки». В силу этого решения президента закон о ленд-лизе был применен и к Советскому Союзу. В свою очередь, Советский Союз также принял на себя обязательство содействовать делу обороны США.

Стоимость всех поставок по ленд-лизу для Советского Союза составила 11 миллиардов долларов. В своем подходе к вопросу о компенсации за него советская сторона опиралась на упомянутые выше принципы закона о ленд-лизе и Соглашения о принципах, применяемых к взаимной помощи, в соответствии с которыми военные усилия Советского Союза рассматривались как «жизненно важные» для обороны Соединенных Штатов.

При определении суммы компенсации за ленд-лиз советская сторона принимала во внимание — в качестве прецедента — условия расчетов между Англией и США. По соответствующему соглашению Англия обязывалась выплатить Соединенным Штатам около 2 процентов от общей стоимости американских поставок, или 8,5 процента от стоимости ленд-лизовских остатков. Свою позицию в этом вопросе мы мотивировали тем принципиальным соображением, что для Советского Союза, вынесшего на себе главную тяжесть войны, условия расчетов должны быть не хуже, чем для Англии. Исходя из этого, советская сторона намечала выплатить Соединенным Штатам 240 миллионов долларов, что составляло несколько больше 2 процентов от общей стоимости остатков.

Встреча двух делегаций открылась приветственной речью главы американской делегации Уилларда Торпа, помощника государственного секретаря по международным экономическим отношениям, и моим ответным словом. Без каких-либо осложнений была установлена процедура переговоров, после чего У. Торп изложил позицию США в вопросе о расчетах. Предельно резюмируя ее, скажу лишь, что «американские заимодавцы» потребовали от нас выплаты огромной суммы в 1300 миллионов долларов, чему мы, впрочем, не очень удивились: американская позиция отлично вписывалась в американскую «жесткую политику» в отношении Советского Союза.

Следом за Торпом с обоснованием советской позиции выступил я, зачитав заранее подготовленное заявление с подробной

мотивировкой в духе приведенных выше общеполитических соображений и конкретных экономических расчетов.

Не требовалось особой проницательности, чтобы видеть, что наше заявление не вызвало восторга у американской делегации. Выслушав перевод, Торп высказал — как он заметил, в предварительном порядке — сожаление о слишком большом расхождении в позициях делегаций, выразил пожелание, чтобы советская делегация тщательно изучила американские предложения, и пообещал, что американская делегация также изучит наши предложения. Само собой разумеется, что и я пообещал поступить аналогичным образом, не преминув, однако, при этом подчеркнуть политическую весомость и экономическую обоснованность советских предложений.

На этом первое заседание было закрыто. Для меня оно было и последним. В течение следующих двух с половиной месяцев американская делегация не делала попыток продолжить переговоры. Не торопили их с переговорами и мы. А в конце июля я уже двинулся в свое последнее путешествие через Атлантический океан.

По окончании сессии Генеральной Ассамблеи и трехдневного отдыха участвовавших в ней сотрудников посольства работа последнего вошла в свое обычное русло. Возобновили деятельность все отделы посольства, регулярно поддерживалась связь с госдепартаментом, происходили — на разных уровнях — протокольные встречи.

Не отставали в своей активности от посольского коллектива и работники советской делегации в Дальневосточной комиссии. Последовательная позиция делегации во многом способствовала тому, что ДВК, вопреки систематическому сопротивлению главнокомандующего генерала Макартура, приняла 19 июня важное решение: «Основная политика в отношении Японии после капитуляции», соответствовавшее принципам Потсдамской декларации о демократизации и демилитаризации Японии. Успешно шло также обсуждение другого важного документа — «Сокращение военно-промышленного потенциала Японии»,— также отражавшего принципы указанной декларации. 14 августа он был принят в качестве основы для деятельности американских оккупационных властей.

В начале февраля я совершил кратковременную поездку в Майами (в штате Флорида) и в середине июня — в Чикаго для участия в состоявшихся там митингах друзей Советского Союза, организованных местными советами американо-советской дружбы.

В течение первого полугодия в дипломатическом персонале посольства произошли новые изменения. По семейным обстоятельствам вынужден был вернуться на родину советник Ф. Т. Орехов.

Ни с одним работником посольства не расставался я с такой неохотой, как с Ореховым, ибо не только ценил его как дельного сотрудника, но и питал к нему искренние дружеские чувства.

На посту заведующего отделом печати его заменил В. Н. Мачавариани, еще при Орехове влившийся в отдел и хорошо освоившийся с его работой.

По моей настоятельной просьбе В. М. Молотов назначил советником-посланником Семена Константиновича Царапкина, приехавшего в Вашингтон еще зимой. Кадровый дипломат, с 1939 года ведавший в НКИД сначала Вторым Восточным отделом, а затем Отделом США, он как нельзя более подходил для участия в работе нашей делегации в Дальневосточной комиссии. Но я имел на него и другие виды, а именно рассматривал его как замену себе при моем возвращении в Москву, о чем я давно уже серьезно подумывал и о чем теперь следует рассказать более обстоятельно.

10. На последнем этапе

25 октября 1947 года в газетах в разделе «Хроника» было сообщено о постановлении Президиума Верховного Совета СССР о моем освобождении от обязанностей посла в США, а 31-го я был отчислен из МИД и зачислен в резерв назначения при Управлении кадров ЦК ВКП(б).

Так на десятом году моей работы в МИД я расстался с этим высоким ведомством, с тем чтобы вступить на новый жизненный путь.

Каковы же были причины, что привели меня к этому? Их было немало, этих причин, возникавших в разное время и очень разных по своему характеру! Действуя явно или подспудно, они постепенно подводили меня к выводу о принятии давно назревавшего решения.

Рассказывая о них, нельзя не напомнить о таких фактах сравнительно отдаленного прошлого, как мое недвусмысленное заявление наркому М. М. Литвинову о нежелании работать в НКИД и мое «противоборство» с заместителем наркома В. П. Потемкиным в специальной комиссии ЦК ВКП(б), где меня коллективно «уговорили» дать согласие работать в НКИД.

Пять лет я занимался делом, к которому у меня с самого начала не лежала душа, чего я ни от кого не скрывал. Занимался, однако, добросовестно, в полную меру моих сил — иное отношение к делу было не в моем характере,— а в годы войны даже не просто с полной отдачей сил, а, можно сказать, сверх своих сил, духовных и физических. В результате к 1943 году я окончательно выдохся, и у меня возникло намерение каким-нибудь способом сменить вид деятельности. Хотя бы даже путем ухода из НКИД. Куда — это другой вопрос.

О моих настроениях весной 1943 года красноречиво говорилось в дневнике за 25 мая. Вот выдержка из этой записи:

«Сегодня... исполнилось пятилетие моей работы здесь... Срок вполне достаточный, чтобы мне стала невыносима канцелярская сторона нашей работы. Если бы не война, я бы уже давно поставил вопрос о смене амплуа. С поправкой на войну я сделал это в апреле текущего года в разговоре с Корнейчуком (моим новым шефом). Мое заявление (устное) было доведено до сведения В. М. Молотова, который признал мою постановку вопроса правильной, но перемену в моей судьбе отложил на неопределенное время».

О моих тогдашних потугах уйти из наркомата никто всерьез и слушать не захотел. Вместо этого было принято решение направить меня посланником в Египет.

Это назначение, так же как и последующее назначение в Вашингтон, внесшее новые черты в характер моей деятельности, на время притупило остроту моих неуемных мыслей об уходе из НКИД. Притупило, но не заглушило их. В туманной перспективе мне по-прежнему виделись иные пути.

Да, не путь, а именно пути. Дело в том, что полной ясности в выборе пути у меня не было.

В бытность аспирантом Института красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики я не сомневался в том, что пойду по научной стезе, готовился уже писать кандидатскую диссертацию. Вынужденное пребывание в системе Наркоминдела, казалось бы, поставило крест на этой перспективе. Но через год-полтора моя «навязчивая идея» и здесь, на непригодной для нее наркоматской почве, начала постепенно пробиваться наружу. Сначала в виде научных статей в журнале «Мировое хозяйство и мировая политика», не говоря уже о международно-публицистических выступлениях в центральной прессе, а затем в собирании материалов... для диссертации. Да, да, для диссертации, приступить к которой я рассчитывал во время отпуска, начинавшегося с 23 июня 1941 года, и дополнительного месячного за мой счет, разрешенного наркомом, одобрившим мой замысел.

Война подрубила его под корень. В годы войны о нем, естественно, и речи не было. Но затаенные мечты о научном труде в мирном будущем не умирали и тогда. В кризисном для меня 1943 году, когда я тщетно добивался ухода из НКИД, перемена в характере деятельности в виде назначения на заграничную работу придала этим мечтам новые стимулы. 23 сентября, незадолго до отъезда в Каир, я писал:

«Мысль о диссертации... не выходит у меня из головы... Я твердо решил: в Египте или в любом другом месте выкраивать маленькие досуги для работы над диссертацией. Горбатого могила исправит».

Но выправила мой научный «горб», как станет видно из дальнейшего, все же не могила.

Иллюзия о «маленьких досугах» в Египте начисто развеялась в первые же месяцы тамошних деловых перегрузок. Не меньшие, если не большие, перегрузки существовали и в Вашингтоне. Но дело было не только в них. Это с очевидностью вытекает из продолжения цитаты:

«Да, «две души живут в груди моей», а возможно, и три, так как литературное творчество также является моим влеченьем — «родом недуга». Не говоря уже о более раннем периоде, достаточно вспомнить о том, как работа в Таджикистане натолкнула меня на мысль написать роман или повесть «Оби-Шур» («Горькая вода»), и я несколько лет носился с этой неотвязной мыслью. Все материалы, характеристики действующих лиц, подробнейшая разработка сюжета — все было налицо, кроме времени для написания романа.

Институт красной профессуры поглотил тогда все мое время — наука заела литературу! Но в прошлом году возник новый литературный замысел, который увлек меня,— повесть «Дунайя» (на румынскую тематику). Опять разработки, подборки материалов, горение — и опять недостаток времени! Но этот сюжет я пока еще не забросил, так же как считаю лишь отложенным на некоторое время «Оби-Шур». Может быть, в Каире коечто сделаю? Разве нет у меня примеров того, что в страшную жару (в Ашхабаде и Стамбуле, например) я очень интенсивно работал над переводами художественных произведений с турецкого и на турецкий (в последнем случае над переводом «Железного потока» Серафимовича). Поживем — увидим».

Какой же заряд наивности и оптимизма двигал моей рукой, когда я набрасывал эти строки! Отрезвляющие цейтноты в работе за границей безжалостно перечеркнули мои литературные мечтания, так же как и научные... Однако «навязчивая идея»— все в новых и новых образцах и сюжетах — никогда не покидала меня.

Упомяну лишь еще об одном ее проявлении.

11 августа 1947 года, находясь в Москве и день за днем подготавливая почву для ухода из МИД, я записал в дневнике:

«Мне никак не удается выкинуть из головы «влеченье — род недуга» к писательскому делу. Условия моей жизни давно уже не благоприятствуют осуществлению моей «мании», а за последние 10 лет моя работа прямо-таки исключает что-либо подобное. А я все мечтаю, все зажигаюсь новыми замыслами, непрерывно подбираю материалы, разрабатываю детали сюжета, делаю наброски.

Последняя тема возникла у меня по окончании войны. Мне захотелось отразить в романе Америку в послевоенное время, показать ее превращение из союзницы в войне за общее дело в воинствующего недруга Советского Союза... Весною прошлого года я даже написал три главы текста и эту рукопись привез с собой сюда, чтобы год с лишним спустя при первой же возможности продолжить пробу пера. Кстати, время для такой возможности мною уже намечено — это будет время пребывания в доме отдыха, если позволит обстановка».

Все новые и новые литературные замыслы постепенно брали верх над моим тяготением к научной работе. Но оба эти мои влечения, даже противореча друг другу — правда, не столько в практическом, сколько в умозрительном плане,— безусловно, служили немаловажными стимулами моих «центробежных» стремлений, действуя двойной тягой, как это делают на трудном участке пути два спаренных тепловоза.

Расставаясь здесь с отвлеченными проблемами научного и литературного призвания, я коснусь далее некоторых сторон моего дипломатического бытия, которые также способствовали моим «центробежным» умонастроениям.

Мой жизненный опыт убедил меня в том, что работа в любом официальном учреждении, независимо от моего положения на иерархической лестнице, не моя стихия. Очевидно, отчасти это зависело от свойств моего характера. Мне всегда больше удавался труд, за который отвечал я единолично.

Признаюсь, что мне нелегко было строить отношения с руководителями министерства. Я охотно брался за поручения руководства, которые считал целесообразными, и с полной добросовестностью выполнял их. Но я не выносил мелочной опеки над собою при выполнении этих заданий, предпочитая выносить на суд критики то, что сделал самостоятельно. Притом я не скрывал неприятия ненужной опеки, а руководящие указания, в которых усматривал какие-либо несообразности, открыто

оспаривал, за что, случалось, выслушивал неодобрительные суждения. Нетрудно понять, какое чувство неудовлетворенности рождалось у меня в этих случаях.

Сказанное выше далеко не исчерпывает всех причин и мотивов моих «центробежных» стремлений. Тем не менее я подвожу тут под ними черту и перехожу непосредственно к перипетиям моего ухода из МИД.

Первым свидетельством такого намерения может служить дневниковая запись от 30 марта 1947 года, сделанная в Москве в период моей командировки на совещание Совета министров иностранных дел. Приведу оттуда соответствующий отрывок:

«Мне пора на родину, к родным пенатам — мне очень тяжело дальше переносить заграницу...

Да, пора! Уже три с половиной года я живу за границей. Я всерьез озабочен этим вопросом. Именно имея в виду подготовку почвы для возвращения, я и предложил прошлой осенью Молотову прислать ко мне советником-посланником Царапкина. Сейчас он уже в Вашингтоне, и мои шансы, таким образом, возросли.

Я намерен поставить вопрос о возвращении в конце 1947 года, с тем чтобы отъезд осуществить к лету 1948 года. Сейчас об этом говорить рано, так как я всего еще год нахожусь на посту посла в Вашингтоне, притом все время бываю в разъездах. Через год это будет совсем другое дело. Возможно даже, что тогда я смогу поставить вопрос и более радикально».

Более радикально... Это просто не досказанная до конца давняя мысль об уходе из МИД.

Но уже две недели спустя я решил не откладывать дела в долгий ящик и в середине апреля вел на эту тему настоятельный разговор с заведующим Отделом кадров МИД М. А. Силиным и с работником Отдела загранкадров ЦК ВКП(б) Струнниковым, а затем в мае возвратился к этой же теме в беседе с заместителем Силина Сулицким (в Вашингтоне). Во всех трех случаях речь пока шла только о возвращении в скором времени на родину (об уходе надо было говорить не с ними). Моя инициатива ни у кого из них одобрения не встретила, но это не подорвало у меня надежд на конечный благоприятный ее исход.

Правда, не обошлось дело и без сомнений, которые временами возникали у меня. Не выглядят ли мои намерения, думалось мне, как попытка уйти с фронта? Куда — в тыл? Нет, отвечал я в таких случаях самому себе. Я просто добиваюсь перевода с одного фронта на другой — с дипломатического на идеологический. И этим ответом утверждался в мысли довести свои стремления до логического конца.

21 июля я получил указание В. М. Молотова выехать в Москву в связи с одним заданием, тему которого он не уточнил. Гадая о цели вызова, я не исключал и предположение, что речь в Москве пойдет о последствих моих апрельско-майских демаршей по давно наболевшему вопросу.

Приняв во внимание, что телеграмма Молотова не содержала повелительно звучащих слов «немедленно», «срочно» и т. д., я готовился в дорогу без особой спешки.

Прибыв в Москву 1 августа, В. М. Молотова я там не застал. После парижского Совещания министров иностранных дел СССР, Англии и Франции в июне—июле он, как мне сообщили, уехал в отпуск в Сочи. В этом чувствовалось некое новое веяние в работе министерства, в котором слово «отпуск» было на многие годы изгнано из лексикона.

Это новшество, свидетельствовавшее о наступлении более спокойных времен, натолкнуло и меня самого на мысль об отпуске. Не отдыхал я с 1939 года.

В беседе с А. Я. Вышинским, замещавшим министра, я затронул эту тему, и он высказал мнение, что Молотов вряд ли станет возражать против моего отпуска. Не скрыл я от Вышинского и свое вызревшее к тому моменту твердое намерение поставить вопрос о возвращении из Вашингтона на родину.

— Вячеслав Михайлович в курсе ваших намерений,— улыбнулся Вышинский и добавил: — Но я дополнительно поговорю с министром обо всем этом вечером. Между прочим, Николай Васильевич, до отпуска вам надо заняться одним важным заданием,— предупредил он меня.— Министр ждет от вас обстоятельной докладной записки о новых тенденциях в американской внешней политике. Тщательно проанализируйте «доктрину Трумэна» и «план Маршалла» и попытайтесь наметить их политические последствия. Тема вам хорошо знакома, а необходимые материалы вы найдете в Отделе США и в секретариате министра. Двух недель вам хватит на это?

— Вполне хватит,— заверил я его.

Свое обещание поговорить обо мне с Молотовым Вышинский выполнил. Уже через день он известил меня о согласии Молотова на мой отпуск и посоветовал мне, не откладывая, пройти в кремлевской лечебнице медосмотр, необходимый для получения путевки в санаторий Совмина в Сочи, что я в скором времени и сделал.

Но как ни нуждался я в отдыхе и лечении своих переутомленных нервов, первоочередной для меня все же была задача возвращения из Америки. Меня беспокоило, что Молотов никак не реагировал на мой разговор с Вышинским об этом. «Несколько дней назад,— писал я в дневнике 6 августа,— я поставил

перед В. М. вопрос о возвращении на родину... К сожалению, пока ответа не имею. Возможно, получу его завтра». Но и через два дня, 8 августа, я с беспокойством отмечал: «О реакции В. М. на мою просьбу мне пока ничего не известно».

В этот же день я написал министру письмо, которое ниже привожу полностью:

«Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Я прошу прощения за то, что беспокою Вас во время отпуска. Я решил написать это письмо во избежание какой-либо неясности в отношении постановки мною вопроса о моей дальнейшей работе в США.

1-го августа с. г., в день моего прибытия в Москву, я в разговоре с тов. Вышинским, наряду с вопросом об отпуске, затронул также вопрос, который в течение последнего времени все более отчетливо встает передо мной,— о моем возвращении в СССР. Об этом я в предварительном порядке говорил в апреле с. г. с т. т. Силиным и Струнниковым (ЦК ВКП(б)) и в мае с. г. с тов. Сулицким (в Вашингтоне). Я сказал тов. Вышинскому (для передачи Вам), что считал бы целесообразным перевод меня на работу в СССР, так как я нахожусь на заграничной работе уже в течение весьма длительного времени — через 3 месяца исполняется 4 года моей работы за границей, в том числе 3 года в США.

Я добавил, что если мое пожелание невозможно осуществить в ближайшее время, то мне хотелось бы иметь перед собою отчетливую перспективу, например, в виде решения в принципе вопроса о моем возвращении в более или менее определенный срок, который Вы могли бы предварительно указать.

Мотивом постановки мною этого вопроса является мое твердое убеждение, что со многих точек зрения для советского дипломата нецелесообразно оставаться на посту за границей бессменно в течение слишком продолжительного периода и что в случае возможности обеспечить замену заграничные кадры следует обновлять. В этом убеждении я, разумеется, не делаю исключения и для себя.

Жду Ваших указаний.

С искренним приветом

(Н. Новиков)

8.VIII.47 г.»

11 августа из секретариата министра мне передали копию моего письма с такой резолюцией министра: «Тов. Новикову Н. В. Вопрос о Вашей дальнейшей работе рассмотрим после окончания Вашего отпуска. Об остальном договоритесь с т. Вышинским. В. Молотов. 10/VIII».

В дневнике за этот день я записал:

«В. М. ответил на мое письмо, заявив, что вопрос о дальнейшей работе будет рассмотрен по моем возвращении из отпуска. Значит (делал я неутешительный вывод.— *Н. Н.*), все дело пока откладывается в довольно долгий ящик».

Лишь 20 августа положение наконец прояснилось. В этот день я записал: «Кажется, сбывается долгожданная мечта! В принципе решено, что я больше не поеду в Вашингтон».

Если дело обстояло так благополучно, то к чему же тогда относилось словечко «кажется» с неким налетом сомнения? Да к тому, что решается, в сущности, только первая половина задачи переустройства моего жизненного уклада.

Ответ Молотова о решении вопроса в принципе укрепил мою надежду на то, что теперь мне удастся успешно решить и вторую его половину. Два-три дня подряд я непрестанно обдумывал, какой шаг в связи с этим необходимо сделать в ближайшее время, и пришел к выводу: вопрос об уходе из МИД надо поставить безотлагательно. По поговорке: «Куй железо, пока горячо».

Но Молотов в Сочи. Что ж, написать ему еще одно заявление, на которое последует новый неопределенный ответ и неминуемая затяжка с решением? Нет, нужен какой-то иной, более эффективный шаг. И тогда я решил пойти со своим личным вопросом в ЦК партии, чтобы поставить его сначала там, а затем (как я ошибочно рассчитывал) обсудить его в Сочи с Молотовым.

В доме на Старой площади я долго беседовал с секретарем ЦК. Я взволнованно изложил ему самое главное из руководивших мною мотивов. Секретарь ЦК выслушал меня очень внимательно, в разговоре сочувственно отметил, что некоторые из моих соображений заслуживают серьезного рассмотрения. Заявил, что предрешать исход такого вопроса он неправомочен, но что он разберется в нем всесторонне и будет советоваться по этому поводу с Молотовым.

Ушел я от него с ощущением, что сделал немалый шаг вперед, и с надеждой, что в Сочи меня ждет полный успех.

Медицинский осмотр и различные формальности, связанные с получением путевки в санаторий Совмина, а также неизбежные текущие дела изрядно отвлекали меня от работы над докладной запиской, и поэтому первоначально намеченный мною двухнедельный срок растянулся на три недели с лишним. Лишь 26 августа сдал я ее экземпляры в секретариат министра, все

еще находившегося (как я полагал) в Сочи, и А. Я. Вышинскому.

Записка, озаглавленная мною «Доктрина Трумэна и план Маршалла», была — как это и предусматривалось заданием — весьма обстоятельной, занявшей 19 страниц стандартного машинописного текста. В процессе работы я не раз переписывал некоторые разделы рукописи, а затем придирчиво редактировал.

О «доктрине Трумэна» я уже писал в предыдущей главе, поэтому здесь очень сжато скажу о «плане Маршалла» и перспективах проведения его в жизнь.

Этот план был сформулирован Маршаллом первоначально в речи, произнесенной 5 июня в Гарвардском университете, и дополнен несколько дней спустя в его письме к сенатору Ванденбергу (10 июня 1947 года).

План этот, развивающий и конкретизирующий пресловутую «доктрину Трумэна», фактически предусматривал создание американо-западноевропейского блока, который был бы направлен своим острием против Советского Союза и стран Восточной Европы.

В записке я подробно остановился на тех средствах и способах, с помощью которых американская дипломатия и военные ведомства намечали осуществить эту цель. Свой обзор и анализ я заключил так:

«Проведение всех этих мероприятий позволило бы создать стратегическое кольцо вокруг СССР, проходящее на западе через Западную Германию и западноевропейские страны, на севере — через сеть баз на северных островах Атлантического океана, а также в Канаде и на Аляске, на востоке — через Японию и Китай и на юге — через страны Ближнего Востока и Средиземноморья».

Это заключение можно сейчас рассматривать как сбывшийся прогноз. С той, однако, поправкой, что в охарактеризованное мною стратегическое кольцо не вошел Китай, ставший с 1949 года независимой Китайской Народной Республикой.

В записке я, естественно, указал и на те серьезные препятствия, которые мешали осуществлению воинственных планов США. Я осветил их в восьми пунктах. Последним среди них — по месту, но не по значению — был пункт о миролюбивой внешней политике Советского Союза. Сформулирован он был следующим образом:

«Наконец, и это самое главное, на пути осуществления империалистической экспансии лежит твердая и последовательная политика Советского Союза, решительно отстаивающая интересы мира и всеобщей безопасности, препятствующая пре-

вращению Организации Объединенных Наций в орудие империалистической политики, разоблачающая все и всяческие попытки сколачивания новых агрессивных блоков и поддерживающая страны, которые оказывают сопротивление покушениям на их суверенитет и независимость».

Сейчас, четыре десятилетия спустя, я, касаясь этой темы, высказался бы несколько иначе — очень уж много изменений претерпел за это время мир. Но принципиальные положения 8-го пункта менять, пожалуй, не стал бы.

Завершение работы над докладной запиской открывало мне путь в Сочи.

В первый же день пребывания в санатории я с огорчением узнал, что Молотова в Сочи нет и что отдыхает он — вперемежку с работой — на даче И. В. Сталина на озере Рица. Таким образом, решение моей проблемы откладывалось до возвращения в Москву — и Молотова, и меня.

Я вернулся из Сочи 28 сентября, а Молотов задержался на Кавказе еще на неопределенный срок.

Тем временем в Америке собралась в дальнее плавание и моя семья. 2 октября она отплыла из Нью-Йорка на пароходе «Челюскинец». Плавание «Челюскинца» протекало без всяких осложнений, и 20 октября я встретил моих отважных мореплавателей в ленинградском Торговом порту, в том самом Торговом порту, где в 20-х годах работал грузчиком. А 22-го, после суточного отдыха семьи в «Астории», я благополучно доставил ее на Большую Калужскую. Домой! После стольких мытарств чуть ли не по всему белому свету!

Возвратился Молотов в Москву в середине октября. Узнав об этом, я тотчас же, через секретариат, напомнил ему о себе. На следующий день он меня принял. В течение всей беседы с министром в кабинете молчаливо присутствовал член коллегии МИД Я. А. Малик.

Встретил меня Молотов без той приветливости, с какой обычно встречал в мои предыдущие приезды в Москву. Пожимая мне руку, он едва привстал в кресле и довольно сухо поздоровался.

Беседа наша не затянулась. Ее исход, как уже вскоре стало ясно, был предопределен.

Не поднимая глаз от стола, часто заикаясь, министр начал с того, что знает о моем визите к секретарю ЦК, и упрекнул меня в том, что по столь важному вопросу я не обратился непосредственно к нему самому, Молотову. Отвечая на упрек, я сослался на то, что через несколько дней рассчитывал обо всем перегово-

рить с ним в Сочи, где, к сожалению, такая возможность мне не представилась.

— Сколько времени вы в министерстве? — уже менее сухим тоном спросил он. Услышав мой ответ, он сказал: — Срок достаточно солидный, чтобы прийти к выводу, что душа у вас к нашей работе не лежит. Я помню ваши прежние предубеждения против нее, но раньше не придавал им большого значения. Выходит, я недооценивал их стойкость, не так ли?

— Дело не в предубеждениях, Вячеслав Михайлович,— не согласился я с ним.— Если вы разрешите, я выскажу вам свои мотивы на этот счет.

— Не надо,— вяло махнул рукой министр.— Вы уже высказали их в ЦК, да я и сам многое знаю. Главное — это все-таки ваше предубеждение. Правда, выглядит оно, на мой взгляд, странным. И образовательная подготовка у вас основательная, и опыта вы поднакопили порядочно. В коренных проблемах политики разбираетесь. Кстати, читал я вашу записку о «плане Маршалла»... По-моему, полезный документ.— Он помолчал.— Конечно, и трудными чертами характера вас бог не обидел. Одно ваше упрямство в спорах чего стоит. Но об этом я так, между прочим... В общем, уговаривать вас продолжать работу в МИД я не стану. Считайте, что ваша просьба удовлетворена.

— Спасибо, Вячеслав Михайлович! — от всей души поблагодарил я.

— Не за что,— угрюмо буркнул Молотов.— На официальное освобождение от должности потребуется не меньше недели. Потерпите?

— Наберусь терпения,— миролюбиво отозвался я на едкий сарказм.

— Тогда вы свободны,— кивнул мне на прощание Молотов.

Какой глубокой символичностью была пронизана эта простая служебная фраза! Ведь я действительно был теперь свободен устраивать жизнь по своему усмотрению!

В заключение несколько слов о моем дальнейшем жизненном пути.

Уже с начала 1948 года я отдался литературной деятельности, публикуя свои произведения и переводы с иностранных языков под собственной фамилией и под псевдонимом Н. Васильев.

В 1950 году я был принят в члены Союза писателей СССР.

На нелегком творческом пути у меня было много всего: и

достижения и неудачи, и радости и огорчения. Не было никогда только одного — сожаления о добровольно сделанном мною выборе. Идти по этому пути я намерен и впредь, пока этому не воспрепятствуют обстоятельства сильнее меня.

Сейчас, когда я подписываю эту верстку в печать, мне 86 лет 1 месяц и 12 дней.

Москва
1970—1988 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Васильевич Новиков

ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА

На второй странице обложки
Н. В. Новиков.
Нью-Йорк, март 1947 года

Заведующий редакцией *А. В. Никольский*
Редактор *Н. В. Попов*
Младший редактор *Т. В. Гуничева*
Художник *В. М. Аникеев*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 7418

Сдано в набор 15.08.88. Подписано в печать 27.01.89. А 00010. Формат $60\times84^1/_{16}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,72. Усл. кр.-отт. 25,11. Уч.-изд. л. 24,66. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 4739. Цена 1 р. 10 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография издательства «Горьковская правда». 603006, г. Горький, ГСП-123, ул. Фигнер, 32.